

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED  
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ  
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ALUSTATUD 1893. a.

VIIK № 78 ВПУСК

ОСНОВАНЫ В 1893 г.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И  
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

II



ТАРТУ 1959

ТАКТИ РИИКЛИКУ ÜLIKOO LI TOIMETISED  
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ  
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

VIIK 78 ВПУСК

---

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И  
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**

**II**

ТАРТУ 1959

Редакционная коллегия:

Б. Егоров (ответственный редактор), В. Адамс, Ю. Лотман, А. Правдин.

## СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

## ИЗ ИСТОРИИ ЭСТОНСКОЙ РИФМЫ

(К ПРОБЛЕМЕ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ВЛИЯНИЙ НА  
ЭСТОНСКУЮ ПОЭТИКУ)

Статья I-я

Доц., канд. филол. наук В. Т. Адамс

Рифма проникла в эстонскую литературу<sup>1</sup> в XVII столетии под влиянием новонемецкого поэтического канона Мартина Опица в кружке гуманистических интеллигентов, сгруппировавшихся вокруг основанной в 1631 году Таллинской протестантской гимназии.\*

Огромное организующее влияние поэтики Опица на технику и историю стихосложения Севера и Востока Европы не подлежит никакому сомнению. Конечно, поэтика «герцога немецкого стиха» не была оригинальной, однако, это не имеет значения. Поэзия Возрождения, переходя в барокко, продолжается в творчестве Опица принципиально на родном (немецком) языке, хотя Опиц и его последователи писали и латинские стихи. По итальянским (Scaliger), латинским и французским (Ronsard) образцам Опиц своей «немецкой поэтикой» (*Buch von der deutschen Poeterey*, 1624) обосновывает теорию и эстетику новой немецкой поэзии. В этом нормативном своде поэтики XVII столетия была упорядочена одичавшая немецкая метрика, узаконена немецкая силлабо-тоника, введен ямб, хорей и александрийский стих. Теории рифмы посвящена VII глава: *Von den reimten, ihren wörtern vnd arten der getichte*.<sup>2</sup> Здесь канонизирована точная рифма и выдвинуто правило чередования рифм.

Поэтика Опица была претворена в жизнь как в собственном

---

<sup>1</sup> В эстонской народной поэзии господствовал до XVIII в. хорейский аллитерационный стих — без рифмы. Поэтому вопросы эстонского фольклора не могут входить в рамки данной работы. Не разбираются и попытки некоторых поэтов XIX века построить эстонский стих на основе иллюзорной древне-греческой системы стихосложения (Фельман и др.).

<sup>2</sup> *Neudrucke deutscher Litteraturwerke*, № 1, Halle, 1876, стр. 36—40.

\* Детальный анализ старейших эстонских рифмованных стихотворений см. в исследовании В. Адамса «*Riim, võrdlev-ajalooline ning kirjandusteoreetilise uurimise üldise ja eesti riimiteooria alalt*, Tartu, 1925, (на эстонском языке).

его поэтическом творчестве, так и в стихах плеяды поэтов его школы. Поэты опицской школы, при всем различии, были, вообще говоря, отголосками гуманизма и литературы Возрождения. Энциклопедисты и космополиты, литераторы и путешественники, они быстро распространили новый поэтический канон в странах, подверженных немецкому влиянию. Этому способствовали бедствия тридцатилетней войны, заставившие миролюбивую интеллигенцию искать убежища в дальних странах. Сам Опиц бежал в 1620 году в Голландию. П. Флеминг, едва получив степень магистра, стал хлопотать о включении его в состав Голштинского посольства, отправляющегося в Москву и Персию. В трудные годы при основанной в 1631 году Таллинской гимназии работает педагогами ряд таких выходцев из Германии. Среди них Тимофей (Thimotheus) Полус (1599—1642), поэт-лауреат из Мерзебурга, с 1631—1642 профессор поэзии в Таллине, Райнер Брокман Старший (1609—1647), с июля 1634 профессор греческого языка там же. Люди гуманистического образования, любители филологии, они продолжали культивировать на чужбине вывезенные из родных университетов общественные навыки и литературные интересы.

Вот с этими людьми сошелся Пауль Флеминг, когда ему в 1635/36 гг. пришлось прожить почти год в ганзейском Ревеле (Таллине). Флеминг, далеко превосходя Опица талантом, был однако верным «опицианцем». Еще в чуждом Новгороде Флеминг вспоминал Опица;<sup>3</sup> в Ревеле, в кругу единомышленников, расцвело взаимное стихотворчество «ad legem Oritii». Флеминг, Полус и Райнер Брокман часто встречались, совершали взаимные прогулки и проводили вечера за дружеской беседой.

Друзья обменивались стихами. Т. Полус сочинял множество немецких и латинских стихов «на случай». По сохранившимся образцам мы можем определенно утверждать, что друзья обменивались стихами, сочиненными по правилам Опица.<sup>4</sup> Младший из этого ревельского триумвирата, полиглот<sup>5</sup> Р. Брокман, решив испробовать новую поэтику и на материале эстонского языка, сочинил в 1637 году «Carmen alexandrinum esthonicum ad leges Oritij poeticas compositum».<sup>6</sup> Это стихотворение на бракосочетание купеческой дочки. По обычаю времени стихотворение напечатано в особой поздравительной брошюре. Тут же автор немецкими стихами восхваляет эстонский язык:

<sup>3</sup> Об этом см. статью: М. П. Алексеев, Немецкий поэт в Новгороде XVII века, Изв. АН СССР, Отд. литературы и языка, 1935, стр. 556.

<sup>4</sup> См P. Fleming, Teutsch Poemata, Editio I, Lübeck, 1642, стр. 264—267; Poetische Wälder, изд. Лаппенберга, т. III.

<sup>5</sup> Он писал стихи на немецком, латинском и греческом языках. (См. Reske-Napiersky, Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, I, стр. 267 и след.).

<sup>6</sup> Eestij kirjanduslugu tekstides. Toimetanud G. Suits ja M. Lepik, Tartu, 1932, стр. 7—8 (История эстонской литературы в текстах. Под редакцией Г. Суйтса и М. Лепика).

Andre mögn ein anders treiben;  
Ich hab wollen Ehnstnisch schreiben.

По содержанию стихотворение не представляет особенного интереса: крайне искаженный язык, отсутствие каких бы то ни было поэтических достоинств, грубые эротические намеки свидетельствуют об убогости этого эксперимента. Однако благодаря ему, в истории эстонского стиха 1637 год стал годом введения рифмы в эстонскую литературу. За этой первой ласточкой следует целый ряд таких же «стихотворений на случай» на эстонском языке. Конечно, всё это было только барской забавой небольшой верхушки акклиматизировавшихся в Эстонии литераторов-опицианцев, однако в истории поэзии введение новой техники имеет примерно такое же значение, как и в индустрии.

Вскоре поэтика Опица нашла применение в области, имевшей более широкое общественное значение: при переводе лютеранских церковных песен на эстонский язык. Для наших целей нет надобности углубляться в сложную историю создания первых церковных песенников на эстонском языке. Достаточно сказать, что в появившемся в 1656 году втором издании песенника<sup>7</sup> мы находим переводы 241 песни, с применением рифмы по правилам Опица. Рифма была принята на вооружение церковью для достижения её задач. Коллектив составителей ценит введение рифмы в эстонский стих, как великое новшество, так как во введении сказано:

Германцы, шведы и датчане лишь доселе  
О музе Лютера нам в рифмах пели.  
Теперь эстонец, бывший не у дел,  
Тем трем на удивленье рифмой овладел.<sup>8</sup>

(Переведено мной. В. А.)

Ведь до этого немецкие церковные песни (важнейшая составная часть лютеранского богослужения) приходилось переводить неуклюжей и негодной для пения прозой. Приведем пример из второй части пособия для пасторов магистра Генриха Шталя (1637)<sup>9</sup> Написанная четырехстопным ямбом и канонически (по Опицу) зарифмованная рождественская песнь Мартина

<sup>7</sup> Об этом песеннике см. статью: У Маазинг и А. Соосаар, О срифмованном три столетия тому назад песеннике («Kolme sajandi eest värsistatud lauluraamat» — на эстонском языке), Ежегодник Эстонской евангелической лютеранской церкви («Eesti Evangeeliumi Luteriusu Aastaraamat»), Tallinn, 1956, издание Консistorии Эстонской лютеранской церкви, стр. 49—74.

<sup>8</sup> «Es hat der Deutsche, Schwed' und Dähn' bisher gesungen  
Was unser Luther hat in Reimenband gezwungen.  
Nun singt auch Esten nach in solcher Reimenzahl,  
Worüber sich die Drei verwundern allzumahl».

<sup>9</sup> Hand- und Hauszbuch Für die Pfarherren vnd Hauszväter Ehnstnischen Fürstenthumbs (Ander Theil <. .> Revall <. .> MDCXXXVII).

Лютера «Vom Himmel hoch da komm ich her» была здесь переведена топорною прозою, без рифмы, без размера и даже без симметрии слогов.

Vom Himmel hoch da komm ich her,  
Ich bring euch gute neue Mār;  
Der guten Mār bring ich so viel,  
Davon ich singen und sagen will.<sup>10</sup>

Sest korgkest taiwast tullen minna,  
Minna tohn teil hehdt uhel sannat;  
Neist uhest sannast tohn minna nii  
paljo,  
Kumbast minna laulda ninck üttelda  
tahan.<sup>10</sup>

Неудивительно, что до введения опицианской метрики прихожане вместо пения «блеяли как глупые овцы»<sup>11</sup> Практические потребности церкви требовали введения рифмы и размера по образцу немецкой поэтики.

Конечно применение поэтики Опица к эстонскому языку со стороны не-эстонцев осуществлялось за счет искажения естественных лексикальных форм. Добиваясь нужного числа слогов и требуемой Опицом точной рифмы, ретивые стихоплеты жертвовали на алтаре рифмы правильностью малознакомого им языка. Опираясь на авторитет церкви, народу навязывали как тексты хоралов, так и элементы новой немецкой версификации: силлабо-тоническое стихосложение и рифму в конце стиха.

В предисловии к новому изданию (1656) пособия магистра Г Штала, третья часть которого является новым, рифмованным песенником, составители говорят о больших трудностях при передаче рифмованных немецких церковных песен эстонскими стихами. Многие считали это вообще невозможным, сообщают они. Авторы переводов сожалеют, что не все рифмы точные — но сразу не добиться совершенства! Ведь и по-немецки вначале довольствовались неточными рифмами, как «Gott : Wort», «Liebe : bleiben». Здесь слово «Reim» несомненно следует понимать в его первичном значении — рифма. Господство опицианского канона точной рифмы в этом песеннике совершенно очевидно.

Применением установившегося канона объясняется и то, что в старейших памятниках эстонского стиха рифмы весьма точ-

<sup>10</sup> Первый текст приведён по историко-литературной хрестоматии: Prof. Dr. Johannes Schegg, Bildersaal der Weltliteratur, II, Stuttgart, 1869, 2 изд., с проверкой по канонизированному лютеранской церковью песеннику Gesangbuch der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, Bordsesholm, 1950, второй текст по вышеуказанной книге Г. Штала.

<sup>11</sup> По оценке современника — таллинского пастора Георга Мюллера. См. W. Reiman, Neununddreissig Estnische Predigten von Georg Müller, Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XV 1891, одиннадцатая проповедь; перепечатано в хрестоматии: A. Saareste — A. Cederberg, Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi, Vihk I, Tartu, 1927, стр. 11 (Собрание старейших памятников эстонского литературного языка. Выпуск I).

ные. Какими бы ни получались стихи по языку (ведь переводчиками были недавно переселившиеся из Германии немцы), но рифмы соответствовали канону. Как в светских стихотворениях «на случай», так и в церковных хоралах мы легко можем отличить колодки опицианской поэтики, на которые натянута кожа эстонского языка. Цель — дать точные рифмы, как требует канон — достигнута. При такой целеустремленности все эти стихи не имеют эстетической ценности. Писание стихотворений «на случай» вскоре прекратилось; детальное изучение истории церковных хоралов вне нашей цели. Нет надобности углубляться и в статистику отклонений от канонических форм точной рифмы, так как это сплошь только *licentia poetica* в рамках дозволенного в немецкой поэзии. Это — исключения, подтверждающие правила, правилом же стала традиция немецкой точной рифмы. Эта традиция была прочно навязана эстонской поэзии. Благодаря авторитету церкви канонизированная точная рифма проникла в только что зарождающуюся эстонскую поэзию, где эта традиция стала чем-то непреложным вплоть до новейшего времени. Когда в так называемую эпоху «национального пробуждения» теоретическая мысль обращается к вопросам формы поэзии и поэтического мастерства, то под термином «рифма» естественно подразумевается только точная рифма.<sup>12</sup>

Таким образом мы вкратце очертили исходную точку истории эстонской рифмы и два главных фактора ее возникновения (нововерхнегерманская поэтика и влияние эстонской церковной песни). С точки зрения истории рифмы исправленные издания песенников (издание Хорнунга, 1695, издание 1721 года и след.) не представляют ничего нового. Под влиянием церковных песенников те же традиции укореняются и в светской эстонской поэзии. Ведь и первые литераторы — эстонцы были пасторами, кистерами и сельскими учителями, жившими в плену церкви. Первый литератор из числа эстонцев, кистер Кясу Ханс, написавший во время Северной войны песнь об уничтожении города Тарту, в этой псевдо-народной песне следует слепо традиции точной рифмы и принципу: пусть лучше пострадает содержание, чем точность рифмы.

Весь XVIII, да и весь XIX век принципиально не выходят за рамки этой теории рифмы. Ей подчинена стихотворная продукция «эстофилов», а также и поэтов эпохи «национального пробуждения». Но хотя большая часть поэтов автоматически следует школьным правилам, мы можем проследить отдельные попытки оценки элементов поэтического языка и старание приспособить заимствованные с немецкого правила к структуре и особенностям эстонского языка. Первым наброском эстонской поэтики можно считать статьи эстофила Петера Хейнриха фон

<sup>12</sup> Т. е. условно-полное созвучие, начиная с последнего ударного гласного.

Фрея об эстонской поэзии.<sup>13</sup> П. Г. фон Фрей в статье «Über die bisherigen Versündigungen wider die Regeln der Poesie in der ehstnischen Sprache» разбирает элементы поэтической формы, посвящая один раздел своего анализа и рассмотрению эстонской рифмы. Фрей констатирует прежде всего, что эстонский язык очень беден рифмами и поэтому надо ослабить требования к точности рифм. Фрей допускает в известных пределах созвучия с несовпадением даже в подударных гласных (surm : arm; tulda : kuulda)<sup>14</sup> Но неприемлемыми (несносными — «unleidlich») он считает рифмы тавтологические, рифмы, насилюющие размер и правильность языка, наконец рифмы, превратившиеся в клише.<sup>15</sup> Фрей отвергает такие в звуковом отношении идеальные рифмы, как «õrpetud : lõrpetud» и «sinnule : minnule», считая их тавтологическими.

Однако «либерализм» Фрея вызывает на страницах того же журнала возражения анонимного автора, требующего соблюдения точного созвучия.<sup>16</sup> Исходя из фонетического понимания рифмы (но опираясь на свое немецкое ухо), он отвергает такие допускаемые Фреем рифмы, как «surm : arm» и тому подобные.

Впрочем, стихотворная практика эстофилов имеет только историческую ценность: народ не читал ни их стихов ни их писаний.

И в творчестве авторов эпохи так называемого «национального пробуждения», писавших уже на родном языке, канон точной рифмы продолжает властвовать безраздельно. Даже теоретический противник рифмы Крейцвальд в своей лирике жертвует принципу точной рифмы и своей мыслью и правильностью эстонского языка. Он насильственно синкопирует слоги в угоду рифме и часто отбрасывает последнюю гласную, что в поэтике Опица разрешалось в исключительных случаях как «поэтическая вольность».

Так Крейцвальд поступает и создавая первое большое рифмованное произведение на эстонском языке «Лембиту». Старейший эстонский литературовед Кундер критиковал рифмовку Крейцвальда, которая «утомляет, так как эстонский язык беден рифмами», (EKS aastagaamat, 1884/85). И действительно, рифмы «Лембиту» быстро надоедают, как и вообще подбор рифм того времени, крайне бедного в отношении рифмующихся слов. Рифмовка носит характер эпигонства, рифмы бесконечно по-

<sup>13</sup> «Über die Ehstnische Poesie» и «Über die bisherigen Versündigungen wider die Regeln der Poesie in der ehstnischen Sprache», опублик. у Rosenplänter'a в «Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache». Zweites Heft, Pernau, 1813, стр. 15—43. Viertes Heft, Pernau, 1815, стр. 15—43. Viertes Heft, Pernau, 1815, стр. 1—55.

<sup>14</sup> Beiträge, IV, 18.

<sup>15</sup> Перевожу мысли Фрея на современный язык.

<sup>16</sup> «Etwas über die ehstnische Poesie, hauptsächlich in Beziehung auf die erste Abhandlung im Vierten Heft dieser Beiträge, von einem Ungenannten.» — Beiträge, VI, стр. 11—28, Pernau 1816.

вторяются. Но сила традиции такова, что и Крейцвальд, теоретически высказывавшийся против употребления рифмы,<sup>17</sup> ради достижения точной рифмы зачастую насилует и мысль и родной язык.

Такое традиционное рифмоплетство продолжается и в годы, когда в немецкой поэзии канон уже не считается общеобязательным. Еще в 1878 году стиховед эпохи «национального пробуждения» Яан Бергман в своей статье об эстонской поэтике<sup>18</sup> дает такое определение рифмы: «рифмой мы называем точное созвучие в конце стиха, в котором различна только доударная согласная <. >, а все остальные буквы, гласные и согласные, совершенно одинаковы как по длине, так и по ударению и по произношению» Рифмы подразделяются на мужские, женские, дактилические и тавтологические. Итак, наш Буало строго требует соблюдения чистоты и точности рифмовки. Однако, даже сам Бергман в своих стихах более чем 1000 раз нарушает собственные правила, а 30% стихов он не сумел снабдить рифмой (3149 стихов). Количество неточных рифм в стихах Бергмана достигает 13 процентов, хотя он и был одним из наиболее точных рифмачей своего времени.<sup>19</sup>

У других поэтов «национального пробуждения» количество неточных рифм, т. е. отклонений от канона, еще больше. У Михкеля Веске неточных рифм 43% (к числу рифмованных строк), в лирике Крейцвальда (Сборник «Песни вирусского певца», 1865, «Vigu lauliku laulud») я нашел на 68 страницах 185 неточных, недостаточных, канонически «нечистых» рифм. Дальнейшие подсчеты отсутствуют, но ясно, что теоретики (Бергман) исходили не из практики, не из имеющихся стихов, а из прочитанных устаревших немецких учебников поэтики.

Для характеристики рифмы эпохи «национального пробуждения» рассмотрим вкратце еще рифму в стихах доктора Михкеля Веске (1843—1890), поэта, стоящего на исходе названной эпохи. Взяв 2000 стихов,<sup>20</sup> находим, что число зарифмованных стихов — 57%, из них чистых рифм («чистыми» мы признали здесь в соответствии с традицией и флексийные, если созвучие не ограничивается только одним и притом кратким

<sup>17</sup> В предисловии к сборнику своих ранних стихотворных переводов «Angerwaksad» (1861) Крейцвальд даже находит, что эстонскому языку вообще не свойственны созвучия «хвостов слов». Такого же мнения придерживался и другой поэт «национального пробуждения» Адо Рейнвальд (1847—1922), вопрошавший: «к чему звенеть концами слов?». Но и эти рифмофобы писали рифмованные стихи.

<sup>18</sup> J. Bergmann, Luuletuskunst. Lühike õpetus luulekunsti koorest, Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamat. (Искусство стихотворства. Краткое учение о форме поэзии. Статья в кн.: Ежегодник Эстонского Литературного Общества), 1878, стр. 44.

<sup>19</sup> Подсчёты сделаны мной по второму изданию его стихотворений (Laulud, 1923).

<sup>20</sup> По сборнику Dr. Weske laulud (Песни доктора Веске), Wiljandi, 1899, стр. 144.

гласным) примерно 60%<sup>21</sup>. Из них 41% флекссионных! Бросаются в глаза бесконечное повторение все тех же слов и столь же монотонное употребление флексий. Вот ряд типичных для Веске рифмоштампов: ka: maa, sa: maa, ta: maa, sa: ka, ka: ta, sa: ma, peal: seal, peal: heal, heal: seal, meel: keel, sul: mul. В арсенале его женских рифм особенно часто повторяются: lugu: sugu, ilu: vilu, saksa: maksa, peiu: peiu. Анализируя неточные рифмы Веске, устанавливаем, что он сопоставляет разные гласные: ä: e (11 раз), o: u (14 раз), i: ü (9 раз), даже e: õ (13 раз), äi: ai: ei, реже u: a, õ: e (lõõb: teeb), o: õ (on: õnn), ä: a. Веске не считается с долготой гласных, столь различно звучащих в эстонском языке, рифмуя oja: looja; voolab: kolab; tures: juuges; saada: vaata; all: maal.

Более детальное рассмотрение неточностей было бы непонятно для русского читателя, как и анализ этой статистики в связи с содержанием стихотворений. Нельзя не признать, что учёный поэт и выдающийся деятель эстонской культуры М. Веске не был виртуозом рифмы. Часто рифма держится только на одном последнем гласном (таких рифм 153 из общего числа 600 исследованных). Оговоримся, что бедность рифм Веске часто компенсирует богатой инструментовкой стихов по примеру фольклорного.

Сопоставляя рифму д-ра Веске с рифмой Крейцвальда, нетрудно увидеть, что как правило господствует по-прежнему опцианский канон точной рифмы, обросший узуальными «поэтическими вольностями». Практика продвинулась в направлении более правильной рифмы. М. Веске избегает насилий над языком в поисках рифмы, столь характерных для Крейцвальда. Из этого нельзя, однако, выводить сравнительную оценку искусства рифмовки; М. Веске пользовался всем запасом рифм, уже найденных предшественниками, в то время как Крейцвальду приходилось находить их впервые. Повысились, конечно, и общий уровень эстонского литературного языка, его орфология и орфоэпия. Еще меньше, конечно, оценка рифмы, как и других элементов поэтической формы дает оснований для оценочных суждений о поэзии М. Веске в целом.

Историческая характеристика поэтов так называемого «младо-эстонского»<sup>22</sup> движения (господствовавшего в течение десятилетия 1905—1915) и его эпигонов будет дана в нашей второй статье в связи с анализом проникновения из Советского Союза новой системы рифмовки. Здесь же достаточно констатировать.

<sup>21</sup> Для вычисления процентов мной было исследовано 600 рифм д-ра Веске из названной книги.

<sup>22</sup> Традиционный термин «младо-эстонцы» применен здесь к участникам и попутчикам оформившегося около 1905 г. литературного движения «Noog-Eesti» («Молодая Эстония») и к вышедшим из этого движения эпигонам. Это течение характеризуется общей в основных вопросах эстетствующей и направленной «младо-эстонцев».

что «младо-эстонцы» и их эпигоны в годы буржуазной Эстонии стояли на платформе точной рифмы. Наряду с погоней за максимальной «чистотой» рифмы, разбивающейся о стенки старого канона рифмовка поэтов этого времени характеризуется рядом мало-продуктивных экспериментов по расширению этой системы в рамках традиционного канона (культивирование составных рифм у Йог. Семпера,<sup>23</sup> сознательное употребление тавтологических у Г Суйтса<sup>24</sup> и др.) Связь тогдашнего словаря рифм с фонетикой немецкого языка особенно ярко иллюстрирует рифма Марии Ундер. Эта именитая поэтесса принципиально сопоставляет подударные гласные i: ü, e: ä, e: ö, что совершенно необоснованно с точки зрения эстонской фонетики, но канонизовано у Опица и в позднейших немецких поэтиках. Приведём несколько примеров (цифры указывают на страницы сборника «Pärisosa», 1923): viha: püha (34), rida: süda (58), güüband: viiband (60), süda: ida (68); käind: teind (21), händ: end (21), kerind: närind, päise: veise (21), perve: närve (59), tsement: vänt (39), peru: käru (44), kera: ära (48), kerkis: märkis (67), käsi: vesi (68); eest: ööst (32).

Из данного нами сжатого обзора истории эстонской дореволюционной рифмы мы можем сделать некоторые, важные для нашей темы, выводы.

Начиная с XVII столетия и до революции 1917 года в эстонской поэзии принципиально господствовала заимствованная из немецкой поэзии традиция точной рифмы. Процесс канонизации точной рифмы идет в направлении все большего повышения требования «чистоты» рифмы, но, ввиду крайней бедности эстонского словаря рифм, узуально точными рифмами признаются и рифмы флексионные, полученные путем превращения дактиля в амфимакр. Спорадически встречающиеся у всех поэтов неточные рифмы объясняются как поэтические вольности и расцениваются как недостаточность мастерства. Недостаточность рифмы поэты стараются восполнить приемами инструментовки стиха, по примеру эстонского фольклора.

Итак, история эстонской рифмы с 1637 года до революции 1917 года является историей господства и канонизации точной рифмы, являющейся, по мнению пишущего эти строки, антиструктуральной для эстонского языка, где слева от подударной гласной стоит, как правило, не более одного согласного звука, а ударение всегда на первом слоге.

<sup>23</sup> Приведём несколько примеров из сборника Йог. Семпера (одного из виднейших современных поэтов Эстонии) «Jäljed liival» (1919): kõik et : lõiked, vett ja : petja (40), paat ja : paatja (45), akendet : pagend et (19).

<sup>24</sup> На тавтологических рифмах построена, напр., интродукция к сборнику «Tuulemaa» (1913).

Рифмующие по традициям XIX века поэты примерно в половине случаев ограничиваются рифмовкой только второго и четвёртого стиха четверостишия, причём зачастую и эта единственная рифма является шаблонной.

Только после революции 1917 года, во второй половине 20-х годов в эстонское стихосложение вошла новая традиция неточной рифмы, значительно расширившая эстонский словарь рифм и открывшая перед эстонской поэзией новые, широкие возможности. Немецкое влияние сменилось русским. Начался процесс деканонизации навязанной эстонскому стиху антиструктуральной точной рифмы. Утверждая этот принципиально-важный исторический факт, мы не утверждаем, что эстонская рифма не изменялась на протяжении трех столетий. Но мы утверждаем, что за всё это время в сути канона и в направленности процесса его применения не было принципиальных сдвигов. Конечно, вместе с ростом стихотворного мастерства повысилось количество и качество рифмы. Усовершенствовался эстонский литературный язык, народ выдвинул ряд талантов, повысилась общая и эстетическая культура. Но канон рифмовки, правила рифмоторчества в принципе остались теми же. Из допустимых, но нежелательных вольностей признания добиваются флексионные рифмы, до некоторой степени восполняющие естественную ограниченность «словаря рифм», но их массовое применение плохо отражается на культуре эстонского стиха.

При более детальном разборе мы смогли бы и в истории эстонской рифмы установить периоды относительного подъема и упадка, могли бы выделить и отдельные эпизоды более индивидуального рифмоторчества, но только за счет потери из виду общей линии развития. Ибо периодов в этой истории только два: господство точной рифмы (вплоть до революции 1917 г.) и процесс деканонизации точной рифмы за последние четыре десятилетия. Но прежде чем перейти ко второму периоду истории эстонской рифмы, мы должны уяснить себе в основных чертах историю появления неточной рифмы в новейшей русской литературе, а также и значение реформы эстонской рифмы.

Из боязни упреков в «формализме» у нас отстает изучение проблем поэтики. Неоспоримая и никем, кажется, не оспариваемая истина, что нельзя изолировать форму литературного произведения от его содержания (как будто элементы формы не являются одновременно и составной частью содержания, носителями идей, тем, эмоций). бесконечно повторяемая, становится жупелом и тормозом для многих филологических исследований. Работа старой гвардии русского литературоведения над проблемой теории рифмы (В. Жирмунский, Б. Томашевский, Л. Тимофеев, М. Штокмар) не нашла продолжателей. Однако, сложнейшие проблемы рифмы могут быть освещены только путем кропотливого, трудоемкого сравнительно-исторического изучения происхождения<sup>25</sup> и развития рифмы в мировой литературе.

<sup>25</sup> Эта проблема, несмотря на огромную литературу, до сих пор решена совершенно неудовлетворительно.

Без анализа техники поэтических средств и без конкретного изучения исторического процесса обогащения техники литературного анализа нельзя до конца понять историю литературы.

Мы рассматриваем рифмотворчество, эту составную часть стихотворчества, как особую форму выражения активной человеческой деятельности. Продукты этой деятельности, рифмованные стихи, имеют определенную структуру, причем рифма является элементом организации стиха<sup>26</sup> и несет определенные функции. В реалистической поэзии функциональное значение рифмы преобладает над её эвфоническим значением. Рифмотворчество, как и стихотворчество в целом, приобретает смысл только в связи с другими проявлениями активной человеческой деятельности в цепи общественных отношений. Вот почему изучение рифмы не является вопросом «только формы», а имеет такое же значение, как и изучение, например, технических структур. Кажущаяся формалистичность подхода объясняется техникой углубленного анализа, временно сосредоточивающего всё внимание на элементах формы литературных явлений. Наряду с другими научными заданиями необходимо и изучение этих элементов. Рифмотворчество<sup>27</sup> является не только выражением психических процессов автора, но и целеустремленной деятельности, а рифма — материалом, языковым средством при формулировке идейного, интеллектуального, эмоционального содержания. Поэтому объем и содержание понятия рифмы «конвенционально», то-есть является предметом как бы соглашения<sup>28</sup> и изменяется в зависимости от эпохи и культурных традиций той или иной литературы. Б. Томашевский прав, утверждая: «Явление рифмы есть явление исторически изменчивое. Поэтому нельзя определять рифму вообще. Ее следует изучать и наблюдать всегда в определенных рамках. Попытка найти универсальное определение рифмы всегда наталкивается на опасность сделать такое определение бессодержательным. Современная рифма была бы для поэтов XVII века совсем не рифмой, подобно тому как для современных французских поэтов многие рифмы классиков уже не звучат как рифмы.»<sup>29</sup> Система рифмовки меняется не только

<sup>26</sup> В русской поэтике это впервые подчеркнул В. М. Жирмунский, давший рифме в кн. «Поэзия Александра Блока», 1922, следующее определение: «Рифмой мы называем звуковой повтор в конце соответствующих ритмических групп (стиха, полустушия, периода), играющий организующую роль в строфической композиции стихотворения».

<sup>27</sup> Исследователь не связывает с этим термином никакой оценки, употребляя его в его прямом смысле.

<sup>28</sup> Употребляя здесь за неимением лучшего термины «соглашение» и «конвенциональный» (>франц. «conventionnel»), следует уяснить себе во избежание недопонимания, что этими терминами обозначается отнюдь не произвольная или беспричинная договоренность, а исторически сложившиеся к определенному времени и канонизируемые этой эпохой вкусы или правила.

<sup>29</sup> Б. Томашевский, К истории русской рифмы, Труды отдела новой русской литературы Института русской литературы АН СССР, ч. I, 1948, стр. 233—280.

от эпохи к эпохе, но и от школы к школе и от одного поэта к другому

Однако в дальнейшем Томашевский, как нам кажется, всё же переоценивает звуковое значение рифмы и её зависимость от произносительных норм.

Акмеист Георгий Адамович, ратуя за фонетически-точную рифму, приводит следующую шутку:

«Лет через 200—300 филологи, вероятно, решат, что в начале XX века в русском языке последние согласные не произносились. И основанием для такого заключения будут русские стихи. Ведь мы теперь рифмуем труба и барабан, пламя и память <. > Это позволяет с легкостью завоевывать новые страны для русской поэзии».<sup>30</sup> Адамович, находясь в плену фонетического понимания рифмы, не мог понять развития рифмы в новейшей русской поэзии. Борьба и барабан — прекрасная рифма, как доказало творчество Маяковского, канонизирующее новую неточную рифму, как средство организации стиха. Это положение еще ярче подтверждается историей проникновения неточной рифмы в эстонскую поэзию. Здесь все варианты неточной рифмы утвердились несмотря на то, что эстонский язык не знает редукции гласных и, следовательно, неточная рифма была признана достаточной только на основании литературной «канонизации» (см. выше). И мы можем точно проследить проникновение неточной рифмы по русским образцам, её канонизацию, смену старой немецкой традиции новой, русской. Это произошло в двадцатые годы нашего столетия.

Поэты господствовавшей накануне революции так называемой младо-эстонской школы («Noor-Eesti») и их эпигоны в буржуазной Эстонии стремились к «чистой» (т. е. возможно точной) рифме старого образца и к виртуозности в этой области (употребление каламбурных и составных рифм с соблюдением возможной точности равнозвучия). Однако, несмотря на возросшее значение языка и виртуозность поэтов, точная рифма все больше теряла эстетическое качество неожиданности, «нечаянной радости». Ввиду крайне ограниченного количества рифмующихся слов в эстонском языке все слова были уже «зарифмованы», надоедали монотонностью неизменного повторения. Причина лежит в самой структуре эстонского языка: ударение всегда на первом слоге, слева от подударного гласного стоит только одна согласная (за исключением редких сочетаний kl, kg, pl, rg, tg). Флекссионные рифмы, зачисляемые гласной со слабым второстепенным ударением, не звучат и не дают эффекта неожиданности. Необычайное разнообразие падежных окончаний (14 падежей), обилие дифтонгов и гласных, их различная долгота — всё это еще больше ограничивает выбор точных рифм. Все эти

<sup>30</sup> В статье: Г А д а м о в и ч, Два слова о рифме, Альманах «Цех поэтов», II—III, Берлин, издательство С. Эфрон; 1922.

(и еще некоторые другие, для простоты опущенные в нашем изложении для русского читателя) структуральные свойства эстонского языка не благоприятствуют нахождению созвучных слов.

Целый ряд рифм давно превратился в надоевшие штампы. Если у поэта на конец строки попадало, напр., слово «jūmal» (бог), то рифмой непременно служило «gūmal» (глупый), так как остальные возможности («hūmal» — ботан. термин «хмель» и «kūmal» от «kūta» — «отблеск») были малопродуктивными. На столь необходимое для лирики понятие, как любовь («aigustus») не было вообще рифм (только малопродуктивное в живом языке «narmastus» — «издегивание»). На большинство многосложных слов нет рифм или же имеется два-три созвучия, что, конечно, мешало заполнению таких стихов желаемым содержанием. Количество мужских рифм настолько незначительно, что читатель знал весь репертуар наизусть. И, однако, при таком затрудненном положении, культивировалась точная рифма, проникшая из чужой традиции и по своему существу являвшаяся антиструктуральным для эстонского стиха явлением. Ассонанс и аллитерация, столь свойственные эстонскому языку, не признавались канонической поэтикой полноценными концовками — рифмами; спорадически появлявшиеся неточные рифмы объяснялись как вольности; более требовательные авторы их избегали. Это не могло не отразиться и на содержании эстонской поэзии, тормозя её развитие, несмотря на общий рост эстонской культуры и развитие эстонского литературного языка. Ведь заполнению формы содержанием противодействовала необходимость подбирать языковые средства из небольшого арсенала рифмообразующих слов. Требуемая традицией форма рифмы крайне суживала возможности целесообразного выражения содержания (мысли, чувства, волеизъявления). Конечно взаимоотношение между формой и функцией рифмы является только одним из элементов развития поэзии в полифонии других факторов на данном историческом этапе, но совершенно игнорировать и этот фактор не приходится. Появилась необходимость деканонизации господствующей опицианской традиции. Это произошло в 1924 году под прямым воздействием новой русской рифмы в результате сознательного восприятия новой традиции.

Эстонская поэзия не развивалась в отрыве от развития русской литературы даже в те годы, когда односторонняя ориентация на запад была лозунгом дня. Даже в творчестве вождя «младо-эстонцев» Густава Суйтса, провозгласившего лозунг «Останемся эстонцами, но станем и европейцами!» и сознательно ориентировавшегося односторонне на Запад и на Финляндию, мы можем проследить влияние русской поэзии.

Однако, пути и особенности проникновения в эстонскую поэзию новой (русской) традиции рифмовки, еще не исследованный процесс борьбы старого и нового канонов и перестройка системы рифм в послереволюционной эстонской поэзии требует обстоятельного специального рассмотрения, которым мы займёмся в особой статье.

## МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ — ПОЭТ, ПУБЛИЦИСТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Доц., канд. филол. наук Ю. М. Лотман

Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов принадлежал к заметным деятелям раннего этапа декабристского движения. Не являясь центральной фигурой или даже участником ведущих тайных обществ — вся его деятельность развевалась на периферии декабризма — он интересен, однако, как деятель, во взглядах которого чрезвычайно выпукло отразились характерные черты ранней стадии формирования дворянской революционности.

Между тем, трудно назвать другого участника общественной борьбы 20-х гг. XIX в., политическая биография которого содержала бы столько «белых пятен», ставила перед историком, вплоть до настоящего времени, столько загадочных, нерешенных вопросов.

Колоритная фигура гр. М. А. Дмитриева-Мамонова и его трагическая судьба давно уже привлекали внимание исследователей. Еще в конце 1860-х годов Н. Киселев обратился к читателям «Русского Архива» с призывом указать местонахождение записок недавно скончавшегося Мамонова.<sup>1</sup> В дальнейшем рукопись эта, видимо, оказалась в руках П. Бартенева, считавшего, однако, что «Записки» по цензурным условиям «еще не могут быть изданы в свет».<sup>2</sup> В настоящее время они утрачены.<sup>3</sup>

В конце XIX в. появился ряд заметок и публикаций, содержащих ценные, но отрывочные сведения о жизни и деятельности Мамонова. Новый этап изучения политических воззрений Дмитриева-Мамонова связан был с открытием доступа к материалам верховного суда и следственной комиссии по делу декабристов. В 1906 г. А. К. Бороздин опубликовал извлеченные из названных архивных фондов конституционные наброски Дми-

<sup>1</sup> Н. Киселев, Существуют ли записки графа М. А. Мамонова? Русский Архив, 1868, № 1.

<sup>2</sup> Русский Архив, 1877, № 12, стр. 389.

<sup>3</sup> См. М. К. Азадовский, Затерянные и утраченные произведения декабристов, Литературное наследство, т. 59, Изд. АН СССР, 1954, стр. 747.

триева-Мамонова.<sup>4</sup> Бумаги Дмитриева-Мамонова, хранящиеся в делах следственной комиссии, до сих пор являются основным источником при изучении воззрений основателя Ордена Русских Рыцарей. Они были широко использованы В. И. Семевским в его капитальном исследовании по истории декабристской идеологии.<sup>5</sup>

В советской исторической литературе вопрос о характере деятельности Дмитриева-Мамонова и созданного им общества подымался неоднократно, хотя и не был предметом специального рассмотрения. Краткие, но весьма содержательные характеристики Ордена Русских Рыцарей находим в работах Н. М. Дружинина,<sup>6</sup> А. Н. Шебунина.<sup>7</sup> Наконец, в последние годы вопрос этот вновь был детально рассмотрен в обширном итоговом труде М. В. Нечкиной.<sup>8</sup> В результате исследовательских усилий общий характер программы Ордена Русских Рыцарей и место этой организации в ряду других декабристских обществ определены в достаточной полноте. И все же ряд вопросов как частного, так и общего характера остается пока невыясненным. Это и определяет необходимость специального рассмотрения как эволюции воззрений Дмитриева-Мамонова, так и характера организованного им тайного общества. Вопрос имеет, однако, и другую сторону. М. А. Дмитриев-Мамонов был человеком с бесспорным дарованием литератора: произведения его занимают определенное место в истории декабристской поэзии и публицистики. Между тем, если историки общественной мысли не раз обращались к его произведениям, то внимания историков литературы они не привлекли. В этом смысле показательна ошибка такого авторитетного исследователя декабристского литературного наследия, как М. К. Азадовский. В указанной выше статье он писал: «Из стихотворений М. А. Дмитриева-Мамонова известно только одно, — опубликованное В. И. Семевским».<sup>9</sup> Между тем, еще В. И. Семевский указал на существование целого цикла ранних стихотворений Дмитриева-Мамонова, опубликованных в 1811—1812 г. в журнале «Друг юношества». Однако гораздо более значительно другое: произведения Мамонова позволяют сделать некоторые общие наблюдения над зависи-

<sup>4</sup> См.: Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства, под ред. А. К. Бороздина, Спб, 1906, стр. 145—157.

<sup>5</sup> В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, Спб. 1909, стр. 384—415 и 663—668.

<sup>6</sup> Н. М. Дружинин, Масонские Знаки П. И. Пестеля, Музей революции Союза ССР, сб. 2-й, М., 1929, стр. 32—40. Его же, Декабрист Никита Муравьев, М., 1933, стр. 85—86.

<sup>7</sup> А. Н. Шебунин, Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи, Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, Изд. АН СССР, М.-Л., 1936, стр. 48—50.

<sup>8</sup> М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. I, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 132—138.

<sup>9</sup> М. А. Азадовский, ук. соч., стр. 692.

мостью принципов декабристской публицистики разных этапов от идеологии и тактики исторически сменяющих друг друга тайных обществ.

\*

\*

\*

Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790—1863) родился в богатой и родовитой семье. Отец будущего декабриста — граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов — был одним из многочисленных фаворитов Екатерины II. Именно в это время он сделался одним из богатейших людей России, состояния которого не могли поколебать ни собственное расточительство, ни щедрые пожертвования сына, Матвея Александровича Мамонова, в 1812 г. ни почти сороколетняя опека над последним разных, часто сменявшихся и не всегда добросовестных лиц.<sup>10</sup> Однако отец Мамонова никак не может быть причислен к «случайным людям» XVIII в. Ведя свой род по прямой линии от Владимира Мономаха, Дмитриевы-Мамоновы не забывали, что имеют гораздо больше прав на всероссийский престол, чем царствующая династия. Мысль об этом жила еще в середине XIX в. в сознании захудалого потомка Дмитриевых, незначительного литература М. Дмитриева — племянника известного поэта. В своих мемуарах он писал: «Мы приходим по прямой линии от Владимира Мономаха, и по мужской, а не по женской, как Романовы — мнимые родоначальники наших государей, которые совсем не Романовы, а происходят от голштинцев». Далее тот же автор указывает, что род их состоит из двух ветвей: «старшей линии — Мамоновых» и «младшей, просто Дмитриевых, к которой принадлежу и я».<sup>11</sup>

М. А. Дмитриев-Мамонов получил обычное в богатых дворянских семьях конца XVIII — начала XIX вв. домашнее образование и «с малых лет пристрастился к чтению исторических

<sup>10</sup> Н. Тургенев писал впоследствии: «Граф Мамонов превзошел их (московских сановников-богачей — Ю. Л.) величием своих пожертвований: не будучи доволен тем, что предложил императору многие миллионы рублей, помещенные в государственных и кредитных учреждениях и бриллианты не меньшей стоимости, он предоставил в распоряжение Александра все свое недвижимое имущество, стоившее также многие миллионы» (N. Tourgeneff, *La Russie et les Russes*, Bruxelles, 1847, t. I, p. 161—162). Правительство предложило Дмитриеву-Мамонову вместо этого снарядить на свои средства кавалерийский полк. «Некоторые маменьки после того заметили, что граф уж не такой завидный жених» (Пушкин, Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1948, т. VIII, кн. I, стр. 154). Однако и после этого его состояние оставалось огромным. В 1860 г. Дмитриеву-Мамонову принадлежало 90 тыс. десятин земли, 15 тыс. душ мужского пола и капитал более 200 тыс. рублей в билетах государственного банка, не считая хранившихся в Московской дворянской опеке драгоценностей на сумму свыше 200 тыс. рублей (См. Отчет Публичной Библиотеки за 1896 г., стр. 23; Русская старина, 1890, № 4, стр. 179; В. И. Семевский, ук. соч., стр. 667—668).

<sup>11</sup> М. А. Дмитриев, Воспоминания, Отдел рукописей Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Ф. 178, ед. хр. М. 8184/1, стр. III и IV

книг». <sup>12</sup> Нам почти ничего не известно о характере этих исторических штудий, однако, любопытно, что особое внимание его привлекли крестьянские восстания в России XVIII в. В замечаниях на запрещенную в России книгу Кастера «Жизнь Екатерины II, императрицы России» он писал: «Было бы долго перечислять все собранное мною о возмущении Пугачева < . . >». Рассказы о романтических странствованиях Пугачева, о его познаниях и способностях столь же несправедливы, как и уверения, будто он был глуп и подл. Он был только отважный плут». Далее он видит главную причину сочувствия народа Пугачеву в обещании «воли крепостным крестьянам» и опровергает утверждение, что «Пугачев был трус». <sup>13</sup>

Дмитриев-Мамонов быстро продвигался по служебной лестнице: в 1807 г. он камер-юнкер, а в 1810 г. — уже оберпрокурор 6-го департамента Сената. <sup>14</sup> Однако служебные успехи мало интересовали Дмитриева-Мамонова — конец 1810-х годов был для него временем напряженных идейных исканий. Он сближается с московскими масонскими кругами и быстро переходит от простых иоанновских — к высшим андреевским степеням. Среди высших степеней его особенно привлекает тамплиерство с его суровой дисциплиной, строгой конспирацией и проповедью самоотверженной борьбы во имя орденских целей. В 1807 г он в качестве великого мастера подписал и скрепил печатью «Обряды принятия в ученическую, товарищескую и мастерскую степени». <sup>15</sup>

Рукопись эта, переписанная писарским почерком, но выправленная рукой Дмитриева-Мамонова, позволяет определить и идеологическую позицию ее составителя. Она в основном повторяет многочисленные масонские обрядники и почти лишена черт своеобразия. Не оригинальна она и в общем истолковании цели масонства. Последняя усматривается в самоусовершенствовании и самоисправлении, «состоит в том, чтоб приуготовлять» «членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум». <sup>16</sup> Это должно привести и к окончательной цели — исправить «весь человеческий род». <sup>17</sup> Именно таким путем масоны должны «противоборствовать злу, царствующему в

---

<sup>12</sup> И. А. Арсеньев, Слово живое о неживых (Из моих воспоминаний), Исторический вестник, 1887, февраль, стр. 357.

<sup>13</sup> По поводу книги Кастера. Рассказы и замечания графа М. А. Дмитриева-Мамонова, Русский Архив, 1877, № 12, стр. 396—397. Далее — опровержение утверждения Кастера о чеканке Пугачевым собственной монеты, которую Мамонов, по его словам, «разыскивал» «всячески и напрасно». Ср. [Castera], Vie de Catherine II, impératrice de Russie, t. II, Paris, 1797, стр. 79.

<sup>14</sup> См. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, Слб, 1866, стр. 126.

<sup>15</sup> Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М. 832.

<sup>16</sup> Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М. 832. л. 10.

<sup>17</sup> Там же, л. 10 об.

мире». <sup>18</sup> И хотя отступнику угрожают страшной казнью (голова будет «отсечена, сердце, язык и внутренности вырваны и брошены в бездну морскую» <sup>19</sup>), но реальное содержание этих угроз равнялось нулю — всякий путь насильственной борьбы был заранее осужден, и в самом начале беседы великого мастера с «ищущим» последний предупредился: «Если вы, государь мой, могли иногда возомнить или еще и теперь опасаетесь, размышляя, что нет ли чего между нами противного богу, вере, узаконениям правительства, установлениям общества или благодравию <так!> и праводушию гражданина, то я уверяю вас моим в всяя ложи словом, что сего и подобного тому между нами нет и не бывало». <sup>20</sup>

Однако политический индифферентизм масонства не удовлетворял уже Дмитриева-Мамонова в эти годы. Показательны поправки, которые он внес в клятву, приносимую «ищущим» в момент принятия его в ложу. Первоначальный текст присяги полностью совпадал с встречающимися и в других русских обрядниках. <sup>21</sup> Однако Мамонов вычеркнул в клятве после требования сохранения «непоколебимой верности богу» слова «закону, правительству, отечеству», а после обещания «помогать ближним моим» вставил: «стражд<ущему> человек<еству>». <sup>22</sup>

Постепенное перемещение центра интересов будущего декабриста из сферы абстрактного масонского морализирования в область живых политических интересов легко можно проследить, рассматривая эволюцию творчества Мамонова как поэта в 1811 — начале 1812 годов.

Первые появившиеся в печати стихотворения Дмитриева-Мамонова несут на себе печать влияния поэзии С. Боброва. Это «Огонь» (Друг юношества, 1811, ноябрь, стр. 111—115). «Вещание премудрости о себе» (там же, декабрь, стр. 88—97) и некоторые другие произведения, укладывающиеся в традицию масонской поэзии. Однако стихотворения «Честь» (там же, 1811, декабрь, стр. 92—97), «Гению» (там же, 1812, январь, стр. 1—6), «Истина» (там же, 1812, апрель, стр. 1—7) свидетельствуют о возрастании политических интересов. Отмеченные печатью воздействия поэтики Державина, они несут следы влияния и политической концепции автора «Вельможи».

В центре их — добродетельный гражданин,

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же, л. 14 об.

<sup>20</sup> Там же, л. 4.

<sup>21</sup> Ср., например, в рукописном обряднике ученической степени из собрания Ланского (Ешевского). Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Рукописный отдел, ф. 172, № 1985, лл. 15 об. — 16.

<sup>22</sup> Рукописное собрание Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М. 832, л. 14 об.

Все правде приносящий в жертву,  
Царю, живому — нищу, мертву  
Равно рекущий правый суд.  
Таков муж Чести и величья.  
Звук хвал! Греми ему во век!  
Почто ему вельмож отличья?  
Отличен он — он человек!<sup>23</sup>

В качестве положительных героев названы Регул, Аристид, Катон, Фабий и Леонид. Мамонова занимает вопрос соотношения истины и власти (стихотворение «Истина»):

Хотя он бармами сияет,  
Но бармы ложью не красны,  
И трон коль правдой небрежется,  
От трона божья отженется:  
Цари над нею не властны!<sup>24</sup>

Истина требует активного служения:

Любите истину, цари,  
*Раби, гласить ее дерзайте.*<sup>25</sup>

Положительная политическая программа этих стихотворений сводилась к идеалу царя, дарующего твердые законы и подчиняющегося им, то-есть к октроированной конституции.  
Царь

...сердцам уставы пишет  
И уставов первый раб.<sup>26</sup>

В печатном стихотворении Дмитриев-Мамонов прославлял этими словами Александра I. Однако, в заметках, не предназначенных для цензуры, мы встречаем иную характеристику царствующего монарха. В цитированных заметках о книге Кастера он писал: «Европейский монарх, который назовет Наполеона великим человеком, скажет правду Но что думает император Франции о современных европейских монархах? Ах!».<sup>27</sup>

Весьма неопределенными были, видимо, в этот период воззрения Дмитриева-Мамонова на крестьянский вопрос. Сохранившаяся в фондах Государственного исторического музея в Москве переписка его со старостой и крестьянами села Арефина Ярославской вотчины свидетельствует, что в 1807 г. Дмитриев-Мамонов считал звание помещика налагающим на него обязанности по управлению крестьянами и заботы об их благополучии. Он старательно разбирает крестьянские жалобы, наказывает

<sup>23</sup> Друг юношества, издаваемый Максимом Невзоровым, М., 1811, декабрь, стр. 94.

<sup>24</sup> Там же, 1812 апрель, стр. 4.

<sup>25</sup> Там же, стр. 7. Курсив наш — Ю. Л.

<sup>26</sup> Там же, май, стр. 2.

<sup>27</sup> Русский Архив, 1877, № 12, стр. 395.

старост и бурмистров за притеснения. Так, в письме от 15-го апреля 1807 г. читаем:

«Ярославской вотчины села Арефина бурмистру Василью Житкову, старосте и всем крестьянам.

Показанной вотчины крестьянин Семен Смирнов, был удержан здесь за свои деланные им бывши бурмистром разные многим крестьянам обиды и прочие бездельнические поступки, ныне к вам отпускается. Однако, в страх другим, должен быть непременно наказан, и для того пришлите ко мне достоверное известие, в каком количестве состоит его семейство, также и всякое имущество, дабы я, судя по тому, мог решиться и не оставил его без должного наказания.

Матвей Д. Мамонов».<sup>28</sup>

Через несколько месяцев, 6 июня 1807 г., он писал: «Касательно до солдатской женки Катерины Тимофеевой, у которой отданы были муж и два сына в рекруты, и она наперед сего просила меня, дабы дать ей по старости лет какое-нибудь пропитание, на что по повелению моему и определено вам по смерти ее давать ей по двадцати рублей на год, чем она и осталась довольна, но только не дано мне знать, по каким именно резонам отданы были как муж ее, так и после вдруг оба сына в рекруты и для того предписыва<ю> вам наистрожайше, дабы вы на всем <. >ловом мирском сходе в самую сущую п<равду> рассмотрели и по рассмотрении дали м<не> об оном знать обстоятельно и непре<менно>.

Матвей Д. Мамонов».<sup>29</sup>

Отечественная война 1812 г. была для Дмитриева-Мамонова, как и для многих будущих декабристов, временем бурного идейного созревания. С самого начала военных действий он оказался в центре событий. Вместе с московским ополчением Дмитриев-Мамонов принял участие в Бородинской битве, сформировал на свой счет казачий полк, проделал в чине генерала-майора кавалерии зимнюю кампанию 1812 г. и участвовал в заграничных походах 1813 г. Столкновения его казаков с местным населением и австрийскими войсками и резкое письмо Дмитриева-Мамонова царю по этому поводу привели к расформированию полка. Эпизод этот положил конец столь блестящей вначале служебной карьере Мамонова.

Однако 1812 год был для Дмитриева-Мамонова началом не только военной, но и общественной деятельности. Щедрое пожертвования поставили его в центр патриотически настроенной московской молодежи 1812 г. К этому времени относится сбли-

<sup>28</sup> ГИМ, Отдел рукописных источников, ф. 282, ед. хр. 82, л. 37.

<sup>29</sup> Там же, л. 34. Край письма оторван. Восстановленный текст даем в ломаных скобках.

жение его с П. А. Вяземским, поступившим в качестве офицера в мамоновский полк. Щепетильно-точный в воспроизведении исторических деталей А. С. Пушкин писал в повести «Рославлев», рисуя Москву 1812 года: «Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением».<sup>30</sup>

Отечественная война 1812 г была тем событием, которое помогло Дмитриеву-Мамонову, как и десяткам других деятелей декабристского движения, оформить неопределенные свободолюбиво-патриотические настроения и встать на путь политической борьбы.

Среди затруднений, встающих перед исследователем организованного Мамоновым Ордена Русских Рыцарей, прежде всего следует указать на датировку возникновения и на уточнение круга участников этой организации. М. Орлов в своем известном письме Николаю I от 29 декабря 1825 года показывал: «Я первый задумал в России план тайного общества. Это было в 1814 году».<sup>31</sup> Год этот принят в исследовательской литературе. Однако сам Дмитриев-Мамонов точно и определенно дважды указывал иную дату. В § 49 статута «Ордена» Мамонов писал: «Юбилей ордена есть день открытия первого правильного круга оного в России и подписания Pacta conventa августа 1 1812 года».<sup>32</sup> И далее, составляя надпись на золотом кольце — отличительном знаке сенатора «римской степени» внешнего ордена, Мамонов написал: «In hoc signo vinces 1812. 1812. 1812», но густо зачеркнул трижды повторенное число и поставил зашифрованное: «8121».<sup>33</sup> Данные Дмитриева-Мамонова подкрепляются таким осведомленным свидетелем, как член Коренной управы Союза Благоденствия и доносчик Грибовский, показания которого об обществе Мамонова-Орлова, как это следует отметить, неизменно точны и подтверждаются всеми имеющимися в нашем распоряжении источниками. Грибовский доносил об обществе, существовавшем «еще до французской войны в собранной на польской границе армии». В. Г. Базанов убедительно отождествлял это общество «под печатью елки и книги»

<sup>30</sup> Пушкин, Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1948, т. VIII, кн. 1, стр. 154. Текст «бессмертной речи», представляющей бесспорный интерес для истории общественных настроений 1812 г., не сохранился. Некоторое представление о ней дают пушкинские черновики: «У меня 15 тысяч душ и 3 м<иллиона>. Жертвую отечеству 3 миллиона и поголовным ополчением моих крестьян». (Там же, кн. 2, стр. 751). Пушкин считал речь Мамонова настолько значительной, что упомянул ее в чрезвычайно лапидарном плане романа: «война с Н<аполеоном>. Мол.<одой> граф Мамонов. — Мы едем из Москвы». (Там же, стр. 752). Характерно, что жених Полины в той же повести вступает в Мамоновский полк и погибает на Бородинском поле.

<sup>31</sup> М. Ф. Орлов и 14 декабря, публикация П. С. Попова, Красный Архив, 1925, т. XIII, стр. 160.

<sup>32</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 39.

<sup>33</sup> Там же, л. 46. Значение латинского текста: «Сим победиши».

с Мамоновским «Орденом».<sup>34</sup> Есть сведения о том, что в 1815 г. в Нанси Н. Тургенев пытался продолжать работу по организации «русского тайного общества Русских рыцарей» («Les chevaliers russes») <sup>35</sup> Впрочем, проверить эти сведения пока невозможно.

Как бы ни решался сам по себе весьма интересный вопрос о времени возникновения «Ордена», необходимо отметить, что этот ранний период его существования (до 1814 г.) не освещен никакими источниками, и вряд ли общество в эти годы может быть причислено к декабристским организациям. Появление идей дворянской революционности в то время не было еще исторически подготовлено. Как увидим, и в дальнейшем декабристский характер программы «Ордена» определился не сразу.

Не менее сложен вопрос об именах и числе участников общества. Вопрос этот привлек внимание М. В. Нечкиной, пришедшей к выводу, что «Орден русских рыцарей — самая многочисленная из известных нам ранних преддекабристских организаций».<sup>36</sup> Бесспорными участниками его можно считать М. Орлова, М. А. Дмитриева-Мамонова, Н. Тургенева, М. Н. Новикова. М. В. Нечкина убедительно обосновала причастность к «Ордену» Д. В. Давыдова. В. Семевский, расшифровывая приводимые Н. Тургеневым инициалы, предположил участие кн. А. С. Меншикова и А. Х. Бенкендорфа. Предположение это было воспринято последующими исследователями, кроме Шебунина. А. Х. Бенкендорфа следует решительно отвести. Прежде всего, следует отметить, что никаких данных в пользу этого предположения, кроме флигель-адъютантской должности и совпадения первой буквы фамилии, нет. Обычно принимаемое исследователями во внимание указание на обучение лица, зашифрованного Н. Тургеневым буквой «Б», в пансионе Николая

---

<sup>34</sup> В. Базанов, Вольное общество любителей российской словесности, Петрозаводск, Госиздат КФССР. 1949, стр. 59. Первого августа 1812 г. шли уже ожесточенные бои (это было время соединения армий под Смоленском) и ни о каких «*Racto conventa*» в армии не могло быть и речи. Это не исключает, однако, достоверности обоих свидетельств. В период, предшествующий началу военных действий, Вильна, благодаря присутствию там Александра I, превратилась в шумный центр придворной жизни. Мамонов вполне мог находиться в это время там, а в августе быть уже в Москве. Однако документальными свидетельствами по этому вопросу мы пока не располагаем.

<sup>35</sup> Emile Hautant, *La culture française en Russie (1700—1900)*, Paris, 1910, стр. 571. На это указание обратил внимание Е. И. Тарасов в кн.: Декабрист Н. И. Тургенев в александровскую эпоху, Самара, 1923, стр. 322. Ср. В. В. Пугачев, Из предыстории декабристского движения, Научный ежегодник Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского за 1955 год, Исторический факультет, Отдел II, Саратов, 1958, отдельный оттиск, стр. 40—45.

<sup>36</sup> М. В. Нечкина, Движение декабристов, Изд. АН СССР, М., 1955, т. I, стр. 134.

представляет гипотезу Семева и в тексте книги Н. Тургенева не встречается.

Тем большие сомнения вызывает возможность участия Бенкендорфа в обществе, ставившем своей целью «лишение иноземцев всякого влияния на дела государственные» и «конечное падение, а если возможно, смерть иноземцев, государственные посты занимающих».<sup>37</sup> Иноземцем же, писал Дмитриев-Мамонов, «перестает почитаться в ордене правнук иноземца, коего все предки, от прадеда до отца были греко-российского исповедания, служили престолу российскому и в подданстве пребывали, не отлучаясь из России».<sup>38</sup> Понятно, что лютеранин Бенкендорф, происходивший из чисто немецкой семьи, выдвинувшийся благодаря связям с «немецкой партией» павловского двора,<sup>39</sup> под эту категорию не подходил. Следует иметь в виду и то что Н. Тургенев в своей книге обозначал инициалами лишь лиц, причастность которых к тайным обществам была неизвестна правительству. Какие у него основания были щадить Бенкендорфа, даже если предположить, что сообщение это поставило бы в неловкое положение шефа корпуса жандармов? Какой смысл было хорошо осведомленному Грибовскому подавать через того же Бенкендорфа донос на Орден Русских Рыцарей? Вернее предположить, что под буквой Б. в тексте Н. Тургенева следует подразумевать флигель-адъютанта полковника Иллариона Михайловича Бибикова, об активной деятельности которого в Полтавской ложе М. Н. Новикова — дочерней организации «Ордена» — мы еще будем говорить. В доносе Грибовского упоминают еще один член «Ордена» — Алексей Пушкин. Это, конечно, не известный остряк, участник домашних спектаклей и посредственный поэт Алексей Михайлович Пушкин, а капитан Алексей Пушкин, сотоварищ К. Ф. Рылеева по масонской ложе «Пламенеющей звезды» (оба они числятся «братьями первой степени»)<sup>40</sup> Вопрос о том, в какой мере убедительно предположение об участии в обществе М. Невзорова, мы коснемся в связи с разбором «Кратких наставлений Русскому Рыцарю».

Есть еще одно свидетельство, представляющее интерес в данной связи. Известный медальер Ф. П. Толстой на допросе показал: «В 15-м году я был принят в одно благотворительное об-

<sup>37</sup> А. К. Бороздин, Из писем и показаний декабристов, М., 1906, стр. 147.

<sup>38</sup> ЦГИА, ф. 48, ед. хр. 15, л. 39 об.

<sup>39</sup> Отец его, Христофор Иванович Бенкендорф, рижский гражданский губернатор, был другом Марии Федоровны — дочери принца Фридриха-Евгения Вюртембергского — еще в бытность ее великой княгиней; бабушка, урожденная Ригельман фон Левенштерн, — воспитательницей детей Павла I. (См. Русский Архив, 1895, кн. 3, стр. 498).

<sup>40</sup> См. Tableau de la grande Loge Astrée pour l'an maçonnique 58 20 21, стр. 153—154. В. Г. Базанов высказал предположение, что «Это был не Алексей, а Андрей Пушкин, член ложи «Трех добродетелей». (ук. соч., стр. 59).

щество < . > здесь в Санкт-Петербурге г-м Новиковым». <sup>41</sup> Ф. П. Толстой был активным участником Союза Благоденствия, членом «Коренного союза», однако, об участии его в Союзе Спасения никаких данных нет. Да и в Союз Спасения, организованный в 1816 г., принимать в 1815 г. было невозможно. Мнение исследовательницы деятельности Ф. П. Толстого Н. Н. Ковалевской о том, что Толстой искажил дату приема в тайное общество «с целью маскировки», <sup>42</sup> нельзя принять. Вряд ли можно объяснить это и ошибкой памяти: знаменитый седьмой вопрос, «с какого времени, откуда заимствовали первые вольнодумческие и либеральные мысли», особенно интересовал следователей. Называя 1815 год временем приема в общество, Толстой сразу же выдвигал себя в ряды первых деятелей (вспомним, что Орлов, объявив себя первым заговорщиком — членом общества с 1814 г., сознательно совершал рыцарски-смелый поступок), рискуя вызвать дополнительные вопросы и значительно отягчить свою вину. Трудно увидеть здесь расчет и «маскировку», вернее предположить, что Толстой говорил правду. Показательно и то, что в русле основных декабристских организаций Толстой оказался ко времени основания Союза Благоденствия, то-есть в период затухания деятельности мамоновского «Ордена». Необходимо, однако, иметь в виду и другое. Представление о том, что прием нового члена обязательно связан с наличием программно оформленной организации и уполномочивающих инстанций, выработанное на материале позднейших этапов революционного движения, не всегда применимо к интересующему нас периоду. Бесспорно существование, наряду с основными тайными обществами, эфемерных, небольших объединений, возникших и исчезавших, не оставляя следа ни в письменных источниках, ни — позднее — в следственных документах. Возможно, что склонный (так же, как и позже М. Орлов) к самостоятельным действиям, видимо, не разделявший до конца ни программы, ни тактики тех тайных обществ, членом которых он являлся, Новиков мог принять Толстого не в Орден Русских Рыцарей, в котором он состоял, а в какую-либо задуманную им «свою» организацию. Вопрос этот можно будет решить лишь тогда, когда интереснейшая деятельность Новикова станет предметом специального исследовательского внимания. Пока можно лишь указать, что при определении круга воздействия «Ордена» имя Ф. П. Толстого не должно упускаться из виду.

В исследовательской литературе прочно утвердилось мнение об Ордене Русских Рыцарей как полумасонской организации. Характеристика эта требует уточнения. Вопрос взаимоотношения ранних декабристских обществ и масонства является ключевым для мамоновского «Ордена».

<sup>41</sup> ЦГИА, ф. 48, ед. хр. 232, л. 5.

<sup>42</sup> Н. Н. Ковалевская, Художник-декабрист Ф. П. Толстой. Очерки из истории движения декабристов. М., Госполитиздат, 1954, стр. 528.

Идеология масонства была диаметрально противоположна революционной. Вместо идеи перестройки общественного и политического порядка она отстаивала требование внутреннего морального самоусовершенствования. Признавая господство зла в обществе, масоны видели причину его не во «внешнем» порядке, а во «внутреннем» несовершенстве — в исконно злой природе человека. Теория эта была внутренне противопоставлена революционной антифеодальной идеологии XVIII в., и поэтому всякое дальнейшее развитие освободительного движения требовало борьбы с масонством, преодоления его влияния там, где это влияние имело место. Вместе с тем, масонство могло быть формой выражения идей не только реакции, но и дворянского либерализма. Идеи просвещения, филантропии, проповедь морального равенства, мысль о том, что человек ценен не «внешними» качествами — чином и богатством, а внутренними добродетелями — все это давало возможность истолковать масонство в либеральном духе.

Демократическая мысль XVIII в., выступая как теоретическое обобщение революционной практики народных масс, обосновывая надвигающуюся антифеодальную революцию, боролась с идеями дворянского либерализма, как с основным врагом, наиболее гибким и, следовательно, наиболее опасным. Взаимоотношение идей дворянской революционности, особенно на ранних стадиях ее формирования, с дворянским либерализмом (в частности, и в масонских формах) было более сложным. Здесь легко можно обнаружить внутренние связи. Вместе с тем, по мере оформления декабристской идеологии как революционной, осознавалась и внутренняя ее противоположность либеральным идеям, возникала возможность и необходимость отрицания того, что вчера еще было близким и ограниченным.

Однако у разбираемого вопроса есть и другая сторона. Масонство как либеральное движение наиболее широко проявилось в низших, иоанновских степенях. Между тем, факты говорят о том, что значительная группа видных деятелей декабризма не только сама прошла через увлечение высшими, сокровенными степенями, но и, уже вступив на путь политической борьбы, определенное время не оставляла мысли о возможности использования в этих целях андreeвского масонства. Решение вопроса подводит нас к необходимости рассмотрения некоторых особенностей тактики ранних декабристских организаций. Определение этих особенностей как попытки использовать старые (масонские) формы для нового (революционного) содержания не раскрывает сущности явления. Смена одних форм тактики другими закономерно определяется сменой программно-идейных установок. Сама мысль об использовании масонских форм для построения революционной организации решительно невозможна не только для революционного движения,

например, 60-х гг., но и для зрелых стадий развития декабризма. Следовательно, в самой тактике раннего декабризма заключалось нечто, позволяющее надеяться использовать организационные формы масонства.

Демократическая идеология в России конца XVIII в. исходила из представления о человеке, как существе разумном, способном к счастью, средством достижения которого является истина. Возможность справедливого общества заложена в самой природе человека. Несправедливое общество мыслится как ложное, неразумное, искусственно созданное. Поэтому первый шаг к освобождению — «вещание истины». Необходимо освободить людей от ложного взгляда на вещи, дать им возможность обрести «прямой». «Бедствия человека происходят» «от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы». <sup>43</sup> Поэтому революционные просветители XVIII в. верили в то, что освобождение людей, низвержение деспотизма, — дело естественное и простое. Слово истины легко будет подхвачено народом, ибо отвечает собственным интересам людей. Отсюда вера в массу и стремление обратиться к предельно широкому кругу слушателей. Свобода и добродетель корыстно выгодны человеку, и программа освобождения найдет широкий и органичный отклик во многих сердцах. У идеолога нет и не может быть тайн от просвещаемой им массы. Более того, поскольку «непрямой взгляд» — результат корысти «великих отчинников», слово истины должно легче всего дойти не до наиболее просвещенных, а до самых угнетенных членов общества. Свободы следует ожидать «от самой тягости порабощения». Такой подход совершенно исключал необходимость постепенной подготовительной работы, медленной, терпеливой пропаганды:

*Одно слово, и дух прежний  
Возродился в сердце римлян,  
Рим свободен* <sup>44</sup>

Подобная точка зрения была глубоко демократична, ибо рассматривала массы как главную действующую силу истории. Но, вместе с тем, по своей метафизической прямолинейности, она весьма абстрактно представляла процесс проникновения передовой идеологии в массы как «естественный», мгновенный и не давала теоретической основы для создания революционной организации. Между тем, в 20-е гг. XIX в., когда «Россия впервые видела революционное движение против царизма», <sup>45</sup> организационные и тактические вопросы освободительного дви-

<sup>43</sup> А. Н. Радищев, Полное собр. соч., т. I, Изд. АН СССР, М.-Л., 1938, стр. 227.

<sup>44</sup> А. Н. Радищев, Полное собр. соч., т. I, Изд. АН СССР, М.-Л., 1938, стр. 30. Курсив наш — Ю. Л.

<sup>45</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 234.

жения приобретают новую, совершенно не свойственную им в XVIII в. значительность.

Дворянские революционеры, по самой природе своего мировоззрения, не могли исходить из идеи активной роли народа в деле собственного освобождения и считали, что народное благо требует объединения небольшой группы просвещенных людей, действующих во имя интересов пассивной массы. Так рождалась сама идея тайных обществ.<sup>46</sup> В этом смысле весьма показательно столь полюбившееся Николаю Тургеневу высказывание Вейсгаупта. 25 июня 1817 г. — в разгар организации Ордена Русских Рыцарей — он записал в дневнике: «В Вейсгаупте < . > ясно доказывается польза и необходимость тайных обществ для действия важных и полезных: некоторые должны действовать, все должны наслаждаться плодами действий».<sup>47</sup>

Поскольку понятие свободы получало совершенно особый смысл, передовые деятели обращались не к народу, заинтересованному в собственном освобождении, а к дворянскому меньшинству, материальные интересы которого были антинародны; политическая этика основывалась на проповеди жертвы. Идея естественной, органической выгоды добродетели для человека не могла уже быть использована. Добродетель, истина — тяжкие узы, носить которые способен лишь человек, прошедший длительную моральную и политическую школу

«Тайное общество» в понимании ранних декабристских идеологов было «тайным» не только от правительства, но и от народа, во имя которого оно действовало. Народ по своему уровню сознания далек от идеалов свободы, — полагали декабристские руководители на этом этапе движения. Его надо спасти, несмотря на собственное его равнодушие, а порой и рабочую враждебность делу освобождения.

Любопытно, что тот самый теоретик, труды которого находились в центре внимания и Н. Тургенева, и М. Орлова, и М. Дмитриева-Мамонова, — А. Вейсгаупт именно потому и пришел к идее организации сторонников антифеодальных идей, что сам не был в этих идеях последователен и утверждал, что добродетель и истина не являются врожденными, «естественными» свойствами человека, в то время как с позиций метафизического антифеодального мышления XVIII в. идеалы свободы мыслились как нечто настолько присущее сознанию человека, что для распространения их ни предварительной пропаганды, ни выработки тактики не предусматривалось.

---

<sup>46</sup> Совершенно очевидно, что, по самой сути понятия, «тайное общество» в специфически декабристском истолковании находится в совершенно иных взаимоотношениях с народом, чем, скажем, политическая организация, определяемая термином «партия».

<sup>47</sup> Н. Тургенев, Дневник, III, стр. 37.

В специальном трактате по теории тайных обществ, весьма существенном для понимания организационных форм тайных революционных союзов начала XIX в., А. Вейсгаупт писал о том, что добродетели имеют слишком мало, а пороки слишком много притягательной силы для «неподготовленного» человека. «Для того, чтобы познать цену добродетели, нужно уже в ней преуспеть».<sup>48</sup> Это используется как обоснование необходимости создания *организации*, которая, пропагандируя истину, лишь постепенно и частично раскрывает свои тайны перед вовлеченными в нее членами.

С позиций демократического сознания теоретик-руководитель не только не может иметь каких-либо программных тайн от освобождаемой им массы или рядовых членов движения, но напротив — только объясняя людям их собственные интересы, он может увеличить число своих единомышленников. Другая позиция требует иных взаимоотношений. Добродетель — не возврат к исконно «естественному», она воспитывается. Раскрыть перед рядовым участником движения всю сумму программных требований — значит отпугнуть его бременем ожидающей его жертвы, размером предстоящих ему испытаний. Член общества лишь постепенно, по мере своего идейного созревания под воспитующим воздействием руководителей, постигает полноту политической программы и истинные цели своей организации.

На этом этапе общество неизбежно мыслится как замкнутая организация, строго конспиративная. Главные усилия его воспитательного влияния направлены внутрь: на круг лиц, подготовляемых ко вступлению, и нововступивших членов.

По мере демократизации общего круга руководящих теоретических положений подобная структура перестает удовлетворять — тайный союз начинает мыслиться как центр широкого идеологического влияния на окружающее общество; заговорщический характер ранних организаций преодолевается, но зато утрачивается и конспиративность, строгость внутренней дисциплины, структурная четкость, столь необходимые для революционной организации. Это вызывает потребность нового этапа — создания тайного, централизованного и дисциплинированного союза, но уже лишённого тех организационных форм, которые мешали активному воздействию на окружающее общество. Последние годы декабристского движения дают чрезвычайно любопытный материал о влиянии новых, значительно более демократических, идейно-тактических установок на попытки организационно-структурных реформ тайных организаций.

Вопрос о связи идейных установок и структуры тайного общества особенно сложен на ранних этапах развития. Мы уже

---

<sup>48</sup> A. Weishaupt, Pythagoras, oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst, Frankfurt und Leipzig, 1790, стр. 63.

отмечали, что биографически многие деятели декабризма прошли через увлечение масонством. Однако, как только взгляды того или иного деятеля определялись как революционные, само качество этого явления подразумевало размежевание с идеями масонства. Там же, где это размежевание не происходило или где масонские идеи вновь брали верх в сознании, совершался разрыв с дворянской революционностью и переход в лагерь умеренного либерализма. Такова была, например, судьба Александра Николаевича Муравьева. Охлаждение деятелей формирующейся дворянской революционности к масонским идеям подорвало основу интереса к ритуалистике свободных каменщиков. Однако исторический материал свидетельствует о том, что падение интереса к организационной стороне масонства произошло несколько позже. Уже порвав с масонскими идеями, такие деятели декабризма, как М. Н. Новиков, П. И. Пестель, М. Ф. Орлов и др., продолжали проявлять интерес к вопросам ритуала и внутренних форм организации ложи. В период, когда общество мыслилось как сложно построенное здание, в запутанных коридорах которого совершается постепенное перевоспитание рядовых членов, медленно возвышающихся до «сокровенного» знания — удела руководителей, оказывалось возможным положение, при котором отошедшие уже от масонских «забав» руководители могут еще рассматривать ритуалы как определенную педагогическую форму воздействия на вступающих на новый путь «профанов».

Так, Пестель, уже холодно и иронически простившийся с масонскими увлечениями, надеялся еще на воспитательное значение обрядности. По характеристике Н. М. Дружинина, церемонии, как и вся масонская ритуалистика, строились на определенном принципе, отчетливо сформулированном в обряднике Пестеля: «Ум сильнее приковывается к предметам, если они поражают зрение, и аллегория глубже запечатлевается в нашей душе». Эта система метко охарактеризована Н. М. Дружининым, как «идеология, облеченная в раскрашенную символику».<sup>49</sup>

М. Н. Новиков, уже критически настроенный по отношению к масонству («в масонстве только теории», — заявил он Ф. Глинке<sup>50</sup>), продолжал рассматривать масонские ложи как первую форму привлечения в тайное общество. В масонских ложах им были приняты П. И. Пестель, Ф. Н. Глинка, Ф. П. Толстой. На принципе такого использования масонской ложи была, как

---

<sup>49</sup> Н. М. Дружинин, Масонские знаки П. И. Пестеля, Музей революции Союза ССР, Сб. 2-й М., 1929, стр. 31.

<sup>50</sup> М. В. Нечкина, Союз спасения, Исторические записки, т. 23, Изд. АН СССР, 1947, стр. 142.

мы постараемся показать в дальнейшем, построена вся деятельность Новикова в Полтаве.<sup>51</sup>

М. А. Дмитриев-Мамонов пережил увлечение масонством, оставившее навсегда глубокий след на всем образе его политического мышления. Однако необходимо отметить, что в исследовательской литературе степень влияния масонства на Орден Русских Рыцарей, бесспорно, преувеличена: основной при характеристике, обычно, являются книга Н. Тургенева «Россия и Русские» и письмо М. Орлова Николаю I. При этом упускается из виду, что первый документ создает явно искаженную картину всего движения, а второй является весьма далеким от истины ввиду условий создания. И Н. Тургенев и М. Орлов были заинтересованы в том, чтобы скрыть политические устремления «Ордена», отвести внимание следователей от проектов тираноубийства, вызревавших в этом обществе, и представить его в виде политически безобидной попытки «восстановления» масонства «в таком виде, как оно существовало при Екатерине II».<sup>52</sup>

Правильное решение этого вопроса наметилось уже давно. Н. М. Дружинин указал на идеологическую близость раннедекабристских группировок Пестель — А. Муравьев и Орлов — Дмитриев-Мамонов. Тот же исследователь отмечал: «В интимном письме М. Орлову М. А. Дмитриев-Мамонов сознавался, «что степени не более как безделушки, детские игрушки» в сравнении с политической задачей Ордена: в этих словах звучит та же мысль, которая вызвала позднее ироническое суждение Пестеля о внешних эмблемах каменщиков».<sup>53</sup> Иронические высказывания Мамонова о масонах в период создания «Ордена» не единичны. «Катехизис, — писал он, — всегда нечто такое, что пахнет учеником, или церковью, или масонством».<sup>54</sup>

Однако, наиболее показательна в этом отношении сама организационная структура «Ордена», как ее задумал Дмитриев-Мамонов. Структура эта не получила должного освещения в ли-

<sup>51</sup> А. Вейсгаупт, называя таинственные обряды глупостями (Thorheiten), вместе с тем подчеркивал, что стремление людей к сокровенному ритуалу можно использовать для пропаганды освободительных идей, «подкрашивая» этим малопривлекательную саму по себе истину. «Кажется, что она (природа — Ю. Л.) хотела воспользоваться этим как средством, чтобы облагородить душу людей. Она нуждалась в этом как в средстве постепенно заманить людей, сначала пленить их при помощи честолюбия и глупостей, расширить подавленные воззрения на свободу, на уменьшение гнета, на новый вид власти, их дремлющие душевные силы занять мечтами и проектами, познакомить с лучшими, пленительными идеалами и тем самым приохотить их» к идеям свободы, постепенно доведя до полного понимания ее природы. Именно поэтому «должны тайные общества каждому другу добродетели казаться святыми и полезными». (A. Weishaupt, Pythagoras, oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst, стр. 87—88.)

<sup>52</sup> N. Tourgueneff, La Russie et les Russes, t. I, Bruxelles, 1847, стр. 160.

<sup>53</sup> Н. М. Дружинин, ук., соч., стр. 39.

<sup>54</sup> В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, Спб, 1909, стр. 404.

тературе потому, что исследователи, считая ту часть бумаг Мамонова, которая отмечена печатью ритуалистики, масонской и для политической физиономии тайного общества не существенной, не сделали ее предметом специального рассмотрения.

По замыслу Дмитриева-Мамонова, Орден Русских Рыцарей — организация, состоящая из двух больших частей. Во главе стоит группа руководителей, включающая, видимо, членов-учредителей, посвященных в сокровенные цели общества.

Она называется «Внутренний орден». Это — организация, имеющая чисто политический характер и полностью свободная от следов ритуалистики, что оговаривалось специальным пятидесятым параграфом устава: «Орден внутренний не имеет ни обрядов, ни ритуалов».<sup>55</sup>

Второй частью организации является «Внешний орден». Его предназначение — постепенная подготовка «ищущего» для приобщения к деятельности борца за политическое освобождение. Сама подготовка мыслится как цепь продуманных и последовательных воспитательных воздействий.

В бумагах Мамонова сохранилось письмо (вероятно, Орлову), чрезвычайно примечательное как по резкому противопоставлению ведущего центра «Ордена» «ведомой» массе рядовых участников, так и по отчетливо выраженному убеждению, что масонская ритуалистика необходима лишь как приспособление к уровню политического сознания членов «Внешнего ордена»: «Вы, который должны знать людей лучше, чем я, вы должны знать умственный кругозор большинства людей. Умных людей мало. Для заурядных же людей необходима видимость системы. Важные слова, нагромождение — все это создает систему весьма туманную, весьма темную для людей, развивших уже свой разум. Нагромождение, видимость системы — это мы уже имеем, и эта видимость даже имеет некоторое изящество, достаточное для такой неразберихи (*pour le brouillamini*). Что до меня, то я считаю, что две последние степени слишком ясны и слишком просты. Но делать и переделывать всю эту дребедень (*fatras*), называемую степенями, — это уж последнее дело. Главное в том, чтобы воспользоваться пылкостью своих последователей. Действительно, не все ли равно, что человек является посредственностью, если у него есть достаточно здравого смысла, чтобы понять превосходство известного дела, и

<sup>55</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 39.

В переписке с Орловым Мамонов пользовался французским языком (иногда включая русский текст), статуты «Ордена» написаны по-русски. Приводим весь текст в переводах. В случаях, когда текст был лишь частично опубликован Семевским, даем ссылку и на печатный, и на архивный источник, соблюдая правила публикации, принятые первым публикатором. В случаях, когда перевод Семевского представляется недостаточно точным, даем тексты в своем переводе.

достаточно храбрости и благородства души, чтобы принять в нем участие».<sup>56</sup>

Первым шагом на пути идейного воспитания будущих членов общества являлся отбор возможных кандидатур, установление круга лиц, внутренне созревших для восприятия революционных идей. Для этой цели Дмитриев-Мамонов решил изготовить специальную брошюру. Озаглавленная «Краткое наставление русскому рыцарю», брошюра должна была явиться пробным камнем («*materia prima*», — по характеристике Мамонова) для «ищущих». Поскольку читателем ее был еще «непосвященный», который в будущем мог оказаться и вне «Ордена», брошюра, конечно, не могла содержать четких программных требований. Она должна была быть построена так — это метко заметил доносчик Грибовский — чтобы «выписками из св. писания» была «прикрыта цель общества».<sup>57</sup> Следует не забывать, что брошюра была отпечатана не как подпольное издание, а проведена через цензуру, в чем, собственно говоря, не было и большой необходимости, ибо тираж в 25 экземпляров при условии заведомой неприемлемости текста для цензуры можно было изготовить, не прибегая к печатному станку. Представляется, что этого не учел блестящий знаток декабристской литературы М. К. Азадовский, когда следующим образом аргументировал не полную, по его мнению, идентичность «Кратких наставлений Р<усскому> Р<ыцарю>» из собрания М. Невзорова и печатной брошюры Мамонова: «Рукопись невзоровского собрания совершенно лишена конкретного политического содержания и не включает в себе ни какой-либо четкой программы, ни ясных и острых политических лозунгов. По этому памятнику трудно было догадаться о воинствующе-радикальной и тираноборческой позиции учредителя «Ордена русских рыцарей».<sup>58</sup> Однако, совершенно неясно, как могла бы книга, раскравающая «тираноборческую позицию ордена», пройти через цензуру, и удалось ли бы в этом случае Мамонову получить от Всеволожского, желавшего «сделать ему одолжение»,<sup>59</sup> разрешение на печатанье. М. К. Азадовский и М. В. Нечкина, бесспорно, правы, когда указывают на то, что в обнаруженном в 1949 г. тексте нет посвящения и что текст этот, видимо, перед печатаньем и переводом на французский язык подвергался переработке (что касается того, включает ли «невзоровский» текст «прибавления», о которых Мамонов писал Орлову, то вопрос этот решить трудно, поскольку мы не

<sup>56</sup> ЦГИА, ф. 48, л. 63. Курсив оригинала. Последний отрывок приведен у Семецкого, ук. соч., стр. 404.

<sup>57</sup> Цит. по книге: В. Базанов, Вольное общество любителей российской словесности, Петрозаводск, 1949, стр. 59.

<sup>58</sup> М. К. Азадовский, Затерянные и утраченные произведения декабристов, Литературное наследство, т. 59, кн. I, стр. 610.

<sup>59</sup> В. И. Семецкий, Политические и общественные идеи декабристов, Спб, 1909, стр. 400.

знаем ни текста этих прибавлений, ни того, как выглядели «Краткие наставления» до их введения).

При доказательстве неидентичности двух текстов указывалось и другое. Цитируя приведенное Семевским место из письма Мамонова Орлову: «Кандалы Катона и т. д. дьявольски не понравились гг цензорам», М. К. Азадовский заключает: «Этого выражения («кандалы Катона») в невзоровской рукописи нет». Подобный аргумент является плодом недоразумения. Бессмысленное с точки зрения исторической символики имени Катона, который покончил собой, желая лучше умереть свободным, чем жить рабом, выражение «кандалы Катона» возникло в результате ошибки Семевского при чтении рукописи Мамонова. В слове «кандалы» первое «а» представляет собой нечетко написанное «и»; буква, прочитанная Семевским как «д», на самом деле «ж» в специфической транскрипции конца XVIII в. — начала XIX ч. Таким образом, следует читать «кинжалы Катона». Следовательно, под текстом, который «дьявольски не понравился г.г. цензорам» следует подразумевать пункт 15-й дошедшего до нас документа: «Естьли бы тебе предложили диктаторский виссон Кесаря и кинжал Катона, что бы избрал ты себе в удел? Естьли ты поколеблешся хотя одну минуту, то знай, что ты исключил себя навеки из сонма духов повелительных. Иди и не смей воздвигнуть взор свой на сына чести и свободы. Иди ползай у позлащенных прагов надутых и ничтожных любимцев счастья; но не дерзай приблизиться к обители истинного Величия».<sup>60</sup>

В известном нам тексте «Кратких наставлений» тираноборческие мотивы звучат достаточно ясно, хотя и прикрыты еще масонской фразеологией.<sup>61</sup>

После прочтения «Кратких наставлений Русскому Рыцарю»

<sup>60</sup> Вестник Ленинградского университета, 1949, № 7, стр. 140.

<sup>61</sup> Видимо, к «Кратким наставлениям Русскому Рыцарю» относится не очень определенное свидетельство Н. Тургенева о сообщении каких-то материалов «Ордена» деятелям масонства. Хотя Тургенев, видимо, не удержавший в памяти всех деталей дела, туманно характеризует этот документ как «правила, или церемониал приему», однако, поскольку текст церемониала сохранился, мы можем с уверенностью утверждать, что он по характеру своему не мог быть сообщен не членам тайной революционной организации. Что же касается до «Кратких наставлений», то они, в период, когда Мамонову пришлось их проводить через цензуру под видом старинной масонской рукописи, вполне могли быть отданы для прочтения М. Невзорову. Знакомство Мамонова и Невзорова, издателя журнала, в котором печатались стихи первого, бесспорно. Невзоров, собиравший древние масонские рукописи, по всей вероятности, поверил Мамонову, что показанные ему «Краткие наставления Р. Р.» — подлинный древний масонский документ и переписал это сочинение в свою сокровенную тетрадь рядом с произведениями Юнга-Штильлинга. Это, возможно, объясняет причину нахождения «Наставлений» в бумагах Невзорова. Охарактеризованное выше отношение Мамонова к масонству, на наш взгляд, решает и вопрос о возможности участия Невзорова в «Ордене». Не следует забывать, что Невзоров был врагом всякой политической борьбы.

кандидат мог или отстраниться, как это сделал, например, согласно доносу Грибовского, некто К. Г., или выразить готовность вступить в «Орден». Однако здесь вполне осуществлялся вне-сенный Мамоновым еще в 1807 г. в обрядник масонский принцип: «Вас ведет рука, которой вы, однако, не видите».<sup>62</sup> Вступающий член принимался лишь во Внешний Орден. Однако и здесь круг его сведений оставался ограниченным. Согласно параграфам 27—30 статута «Ордена черных крестовых рыцарей совершенного союза молчания и святого гроба», как пышно именовалось общество для нововступающих, «наружный, внешний орден рыцарей, или Школа ордена крестовых рыцарей молчания и Союза св<ятого> Гроба состоит из трех степеней, кои приемлют имя языков. Первая степень, или первый язык, именуется израильский и разделяется на два класса, или две профессии. Вторая степень, или второй язык, именуется греческий и разделяется на два класса. Третья степень, или третий язык, называется римским».<sup>63</sup> Первоначально предполагалось, что еще до вступления во внешний орден будущий член «должен быть принят предварительно в первые три степени масонства», но затем Мамонов убрал это требование, как и упоминание вольных каменщиков в § 20-м и других.

Статуты первой степени сохранились не полностью. По имеющимся в нашем распоряжении отрывкам, можно прийти к выводу, что воспитательная работа в этой первой ступени «школы» тайного общества строилась на библейских образах. Свободолюбивая тенденция бесед и речей была еще затемнена религиозной символикой и эмблематикой. Однако и здесь сквозь героичку библейских образов отчетливо просвечивало гражданственное содержание. Так, в «Катехизисе первой профессии» «пароль, лозунг, знак и прикосновение» — условные эмблемы логи — истолковывались следующим образом: «Мы исчислили дни гнева, ибо мы рабствовали, а ныне свободны — мы кладем правую руку на меч в знак, что всегда готовы защищать полученную нами свободу, — мы касаемся руки, объемля кисть руки, в знак непрестанной готовности нашей сымать оковы».<sup>64</sup>

Однако идея борьбы изложена здесь еще столь абстрактно, в такой мере лишена политической конкретизации, что легко может быть истолкована для непосвященных как несколько видоизмененная обрядность тамплиерства — седьмой (храмовнической) степени масонства. Не случайно образ Иакова Молэ занимает в этой степени, как и в «Кратких наставлениях», большое место. Необходимо, однако, отметить, что по тексту Мамонова прошла чья-то другая рука (видимо, Орлова), которая несколько ослабила ритуалистику и усилила политическую на-

<sup>62</sup> Рукописное собрание Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М. 832, л. 12 об.

<sup>63</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 37.

<sup>64</sup> Там же, л. 22.

правленность документа. Так, в том же катехизисе ответ на вопрос: «Как тяжки были оковы, вас тяготившие», — первоначально был: «В сто тысяч пуд с фунтами и золотниками». Однако в дальнейшем текст этот был зачеркнут и вместо него вписано: «Несносной тяжести для мыслящего человека». На вопрос: «Какую победу обещал Вам Великий Ма<гистр>. .», — первоначально следовал ответ вполне в духе масонской символики: «Величайшую победу на востоке». Но и этот ответ был зачеркнут и заменен словами: «Победу над невежеством, над царством, над смертью» (победа над смертью — это воспитание мужества, готовности к героической гибели).<sup>65</sup> Эмблема С. С. С., вышитая на черном волосяном кольце члена ордена, расшифровывалась в этой степени как «силою сильно состязуемся, или славу со славою стяжаем» Орлов (?) предложил более энергичное: «сражайся, сражайся, сражайся».<sup>66</sup>

Если первая степень должна была возбудить в новопринятом члене мужество и свободолюбие, пока, однако, без определенной целенаправленности, то вторая степень, «язык греческий», основывалась на ином принципе. Ритуал, построенный в форме греческой республиканской символики, должен был привить участникам «работ» в ложе мысль о необходимости перестройки всей общественной жизни, причем особо обращалось внимание на то, что переделка эта должна совершиться без помощи правительства и в тайне от него. На этой же стадии «учения» в орденской «школе» член должен был усвоить *отличие ордена от масонской ложи*. Цели и средства этих организаций начинают противопоставляться.

Еще до принятия во вторую степень «ритор, вышед в приготовленную камору, говорит кандидату», что «все гражданские, духовные и светские установления требуют нового и необходимого преобразования» и «что преобразование сие не может быть произведено в действие открытым и явным образом, а еще менее с поспешностью и с ведома правительства (последнее приписано позднее! — Ю. Л.)». Далее ритор сообщал кандидату, что «контроверса < . > пиетистов и масонов, яко предметы < . >, умедляющие ход общего преобразования, должны быть отчуждены и отринуты истинным учением ордена нашего».<sup>67</sup>

После этого кандидат получал «к подписанию» «реверс на вопросы»:

- 1) Доволен ли он настоящим положением вещей в мире?
- 2) Доволен ли он настоящим положением вещей в отечестве своем?
- 3) В какой стране желал бы он родиться, если б не родился в России?

<sup>65</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, лл. 22 и 23.

<sup>66</sup> Там же, л. 23 об.

<sup>67</sup> Там же, л. 55 об.

4) Какое сословие, звание или ремесло бы он избрал, если бы довелось ему избрать оные по воле своей?

5) Который автор его любимый? Который автор предпочтается им всем прочим?

5) Кто его герой в истории?» и т. д.<sup>68</sup>

После того, как кандидат давал ответы, и если их находили удовлетворительными, он допускался к «работам» греческой степени, причем над ним совершался сложный обряд принятия и посвящения. В катехизисе данной степени цели определялись с гораздо большей, чем прежде, политической определенностью: «Вопрос: С кем сражаются рыцари креста?

Ответ: С иноплеменниками, желающими похитить свободу их, с царями, помышляющих (так! — Ю. Л.) погубить землю, правду и с илотами, кои порвоначально были ничто иное как рабы спартанцев, а потом дерзнули восхотеть первенствовать».<sup>69</sup> Интересно, что сначала текст был значительно менее острым: рыцари призывались сражаться с «царями чуждых земель», но затем последние два слова были густо вычеркнуты, что изменило весь политический смысл текста.

Ответ этот не удовлетворял вопрошающего: «Вы говорите темно». «Я не могу говорить яснее», — следовал ответ. «Вопрос: Что такое илоты?

Ответ: Рабы, заслуживающие пребывать рабами.

Вопрос: Что такое спартанцы?

Ответ: Люди свободные и заслуживающие свободу — верные сыны отечества и герои».<sup>70</sup> Кого понимал Мамонов под «ило-тами»? Конечно, не крепостных крестьян. В понятие раба в катехизисе (как для Н. Тургенева в понятие «хама») входило представление о враге свободы, добровольно раболепствующем защитнике угнетения, слуге тиранов. В письме Орлову он говорил: «Я уверен, что вы найдете людей, которые не заслужат от вас названия безрассудных, которым вы не сможете отказать в достоинствах, и даже выдающихся достоинствах, но если эти люди рабы, то я предпочитаю безрассудных».<sup>71</sup>

Для «греческой степени» характерно подчеркивание идеи конспирации: «Силы и могущество возрастают и уменьшаются по мере (en Raison) таинственности покрова, их скрывающего,» «чем более таинственности, тем более сил».<sup>72</sup>

Третья и высшая степень «внешнего ордена» — римская — построена на откровенно-политической основе. Организующим стержнем воспитания «членов» является идея тираноубийства. Члену внешнего ордена, проникшемуся в «греческой степени»

<sup>68</sup> Там же, л. 56 об.

<sup>69</sup> Там же, л. 60.

<sup>70</sup> Там же, л. 60—60 об.

<sup>71</sup> В. И. Семевский, ук. соч., стр. 404.

<sup>72</sup> ЦГИА, ф. 28, № 15, л. 55 об.

идеи общественных преобразований, открывали пути достижения этой цели.

Еще до принятия в «Римскую степень» будущий член должен был выслушать в специальной «каморе» речь ритора, который ему говорил: «Вы сказывали нам, любезный брат, что вы любите отечество ваше и что благосостояние и слава его драгоценнейшие предметы сердца вашего. Истинно ли вы говорили? Если истинно, то патриотизму вашему предложим мы пищу деятельности. — Если же вы довольствуетесь любить отечество ваше, как любят его поверхностные умы, испорченные сердца и оные слабые человеки, желающие похитить все титла, но не заслуживающие ни единого, то бегите от храмов наших — они жертвенники любезного сердцу нашему отечества нашего! < . > По долгу сана своего обязан я предварить вас, что от вас требуется бодрственное пролитие крови врагов Ордена и отечества — вот условие, на котором можете вы быть приобщены к высшим кругам сословия нашего».

После этого ритор берет с вступающего письменное обязательство — «реверс» — «в том, что он обязывается преследовать везде врагов Ордена и отечества».<sup>73</sup>

Допущенный в ложу, кандидат становится свидетелем «работ», которые завершаются принятием от него клятвы. Текст клятвы «сильный и басистый голос предсказывает ему».<sup>74</sup> Клятва включала в себя следующие слова:

«Клянись поражать Тарквиниев, Неронов Доминицианов, Калигулов, Коммодов и Гелиогабалов.

Кандидат говорит: клянусь!

Клянись преследовать врагов Ордена нашего и врагов Земли римской в чертогах, на торжищах, на распутиях, на троне, в хижине, на кафедре и в пустыне.

Кандидат говорит: клянусь.

Клянись чтить и лобызать кинжал, коим по разится похититель прав, чести и свободы отечества.

Кандидат говорит: клянусь.

Клянись умереть за свободу.

Кандидат говорит: клянусь.

Клянись не страшиться оков, бичей, темниц, пыток яда, пистолета и кинжала.

Кандидат говорит: клянусь».<sup>75</sup>

После десятиминутного молчания Великий Магистр требует, чтобы принимаемый «приугодился». «Здесь делаются несколь-

<sup>73</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 42.

<sup>74</sup> Там же, л. 43 об.

<sup>75</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 44.

ко выстрелов из пистолета < . .> Ложа освещается — кандидату подается полстакана крови»,<sup>76</sup> причем Великий Магистр произносит: «Пей кровь врагов наших (первоначально: «нашего отечества») Пей чашу мщения и поклянись упиться ею в тук во имя отца и сына, и святого духа. Аминь».<sup>77</sup>

После этого кандидат подписывает «присяжный лист» и считается принятым в члены. «Работы» в ложе римской степени заканчиваются следующей беседой:

В.<еликий> М.<агистр> ударяет по-шотландски<sup>78</sup> и говорит:

Первый и второй консул Рима! Который час величества римского? Отв<ет>: Первый час первой олимпиады вольности римской.

В.<еликий> М.<агистр>: Исполнили ль мы обязанности наши?

Отв<ет>: Мы пролили кровь врагов свободы.

В.<еликий> М.<агистр>: Не остается ли нам еще что-нибудь к исполнению?

Отв<ет>: Пролить кровь остальных врагов и истребить их до последнего.

В.<еликий> М.<агистр> ударяет по-шотландски и говорит: Поклянемся не влагать меч наш во влагалище до конечного и совершенного истребления и низвержения врагов наших».<sup>79</sup>

Затем следовало чтение катехизиса, из которого слушатели узнавали, что патроном Ордена является Петр Великий, что член Ордена — «гражданин Рима — знатнее коронованных глав», пароль — «слава», а отзыв Ордена — «Кремль».

В течение всего пребывания во «Внешнем ордене» члены общества подвергаются постоянному идеологическому воздействию, их воспитуют, шаг за шагом все более подготавливают к принятию политических целей «Ордена», выковывают в них решимость к борьбе. Свое понимание этой политической педагогики Мамонов изложил необычайно четко: «Великое искусство руководителей революции состоит в том, чтобы поставить своих агентов в невозможность отступить, и только волнуя умы, достигать того пункта, который, так сказать, составляет Тарпейскую скалу тиранов (потому что ко всему этому нужно примешивать что-нибудь римское)».<sup>80</sup> Необходимо подготовить членов «Ордена» к революционным действиям по призыву «Внутреннего Ордена». В письме Орлову (?) он говорил: «Правда, это труд-

<sup>76</sup> Мамонов сначала написал «красного вещества, похожего на кровь», но потом предпочел настоящую кровь.

<sup>77</sup> Там же, л. 44 об.

<sup>78</sup> Удар молотком, состоящий из двух коротких и одного долгого стука, употреблялся в ложах шотландской системы.

<sup>79</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 45 об.

<sup>80</sup> В. И. Семевский, ук. соч., стр. 405.

ное дело, но все же не такое, как выпить море: самое существенное в том, чтобы вложить в наши сочинения такой заквас, который вызовет брожение умов и побудит воскликнуть: «мы готовы — приказывайте!».<sup>81</sup>

Член «Внешнего Ордена» воспитывался двумя основными средствами: ритуалом и целой системой публицистических сочинений — речей, бесед, катехизисов, трактатов. И то и другое преследовало основную цель — увлечь, «волнуя умы» и чувства, и было рассчитано на эмоциональное воздействие. Ритуал продумывался тщательно, он должен был поразить зрение, слух и воображение. Так, например, тираноборческие призывы «Римской степени» раздавались в ложе, декорированной кроваво-красными полотнищами. «Ложа обита красным, плафон, пол, кресла, стулья, жертвенник и стены красные < . > Около жертвенника стоит три красных табурета — на одном лежит меч великого мастера, на другом печати ложи: двуглавый орел с солнцем над головою, на третьем тамплиерский крест, конституция ложи, акты всех трех степеней Ордена нашего, красными чернилами писанные *in folio* в красном переплете».<sup>82</sup> Легко себе представить, что должен был испытывать кандидат, когда, после торжественной клятвы, произнесенной в темной ложе, и неожиданных пистолетных выстрелов, обитая багряным ложа вдруг озарялась, и ему протягивали стакан крови.

Однако еще более значительны были литературные произведения, предлагавшиеся вниманию членов «Внешнего ордена». Каждый период декабристского движения вырабатывал свой тип взаимоотношений с литературой. Распространенное представление о том, что литература 20-х годов XIX в., в любой мере захваченная идеями свободолюбия, может рассматриваться как выражение декабризма в искусстве, нуждается в уточнении. Дело не только в том, что с развитием дворянской революционности менялись идеи, выражаемые в литературе, но и в изменении понимания задач литературы.

Союз Благоденствия с его установкой на широкую пропаганду идей свободы, просвещения, конституционности, патриотизма мог использовать произведения поэтов, даже не являющихся членами тайных обществ, порой и не догадывающихся об их существовании. Так, Рылеев сделался выразителем декабризма задолго до того, как стал декабристом. Члены тайных обществ входят в литературные кружки и направляют их движение. Поэт оказывался по отношению к политическому конспиратору на положении ведомого, исподволь направляемого.

Поздние декабристские организации с их отчетливой революционной установкой не могут уже рассчитывать на полное понимание со стороны столь широкой аудитории, к которой об-

<sup>81</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 63 об.

<sup>82</sup> Там же, лл. 41—41 об.

ращались поэтические идеологи Союза Благоденствия. Революционные идеалы не могли быть выражены в поэзии непосредственно — их выражение требовало выработки стилистических приемов, которые в полной мере понятны были бы лишь революционно настроенному читателю. На этом этапе певец тайных обществ должен был быть и конспиратором. Вместе с тем, поскольку в качестве главного средства борьбы мыслился не переворот с малым числом участников, а военная революция и массовые участники ее рассматривались не как слепые исполнители воли «невидимых братьев», а как полноправные члены движения, аудитория должна была быть достаточно широкой, а обращение к ней поэта — «пророка истины» — полностью откровенным. Образ поэта — вдохновенного пророка — решительно исключал возможность каких-либо полуистин. Поэт, вместе с тем, — руководитель, и как в политике вожди движения все ближе подходят к идее активности солдат, возглавленных революционным офицерством, так в литературе этих лет поэт не противопоставляется народу — он увлекает жаждущую свободы массу за собой. Романтическая грань между «гением» и «толпой» значительно сглажена.

На ранних этапах развития тайных обществ все эти вопросы решались своеобразно. Прежде всего, конспиративный, заговорщический характер общества приводил к тому, что аудиторией, на которую рассчитана была революционная поэзия и публицистика, являлась не читательская масса, а «подготавливаемые» политические борцы — члены «Внешнего Ордена». Управляемые «невидимыми братьями», они получали истину из рук поэта, который вместе с тем — как это и приличествует высокому гению — был недосыгаемо возвышен над своей аудиторией.

Тема гения появилась в поэзии Мамонова еще в додекабристский период.

Несись, о Гений! над годами  
И веки с славой определи!  
*Гляди необицими путями*  
И обелиск свой утверди,  
Где тонет мыс земель предальных  
И стран полунощных печальных..  
Великий Гений, благодатный  
Сочеловеков верный друг —  
Тебя поносит мир развратный,  
Стесняет дел твоих округ <sup>83</sup>

Поскольку в движении участвуют «невидимые братья» — гении — и «посредственности», хотя и имеющие «достаточно храбрости и благородства души» (см. цитированное выше письмо Орлову), последние обязываются первым беспрекословно подчиняться, а первые раскрывают последним истинные цели об-

<sup>83</sup> Друг юности, 1812, январь, стр. 2—5. Курсив мой — Ю. Л.

щества лишь в таких формах и в такой мере, насколько это доступно кругозору рядовых членов. Поэтому внутриорденская публицистика, особенно на первых этапах, строится на эмоциональных образах и не чуждается эффектных вымыслов. В этом смысле весьма показательны письмо Мамонова Орлову по поводу литературных упражнений последнего: «. И моя весьма ограниченная память и мое воображение замирают. Мне нелегко будет в этом состязаться с вами. Тем не менее я должен заметить:

1) Что это произведение должно быть разграничено на две части, совершенно отдельные: о происхождении и о составе.

2) «О происхождении» должно быть совершенно фиктивным, со стремлением, однако, сохранить колорит русской древности (*antiquaille*) Не следует уподобляться художникам, которые рисуют Ахилла во фраке и помещают пушки при осаде Трои.

3) Часть, трактующая «О составе орд<ена>», должна быть или казаться произведением нашего времени. И тогда она сможет предстать пред судилищем эдилов ц<ензуры> (?) <sup>84</sup>  
<. .>

4) Можно предположить, что наши отцы, обладая хранилищами и следами секретов тамплиеров, не знали, однако, всей цены этих сокровищ.

5) Что эти секреты были принесены на Рус. тремя тамплиерами, из коих один был греком и два русскими и которых Жак Молэ заставил поклясться перенести их в земли, свободные от ига папства. .» <sup>85</sup>

Дошедшие до нас литературные памятники «Ордена»: «Краткие наставления Русскому Рыцарю», катехизисы разных степеней, речи «риторов» (сохранилась, например, речь в «Римской ложе») пронизаны сложной символикой — библейского осуждения неправды и пороков, античного патриотизма и свободолюбия, причем образы из «Кратких наставлений» почти дословно повторяются в последующих орденских документах. Постепенно проясняется реальная политическая устремленность авторов, и в документах «Римской степени» сквозь риторические формулы уже явственно просвечивает политическая программа. Из стихотворения Мамонова «В той день пролиется золото — струей, и серебро — потоком. .» <sup>86</sup> член Римской степени «Внешнего Ордена» мог сделать уже достаточно ясные выводы о внутривосточных целях «Ордена»:

«Исчезнет, как дым утренний, невежество народа,  
Народ престанет чтить кумиров и поклонится проповедникам  
правды . . .»

<sup>84</sup> Во французском тексте сокращение «с/с».

<sup>85</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 10—10 об.

<sup>86</sup> Опубликовано В. И. Семевским, ук. соч., стр. 668.

«... В той день водрузится знамя свободы в Кремле, —  
С сего Капитолия новых времен пролиутся (так! — Ю. М.) лучи  
в дальнейшие земли!...»

«... В той день и на камнях по стогнам будет написано слово, —  
Слово наших времен: свобода!»

Вполне определенно намекалось и на активный характер внешнеполитической программы:

«Богатства Индии и перлы Голконда пролиются на пристанях Оби и Волги,

И станет Знамя россов у Понта Средиземного.»

Для члена, прошедшего всю лестницу орденских степеней, открывалась дверь во «Внутренний Орден». Здесь уже речь шла не о таинствах ритуала и возбуждающих пламенных речах, а о конкретных политических целях. Не случайно программа «Ордена» в бумагах Мамонова озаглавлена «Пункты преподаваемого во внутреннем Ордене учения».

Программа Ордена Русских Рыцарей пережила определенную эволюцию и, как справедливо отмечает М. В. Нечкина, видимо, так и не успела отлиться в определенные формы. К истории развития устремлений «Ордена» вполне применимы слова М. Орлова: «Сначала разговор идет о том, чтобы потихоньку внушить власти либеральные идеи, а кончают тем, что верят, будто можно и должно навязывать власти известные условия».<sup>87</sup>

Взгляды ведущих членов «Ордена» (Мамонова, Орлова, Тургенева, Новикова) на пути преобразования России совпадали далеко не полностью. Однако, вместе с тем, в их воззрениях была одна общая черта, весьма характерная для раннего периода развития дворянской революционности.

Свобода (в том числе и крестьян) рассматривается как проблема чисто политическая, а не социальная, не как создание общественного порядка, обеспечивающего равенство людей, а как уравнивание их в юридических правах. Материалистическая идея связи интересов людей и их воззрений («единая корысть отъемлет у нас взор, и в темноте беснующим нас уподобляет», — писал А. Н. Радищев) была им еще недоступна. Поэтому недоступной оказалась им и радищевская мысль об органической связи интересов помещиков и царей, которые сами «великие отчинники».

Самодержавие и крепостники-душевладелец представлялись им еще двумя независимыми силами, взаимную борьбу которых можно использовать для дела освобождения. Так, Н. Тургенев определенное время придерживался убеждения, что освобождение крестьян должно совершиться усилиями правительства, которому придется преодолевать сопротивление помещиков. При этом царь использует полноту самодержавной власти. Поэтому Н. Тургенев определенное время считал, что до осво-

<sup>87</sup> Цит. по публикации: П. С. Попов, М. Ф. Орлов и 14 декабря, Красный Архив, 1925, т. XIII, стр. 163.

бождения крестьян всякое ограничение царской власти будет гибельно. М. Н. Новиков, напротив того, согласно показанию Пестеля, являясь сторонником республики, рассчитывал на инициативу дворян, которые осуществят широкое давление на императора с целью вырвать у него освобождение крестьян. «Способ достижения сего — убедить дворянство сему содействовать и от всего сословия нижайше об этом просить императора».<sup>88</sup>

Дмитриев-Мамонов и М. Орлов, видимо, также прошли через период веры в освободительные намерения правительства. Некоторое время тайное общество мыслилось ими как секретный союз свободолюбивых и патриотически настроенных людей, осуществляющий помощь правительству в борьбе с крепостниками и защитниками закоснелой старины. М. Орлов в письме Николаю I так охарактеризовал свои настроения этого периода: «Я воспринял слова императора Александра, которые он сказал в Париже: «Внешние враги сражены надолго, будем сражаться с врагами внутренними». С такими мыслями я вернулся в Россию. Я хотел переменить свое поприще, оставить войско и заняться административной деятельностью, где, государь, как вы знаете, гнездятся наполеоны в качестве внутренних разбойников».<sup>89</sup>

Этот период был, однако, видимо, кратковременным. В дальнейшем мысль основателей общества развивалась в направлении сначала монархии, ограниченной аристократическим сенатом, а затем республики с двумя посадниками во главе. Причем изменения эти произошли, видимо, под влиянием событий в Испании, которые воспринимались Мамоновым, как «плачевный пример того, что *éparagner les T<u>rans* c'est se préparer se forger des fers plus pesants que ceux qu'en veut quitter. Что же Кортесы! разосланы, распытаны, к смерти приговариваемы и кем же? — Скотиною, которому они сохранили корону».<sup>90</sup>

Конституционные проекты Дмитрева-Мамонова были опубликованы в 1906 г. А. К. Бороздиным и проанализированы В. И. Семевским и М. В. Нечкиной. Впредь до новых архивных находок исследователю вряд ли удастся что-либо прибавить по этому вопросу.

Менее исследован вопрос тактики, принятой руководителем Ордена Русских Рыцарей. Имеющиеся в нашем распоряжении документы не позволяют осветить его всесторонне. Необходимо отметить, однако, следующее: в основе организационной структуры «Ордена» лежали идеи конспирации и дисциплины. Члены «Внешнего Ордена» беспрекословно подчинялись «Внут-

<sup>88</sup> Восстание декабристов, Материалы, т. IV. Централхив, М.-Л., 1927, стр. 80.

<sup>89</sup> П. С. Попов, М. Ф. Орлов и 14 декабря, Красный Архив, 1925, т. XIII, стр. 160.

<sup>90</sup> Из писем и показаний декабристов. ., стр. 153.

ренному». Нарушение этого правила влечет «предание их суду неизвестных и невидимых судей. — Понятие о суде сем не принадлежит к сим статутам. Братьям наружного Ордена, т. е. первых трех степеней, достаточно знать, что судьи сии и суд сей существуют — судят, карают и наказывают строго и неумолимо, без всякого разбирания лиц и уважения». <sup>91</sup> Приговоры «Трибунала невидимых» исполняются посредством вызова на поединок. <sup>92</sup> Разные степени «Внешнего ордена» были изолированы одна от другой, и сообщение между членами их воспрещено. Идея строгого подчинения сближает Орден Русских Рыцарей с Союзом Спасения.

Центральный вопрос изучения деятельности «Ордена» состоит в том, чтобы выяснить, каковы были реальные пути, по которым думали вести общество его руководители. В том, что осуществление своей программы «Орден» связывал с насилием, не может быть никаких сомнений. В письме Орлову Мамонов прямо назвал членов «Внутреннего ордена» — «руководителями революции», а внешнего — их «адептами». <sup>93</sup> В ответ на письмо Орлова (?), в котором тот, видимо, жаловался на неосторожность других членов «Ордена» (начало письма не сохранилось), Мамонов писал, что удерживать пылкость сочленов — «это внушать им чувства, которые надо стараться искоренять». <sup>94</sup> И далее: «... что можем мы, что могли бы мы, если бы ни одно лицо, ни одно дело не вышло бы из своего обычного положения? Если бы все умы оставались спокойными? Деспотизм радовался бы этому покою, который ровняется бесчувственной смерти. После того, как деспотизм утвердился, как у нас, все его меры и действия позволяют ему сбережение своих средств, спокойную уверенность, равномерное движение, что совершенно не годится для тех, что хочет с ними сражаться. Нужны тайны, секрет, но это не секрет машины, состоящей из рычагов, стержней, веревок, — это секрет мины, наполненной порохом, — нужно ее взорвать». <sup>95</sup>

Как же собирался Мамонов «взорвать» эту мину? Письмо его Орлову указывает на намерения каких-то открытых действий по сплочению вокруг «Ордена» прогрессивно-настроенной части общества. Нужно «громить против тирании, громить против злоупотреблений, громить против поляков, взывать к потомству, к теням Шуйских и Пожарских. Нужно установить закон спасения нации, поставить его под охрану всех храбрых людей России, всех истинных сынов отечества». <sup>96</sup>

<sup>91</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 37.

<sup>92</sup> Там же, л. 39.

<sup>93</sup> В. И. Семевский, ук. соч., стр. 405.

<sup>94</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 63.

<sup>95</sup> В. И. Семевский, ук. соч., стр. 405. Некоторые неточности перевода Семевского здесь и в следующей цитате исправляем по рукописи.

<sup>96</sup> Там же, стр. 400.

Однако, вся заговорщическая структура «Ордена» была мало приспособлена к подготовке массовых действий. Изучение материалов Ордена Русских Рыцарей заставляет предполагать, что основой тактики была идея царубийства. Не говоря уже о том, что обильные данные для подобного предположения дают беседы, речи и катехизис «Римской степени», на это указывают и другие записи Мамонова: «Всякий монарх только первый слуга государства, всякий монарх, который изменнически действует вопреки желанию своего народа, который думает, что народ сотворен для него, — безумец! Но тот, кто призывает иностранцев на помощь себе и пользуется ими, чтобы угнетать свой народ, открыто объявляет себя его врагом».<sup>97</sup> «Иностранцы», угнетающие народ, — это для Дмитриева-Мамонова, конечно, та придворная камарилья, которую надо лишить «всякого влияния на дела государственные». В другом месте Мамонов записал в качестве одного из пунктов «учения», «преподаваемого во внутреннем Ордене»: «Конечное падение, а естьли возможно — смерть иноземцев, государственные посты занимающих».<sup>98</sup> Мысль о том, что придворная знать — «не отечества сыны», а «питомцы пришлецов презренных» (Рылеев), была широко распространена среди декабристов. Следовательно, и царствующий в России император был, по мнению Мамонова, врагом народа (вспомним, что Великий магистр римской степени требовал «истребить» «до последнего» всех врагов отечества). Но текст этот мог иметь и другой смысл: мы уже приводили слова крайне консервативного представителя младшей ветви того же рода, к которому принадлежал и Мамонов, — М. Дмитриева о том, что царствующие в России императоры «совсем не Романовы, а происходят от голштинцев», что «потомки немцев» «сидят на всероссийском престоле». Согласно определению Мамонова в § 53 «Статутов» Ордена, Александр I должен был считаться «иноземцем», ибо он был не «правнуком», а «внуком иноземца» — голштинца Петра III и, постоянно разъезжая по Европе, не удовлетворял и другому требованию — неизменно пребывать, «не отлучаясь из России».<sup>99</sup>

<sup>97</sup> В. И. Семевский, ук. соч., стр. 404.

<sup>98</sup> Из писем и показаний декабристов, стр. 147.

<sup>99</sup> ЦГИА, ф. № 15, л. 39 об. Разъезды Александра I вызывали резко отрицательное отношение декабристов. Н. Муравьев специально в двух статьях своей конституции оговаривал, что «император ни в коем случае не имеет права выехать из пределов отечества». (Н. Муравьев, Проект конституции, М., Изд. «Библиотеки декабристов», 1907, стр. 151). Наклонность Александра I к поездкам за границу вызвала тревогу в правительстве и обществе очень скоро. В мае 1802 г. С. Г. Воронцов в беседе со Строгановым жаловался: «Последний из наших подданных знает, что все государи приезжали к покойной императрице: теперь русский император ездит к другим государям». «Лучше было бы, если бы, вместо того, чтобы скакать по большим дорогам, он использовал свое время на изучение тех полезных реформ, которые следует произвести...» (Николай Михайлович, Граф Павел Александрович Строганов, т. II, СПб, 1903, стр. 276). Декабристы, учитывая

Все это заставляет по-особому оценить требование смерти «иноземцев, государственные посты занимающих», бессмысленное при распространении его на всех иностранцев при дворе и в государственном аппарате, тем более, что лишь немногим выше, в § 27 тех же пунктов, Мамонов требовал для этих «иноземцев» только «лишения» их «всякого влияния на дела государственные».

Проекты будущего внутреннего порядка России, разрабатывавшиеся Мамоновым, отмечены печатью аристократизма. Это неоднократно отмечалось исследователями. Здесь, вероятно, сказалось влияние идей аристократической оппозиции XVIII в. Однако нельзя не видеть качественного отличия даже наиболее ранних форм дворянской революционности от вельможного либерализма XVIII в. Как мы увидим в дальнейшем, правительство, возможно, опасалось Дмитриева-Мамонова как вероятного кандидата на престол, однако, самому ему, считавшему, что «гражданин Рима знатнее коронованных глав»,<sup>100</sup> такие планы были чужды.

Будучи результатом исторической ограниченности ранних этапов дворянской революционности, идеи Мамонова о создании аристократии — сильной политически и экономически, пережили определенную эволюцию. В «Пунктах преподаваемого в внутреннем Ордене учения» мы находим наброски широких реформ демократического характера: мысли о необходимости упразднения «рабства в России», введения «вольного книгопечатания», предания гласности действий правительства, улучшения «состояния солдата» — требования, неоднократно встречающиеся в дальнейшем в программных документах декабризма. Наряду с этим, однако, мы видим здесь еще чисто аристократическую систему государственного управления: сенат, состоящий на одну четверть из представителей наследственных перов, на одну четверть — из представителей дворянства. Другую половину составляли представители народа. Отчетливо аристократическая тенденция проявилась в методах гарантии конституции — такая задача возлагалась на «Орден», который для этого получал поместья, земли и «фортеции».

В написанном позже «Кратком опыте» Мамонов пробовал набросать несколько иную структуру — двухпалатное вече, причем нижняя, народная палата, выбирая одного из двух консулов-посадников, уравнивалась тем самым в правах с «палатой вельмож». Здесь же мы сталкиваемся с не проведенной, правда,

---

опыт французской революции и международной политики эпохи «Священного Союза», справедливо опасались, чтобы глава исполнительной власти, выезжая за пределы страны, не завязал связей с зарубежными контрреволюционными силами, на которые он мог бы опереться во внутренней борьбе.

<sup>100</sup> ЦГИА, Ф. 48, № 15, л. 48.

последовательно мыслью об уничтожении сословий как политико-юридических категорий.

Однако необходимо иметь в виду, что «вельможи», которых Мамонов собирался наделить полнотой политических прав, — это не современная ему русская знать — опора самодержавия. Мамоновская «аристократия» должна была состояться из ведущих участников революционного переворота. Это передовые люди, которые проникнутся революционными идеями и возглавят освободительную борьбу. К реальным русским вельможам своего времени Мамонов относился весьма критически и, конечно, не им отводил руководящую роль в будущей русской вечевой республике. В том же письме, где он объявил царя врагом народа, Мамонов писал: «Не касаться этого вопроса? Это запретный плод. Вам будет плохо! Не меняйте почет и богатства на нищенскую суму? Пусть! Мы предпочитаем суму великому сану, ненадежное пользование которым отравлено унижением. Поденщик, который ест свой хлеб в поте чела своего, почетнее вельможи, покупающего великолепие ценой бесчестья, и даже того, кто мог бы вещать истину и не делает этого!»<sup>101</sup>

Необходимо сделать несколько замечаний о внешнеполитической программе «Ордена». В литературе уже отмечался воинственный характер этой программы и ее полная химеричность. Идея прав малых народностей была чужда Мамонову. И все же невозможно отнестись к этой части программы как к документу, не заслуживающему внимания.

Чтобы понять эту сторону воззрений Мамонова, необходимо вспомнить, что международная активность реакционной России, России Александра I, встречала с его стороны резкое осуждение. «Мы вмешиваемся, — писал он, — в дела, которые могут вредить нам разве только противодействием, вызываемым этим вмешательством. Мы действуем как Дон-Кихоты, исправляя вред, причиненный от океана до Вислы. Европа думает, что мы желаем сделать ее участницей избытка нашего счастья и нашей свободы, а мы, освободители других, стонем под ненавистным игом».<sup>102</sup>

Таким образом, первым условием активности на международной арене Мамонов считает внутреннее освобождение России. Только тогда Россия действительно сможет передать «избыток своего счастья» другим народам. Войны Французской республики в эпоху революции приучили современников иначе, чем в XVIII в., решать вопросы войны и мира. Даже осторожный, консервативно настроенный Евгений Болховитинов (есть, правда, основания сомневаться в принадлежности этой части книги его перу) в 1808 г. писал: «Цветущие и особливо великие республики, окруженные монархиями, вообще долго стоять

<sup>101</sup> ЦГИА, ф. 48, № 15, л. 11.

<sup>102</sup> В. И. Семевский, ук. соч., стр. 404.

не могут».<sup>103</sup> Таким образом, мысль о победе освободительного движения в России влекла за собой идею революционной войны с европейскими монархиями.<sup>104</sup> Ограниченность позиции Мамонова состояла в том, что освобождение поработанных государств от политического деспотизма им мыслилось, как государственное подчинение России, но это было присоединение к революционной России. После наполеоновских войн мысль о кампаниях, театром которых должна была быть вся Европа, не казалась странной и химеричной. Для того, чтобы обеспечить новую Россию от угрозы интервенции, Мамонов наметил две частных войны, которые, обеспечив фланги, резко изменили бы соотношение сил на европейском театре — присоединение к России балканских государств и «восстановление греческих республик под протекторатом России» на юге, а также «присоединение Норвегии» на севере.<sup>105</sup> Планы эти были фантастичны, как многое в построениях автора. Вероятно, другие члены «Ордена» были более реалистичны и демократичны в вопросах внешней политики.

Политика на Востоке мыслилась Мамоновым в несколько ином плане — как продолжение усилий по подъему экономики России (ср. такие пункты, как «соединение Волги и Дона каналом», подъем хозяйственной жизни Сибири). Мамонов планировал «учреждение торговой компании для Китая, для Япона и Сибири», «построение гавани при устье реки Амура».<sup>106</sup> Также и Индия интересовала членов Ордена Русских Рыцарей. М. Орлов был знаком с французом Моренасом, путешественником по Индии и автором книги об этой стране. Видимо, Моренасу адресовано письмо М. Орлова от 8/10 июня 1817 г., хранящееся в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде,<sup>107</sup> которое отмечено в «Описании рукописных материалов по истории движения декабристов» ГПБ как письмо к неизвестному.<sup>108</sup> В этом письме Орлов оповещает своего корреспондента о том, что император пожаловал 2500 франков на издание его книги о языке Индостана. Среди неопубликованных рукописей Д. В. Давыдова находятся «Замечания об Индии», «рукопись, содержащая географический и историко-этнографический очерк Индии».<sup>109</sup>

<sup>103</sup> Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода, М., 1808, стр. 66.

<sup>104</sup> Ценные замечания по этому поводу см. в статье Б. Е. Сыроечковского «Балканская проблема в планах декабристов», сб. «Очерки из истории движения декабристов», М., 1954.

<sup>105</sup> Из писем и показаний декабристов . . . , стр. 145 и 147.

<sup>106</sup> Из писем и показаний декабристов . . . , стр. 146.

<sup>107</sup> Описание рукописных материалов по истории движения декабристов, ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Труды Отдела рукописей, Л., 1954, стр. 79.

<sup>108</sup> Отдел рукописей ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, собр. Вакселя, ед. хр. 3187.

<sup>109</sup> В. Н. Орлов, Судьба литературного наследия Д. В. Давыдова, Литературное наследство, т. 19—21, М., 1935, стр. 320.

Таковы программно-организационные контуры Ордена Русских Рыцарей. Однако для определения места этого общества в истории декабризма необходимо выяснить вопрос о том, как далеко зашла его практическая организация. В научной литературе прочно установилось мнение об эфемерности «Ордена», поскольку 1814 и частично 1815 годы были для Мамонова и Орлова временем служебных разъездов в связи с пребыванием в армии, в 1816 г. Мамонов уволен за границу для лечения, а в 1817 г. он уже, по мнению исследователей, сошел с ума. Таким образом, вопрос о времени начала психического заболевания Дмитриева-Мамонова оказывается весьма существенным для истории тайной организации.

Между тем, сведения, которые сообщают различные исследователи об этом периоде жизни Дмитриева-Мамонова, пестрят неточностями и фантастическими сообщениями. В комментарии к «Алфавиту декабристов» о Мамонове читаем: «Был одним из основателей Союза Благоденствия; в 1817, заболев душевною болезнью, переселился в подмосковную Дубровицы, откуда в 1826 опекою был переведен в другую подмосковную — Васильевское». <sup>110</sup> А один из новейших исследователей — Ю. И. Герасимова — в комментарии к автобиографии А. Н. Муравьева сообщает, что Мамонов «был помещен в дом умалишенных(?)».<sup>111</sup>

В 1817 г., вернувшись из-за границы, Мамонов заперся в своем подмосковном имении, где и прожил безвыездно до 1823 г. Это время по прочно установившейся традиции и считают началом его заболевания. Обратимся к свидетельствам, которыми располагает исследователь. Данные источников совсем не отличаются такой ясностью и определенностью, чтобы послужить основой для прямолинейных выводов. Судьба Дмитриева-Мамонова оказывается связанной с весьма загадочными обстоятельствами. Люди, хорошо осведомленные, ни в начале 20-х гг., ни позже его сумасшедшим не считали. А. И. Герцен, говоря о Мамонове, называет его безумие «полудобровольным» и помещает последнего не в ряду клинических безумцев, а в лагере жертв «душливой пустоты и немоты русской жизни»: «В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете князя Долгорукова, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях Толстого-Американца, я слышу родственную ноту, знакомую нам всем». <sup>112</sup>

<sup>110</sup> Восстание декабристов, Материалы, Централхив, т. УШ, VIII, Л., 1925, стр. 314. Странное определение Мамонова, как «одного из основателей Союза Благоденствия» широко проникло даже в справочную и солидную специальную литературу. См. «Декабристы и их время», т. II, М., 1932, стр. 423, «Путеводитель по Пушкину» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 6-и тт., т. VI), М.-Л., ГИХЛ, 1931, стр. 229.

<sup>111</sup> Декабристы. Новые материалы, Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина. Труды отдела рукописей, М., 1955, ст. 228.

<sup>112</sup> А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, М., Изд. АН СССР, т. VIII, 1956, стр. 242.

Не считал Мамонова сумасшедшим в 1821 г. и М. П. Погодин, пристально наблюдавший еще с 1816 г., когда его прочили в компаньоны к отбывавшему за границу графу, за жизнью дубровицкого затворника и мечтавший выдать за него А. И. Трубецкую, в которую сам он был влюблен возвышенной романтической любовью. Погодин жил в деревне Трубецких недалеко от Дубровиц и внимательно следил за разговорами о жизни Мамонова. 25 сентября 1821 г. он написал Мамонову письмо, весьма интересное по истолкованию причин удаления последнего из Москвы. Погодин даже не подразумевает возможности объяснения его поступка безумием. Он пишет: «Я никогда не видал вас. За три года перед сим (Погодин допускает хронологическую неточность. — Ю. Л.) меня приглашали путешествовать с вами; с тех пор вы поселились в моем воображении; я всегда думал, любил думать о вас и, наконец, решился писать к вам, решился сказать о моей идеальной к вам привязанности, сказать, что я искренне уважаю вас, удивляюсь твердости вашего характера, вашему постоянству и сожалею, что отечество лишается достойного сына, сына, который мог бы оказать ему великие услуги, особенно в нынешнее время, решился сказать вам несколько слов о вашем уединении. Я уверен, что причина, побудившая вас к нему, благородна, велика».<sup>113</sup>

Еще более определенно высказывались люди, лично знавшие Мамонова. Н. Киселев писал: «Некоторые даже подвергали сомнению его сумасшествие и искали объяснения его домашнему заточению в каких-то темных и злых интригах».<sup>114</sup> И. А. Арсеньев, который «с малых лет слышал много рассказов о графе Мамонове» (отец его был родственником, а потом опекуном графа), считал, что лишь «в 1824 году окружающие графа Мамонова стали замечать за ним частые припадки меланхолии, в особенности после получения им писем от сестры, не оставившей его в покое с требованиями денег и подарков».<sup>115</sup> Тот же автор опубликовал письмо Мамонова отцу Арсеньева от 8 сентября 1823 г. и 14 мая 1824 г. Письма посвящены имущественным делам и никакого следа клинического безумия не содержат. Не

<sup>113</sup> Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1, СПб., 1888, стр. 120—121.

<sup>114</sup> Н. Киселев, Существуют ли Записки графа М. А. Мамонова?, Русский архив, 1868, № 1, стр. 87.

<sup>115</sup> И. А. Арсеньев, Слово живое о неживых (Из моих воспоминаний), Исторический вестник, 1887, февраль, стр. 359. Хозяйственные бумаги Дмитриева-Мамонова, хранящиеся во Всесоюзной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, свидетельствуют, что еще в 1824 г. он осуществлял полноправное руководство хозяйственной жизнью своих поместий. К осени 1822 г. относится предпринятая им весьма интересная попытка осуществить в одном из своих поместий новиковскую идею хлебных магазинов для голодающих крестьян — опыт, интересный и как свидетельство продолжающейся общественной активности, и как показатель знакомства с программой деятельности Н. И. Новикова (См. Библиотека СССР им. В. И. Ленина, рукописный отдел, ф. 91, Дмитриев-Мамонов, п. 111, ед. хр. 39, л. 1).

менее любопытно свидетельство племянника Мамонова — Н. А. Дмитриева-Мамонова. По авторитетному свидетельству этого мемуариста, официальное признание Мамонтова сумасшедшим последовало в 1826 г., но соответствовало ли это действительности и тогда — мемуарист сомневается.

«В начале царствования императора Николая Павловича граф Матвей Александрович, по свидетельству докторов, был признан умалишенным и тогда же последовал высочайший указ о взятии его под опеку. Мне неизвестно, был ли действительно сумасшедшим граф Матвей Александрович в момент взятия его под опеку». Далее идет весьма любопытное описание жизни Мамонов в Дубровицах. «Нельзя, однако, сомневаться в том, что уже в 1820-х годах за ним замечались кое-какие странности. Так, например: живя почти безвыездно в имении своем, в селе Дубровицах, в 35-ти верстах от Москвы, он выстроил там крепость, учредил роту солдат из своих дворовых людей, завел пушки и т. д. Конечно, в настоящее время таким затеям богатого барина, имеющего достаточные средства для их исполнения, не придали бы особенного значения, но тогда были другие условия жизни. Говорят также, что он учредил общество «Русских рыцарей», нечто вроде масонских рыцарей, и что члены этого общества собирались у него в Дубровицах, но и это еще недостаточное основание для признания его сумасшедшим, других же поводов, или лучше сказать, признаков, по которым свидетельствовавшие его доктора могли бы дать заключение, что он сумасшедший, в то время, кажется, никаких не было, или по крайней мере, мне неизвестно». Далее следует чрезвычайно любопытное сообщение: правительство, «озабоченное» здоровьем «сумасшедшего», послало к нему отнюдь не врачей: «Из Дубровиц он был взят жандармами», «так как, — наивно поясняет мемуарист, — не хотел добровольно выехать отсюда».<sup>116</sup>

Есть еще одно свидетельство о военных приготвлениях Мамонова в его имении. Правда, исходит оно от врача-психиатра, получившего доступ к Мамонову лишь в 40-ые гг., когда душевная болезнь уже действительно развилась. Сведения, собранные им о жизни Мамонова в 40-х гг., естественно, преломлялись сквозь призму позднейших профессиональных наблюдений. По данным врача П. Малиновского, Мамонов вел в Дубровицах следующий образ жизни: «Днем он занимался составлением чертежей и планов для того, чтобы воздвигнуть каменные укрепления в своем имении, а ночью, когда все спали, гр. Мамонов выходил, подробно осматривал местоположение и там, где нужно было строить стены и башни, втыкал в землю заранее приготовленные короткие колья». «Укрепления подвигались вперед, башни и стены росли — имение гр. Мамонова», по-

<sup>116</sup> Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, Из воспоминаний Н. А. Дмитриева-Мамонова, Русская Старина, 1890, апрель, стр. 176.

чти с трех сторон окруженное реками, с остальной, свободной, было бы обнесено довольно высокой и толстой каменной стеною с башнями, если бы гр. М<sup>а</sup>монову не помешали кончить его предположения».<sup>117</sup> Дубровицы — живописное село около г. Подольска (под Москвой), при слиянии рек Двины и Пахры, знаменитое великолепным храмом начала XVIII в., расположено чрезвычайно выгодно для обороны. В 1812 г. Дубровицы уже были использованы русской армией как выигрышная оборонительная позиция. А. Муравьев вспоминал описывая отступление от Москвы: «Мы в арьергарде с утра до ночи на всем пути бились с неприятелем, между прочим имели порядочное дело под Дубровицами, имением гр. Мамонова».<sup>118</sup> Видимо, Мамонов, в программе которого стояло «дарование ордену» «фортеций», тщательно взвесил все обстоятельства, выбрав для своего уединения из всех многочисленных вотчин именно эту, столь близкую к Москве и столь защищенную от нападения.

У нас есть возможность проверить эти сообщения показаниями других мемуаристов. Н. Киселев, на заметку которого «Существуют ли записки графа М. А. Дмитриева-Мамонова?» мы уже ссылались, писал: «Случайно попались нам в руки небольшие выписки из журнала, веденного графом Мамоновым в Дубровицах. Выписки эти, сделанные одним из многих опекунов покойного графа, свидетельствуют как о здравом уме писавшего журнал, так и о том, что самый журнал действительно не лишен интереса. Судя по имеющимся у нас отрывкам, многие места «Записок», по крайней резкости суждения, не могут явиться в печати. .»<sup>119</sup> Однако особенно интересны воспоминания сына учителя русской словесности в доме Мамонова — П. Кичеева. Они рисуют любопытную картину жизни Мамонова в Дубровицах и ареста его в 1823 г. Вернувшись из-за границы и «будучи от роду не более 26 лет, он поселился в подмосковном своем селе Дубровицах и сделался не только совершенным затворником, но даже невидимкой. По отданному один раз навсегда приказу в известные часы ему подавались чай, завтрак, обед и ужин; также подавались ему и платье и белье, и все это в отсутствии графа убиралось или переменялось». Далее Кичеев рассказывает, что в 1823 г. у Мамонова умер камердинер и был нанят новый, вольный. Он нарушил заведенный в доме порядок и был избит Мамоновым. Пострадавший явился в Москву к генерал-губернатору кн. Д. В. Голицыну. Голицын немедленно послал в Дубровицы своего адъютанта, а когда Мамонов его выгнал, явились упомянутые Н. А. Дмитриевым-Мамоновым солдаты.

<sup>117</sup> П. Малиновский, О помешательстве, Военно-медицинский журнал, СПб, 1848, ч. 50, № 2, стр. 118. Перепечатано в Русском архиве, 1868, № 6, стр. 968.

<sup>118</sup> Декабристы. Новые материалы, М., 1955, стр. 202.

<sup>119</sup> Н. Киселев, Существуют ли записки графа М. А. Мамонова? Русский Архив, 1868, № 1, стр. 87.

Далее Кичеев сообщает чрезвычайно любопытную деталь: «Когда за ним (Дмитриевым-Мамоновым — Ю. Л.) приехали, чтобы везти его в Москву, граф нисколько тому не противился, но вышедши уже на крыльцо и увидя тысячи своих крестьян, он обратился к ним со словами: «Неужели, православные, вы меня выдадите?» Крестьяне тотчас окружили графа и хотели остановить поезд. Но граф успокоил их, сказав, что он пошутил и что ему надо ехать в Москву».<sup>120</sup>

Последняя сцена мало напоминает картину увоза душевнобольного. То, что перед нами не изоляция клинически-больного, а арест, подтверждает еще один любопытный документ. По свидетельству Н. А. Дмитриева-Мамонова, в бумагах М. А. Дмитриева-Мамонова им была обнаружена рукопись «на французском языке под заглавием: «Catalogue des gens qui ont contribué à ma perte». Некоторые лица, вошедшие в состав этого каталога, охарактеризованы им очень резко, как например: «Araktscheieff — Tristan l'Ermitte de notre siècle; Comte G<ourief>, voleur publique, prince W<olkonsky> — une espece de vieille salope и т. д. Всего в этом каталоге, сколько мне помнится, было записано около 30 лиц более или менее значительных».<sup>121</sup>

Если бы мы располагали списком, возможно, наше представление о сущности этого темного дела было бы более полным, но и то, что, по мнению Мамонова, нити ареста восходили к Аракчееву, достаточно показательно.

Действительно, обстоятельства дела имеют не совсем обычный характер. Человек знатнейшей фамилии, богач и генерал-майор кавалерии, арестовывается без предварительного следствия, по навету камендинера, а сам этот камендинер неожиданно получает прямой доступ к московскому генерал-губернатору. Наконец, сам доносчик, мешанин Никанор Афанасьев, как это следует из письма Мамонова Голицыну,<sup>122</sup> — бывший крепостной человек князя П. М. Волконского — третьего в списке «виновников гибели» Мамонова. Волконский, как начальник главного штаба, в эти годы возглавлял тайную полицию и политический сыск.

Угроза опеки, нависшая над Мамоновым, потрясла его. «Вы надо мною опеки учредить не можете и не смеете, ибо я не малолетний и не сумасшедший»,<sup>123</sup> — писал он Голицыну. Юридических оснований для опеки не было. Хотя Мамонов в

<sup>120</sup> П. Кичеев, Из семейной памяти, Русский Архив М., 1868, № 1, стр. 97—98.

<sup>121</sup> Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов. Из воспоминаний Н. А. Дмитриева-Мамонова, Русская старина, 1890, апрель, стр. 177. (Конъектура моя — Ю. Л.). Тристан-Отшельник — духовник и доверенное лицо Людовика XI, организатор тайных убийств и массовых казней. Ср. характеристику: «une espece de vieille salope» с «Князь Волконский — баба начальником штаба» (Рылеев).

<sup>122</sup> См. Русский Архив, 1868, № 6, стр. 966.

<sup>123</sup> См. Русский Архив, 1868, № 6, стр. 964.

письме, написанном крайне запальчиво и, видимо, в состоянии возбуждения, граничащего с бешенством (письмо содержало вызов на дуэль). и отстаивал «право наказывать крепостных людей палками», однако, он, видимо, не только был теоретическим противником рабства, но и практически никаких фактов жестокого обращения с крестьянами в распоряжении правительства не было. Об этом свидетельствуют не только попытка крестьян отбить его у фельдъегеря и приехавших с ним солдат, но и хозяйственные бумаги по управлению имением. Так, в 1816 г., собираясь за границу и находясь в стесненных обстоятельствах (Мамонов был очень богат, но постоянно подвергался вымогательствам со стороны родственников, особенно сестры, и все время нуждался в деньгах), он писал в Арефинскую вотчину бурмистру почти в просительном тоне: «По случаю будущего отъезда моего мне бы очень хотелось прежде обыкновенного срока получить оброчные деньги. Но сие не требуется, а только если без обременения оное сделать можно, то постарайся пожалуйста < . > На усердие твое крайне надежен».<sup>124</sup>

Каковы же были действительные причины ареста Мамонова?

Вспомним некоторые предшествовавшие ему события. В мае 1821 г. правительство получило донос Грибовского на Союз Благоденствия. Несмотря на то, что в нем указывалось на самоликвидацию этой организации, роль Орлова, который «ручался за свою дивизию», была столь резко подчеркнута, что за Кишиневом началось наблюдение. 5 февраля 1822 года был арестован майор В. Ф. Раевский и началось дело, грозившее крахом всей организации Орлова. Тесные дружеские связи Орлова и Мамонова были хорошо известны. В Москве знали, что Орлов, приехавший в 1821 г на съезд Союза Благоденствия в Москву, посетил Мамонова в Дубровицах. Последнее обстоятельство тем более бросилось в глаза, что Мамонов долгие годы до этого никого не принимал. П. А. Вяземский сообщал в 1823 г. А. И. Тургеневу, что Мамонов «шесть лет не выходил из своей комнаты в деревне и никого не видал, даже и слуг своих. Один Орлов был у него раза три в продолжение этого времени».<sup>125</sup>

В этих условиях в марте 1822 г. начальник главного штаба кн. Волконский получил новый донос Грибовского, в котором сообщалось о неожиданной активизации «полагавшегося давно исчезнувшим»<sup>126</sup> Ордена Русских Рыцарей и прямо называлось имя Мамонова. То, что после этого в дом Мамонова явился и предложил свои услуги в качестве камердинера вольноотпущен-

<sup>124</sup> ГИМ, ф. 282, ед. хр. 82, л. 130. Письмо помечено 5 октября 1816 г. и писано из Бронниц. Следовательно, Мамонов уехал за границу не в начале 1816 г., как обычно полагают, а, по крайней мере, в конце.

<sup>125</sup> Остафьевский архив, т. II, Спб, 1899, стр. 347.

<sup>126</sup> Цит. по кн.: В. Базанов, Вольное общество любителей российской словесности, Петрозаводск, 1949, стр. 59.

ный того же Волконского, представляется совпадением вряд ли случайным. Новый камердинер оказался подозрительно любопытным. По свидетельству П. Кичеева, хорошо знавшего внешнюю сторону событий, но не понимавшего их сути, он «соскучился служить невидимке» и стал следить за Мамоновым, спрятавшись «за колонну или тумбу».<sup>127</sup> Тут он был замечен и избит Мамоновым. Вслед за этим последовал арест Мамонова. О том, что дело Мамонова рассматривалось не изолированно от других событий «несчастливого», по словам Орлова, для него 1822 г., свидетельствует часто цитируемая, но недостаточно осмысленная фраза из письма последнего Николаю I: «Думали, что связь с графом Мамоновым была основана на политических вымыслах. Граф Мамонов сошел с ума; бумаги, книги, записки его в руках правительства, и я остался чужд от всяких нареканий».<sup>128</sup> Речь идет, конечно, о первом аресте Мамонова в 1823 г (о втором, в 1826 г., речь пойдет дальше). Вполне возможно, что благоволивший к Орлову Голицын не дал хода всем имевшимся у него документам, но так или иначе ясно, что в свете этих событий построение под Москвой в крайне выгодной в стратегическом отношении местности мощного опорного пункта и концентрация в нем оружия вплоть до артиллерии (у Мамонова был уже опыт создания военной части из своих крестьян; видимо, осталась от той поры и аммуниция)<sup>129</sup> — все это не могло показаться правительству безобидной «затеей богатого барина». Вместе с дивизией Орлова это составляло вполне реальную угрозу. Необходимо иметь в виду и другое. Известно, что у Александра I было преувеличенное представление о силе и о финансовых возможностях тайных обществ. В беседе с П. М. Волконским царь уверял, что «они имеют огромные средства».<sup>130</sup> Ясно, что в этой связи особенное внимание обращали на себя не Муравьевы, Н. Тургенев, Якушкин или Пестель — все люди весьма скромного достатка и небольших чинов, а Орлов и, особенно, миллионер Мамонов.

Можно понять, насколько встревожило правительство известие об участии в тайной деятельности одного из богатейших людей России (особенно, если вспомнить, сколь незavidно было материальное положение большинства декабристов) Лишая Мамонова права распоряжаться своим имуществом, правитель-

<sup>127</sup> Русский Архив, 1868, № 1, стр. 98.

<sup>128</sup> П. С. Попов, М. Орлов и 14 декабря, Красный Архив, 1925, т. XIII, стр. 156.

<sup>129</sup> И. А. Арсеньев вспоминал: «Покойный отец мой, который в 1812 году был московским уездным предводителем дворянства, рассказывал, что полк Мамонова был замечательно щегольски обмундирован, имел две смены одежды для солдат и неимоверное количество белья, часть которого была оставлена на месте, так как невозможно было полку взять его с собою», (Исторический Вестник, 1887, февраль, стр. 359).

<sup>130</sup> И. Д. Якушкин, Записки, статьи, письма, М., Изд. АН СССР, 1951, стр. 51.

ство тем самым могло надеяться отнять у подпольного движения источники субсидирования.

Конечно, вполне вероятно, что в эту пору у Мамонова бывали уже периоды крайнего возбуждения, когда он терял власть над собой. Но, бесспорно, для правительства это был лишь предлог. Очень любопытны в этом отношении письма прекрасно осведомленного Вяземского А. И. Тургеневу. Сообщив в письме от 20 сентября 1823 г., что «третьего дня привезли сюда больного Мамонова», у которого «род горячки и воспаление в воображении»,<sup>130</sup> Вяземский, однако, не видит в нем сумасшедшего, нуждающегося в наблюдении: «Здоровье его лучше <. .> Сказывают, что он чудесно хорош. Вдвое стал шире в плечах, лицо приняло какую-то суровость и важность, борода тучная».<sup>131</sup> Через несколько месяцев Вяземский едет к Мамонову как к совершенно здоровому человеку для переговоров об участии в выкупе крепостного Семенова. Между ними происходит любопытный разговор. Вяземский считает, что нужно по мере возможности в частном порядке «выкупать, отпускать, освобождать, со своей стороны», и крайне раздражен максималистским и вместе пессимистическим высказыванием Мамонова: «Зачем выкупать Семенова, когда миллионы в его положении». Раздраженный Вяземский видит в этом «парадоксы подлости, трусости и сожаления выдать 50 рублей»,<sup>132</sup> но о безумии речи не идет. Подлинный смысл разыгранной над Мамоновым комедии Вяземскому был ясен. Получив известие о привозе его в Москву, он сожалел, «что нет здесь Орлова» и Мамонов «остается один в когтях». Смысл последней фразы раскрывается довольно ясно: «Какое странное явление судьбы! Все, кажется, улыбалось ему в жизни, но со всем счастьем мчали его к бездне неукротимое, неограниченное самолюбие и бедственность положения нашего. Ни частный ум его, ни ум государственный или гений России не могли управлять им: он должен был с колесницею своею разбиться о камни».<sup>133</sup> «Частный ум», «ум государственный», — весьма странные характеристики в применении к «сумасшедшему»!

Однако личная судьба Мамонова — как бы она интересна ни была сама по себе — не может заслонить от нас судьбы его организации. Какова была степень активности Ордена Русских Рыцарей после «встречи» его с Союзом Спасения? Прекратила ли эта организация свое существование? Для исчерпывающего ответа на этот вопрос у нас нет достаточных материалов. Ясно,

<sup>131</sup> Остафьевский Архив, т. II, Спб, 1899, стр. 347.

<sup>132</sup> Там же, т. III, стр. 21. Почти теми же, что и Мамонов, словами писал по аналогичному поводу М. Орлов в 1819 г. Тургеневым: «Сибирякова выкупим мы, но нас кто выкупит?» (Там же, т. I, стр. 295).

<sup>133</sup> Остафьевский Архив, т. II, Спб, 1899, стр. 347.

что Союз Благоденствия втянул в свою орбиту более слабую, хотя и раньше возникшую организацию, и деятельность «Ордена» замерла. Вопрос лишь в том, было ли это «замирание» частичным и временным или произошла его ликвидация. Для решения этого вопроса необходимо остановиться на тактике ведущих членов «Ордена» в этот период. Как видим, Мамонов в эти годы остался в стороне от магистральных декабристских организаций. Поведение Орлова было иным: почувствовав в них реальную силу, он пошел на активное сближение. Однако изучение тактики Орлова показывает, что он предпочитал держаться независимо и, прекрасно понимая, в какой мере участники тайных обществ заинтересованы в привлечении его к работе, старался вести себя как самостоятельная политическая и военная сила, не сливаясь полностью с движением, в члены которого он вступил. Об этом сам Орлов достаточно откровенно писал Николаю I: «Я не входил тогда в состав их общества и оставил без осуществления план того общества, которое я сам хотел организовать, потому что я думал со временем воспользоваться их организацией и направить ее соответственно моему замыслу». Последнее привлекло внимание следователей, и на полях появилась надпись: «Каков этот замысел?»<sup>134</sup> Видимо, в дальнейшем вера в Союз Благоденствия окрепла, а надежды на «Орден» окончательно ослабели. Кроме того, став командиром дивизии, Орлов мог надеяться занять в Союзе Благоденствия руководящую роль, и летом 1820 г. он вступил в Тульчине в это общество, принятый Пестелем, Юшневским и Фонвизиным.

Вопрос с том, как строить взаимоотношения с Союзом Спасения и Союзом Благоденствия после обнаружения их существования, волновал и остальных членов «Ордена». Между Н. Тургеневым, который был сторонником полного слияния, и И. М. Бибиковым произошел знаменательный разговор: «Однажды, — вспоминал Н. Тургенев, — последний <Бибиков>, говоря о Союзе Благоденствия, с которым предложено объединить общество, намеченное Орловым, сказал мне, что не считает нужным сливать оба объединения; следует посмотреть, как будет действовать Союз Благоденствия, и пользоваться как его успехами, так и неудачами. Такова была политика этих господ», — иронически заключает Н. Тургенев.<sup>135</sup>

Смысл этого высказывания Бибикова мы поймем, если остановимся на деятельности М. Н. Новикова в этот период.

Полтавский период деятельности М. Н. Новикова освещен в источниках очень слабо. Следственные дела декабристов дают о нем скудные сведения. Еще в 1916 г. в книге А. Н. Пыпина «Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в.» (редакция

<sup>134</sup> П. С. Попов, М. Ф. Орлов и 14 декабря, Красный Архив, 1925, т. XIII, стр. 160—161.

<sup>135</sup> N. Tourgueneffe, La Russie et les Russes; t. I, Bruxelles, 1848, стр. 161.

и примечания Г. В. Вернадского) в «Хронологическом указателе русских лож» назван важный рукописный источник — «Протоколы ученической степени ложи Любви к Истине в Полтаве». <sup>136</sup> Сообщение это не привлекло в свое время ни историков декабризма, ни специалистов по истории украинской литературы (витией, исправляющим должность секретаря, был И. П. Котляревский, и протоколы должны были быть написаны его рукой), а в настоящее время рукопись, числившаяся еще по описям 1920-х гг. (хранилась в собрании кн. Барятинского в ГИМ), видимо, утеряна.

Согласно точке зрения, которая преобладает в показаниях декабристов и была воспринята как следственным комитетом, так и исследовательской традицией, Новиков, переехав в Полтаву, не выполнил поручения Союза Благоденствия — «основать управу в Малороссии», успев лишь «завести» «ложу масонскую». <sup>137</sup> Вызванные из Полтавы члены ложи: Лукашевич, Кочубей, братья Алексеевы — дружно показали, что состояли лишь в масонской ложе, и были после ряда допросов отпущены на Украину. Возобладало представление о том, что политическая активность Новикова затухла.

Однако, такой вывод мало вяжется с тем, что мы знаем о Новикове в предшествующий период. Первый республиканец среди декабристов, человек, открывший двери тайных обществ перед Пестелем, Ф. Глинкой, Ф. Толстым, в значительной степени повлиявший на развитие политических воззрений главы южного общества, Новиков был одним из наиболее активных членов в бытность свою в Петербурге. Трудно поверить, что за шесть лет в Полтаве он «не успел» ничего сделать. При первом ознакомлении с материалом бросается в глаза еще одна особенность: петербургские члены Союза Благоденствия оказываются явно не осведомленными в делах Полтавы. Это можно объяснить только одним: не выходя формально из замершего Ордена Русских Рыцарей и, вместе с тем, являясь членом Союза Спасения, а затем Союза Благоденствия, Новиков предпочитал действовать самостоятельно и далеко не обо всем информировал декабристский центр, с которым у него, как увидим, не было ни идейного, ни тактического единства. Следует отметить, что такое тяготение, особенно «левых» деятелей в период Союза Благоденствия, к самостоятельности не было явлением исключительным: по авторитетному свидетельству Н. Муравьева, «Пестель не признал новый союз и действовал отдельно, прежде в Митаве, а потом в Тульчине». <sup>138</sup>

Для полтавских сослуживцев М. Н. Новикова его политиче-

<sup>136</sup> А. Н. Пыпин, Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в., Пг., 1916, стр. 530.

<sup>137</sup> Восстание декабристов. Материалы. Центрархив, т. IV, стр. 117 и 139.

<sup>138</sup> Восстание декабристов. Материалы. Центрархив, т. I, стр. 307.

ский радикализм не оставался секретом. Служивший в канцелярии Н. Г. Репнина И. Н. Сердюков вспоминал: «М. Н. Новиков, надворный советник, умница, декабрист, которого б, если бы не умер, постигла участь Пестеля».<sup>139</sup> То, что имя Новикова заставляло вспомнить в первую очередь Пестеля, показательно.

Для того, чтобы решить, была ли ложа в Полтаве только средством «приготовления» или содержала в своем составе ячейку тайного общества, необходимо прежде всего остановиться на ее составе. Ложа, учрежденная 30 апреля 1818 г., имела в этом году в своем списке 23 фамилии. Среди них привлекают внимание, кроме самого М. Н. Новикова — управляющего мастера, — С. М. Кочубей (наместный мастер), В. В. Тарновский (1-й надзиратель), И. П. Котляровский (вития, исправляющий должность секретаря), В. Л. Лукашевич, В. А. Глинка.<sup>140</sup>

Насчет последних двух есть точное свидетельство хорошо осведомленного М. Муравьева-Апостола (он долгое время жил в Полтаве как адъютант кн. Репнина): «Новиков принял в члены Союза Благоденствия маршала Лукашевича и полковника Глинку».<sup>141</sup> Первого он именует «значущим членом».<sup>142</sup> Он же свидетельствует, что Новиков не ограничивался «приготовлением», а «из числа» членов ложи «способнейших помещал в общество, называемое Союз благоденствия».<sup>143</sup>

Новиков принял в Петербурге Ф. Глинку, но в данном случае, конечно, имеется в виду полковник артиллерии Владимир Андреевич Глинка — член полтавской ложи.

Ложу в Полтаве Новиков организовывал не единолично: в деле Кочубея, который как наместный мастер был принят одним из первых, есть указание, что в полтавскую ложу его вводили Новиков и флигель-адъютант Бибииков.<sup>144</sup> Последний для нас особенно интересен. В списке полтавской ложи числится находящийся в Петербурге брат 3-й степени Илларион Михайлович Бибииков.<sup>145</sup> Присутствие Бибиикова — участника «Ордена» и не члена Союза Благоденствия (поэтому участие его в тайных обществах осталось широкому кругу членов неизвестным и к следствию привлечен он не был) знаменательно. Роль его, видимо, была немаловажной, если, проживая постоянно в Петербурге, он сделался членом полтавской ложи. Илларион Михайлович Бибииков — личность очень примечательная. Весь жизнен-

<sup>139</sup> Киевская старина, 1896, II, стр. 183.

<sup>140</sup> Tableau général de la Grande Loge Astree à l'O.: de St. Pétersbourg et des 25 Loges de sa dépendance pour l'an maçonnique 58 18/19, стр. 168.

<sup>141</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IX, стр. 268.

<sup>142</sup> Там же, стр. 189. В. Л. Лукашевич был губернским маршалом (т. е. предводителем дворянства).

<sup>143</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IX, стр. 189.

<sup>144</sup> ЦГИА, ф. 48, д. № 193, л. 1. Не путать с Ильей Гавриловичем Бибииковым, адъютантом вел. кн. Михаила Павловича, который был членом Союза Благоденствия.

<sup>145</sup> Tableau général p. 170.

ный путь его переплетен с биографиями декабристов. Женатый на родной сестре Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, он был не только зятем, но и близким другом первого. От их, видимо, оживленной переписки сохранились документальные следы.<sup>146</sup> Матвей Муравьев-Апостол пишет: Бибиков «один сообщает мне об Ипполите».<sup>147</sup> Тайный агент штаба 1-й армии капитан В. С. Сотников 31 декабря 1825 г. доносил: «Я слышал, что подполковник Муравьев находился в весьма коротких связях с полков. Бибиковым, директором канцелярии главного штаба его императорского величества».<sup>148</sup> Трубецкой был давним знакомым Бибикова. «Наши жены и мы были друзьями», — показывал он на следствии, настойчиво подчеркивая, правда, при этом неучастие последнего в тайных обществах. После возвращения из Сибири в доме Бибикова бываюот С. Г. Волконский<sup>149</sup> и другие декабристы. В день 14 декабря Бибиков находился на площади и был жестоко избит народом. Правда, Трубецкой в специальном письме Левашову доказывал, будто причиной избития было то, что он «ходил уговаривать» восставших. Ту же версию повторяет в своих воспоминаниях правнучка его А. Бибилова. Однако необходимо отметить, что Трубецкой (не говоря уже об А. Бибиловой) 14 декабря на площади не был и, составляя письмо, преследовал специальную цель оправдания Бибикова. Между тем, такой точный мемуарист, как И. Д. Якушкин, составлявший описание событий 14 декабря на основании специальных опросов непосредственных участников, рисует несколько иную картину: причиной нападения народа на приближающегося к «мятежному» каре Бибикова были его флигель-адъютантские эполеты с императорскими вензелями, а помощь к нему пришла именно со стороны восставших. Якушкин пишет: «На площади народ волновался и был в каком-то ожесточении. Завидя флигель-адъютанта полковника И. М. Бибикова, проходившего в одном мундире через площадь, народ бросился на него и смял его. Вероятно, флигель-адъютант поплатился б жизнью за свой мундир, если бы Мих. Кюхельбекер не подоспел к нему на помощь. Кюхельбекер уговорил народ, увел его за цепь, дал ему свою шинель и выпроводил его в другую сторону».<sup>150</sup> Очень интересную картину рисует и А. Бибилова, хотя и стремящаяся доказать, что ее прадед не был членом тайных обществ. Согласно ее свидетельству, рядовые гвардейского экипажа «приняли его <Бибикова> в палаши. Видя это, Рылеев и некоторые другие офицеры, знавшие его как зятя Муравьевых-

<sup>146</sup> См. письмо Сергея Муравьева-Апостола И. М. Бибикову, Русский Архив, 1887, т. III, стр. 316—319.

<sup>147</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IX, стр. 212.

<sup>148</sup> Там же, т. VI, стр. 12.

<sup>149</sup> См. Декабристы, Летописи государственного литературного музея, кн. 3, М., 1938, стр. 132.

<sup>150</sup> И. И. Якушкин, Записки, статьи и письма, Изд. АН СССР, М., 1951, стр. 155.

Апостолов и встречавшие его у них, закричали солдатам: «Стойте, братцы, это наш!» В беспамятстве удалось им спасти Иллариона Михайловича, и, накрыв его солдатской шинелью, чтобы не видно было вензелей на эполетах, отнесли его во двор Семеновских казарм.<sup>151</sup> Воскликание это стало известно Николаю. «Слова: «Он из наших» погубили прадеда. Николай Павлович снял с него вензеля и всю жизнь не давал ему ходу по службе». <sup>152</sup> В семье Бибикова был настоящий культ декабристов. Старший сын его Михаил Илларионович (1818—1881) специально перевелся по службе в Сибирь, чтобы быть ближе к дяде, Матвею Муравьеву-Апостолу, трогательную привязанность к которому сохранил и после возвращения из Сибири. А. П. Соколов пишет И. И. Пущину в январе 1857 г.: «В Москву мы приехали накануне нового года прямо к Михаилу Ларионовичу, который со всеми нами как родной <. .>. С Мат<веем> Ива<новичем> он чрезвычайно нежен и предупредителен. Возьмется с ним как с маленьким ребенком».<sup>153</sup> В Сибири М. И. Бибилов женился на «Нонушке» — дочери Никиты Муравьева, сибирской любимице декабристов.

Останавливает внимание и другое лицо в списке полтавской ложи — Александр Павлович Величко. Как и Бибилов, Величко является членом полтавской ложи, хотя служит в Митаве, а постоянно проживает в Петербурге.<sup>154</sup> Биография Величко почти неизвестна, но и то, что мы знаем об этом человеке, заставляет предположить, что присутствие его в ложе Новикова не было ни случайным, ни индеферентным в политическом отношении. В. И. Штейнгель со слов В. П. Колесникова записал сообщение, что в Оренбурге существовало тайное общество. «Когда и кем оно основано — не знаем; известно только, что бывший Оренбургской таможни директор Величко поддерживал его до самой кончины, случившейся в последние годы царствования Александра. Со смертью его общество не рушилось.» «При вступлении на престол Николая I оставался в Оренбурге некто Кудряшев, принадлежавший к тайному обществу Величко».<sup>155</sup> Вопрос о том, в каком отношении находится Величко — член полтавской ложи — и глава оренбургского общества, решается замет-

<sup>151</sup> А. Бибилова, Из семейной хроники, Исторический вестник, 1916, ноябрь, стр. 432.

<sup>152</sup> А. Бибилова, Из семейной хроники, Исторический вестник, 1916, ноябрь, стр. 432. Не вызвано ли письмо Трубецкого вопросами комиссии об участии Бибилова в тайных обществах? Но Бибилов не был членом ни одной из раскрытых следствием организаций, и показаний против него, естественно, быть не могло.

<sup>153</sup> Декабристы, Летописи государственного литературного музея, кн. 3, М., 1938, стр. 207.

<sup>154</sup> *Tableau général de la grande loge Astrée pour l'an maçonnique* 58 18/19, стр. 170.

<sup>155</sup> В. П. Колесников, Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату, Изд. «Огни», Спб, 1914, стр. 6—7.

кой П. Бартенева, опубликованной в «Русском Архиве». Здесь читаем: «В бумагах «Русского Архива» нашлось несколько разысканий о жизни Винского, принадлежащих д. ст. советнику А. Величке, который был одним из его воспитанников и сохранил о нем благодарную память». И далее: « с 1801 по 1806 год находился он <Винский> в Оренбурге у директора Оренбургской пограничной таможи Павла Елисеевича Велички и был наставником при его сыне».<sup>156</sup>

Итак, Величко — член полтавской ложи оказывается сыном Величко, главы оренбургского тайного общества. Однако текст Штейнгеля-Колесникова содержит ряд неясностей. В тексте есть темные места: Колесников (а тем более Штейнгель) знают, видимо, о происхождении оренбургского общества из третьих рук. Прежде всего, они сообщают явно фантастические сведения о том, что «общество» Н. И. Новикова в XVIII в. «имело многие отрасли в России». Вместе с тем, характеристика этого «общества» во многом не совпадает с тем, что мы знаем о реальном кружке Н. И. Новикова в 80-е гг. XVIII в. «Новиковское общество основано было отчасти <курсив мой — Ю. Л.> по правилам масонства. Братство, равенство <. .> и вообще свободомыслие того времени составляли цель его».<sup>157</sup> Конечно, о кружке Новикова декабрист, хорошо представляющий себе отличие масонской ложи от тайного общества, не мог сказать, что оно отчасти построено было на основе масонства. Не вяжется с «мартинистами» XVIII в. и упоминание о политическом свободомыслии. Не произошло ли в сознании недостаточно хорошо информированных в этом вопросе мемуаристов<sup>158</sup> смешение глупо-

<sup>156</sup> П. Б. Бартенева, К жизнеописанию Г. С. Винского, Русский Архив, 1877, № 6, стр. 233.

<sup>157</sup> В. П. Колесников, Записки несчастного . . . , стр. 6. Отрывок этот печатается с большим цензурным изъятием. Однако к интересующей нас теме рукописный текст (хранится в ИРЛИ АН СССР (Пушкинском Доме), Архив Бестужевых, Ф. 604, ед. хр. 18 (5587) ничего существенного не прибавляет.

<sup>158</sup> Единственный член общества Величко, которого знал Колесников, — аудитор Кудряшев, умер во время суда над обществом И. Завалишина. Штейнгель же слышал лишь, вероятно, очень туманные свидетельства Колесникова М. Д. Рабинович в статье «Новые данные по истории Оренбургского тайного общества» (Вестник Академии Наук СССР, 1958, № 7, стр. 106) приводит чрезвычайно интересное показание: «В 1822 г. один из участников Общества А. Л. Кучевский утверждал, что оно «существует девятый год» <. .> Иначе говоря, Оренбургское тайное общество возникло в 1813 г.» Правда, несколько выше тот же автор считает возможным повторить традиционное утверждение: «Возникновение Оренбургского тайного общества связано с деятельностью знаменитого русского просветителя Н. И. Новикова. Сначала оно носило либеральный характер и имело масонскую окраску» (там же). Между тем, очевидно, что свидетельство Кучевского опровергает версию о возникновении Общества еще в XVIII в. Если не толковать это показание слишком буквально, то ясно, что время организации Оренбургского общества следует отнести к периоду около 1815, то есть времени наибольшей активности М. Новикова.

Как установила Ф. Полина, автор дипломного сочинения «Литературная позиция журнала «Вестник Европы» в 1826—1830 гг.», во вторую половину

хих упоминаний о полтавском обществе М. Н. Новикова, действительно построенном «отчасти по правилам масонства», с тем, что они слышали из других источников о московском кружке Н. И. Новикова в конце XVIII в. Следует вспомнить, что М. Н. Новиков был сторонником организации отделений общества в провинции, причем — характерная черта его тактики — ориентировался не на военную молодежь, а на штатских, помещиков и провинциальных чиновников. Так, полтавская ложа почти сплошь состоит из гражданских лиц (в ней есть два мещанина: Петр Егорович Барсов и Николай Вакулович Городецкий). Показательно, что Новиков предложил своего знакомого, тоже штатского, помещика Левина, для заведения управы Союза Благоденствия в Тамбове. Показавший это Трубецкой неизменно рядом с именами Новикова и Левина ставит нижегородского помещика В. И. Белавина, принявшего даже в свою управу несколько человек.<sup>159</sup>

Не является ли каким-либо преувеличенным откликом на стремление М. Н. Новикова расширить сеть провинциальных организаций приводимое выше свидетельство Колесникова-Штейгеля о том, что «новиковское общество» (какое?) «имело многие отрасли в России».<sup>160</sup>

Однако и то, что мы знаем об А. П. Величко, кроме приведенных выше материалов, достаточно любопытно. Как мы уже упомянули, воспитателем его был Г. Винский. В каком направ-

---

двадцатых годов на страницах этого издания выступает довольно значительная группа авторов, связанных с Оренбургом: А. Величко, П. Кудряшев, Розмахнин, братья М. и А. Крюковы. То, что по крайней мере двое из них принадлежали к Оренбургскому обществу, уже само по себе примечательно. Члены этой группы были сплочены какими-то, пока еще неясными для нас узлами. По крайней мере, они развернули на страницах «Вестника Европы» дружную и оживленную кампанию по популяризации творчества и личности умершего вскоре после освобождения из тюрьмы Кудряшева: печатаются произведения Кудряшева с примечаниями Розмахнина, М. Крюков публикует стихи на его смерть. Видимо, ими же был инспирирован некролог Кудряшеву (автор Свинын), где в гибели поэта обвинялись «злора и зависть». Эта кампания, очень примечательная, если вспомнить, что в центре ее стояла фигура поэта-жертвы правительственных репрессий, а временем ее была эпоха всеобщего безмолвия после казней 1826 г., вызвала показательный отпор: некто И. Марков прислал в «Вестник Европы» письмо из Оренбурга, в котором в доносительных тонах обвинял самого Кудряшева в собственной гибели и защищал «кроткие» «меры начальства». Естественно возникает вопрос: была ли эта кампания случайной или она представляла систему продуманных действий определенной группы? Связана ли эта группа как-либо с разгромленной оренбургской организацией?

<sup>159</sup> См. Восстание декабристов. Материалы, т. I, стр. 31, 40, 50, 85. Предположение о том, что с тамбовским помещиком Левиным был как-либо связан друг Огарева Ф. Левин, было высказано М. В. Нечкиной, см.: Литературное наследство, т. 61, М., 1953, стр. 664—665.

<sup>160</sup> Трубецкой считает, что и Белавин, и Левин после 1818 г. «отклонились», ибо более он уже об их деятельности не слышал. Но необходимо иметь в виду (см. об этом ниже), что именно в эти годы обозначились расхождения между Новиковым и руководством Союза Благоденствия и стремление Новикова действовать самостоятельно, вне рамок этой организации.

лении могло итти воспитание, указывает то, что с другой своей воспитанницей, молодой девушкой, в Уфе он читал «Гельвеция, Мерсье, Руссо, Мабли».<sup>161</sup> В бумагах А. П. Величко и позже хранились переведенные Г Винским с французского пьесы и политические сочинения эпохи революции.<sup>162</sup> Привлекает внимание и то, что Величко оказался в Митаве как раз в то время, когда там действовал Пестель, продолжая руководствоваться, по свидетельству Никиты Муравьева, статутами уже «разрушенного» Союза Спасения.<sup>163</sup> Приблизительно к 1823 г. Величко уже знаком с Рылеевым и Бестужевым и собирается сотрудничать в «Полярной Звезде».<sup>164</sup> По знакомству его отца со Сперанским он живет в Петербурге в доме последнего и часто встречается с Батеньковым, который, правда, не испытывает к нему доверия.<sup>165</sup>

Не будучи привлечен к следствию и сделав карьеру чиновника (в начале 40-х годов он был членом Совета министерства внутренних дел), Величко не скрывал, видимо, все же своего недовольства, что привело к катастрофическим последствиям. Сенатор К. Н. Лебедев записал в 1846 г. в своем дневнике: «Много толков о д. с. с. Александре Павловиче Величко. Его отставили от службы за неприличные званию поступки и посадили в исправительное заведение. Зная Величко, я не сомневаюсь, что он мог дать повод к таким мерам: злой язык, при оскорбленном самолюбии, дерзкие речи и праздная жизнь в искании средств поддержать свое состояние, совершенно разстроенное займами и безуспешностью предприятий, — все это могло привести к поступкам, неприличным его званию и к заключению в исправительное заведение».<sup>166</sup> Характерно упоминание «злого языка» и «дерзких речей».

Необходимо отметить, что оба Величко — Павел Елисеевич и Александр Павлович — с 1816 г были членами ложи «Избранного Михаила», т. е., бесспорно, познакомились с М. Н. Новиковым в то самое время, когда он приглашал в тайное общество Пестеля и Ф Глинку. (См. *Tableau Général de la Grande Loge Astrée* < .> pour l'an maçonnique, 58 17/18, p. 34, 36). Затем А. П. Величко, вместе с Новиковым, переходит в полтавскую ложу, а П. Е. Величко, оставаясь братом в ложе «Избранного Михаила», числится в ней «отсутствующим», т. е. находится в Оренбурге. Не проясняет ли это вопрос о «новиковских» истоках оренбургского общества?

Таковы были некоторые члены новиковской ложи. Если вспомнить, что членом ложи был также, бесспорно, не лишен-

<sup>161</sup> Г С. Винский, *Мое время*, Спб, Изд. «Огни», (1914), стр. 139.

<sup>162</sup> См. *Русский Архив*, 1877, № 6, стр. 233.

<sup>163</sup> См. *Восстание декабристов. Материалы*, т. I, стр. 299, 307.

<sup>164</sup> См. *Русская Старина*, 1889, № 1, стр. 325.

<sup>165</sup> Г С. Батеньков, *Граф М. М. Сперанский и граф. А. А. Аракчеев*, *Русская Старина*, 1897, октябрь, стр. 89—91.

<sup>166</sup> Из записок сенатора К. Н. Лебедева, *Русский Архив*, 1910, № 10, стр. 186—187.

ный демократических симпатий известный украинский писатель И. П. Котляревский (о влиянии Новикова на Кочубея и Лукашевича мы будем говорить дальше), то предположение, что полтавская ложа «Любви к истине» содержала в своих недрах политическую организацию, не покажется совсем лишенным оснований.

Для того, чтобы определить место полтавской ложи в истории Ордена Русских Рыцарей, необходимо суммировать то немногое, что мы знаем о работе этой организации.

Хотя М. Н. Новиков и на ранних этапах своей деятельности выступил как представитель радикального, республиканского направления, однако, в его взглядах, видимо, были черты, сделавшие вполне естественным его солидарность с Союзом Благоденствия.

Еще молодым человеком он был избран в Пензе предводителем дворянства<sup>167</sup> и, видимо, питал определенные надежды на освободительную инициативу дворянской общественности. Еще в самый ранний период существования тайных обществ Новиков рассчитывал вырвать свободу крестьян у правительства путем широкого движения дворян. В период возникновения Союза Благоденствия к этому присоединилась мысль о возможности воздействия на прогрессивных, патриотически настроенных вельмож. То, что активный член тайных обществ М. Н. Новиков сразу же после того, как Н. Г. Репнин приехал из Саксонии, где он исполнял должность вице-короля, воспользовался близким знакомством с ним, завязавшимся еще в Дрездене, и поспешил занять должность начальника канцелярии при новом Главнокомандующем Малороссии, не являлось случайностью.

---

<sup>167</sup> Н. Н. Муравьев вспоминал о том, как в 1813 г. «Михаил Николаевич Новиков занял место дежурного штаб-офицера. Хотя он еще был молод, но дворянство пензенское выбрало его в свои предводители <. .> Он был умен, правил благородных и обладал даром слова. Он имел обширные сведения о России. .» (Русский Архив, 1886, № 1, стр. 37). В Пензе имела определенную группу передовых дворян, о борьбе которых с губернатором озлобленно сообщал Вигель: «В нечестивой Пензе услышал я в первый раз насмешки над религией, хулы на бога, эпиграммы на богородицу <. .> Уверен в душе моей, что если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то первые ее валы воздыматься будут в Пензе» (Ф. Ф. Вигель, Записки, М., Изд. «Круг», 1928, т. 1, стр. 142—143). При характеристике идейных связей Новикова встает вопрос о взаимоотношении его с тем кружком братьев Тургеневых, на существование которого указали А. Н. Шубинин и В. В. Пугачев (сб. «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», М.—Л., 1936, стр. 20—21, В. В. Пугачев, Из предьстории декабристского движения, Научный ежегодник СГУ на 1955 год, отдельный оттиск, Саратов, 1958, стр. 40—45). Декабристские связи Новикова и Н. Тургенева бесспорны. Менее известен факт знакомства Новикова с С. Тургеневым, который еще в 1813 г. был сослуживцем главы полтавской ложи по совместной работе в Дрездене в канцелярии Н. Г. Репнина. Вопрос о влиянии идей республиканца Новикова на младшего Тургенева так же мало исследован, как и само мирозрение этих двух деятелей.

Н. Г Репнин — родной брат декабриста С. Г Волконского — был человеком, определенно сочувствующим либеральным идеям, и Новиков вполне мог рассчитывать играть при нем роль, подобную роли Ф. Глинки при Милорадовиче. Не лишено интереса, что, если идею обращения к царю с прошением от имени дворян об отмене крепостного права Пестель связывает с Новиковым, то разочарование в ней, по его мнению, наступило после неудачи затеянной в Полтаве попытки подвигнуть помещиков на организационную инициативу подобного рода: «Скоро получили мы убеждение, что нельзя будет к тому дворянство склонить. В последствии времени были мы еще более в том убеждены, когда малороссийское дворянство совершенно отвергнуло похожее на то предложение своего военного губернатора».<sup>168</sup>

В данном случае имеется в виду нашумевшая в свое время речь, произнесенная Н. Г Репниным при открытии дворянских собраний в Полтаве 3-го и в Чернигове 20-го января 1818 г. Речь Репнина не содержала отрицания крепостного права — «связь, существующая, между помещиками и крестьянами, — по его мнению, — отличительная черта русского народа».<sup>169</sup> Однако военный губернатор Малороссии призывал помещиков не только улучшить положение крестьян (что само по себе не было чем-то необычным, особенно в обстановке общественного возбуждения, предшествовавшего варшавской речи Александра I).<sup>170</sup> но и законодательно закрепить некий новый, более справедливый статут положения народа. «Сии отеческие попечения ваши да не будут подвержены кратковременности жизни человеческой; оснуйте и на будущие времена благоденствие чад и внучат ваших. По местным познаниям вашим изыщите способы, коими, не нарушая спасительной связи между вами и крестьянами вашими, можно было бы обеспечить их благосостояние и на грядущие времена, определив обязанности их. Через сию единственно меру предохраните вы их навсегда от тех притеснений, которые, по несчастью, еще доселе случаются: избавите правительство от горестной обязанности преследовать оные и благородное сословие ваше от нареканий, происходящих чрез поступки людей, недостойных быть сочленами оного».<sup>171</sup>

В том же году была предпринята попытка возбудить обсуждение крестьянского вопроса уже не от имени «властей», а от

<sup>168</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IV. стр. 101.

<sup>169</sup> Киевская старина, т. XXX, Киев, 1890, июнь, стр. 119.

<sup>170</sup> Анализ политических настроений 1818 года см. в кн. А. В. Предтеченского. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века, М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 378—379.

<sup>171</sup> Киевская старина, т. XXX, 1890, июнь, стр. 120. Выступление Репнина вызвало резкие протесты крепостников (копия одного из таких «возражений» хранится в архиве Шильдера, ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, рукописное собрание, К—19, № 2), а перепечатка его в «Духе журналов» (№ 20, 1818 г.) — вдобавок без предварительного представления в цензуру — была причиной специального правительственного запроса.

лица дворянской общественности. Если в первом случае трудно установить, в какой мере речь Репнина несла на себе отпечаток воздействия правителя его канцелярии, то во втором случае такое воздействие бесспорно. Инициатором обращения к правительству с представлением о законодательном определении нового порядка взаимоотношений между помещиком и крестьянином на этот раз явился Семен Михайлович Кочубей — наместный мастер полтавской ложи «Любви к истине». Кочубей был не только вторым после Новикова лицом в ложе — между ними, видимо, существовала и дружеская близость. По крайней мере, после того как Новиков порвал с Репниным и вышел в отставку, он поселился в поместье Кочубея. Хорошо осведомленный Матвей Муравьев-Апостол, на глазах которого развертывалась деятельность Новикова в Полтаве, сообщив, что последний «способнейших помещал в общество, называемое Союз Благоденствия», назвал Кочубея в числе выделенного им актива ложи.<sup>172</sup>

Текст предложений Кочубея до нас дошел лишь в цитатах, приводимых его оппонентом из числа придворных Александра I. Тем не менее и по этим отрывкам можно отметить близость основного направления его выступления к речи Репнина, — перед нами стремление законодательно определить обязанности и права крестьянина и помещика и сделать крестьянский вопрос предметом широкой общественной дискуссии. При этом в обоих случаях решение вопроса ожидается от правительства.

Кочубей предлагает сравнительно скромные меры. Однако он сам указывал, что не считает свое «учреждение» «положительным законом на долгое время, а переходением к лучшему».<sup>173</sup> Целью своего обращения к правительству Кочубей считал пропаганду среди дворян идеи освобождения народа. Он хотел «показать явственный пример» дворянам, «из коих многие чувствуют нужду сих перемен, но не решаются к оным приступить».<sup>174</sup>

Насколько можно судить, практическая сторона предложений Кочубея сводилась к следующему:

- 1) Запрещение продажи крестьян без земли;
- 2) Запрещение помещикам наказывать крестьян. Крестьян наказывает «общество» и избранные им судьи;
- 3) Земли, входящие в помещичью запашку, остаются за помещиком; земли, находящиеся в распоряжении крестьян, «состоят в неотъемлемом владении тех самих, кто доселе чем владел».<sup>175</sup> Крестьянин осуществляет над ними права собственности и наследования, без права, однако, продать или каким-либо

<sup>172</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IX, стр. 189 и 200.

<sup>173</sup> Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его И. В. канцелярии, издан под ред. Н. Дубровина, вып. VII, Спб, 1895, стр. 175.

<sup>174</sup> Там же.

<sup>175</sup> Там же.

другим способом передать в иные руки. В случае смерти крестьянина, не имеющего наследников, земля возвращается к помещику;

4) Во избежание разорения крестьян кабатчиками, § 119 указывал: «Хотя крестьянин есть совершенный владелец всей его движимости, но для пользы его необходимо иногда воспретить ему продавать или сбывать необходимое из сих вещей»,<sup>176</sup>

5) Права крестьянина от посягательств помещика охраняет выбираемый крестьянским обществом сельский суд.

Программа эта не только не была революционной, но и не предлагала полного освобождения крестьянина. Однако, бесспорно, что принятие ее создавало бы новые, значительно более благоприятные, виды на окончательную ликвидацию крепостного права. Еще более значительным был бы ее пропагандистский резонанс.

Правительство не могло прямо отвергнуть предложение Кочубея, во-первых, так как такой шаг резко разошелся бы со всего лишь месяц тому назад (правительственный отзыв на «проект Кочубея» помечен 16/28 апреля 1818 г.) торжественно прокламированным с трибуны варшавского сейма «законосвободным» направлением. Вместе с тем, Кочубей не предлагал государственных перемен, а просил лишь о высочайшем утверждении тех взаимоотношений, которые уже существовали в его, Кочубея, деревне; для издания же такого частного акта при согласии и по инициативе самого душевладельца законных препятствий быть не могло. Однако правительство понимало и то, насколько нежелательным явился бы прецедент подкрепления авторитетом верховой власти частной инициативы подобного рода. Это обусловило характер возражений придворного рецензента на проект Кочубея. Автора упрекнули в корыстных видах. С демагогических позиций Кочубей был обвинен в желании ухудшить положение крестьян. Чтобы доказать это, рецензент сравнивает предложение Кочубея не с реальными условиями жизни крестьянина, а с отвлеченными правами человека, делая вид, якобы он защищает интересы народа от поползновений корыстного помещика. Правительство, которое само было бесконечно далеко от идеи полного освобождения крестьян, не говоря уж о передаче им помещичьей земли в достаточном количестве, упрекало Кочубея за недостаточные гарантии крестьянской собственности! Совершенно в духе варшавской речи Александра автор замечаний говорил о «доставлении утесненному, однако почтенному и полезному состоянию земледельцев той законообразной свободы (ср. «законосвободный» — перевод П. А. Вяземского в русском тексте речи слова «liberal»). без коей не можно утвердить проч-

<sup>176</sup> Там же, стр. 168.

ного для крестьян счастья».<sup>177</sup> При этом автор замечаний демагогически требует, чтобы крестьянин «обеспечился в полном распоряжении своей собственностью».<sup>178</sup>

Это были те же самые мотивы, которые через год с небольшим выдвигались для замораживания попытки Якушкина освободить своих крестьян. Требование Кочубея воспретить продажу крестьян на своз отвергалось, поскольку «продаже крепостных людей без земли положены уже законами некоторые преграды, и правительство принимает меры совершенно воспретить оную», хотя, казалось бы, что именно поэтому инициативу Кочубея надо было поддержать. Мысль Кочубея о необходимости изъять право наказания из рук помещика и передать его крестьянскому суду отвергается с ссылкой на то, что «при нынешнем умягчении нравов, в настоящее благословенное царствование в России, где более, нежели в каком-либо другом государстве, действует пример сидящего на престоле, слышим ли что, подобное прежним жестокостям помещиков?»<sup>179</sup> Рецензент был, конечно, прав, когда указывал, что предлагаемые Кочубеем суды «не что иное будут как только орудие помещиковой воли», как и в ряде других замечаний, но из этого он делал вывод не о необходимости перемен более радикальных, чем предлагаемые Кочубеем, а о ненужности перемен вообще. Попытка законодательно регламентировать отношения помещика и крестьянина отвергается с лицемерной ссылкой на то, что, хотя земля крестьянина не ограждена никакими законами, но «внутреннее чувство справедливости, сильнейшее всех законов на свете, не дозволяет помещикам прикасаться к оным».<sup>180</sup> Упрекая Кочубея за то, что право собственности у крестьянина, согласно его учреждению, не будет полным, автор замечаний делает вид, что забыл о существовании крепостного права на Украине, и обвиняет Кочубея в том, что именно он отнимает у крестьян право собственности на земли, «ими купленные или кровно по службе приобретенные» до указа 1783 г.

Демагогический смысл этих обвинений ясен. Стоящий за спиной Кочубея Новиков выдвигал программу минимальных, но вполне реальных мероприятий, с которых можно было бы начать практические действия по пропаганде идеи освобождения — придворные «либералисты» стремились погубить проект, перенеся его в сферу внешне решительных, но чисто бумажных, химерических рассуждений.

Однако, понимая, что игра имеет очень прозрачный характер, правительство выдвинуло и другое возражение. Кочубею

<sup>177</sup> Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной его И. В. канцелярии. издан под ред. Н. Дубровина, вып. VII, Спб, 1895, стр. 165.

<sup>178</sup> Там же.

<sup>179</sup> Там же, стр. 167.

<sup>180</sup> Там же.

было заявлено, что лежащие на поместье долги, во имя обеспечения собственности кредиторов, препятствуют осуществлению всяческих новшеств. Заключительная формула содержала упрек в корыстолюбии и намекала на возможность неблагонамеренных видов: «Расстроенное положение дел Кочубея не дает ли полного права подозревать, что сие учреждение, если нет при том еще и других каких-либо общих видов (разрядка моя — Ю. Л.; в оригинале выделено лишь слово «общих»), единственно для того только и предлагается, чтобы отклонить на неопределенное время уплату долгов, обременяющих Кочубея».<sup>181</sup>

Заверения Кочубея, что долги и в новых условиях будут выплачиваться аккуратно, а новый порядок совсем не нов — он «есть по большей части описание порядка, уже существующего в моих деревнях еще с 1811-го г.»<sup>182</sup> — были оставлены без внимания.

Вслед за неудачей, постигшей попытку Кочубея, в Полтаве был предпринят еще один шаг с целью воздействия на правительство. На сей раз действующим лицом снова оказался Репнин. 16 июля 1818 г. он обратился к царю с письмом, имеющим целью отделить опороченную личность Кочубея от предлагаемой им идеи регламентации крестьянских повинностей. «Полагая совершенно в сторону дело господина Кочубея, я осмеливаюсь утруждать ваше императорское величество представлением моим об общем положении крестьян в Малороссии. Я тем более считаю долгом моим сие сделать, что стесненные мои обстоятельства заставляют меня помышлять о горестном прекращении всякого служения и что вскоре я не буду уже иметь права быть ходатаем у отеческого вашего сердца за сие сословие, столь полезное и столь обремененное.

Попечение об участии крестьян почитал я одною из священнейших моих обязанностей: увещания и угрозы, похвалы и взыска́ния беспрестанно употреблялись к одной цели: у многих помещиков, не пекущихся о благосостоянии им подвластных, отнято управление имением и поручено опеке: некоторые за тиранские поступки преданы уголовному суду и содержатся в темницах < . >, но к сожалению дело сие есть временное, и малейшее послабление местного начальства обратит оное в первобытное состояние.

Прежде общих государственных мер, коими явственнее определяется обязанность крестьян и помещиков и коих всякий благомыслящий подданный не только не боится, но даже искренно желает, первый шаг к благосостоянию земледельцев будет определенность их трудов». Эта мера рассматривается как шаг «к восстановлению со временем прав малороссийских крестьян,

<sup>181</sup> Там же, стр. 171.

<sup>182</sup> Там же, стр. 175.

статутами и манифестом предков вашего императорского величества утвержденных, по указанию 1783 и 1796 гг уничтоженных». <sup>183</sup>

Все эта сумма весьма целенаправленных действий не привела ни к каким результатам: ни повлиять на правительство, ни организовать дворянскую общественность под знаменем освободительных идей не удалось. Пестель указывал на это как на одну из причин разочарования в легальных методах борьбы. Аналогичное впечатление произвели неудачи и на членов полтавской ложи. Видимо, именно в связи с неудовлетворенностью Новикова чисто пропагандистскими методами борьбы возникли разногласия между полтавской группой и коренной управой Союза Благоденствия. Об этом очень ясно показал Трубецкой. Декабристы в своих показаниях — даже те, которые явно были осведомлены в делах Полтавы (Пестель, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы) — предпочитали не касаться этого вопроса. Для того, чтобы истолковать смысл неожиданно пространных показаний Трубецкого, надо понять их место в общей тактике самозащиты последнего на следствии.

Показание было писано в начале следствия, когда Трубецкой всячески стремился преуменьшить значение и размер тайного общества. О южной организации он говорит вскользь как об обществе, которое должен был завести Пестель (показание составлено так, что следователи могли предположить неосуществление этого замысла), зато все внимание он сосредоточил на организации умершего Новикова. Но и здесь перед ним встала сложная задача: надо было отмежеваться от решительно-республиканской позиции Новикова и, вместе с тем, представить дело так, якобы эта решительность не была ему известна. Он вышел из положения, мотивируя расхождения «дурной нравственностью» Новикова (вспомним характеристику Н. И. Муравьевым Новикова как человека «благородных правил»). Трубецкой показывал: «Новиков, с которым познакомил нас Пестель, оказался человеком дурной нравственности, и слышно было, что он только помышляет о том, как бы нажиться <к этому обвинению мы еще вернемся>. почему и было поручено Матвеем Муравьеву, бывшему тогда у князя Репнина адъютантом, надзирать за Новиковым». <sup>184</sup> Матвей Муравьев-Апостол прибыл в Полтаву в начале 1818 г., и есть все основания полагать, что между ним и Новиковым сложились напряженные отношения. Более того: между директором канцелярии Репнина и адъютантом последнего, видимо, происходила борьба за влияние на главнокомандующего, закончившаяся победой Муравьева. На следствии он показывал: «Заметь, что г-н Новиков позволял себе многие злоупотребления, несовместимые с моими мыслями, я от него совершенно от-

<sup>184</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. I, стр. 40.

<sup>183</sup> Там же, стр. 172—173.

стал. В 1822 году к. Репнин по сим же причинам его отдалил от себя, и он тогда стал жить у Кочубея». <sup>185</sup> Обвинение в «безнравственности» не должно нас вводить в заблуждение. Вспомним, что оно же предъявлялось и Пестелю, о котором Трубецкой говорил, что он «окружает себя дурными людьми, в пример сего ставил Василья Львовича Давыдова». <sup>186</sup>

Однако, ухудшение отношений между Петербургом и Полтавой не означало еще политической изоляции последней. Определенный интерес представляют связи полтавской ложи с тульчинской управой. Трудно себе представить, чтобы тесная идейная близость Пестеля и Новикова в Петербурге оборвалась с переездом обоих на Украину. В показаниях Матвея Муравьева-Апостола есть одно любопытное в этом отношении место. «Общество сие, — пишет он о полтавском кружке, — имело сношение с», далее первоначально следовало: «южным через Новикова к Пестелю, с Северным же не знаю, чтоб оно оное имело». Однако М. Муравьев-Апостол зачеркнул написанное и вписал «с Северною директорию <так! — Ю. Л.> и, полагаю, с Тургеневым». <sup>187</sup> Смысл исправления ясен: Матвей Муравьев-Апостол более всего боялся отягчить судьбу брата Сергея. Указывая на находящегося за границей Николая Тургенева, он обрывал возможность дальнейших распросов, между тем, первый вариант, бесспорно, отражавший истинное положение вещей, мог вызвать дополнительные вопросы Пестелю, чего Матвей Муравьев-Апостол, видимо, и не желал. Дело в том, что связь с южными декабристами, как свидетельствуют источники, в значительной части осуществлялась через Сергея Муравьева-Апостола, который мог приезжать в Полтаву к брату, не вызывая подозрений. Тот же Матвей Муравьев-Апостол вынужден был все же показать: «Брат мой Сергей, когда приезжал в отпуск в 1820 году и когда он был у меня в Полтаве, то он был у Новикова». <sup>188</sup> Бывал Сергей Муравьев-Апостол в Полтаве и прежде. Другим связующим звеном между Полтавой и югом мог быть И. М. Бибииков — ближайший друг С. Муравьева-Апостола и член полтавской ложи. Возможно, что именно это сближение и вызвало назначение в Полтаву специального «наблюдателя». Необходимо иметь в виду, что Матвей Муравьев-Апостол был напуган решительностью настроений брата и прилагал усилия к отдалению его от радикальных деятелей юга.

Совсем по иным побуждениям произошло в это время расхождение между Новиковым и Лукашевичем. Матвей Муравьев-Апостол называл Лукашевича первым в ряду «значущих чле-

<sup>185</sup> Там же, т. IX, стр. 189.

<sup>186</sup> Там же, т. I, стр. 35.

<sup>187</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IX, стр. 189.

<sup>188</sup> Там же, стр. 268, Этому показанию Матвея Муравьева-Апостола стремился придать особый смысл: Сергей Муравьев-Апостол, якобы, приезжал затем лишь, чтобы отобрать у Новикова «Зеленую книгу».

ном» полтавской группы. «Лукашевич при первом допросе сознался, что в 1817 или 1818 году был принят в Союз Благоденствия Новиковым, которому по прочтении тетрадки, заключающей предварительное понятие о сем обществе, дал установленную подписку».<sup>189</sup> Позже, почувствовав, что у следствия нет против него улик (несмотря на строгое предписание Репнину арестовать членов полтавской ложи «с имеющимися у них бумагами так, чтобы они не имели времени к истреблению их», и «прислать в С.-Петербург, каждого порознь»,<sup>190</sup> Репнин направил чиновника с приказом кружным путем, и оставшиеся после смерти Новикова бумаги были уничтожены), что петербургские члены не имеют вообще никаких сведений о ходе событий в Полтаве, а южные, кроме молчавших Пестеля и С. Муравьева-Апостола, имеют лишь весьма слабые представления, Лукашевич изменил показание и «пояснил, что он в Союз Благоденствия не был принят Новиковым, а приглашен в оный артиллерии полковником Владимиром Глинкою. который сообщил ему тетрадку, полученную от Новикова, и взял с него по установленной форме расписку».<sup>191</sup> Второе показание явно неискренне, да и не отрицает, по существу, главного — подписания расписки, что связано было именно со вступлением в союз.

Однако в дальнейшем он занял сепаратистскую позицию, сблизился с польскими обществами, отношение к которым и Мамонова, и М. Орлова, а, можно полагать, также и Новикова, было отрицательным. Пестель и С. Волконский со слов поляков знали, что «начальник малороссийского общества есть Лукашевич».<sup>192</sup>

Показательно, что отделившись от Новикова, Лукашевич сохранил в структуре своего общества столь характерные для Ордена Русских Рыцарей черты соединения масонской ритуальности с политико-патриотическим воспитанием членов ложи. Полковник Хотяинцев говорил С. Волконскому, «что Лукашевич предлагал вступить в общество, учрежденное в Малороссии и находящееся в связях с польским, поясняя, что в этом обществе есть катехизис, употребляемый по подобию масонских лож при открытии и закрытии, в котором на вопрос: «Где восходит солнце?» ответствуется: «В Чигирине».<sup>193</sup> Лукашевич сначала назвал это «вымыслом и клеветою»,<sup>194</sup> но потом «признался, что при рассуждении с Хотяинцевым о масонских ложах он действительно говорил ему, что оные не приносят никакой пользы молодым людям (ср. приведенные выше слова Новикова Ф. Глинке о масонстве), которые лучше могли бы образоваться в таких

<sup>189</sup> ЦГИА, ф. 48, № 41, л. 8.

<sup>190</sup> Там же, № 31, л. 218.

<sup>191</sup> ЦГИА, ф. 48, № 41, л. 8.

<sup>192</sup> Там же, л. 10 об.

<sup>193</sup> Там же, л. 11 об.

<sup>194</sup> Там же, л. 12 об.

обществах, где во время работ они поучались историческим событиям и деяниям мужей знаменитых и кои для удовлетворения любопытных можно было бы составить также мистически, как например, говоря о Хмельницком и счастливом низвержении польского ига,<sup>195</sup> можно бы сказать: Солнце взошло в Чигирине!», с чем при очной ставке согласился и Хотяинцов». <sup>196</sup>

Есть сведения, что инициатива организации «Малороссийского общества» Лукашевича принадлежала именно Новикову. «Малороссийское общество» намеревались образовать из масонских лож: в Полтаве бывший правитель канцелярии военного губернатора Новиков и в Полтавской губернии маршал Лукашевич — и предположили целью независимость Малороссии». <sup>197</sup>

Н. Ф. Павловский, давший весьма интересную характеристику Лукашевича, <sup>198</sup> с полным основанием сравнил интерес Новикова в украинском освободительном движении с украинской темой в творчестве К. Ф. Рылеева.

Говоря о деятельности новиковского кружка в Полтаве, необходимо остановиться еще на одном событии в общественной жизни России.

При просмотре списка членов «Любви к Истине» обращает на себя внимание имя одного из двух мещан, «братьев гармонии», Петра Егоровича Барсова. Имя это хорошо известно в истории русской культуры. Видный провинциальный театральный деятель, он был сначала содержанием театра и актером в Курске, Харькове, а затем в Полтаве. Барсов был человеком, сыгравшим значительную роль в привлечении на сцену М. С. Щепкина. Видимо, не без содействия Барсова Щепкин переехал в Полтаву. Здесь началась борьба за его освобождение. Между Щепкиным и Барсовым сложились отношения близкой дружбы. А. В. Щепкина вспоминала: «Скоро после переселения М. С. Щепкина на московскую сцену в Харькове скончался его старинный друг Петр Егорович Барсов. Они вместе начали свою артистическую карьеру в Курске, где г-н Барсов содержал театр вместе с своим братом. Из «Записок» М<ихаила> С<еменовича> видны их старые хорошие отношения. П. Е. Барсов первый подал Михаилу Семеновичу мысль поступить на службу при театре в Полтаве, куда и сам Барсов переехал в то время. В Полтаве оба они сблизились еще больше и провели

<sup>195</sup> Лукашевич подчеркивал это, видимо, чтобы отвести упрек в стремлении к союзу с поляками, однако, Волконский показывал, что «во всяком сношении членов южного общества с поляками Лукашевич был известен и при свидании с ним, Волконским, пересказывал ему все то, что происходило в переговорах его, Волконского, Пестеля и других с поляками». (ЦГИА, ф. 48, № 41, л. 12).

<sup>196</sup> Там же, л. 12 об. — 13.

<sup>197</sup> Русская старина, 1898, № 11, стр. 345.

<sup>198</sup> См. Н. Ф. Павловский, Из прошлого Полтавы. К истории декабристов. Издание Ученой Полтавской архивной комиссии, Полтава, 1918, стр. 14—18. См. его же статью в т. I Трудов Полтавской архивной комиссии.

несколько лет в тесных дружеских отношениях. Когда до Михаила Семеновича дошла весть о том, что П. Е. Барсов скончался, оставив большую семью свою на руках жены, М<ихаил> С<еменович> тотчас решил, что он должен взять к себе это осиротевшее семейство. Таким образом дети обоих друзей воспитывались вместе. »<sup>199</sup>

Исследователи жизни и творчества Щепкина, отмечая решающую роль кн. Репнина в освобождении артиста, с недоумением останавливались перед причинами заботы «вельможи о крепостном рабе».<sup>200</sup> Указывалось и на то, что «князь Репнин имел честолюбивые замыслы превратить < . > Полтаву в «украинские Афины».<sup>201</sup> Привлечение «могущественного сатрапа» к непосредственному участию в деле выкупа объяснялось как «блестящий ход со стороны Михаила Семеновича»<sup>202</sup> Щепкина. С другой стороны, еще в дореволюционных работах подчеркивался «либерализм» Репнина, его отрицательное отношение к крепостному праву.

Между тем, при первом же знакомстве с материалами, бросается в глаза то обстоятельство, что в борьбу за освобождение Щепкина оказался втянутым весь полтавский кружок Новикова. Кроме Барсова, причастность которого к этому делу представляется несомненной, активное участие в нем принимает Котляревский (это видно из писем Репнина к последнему). Исследователи, детально осветившие сложные перипетии освобождения Щепкина (А. Дерман, И. Айзеншток), не обратили внимания на роль, которую сыграл в этом М. Н. Новиков. Между тем, из записок Щепкина ясно, что она была велика. Для переговоров «Новиков призвал меня к себе на дом», — пишет Щепкин.<sup>203</sup> Рассказ М. С. Щепкина о выкупе неполон — это лишь незавершенный отрывок, но и в нем бросаются в глаза имена Новикова, Котляревского, Кочубея как лиц, через которых просьбы Щепкина передавались Репнину, осуществлялось привлечение последнего к делу выкупа и организовывался сбор средств для этого.

Список фамилий, обозначенных на подписных листах,<sup>204</sup> — ценный документ для изучения сферы общественного влияния

---

<sup>199</sup> А. В. Щепкина, Воспоминания. Михаил Семенович Щепкин в семье и на сцене, Русский Архив, 1889, № 4, стр. 547. Имя сына Барсова, Константина Петровича, ставшего потом зятем Щепкина, встречается в переписке Белинского.

<sup>200</sup> А. Дерман, Московского малого театра актер Щепкин, М., Изд. «Московский рабочий», 1951, стр. 82

<sup>201</sup> Там же, стр. 71.

<sup>202</sup> Там же, стр. 72.

<sup>203</sup> М. С. Щепкин, Записки, письма, современники о М. С. Щепкине, М., Изд. «Искусство», 1952, стр. 138.

О связях Котляревского и Щепкина см.: С. Дурьлин, М. С. Щепкин и И. П. Котляревский, сб. «Русско-украинские литературные связи», М., Гослитиздат, 1957.

полтавского кружка Новикова. Если исключить Репнина и группу, видимо, им привлеченных высокопоставленных губернских штатских и воинских чиновников и брата Репнина, будущего декабриста Сергея Волконского (он подписался на 500 р. и принимал активное участие в организации сборов), то останется довольно обширный список лиц, видимо, затронутых влиянием полтавского центра. Сравнивая подписные листы со списком членов ложи «Любви к Истине», убеждаемся, что большинство участников ложи связано было со сбором средств на выкуп Щепкина: Ф. Ремерс внес 50 р., Д. Алексеев — 100, С. Война — 50. К участию в подписке они привлекли и своих родственников — В. Ремерса, другого Войну и т. д. Обращает на себя внимание еще одна особенность: подписные листы не содержат имен лиц, наиболее активно участвовавших в освобождении Щепкина и, несомненно, инспирировавших всю кампанию сбора денег: ни Новикова, ни Котляревского, ни Барсова, ни Тарновского, ни Кочубея, ни Лукашевича в списке нет. Это тем более бросается в глаза, что на подписном листе стоят имена двух родственников Тарновского — Григория Тарновского, внесшего крупную сумму в 250 р., и В. Тарновской, некоего Кочубея, обещавшего 100 р., но давшего лишь 50 — видимо, родственника С. М. Кочубея, который предпочел лишь выступить в качестве передатчика крупной суммы (250 р.), пожертвванной от «неизвестной особы».

Такого рода «скромность» вряд ли была случайной. Видимо, новиковская группа предпочитала оставаться в тени и не раскрывать, даже по такому поводу, полного состава своего руководящего ядра. Возможно, этим объясняется наличие в списке пяти «неизвестных» жертвователей — числа, приблизительно соответствующего количеству руководящей группы новиковского общества. Показательно и то, что хотя имени С. Кочубея в списке нет, но, по авторитетному свидетельству самого Щепкина, он внес 500 р.

К сожалению, мы не располагаем данными для полной характеристики политического облика остальных участников подписки, среди которых, бесспорно, было немалое количество случайных людей. Однако два имени, не содержащиеся в списке полтавской ложи, невольно привлекают внимание. Среди подписавшихся значится фамилия Андрея Брежнинского, внесшего 50 р. Имя этого деятеля мало известно. Он фигурирует в литературе как «никому не ведомый Брежнинский»,<sup>205</sup> «лицо, в литературе неизвестное».<sup>206</sup> А между тем, это, видимо, был интересный человек. П. А. Радищев, характеризуя кружок молодежи,

<sup>204</sup> См.: Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 152—154 и Киевская старина, 1897, № 10, стр. 10—11.

<sup>205</sup> В. Алексеев, Суворов — поэт, Спб, 1901, стр. 3

<sup>206</sup> В. П. Семейников, Радищев, Очерки и исследования, М. — Пг., 1923, стр. 239.

сгруппировавшейся вокруг А. Н. Радищева в 1801—1802 гг., писал: «Бородавицын, Брежнинский, Пнин — молодые люди, слушавшие его с восторгом, хотя он и был не совсем красноречив, но все, что он говорил, было хорошо обдуманно. Его разговоры стоили профессорских лекций».<sup>207</sup> Андрей Брежнинский находился в переписке с Державиным<sup>208</sup> и получал дружески-приветственные письма в стихах от Суворова.<sup>209</sup>

Другое привлекающее внимание лицо — полковник Таптиков, подписавшийся на огромную сумму 1992 р. (карточный выигрыш) и не внесший ее за неполучением от должника. Имя Таптикова сразу же напоминает Дмитрия Таптикова — участника Оренбургской организации (поддавшегося на провокацию И. Завалишина), одного из наиболее решительных и старших по возрасту членов оренбургской группы — ему в 1827 г. было уже 30 лет. Он происходил, по свидетельству знавшего его В. Штейнгеля, из бедных дворян Орловской губернии, вырос в доме фельдмаршала Каменского. Как участник сражения при Бородине был произведен в офицеры, до каких чинов дослужился — неясно, но был разжалован в рядовые, за участие в походах в Среднюю Азию был вновь произведен в офицеры, арестован по доносу Завалишина и сослан на каторгу.<sup>210</sup> Видимо, о брате его П. Н. Таптикове как об однополчанине времен Отечественной войны 1812 г. упоминает Г. С. Батеньков в письме А. А. Елагину 30 мая 1817 г.<sup>211</sup> По возрасту П. Н. Таптиков вполне мог быть в 1818 г. полковником. Свидетельство это имеет интерес как указание на еще одну возможную нить связи полтавской и оренбургской организаций.

Косвенным подтверждением участия новиковского кружка в освобождении М. С. Щепкина является то, что с момента охлаждения отношений между Новиковым и Репниным и ухода первого из канцелярии губернатора дело освобождения Щепкина резко затормозилось. Причина этого вызывала недоумение исследователей. А. Дерман пришел к заключению, что «князь Репнин не одинаково относился к Щепкину во время пребывания последнего в Полтаве. Постепенно обозначается охлаждение к нему, вероятно, и наложившее отпечаток на образ действий Репнина». «Наиболее вопиющее и необъяснимое промедление

---

<sup>207</sup> Там же.

<sup>208</sup> См. архив Г. Р. Державина в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, т. XII, № 5, лл. 449—450 об.

<sup>209</sup> В. Алексеев, ук. соч., стр. 3.

<sup>210</sup> В. П. Колесников, Записки несчастного, СПб. Изд. «Огни», 1914, стр. 11.

<sup>211</sup> Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пушкина и Э. Г. Толля, М., 1936, стр. 75.

Репнина в деле освобождения Щепкина приходится на промежуток с осени 1820 по осень 1821 года».<sup>212</sup>

Если принять во внимание то, что нам известно о деятельности кружка Новикова и о разрыве с Репниным именно в это время, указанный факт не вызывает удивления.

\* \* \*

Казалось, что Дубровицы, Кишинев и Полтава окончательно пошли различными путями, когда исторические события вновь заставили их сомкнуться и выступить единым фронтом.

К 1821 г. бывшие в свое время шагом вперед легально-пропагандистские формы тактики Союза Благоденствия исчерпали себя. Вновь, теперь уже на другой основе, встал вопрос о необходимости создания конспиративных, спаянных дисциплиной, способных к оперативным действиям тайных организаций. Переломный момент сложно отразился на настроениях членов тайных обществ. В среде умеренных декабристов оформлялась тенденция разрыва с движением. Революционное крыло нащупывало новые формы организации. Стремление к максимальной конспирации вновь оживило интерес к ранним структурным формам. В такой обстановке собрался в 1821 г. в Москве съезд Союза Благоденствия.

Характер московского съезда Союза Благоденствия неоднократно был предметом рассмотрения в научной литературе, специально изучалось и особо нас интересующее поведение на съезде М. Орлова. После работ С. Н. Чернова,<sup>213</sup> М. В. Нечкиной и В. В. Пугачева<sup>214</sup> версию Якушкина о том, что Орлов, предлагая решительные меры, искал лишь благовидного предлога для разрыва с декабристским движением, можно считать окончательно дезавуированной. Обращает на себя внимание другой вопрос: в какой мере за предложениями Орлова стояла реальная и продуманная система действия, были ли эти предложения выражением личного мнения Орлова или отражали точку зрения некоей организации? На последнее соображение наталкивает и то обстоятельство, что Орлов «привез писанные условия»,<sup>215</sup> то-есть какую-то заранее приготовленную програм-

<sup>212</sup> А. Дерман, Московского малого театра актер Щепкин, М., Изд. «Московский рабочий», 1951, стр. 88, 91.

<sup>213</sup> С. Н. Чернов, К истории политических столкновений на Московском съезде 1821 г., Ученые записки Саратовского государственного университета, т. IV, вып. 3. Саратов, 1925.

<sup>214</sup> М. В. Нечкина, Движение декабристов, Изд. АН СССР, М., 1955, т. I стр. 324—329; В. В. Пугачев, Декабрист М. Ф. Орлов и московский съезд Союза благоденствия, Ученые записки Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, т. LXVI, вып. исторический, Саратов, 1958.

<sup>215</sup> И. Д. Якушкин, Записки, статьи, письма, Изд. АН СССР, М., 1951, стр. 43.

му, и то, что принятие этих условий связывалось с согласием «присоединиться к тайному обществу».<sup>216</sup> Последнее обстоятельство загадочно. Ведь хорошо известно, что Орлов вступил в Союз Благоденствия еще в 1820 г. (или даже 1819 г.). Некоторый свет на это проливает содержание речи Орлова, хорошо нам известное по свидетельствам очевидцев — Грибовского и Якушкина. Идея создания законспирированной организации подсказывалась самим ходом событий. Как отмечает М. В. Нечкина, «деление всех членов тайной организации на «невидимых» и «прочих» не представляет ничего принципиально нового в движении декабристов».<sup>217</sup> Но вместе с тем в предложении Орлова были черты настолько характерные, что невозможно не узнать их происхождения. Согласно доносу Грибовского, Орлов «настаивал об учреждении «Невидимых братьев», которые бы составляли центр и управляли всем; прочих разделить на языки (по народам: греческий, еврейский и пр.)».<sup>218</sup> Нельзя не узнать здесь своеобразной структуры мамоновского общества с его делением на внешний и внутренний ордена и ступенчатым построением первого. Сохранились даже характерные названия степеней. Из доноса Грибовского можно сделать вывод, что Орлов предполагал не ступенчатую, а радиальную структуру (языки, «как бы лучи, сходились к центру») однако, в данном случае перед нами явная неточность. На это указывает хотя бы то, что в дискуссиях по вопросу о новой организации общества, развернувшихся после ухода Орлова со съезда и, бесспорно, учитывавших его предложения, на первый план выдвинулась именно идея ступенчатой организации. Якушин показывал: «Устав Союза Благоденствия при сем получил разного рода изменения, из коих главные, сколько припомнить могу, состояли в том, что в новом уставе члены общества разделились на две степени; принадлежащим только к первой из оных известно было, что главная цель общества состоит в том, чтобы приготовить государство к принятию представительного правления. .»<sup>219</sup>

Другим поразившим делегатов московского съезда предложением явилась идея «делания» «фальшивых ассигнаций для доставления обществу потребных сумм».<sup>220</sup> По сообщению Якушкина, «второе его предложение состояло в том, чтобы завести фабрику фальшивых ассигнаций, чрез что, по его мнению, Тайное общество с первого раза приобрело бы огромные средства и вместе с тем подрывало бы кредит правительства».<sup>221</sup> Это требование также не беспрецедентно. Прекрасно осведомленный

<sup>216</sup> Там же.

<sup>217</sup> М. В. Нечкина, ук. соч., стр. 326.

<sup>218</sup> Декабристы, Отрывки из источников, Сост. Ю. Г. Оксманом, Центр-архив, М.-Л., 1926, стр. 114.

<sup>219</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. III, стр. 50.

<sup>220</sup> Декабристы, Отрывки из источников. . . стр. 114.

<sup>221</sup> И. Д. Якушкин, Записки, стр. 42.

в намерениях полтавской группы Матвей Муравьев-Апостол показывал, что «Новиков имел целью *делать деньги* <курсив мой — Ю. Л.>, употребив на то всевозможные средства».<sup>222</sup> Этот план Новикова, конечно, не относился к тому времени, когда он, ближайший сотрудник Репнина, возлагал надежды на использование легальных средств и влияния на главнокомандующего. Не с этим ли планом связаны глухие, но настойчиво повторяемые в показаниях «умеренной» группы Союза Благоденствия обвинения в корыстолюбии и стремлении нажиться, предъявляемые Новикову?

Необходимо отметить, что по пути из Кишинева в Москву Орлов, бесспорно, заезжал в Полтаву (через нее шел обычный почтовый тракт), а в бытность в Москве — это зафиксировано в письмах Вяземского — виделся с Мамоновым.

Именно от лица этой группы Орлов и призывал к решительным действиям, обещая взамен присоединение к Союзу Благоденствия.

Такого рода предложения не могли не заставить задуматься: за Орловым стояла дивизия и боевая кишиневская организация; Мамонов располагал огромными ресурсами, прекрасно укрепленным военным лагерем под Москвой и всегда мог, как и в 1812 г., превратить своих крестьян в вооруженную армейскую часть.

Наконец, полтавская организация была сильна своей связью с провинцией и прощупывала пути к не представленным на съезде «левым» деятелям юга.

И все же московский съезд отверг этот союз, потому что ценой его должно было стать согласие на решительные и немедленные действия.

При этом Орлов, убежденный сторонник конспирации, упрекавший руководителей тайных обществ за то, что «все всё знали», бесспорно не раскрывал перед участниками съезда планы своей группы во всей их полноте — он лишь «прощупывал» настроения участников, намекая на отдельные пункты программы и не раскрывая круга своих соратников. В случае, если бы предложения Орлова встретили сочувствие, он, вероятно, посвятил бы ведущую группу съезда в тайны революционной жизни Кишинева, Полтавы и Дубровиц. Этого не произошло, и деятельность этих организаций осталась неизвестной и большинству декабристов, и следствию.

Не следует полагать, что Орлов предлагал участникам съезда простую реконструкцию Ордена Русский Рыцарей — речь, видимо, шла о другом: о восстановлении единства в декабристском движении на основе программы немедленных действий с учетом конспиративной тактики, выработанной в организациях, не связанных с Союзом Благоденствия. Выступлению Орлова на

<sup>222</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IX, стр. 199.

съезде, бесспорно, предшествовали переговоры не только с Мамоновым и Новиковым, но и с Н. Тургеневым и, вероятно, с рядом других деятелей, стремившихся к реформе Союза Благоденствия. На этой стороне вопроса мы не останавливаемся, ибо в рамках имеющихся материалов она исчерпывающе освещена в работах С. Н. Чернова, М. В. Нечкиной, В. Г. Базанова и, в последнее время, В. В. Пугачева.

Уход Орлова с московского съезда не означал спада активности вновь, после большого перерыва, оживившегося объединения Орлова—Новикова—Мамонова. Именно после съезда подготовка в Кишиневе и строительство в Дубровицах пошли полным ходом. Однако период активности был непродолжительным. Деятельность эта привлекла к себе внимание, которое у самих членов тайных обществ было смешано с долей удивления. Это чувство сквозит и в доносе Грибовского, сообщавшего о неожиданной гальванизации Ордена Русских Рыцарей — общества, «полагавшегося давно минувшим».

Вскоре на «Орден» посыпались удары: Мамонов был арестован, Орлов отстранен от командования дивизией, Новикова спасла смерть.

То, что правительство Александра I нанесло первые удары именно по поднявшему было голову Ордену Русских Рыцарей, не должно вызывать удивления. Из доносов Грибовского оно знало, что Союз Благоденствия «разрушен», а «Орден» попробовал оживить свою работу. Но дело даже и не в этом: правительство не понимало еще характера нового движения, все еще опасаясь, в первую очередь, вельможного заговора и дворцового переворота. Опасным ему, представлялись, главным образом, общества, в списках членов которых значились имена вельмож, мелькали «густые эполеты».

Даже после 14 декабря, заглянув в лицо первому русскому революционному движению, правительство еще не могло отделаться от мысли о том, что люди, вышедшие на площадь, были лишь марионетками в руках могущественных закулисных заговорщиков-вельмож. Их поискам и были посвящены первые усилия следствия. Михаилу Орлову пришлось преподнести Николаю I политический урок. Почувствовав, что правительство ищет «могущественных» пружин, «которые только служили им (заговорщикам — Ю. Л.) опорой», он разъяснил: « Я хорошо понял, на чем вы настаивали, ваше величество, при моем допросе. Вы ищите вожakov заговора, ваше величество, вы сомневаетесь, не вблизи ли вас находится тот человек, который организовал заговор, который давал на него средства и который его поддерживал <. > Так вот, государь, мой взгляд на это таков — восстание носило совершенно демократический характер».<sup>223</sup>

<sup>223</sup> П. С. Попов, М. Ф. Орлов и 14 декабря, Красный Архив, 1925. т. XIII, стр. 166.

Естественно, что в 1822—1823 гг. правительство, весьма далекое от понимания «демократического характера» движения, в первую очередь стремилось устранить тех лидеров, которые напоминали вельмож-заговорщиков XVIII в. Вместе с тем опасаясь организовать на основании одних подозрений политические процессы против могущественных и популярных в обществе и армии деятелей, оно предпочло под благовидными предложениями изолировать и обезвредить вождей, надеясь, что обезглавленное движение заглухнет само. Потому-то в 1822—1823 гг. ни деятельность Орлова (Раевский сумел локализовать свой процесс), ни деятельность Мамонова не стали предметом специального расследования. Нити заговора, попавшие в руки правительства, были оборваны, а в 1826 году Орден Русских Рыцарей уже заслонялся в глазах следствия более важными, магистральными организациями, да и привлеченные к делу участники тайных обществ мало знали об этой организации.

Потеряв руководителей, организации заглухли. Возбуждает внимание лишь большая активность двух петербургских членов полтавской ложи накануне 14 декабря. И. М. Бибилов почти ежедневно видится в Трубецком, причем интересен тот факт, что встречи эти происходят, как правило, после посещения последним Рылеева. Трубецкой показывал: «По отходе моем от Рылеева в означенный вечер 12-го числа я был у сенатора Муравьева-Апостола, где видел зятя его, полковника, флигель-адъютанта Бибилова, которому, кажется, говорил о слышанном мной на счет курьера».<sup>224</sup> «Означенного 13-го числа я у Рылеева не оставался один с бароном Штейнгелем, ибо ушел так же, как и в предыдущий день, когда еще много было людей у Рылеева, по окончании разговора моего с бывшими там ротными командирами, и поехал оттуда к флигель-адъютанту полковнику Бибилову, где была моя жена и куда я обещал приехать».<sup>225</sup> Даже 14 декабря Трубецкой «пошел к флигель-адъютанту полковнику Бибилову, которого не застал дома»<sup>226</sup> — Бибилов ушел на площадь. Бибилов же принимал активное участие в отправлении Ипполита Муравьева-Апостола на юг<sup>227</sup> и, видимо, находился в оживленной переписке с Сергеем Муравьевым-Апостолом. А. З. Муравьев показывал, что когда во время обсуждения слухов о событиях в Петербурге, он «сказал ему, Сергею, что зять его, полковник Бибилов, во время одного происшествия помят», то «сие известие весьма огорчило Муравьевых-Апостолов, и после этого они были весьма молчаливы в продолжении всего стола».<sup>228</sup>

Не менее активен был в эти критические дни и А. П. Ве-

<sup>224</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. I, стр. 60.

<sup>225</sup> Там же стр. 64.

<sup>226</sup> Там же, стр. 71, ср. стр. 6.

<sup>227</sup> См. там же, стр. 62.

<sup>228</sup> Восстание декабристов. Материалы, т. IV, стр. 235.

лично. Батеньков, по свежим следам (31 марта 1826 г.) вспоминая события, предшествовавшие восстанию, отметил, что Величко «каждый день почти бывает в доме Американской компании», т. е. у Рыльева. Видя его активность и не подозревая о причастности к тайным обществам, Батеньков даже подумал о том, не играет ли Величко неблагоприятной роли осведомителя.

Нам сейчас трудно уяснить до конца, имели ли эти встречи скрытый политический смысл или не выходили за рамки обычных визитов. Последнее кажется мало вероятным. Зная о тяготении полтавской организации к Югу, нельзя ли предположить, что остатки этой группы, распавшейся после смерти Новикова, примкнули к Пестелю и Сергею Муравьеву-Апостолу, а петербургские ее члены стали для юга источниками информации о событиях в столице? Настоящее состояние документальных материалов не дает возможности ни положительно, ни отрицательно ответить на этот вопрос.

\* \* \*

История Ордена Русских рыцарей оборвалась, но продолжалась полная драматических моментов жизнь графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова. Когда разразились декабрьские события 1825 г., Мамонов проживал в Москве отнюдь не на положении сумасшедшего, а как поднадзорный, находящийся на режиме полудомашнего ареста. Но тут в его жизни произошел новый драматический поворот.

В отделе письменных источников ГИМ в Москве хранится собрание бумаг под общим заглавием: «Смесь из документов вотчинного архива Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова». Среди хозяйственных бумаг здесь находятся документы, позволяющие восстановить потрясающую даже для России николаевской эпохи картину расправы с передовым человеком.

Особенно примечательна написанная по-французски бумага, представляющая отношение верховных правительственных инстанций к графу Дмитриеву-Мамонову. Из нее следует, что последний не признал правительства Николая I и отказался ему присягать. Документ написан цинически-откровенно. Из него ясно, что правительство относится к Мамонову не как к душевнобольному, а видит в нем политического противника, которому угрожает положением сумасшедшего, если он не капитулирует и не пойдет на примирение с властью.

Документ состоит из «Правил общих» и «Правил частных». Особенно важны «Правила общие». Здесь, между прочим, читаем: «Посоветавшись с кем следует по поводу различных запросов и соображений, адресованных графом Мамоновым московскому главнокомандующему, предписывается господам

Маркусу, Эвениусу и Сондра сообщить графу Мамонову окончательные правила и установления, одобренные относительно него.

### Общие правила.

1. Поскольку граф отказывается признавать императорскую династию и правительство, установленное императором Николаем I, его предупреждают, что ему вернут свободу и его права лишь в том случае, если он признает законность и правомочность правительства.

2. Графу обещается, что письма и записки, которые он вздумает писать, будут доставлены в точности адресатам, однако лишь в том случае, если они будут подписаны «граф Мамонов». В противном случае его письма и записки будут оставаться без внимания, каково бы, впрочем, ни было их содержание.<sup>229</sup>

3. Правительство, чтобы предоставить графу доказательства своего благоволения и деликатности, позволяет ему жить в доме, который некогда принадлежал его деду и который может возбудить у него приятные воспоминания о сем достойном старце. Но граф будет довольствоваться в этом доме лишь комнатами, которые ему будут предоставлены в пользование. Ему ни в коем случае не разрешается входить в другие комнаты и следует воздержаться перешагивать за порог прихожей. Особенно его просят не пытаться осуществлять этих действий ночью, поскольку эти нарушения будут рассматриваться как тяжелейшие и серьезнейшие и его будут принуждены запира́ть на ключ».<sup>230</sup>

К этим пунктам позже были прибавлены некоторые другие. Среди них бросается в глаза пункт шестой:

«Хотя все имущество графа секвестировано и отдано в опеку вплоть до того момента, когда он изменит свой образ мысли <ou il adoptera un autre systeme d'ideés. — разрядка моя — Ю. Л.>, в его распоряжении оставляется, однако, определенная сумма ежемесячно для милостыни и каких-либо невинных прихотей. Тем не менее следует предупредить, что только слуга Василий может получать подобные поручения и что другим слугам строго запрещено брать деньги от графа».

В последнем пункте Мамонову угрожали дальнейшим отягчением его жребия: «О графе существует слишком хорошее мнение, чтобы не быть уверенным, что он будет тщательно после-

<sup>229</sup> Пункт этот имел смысл предоставления Мамонову возможности обратиться к императору с покаянием. Вопрос о подписи, видимо, связан с тем, что, разъярив свой отказ от присяги, Мамонов, вполне вероятно, указал на ничтожность прав Романовых на престол, а к подписи присоединил титулы своих предков. Есть сведения что позже, уже в состоянии клинического безумия, Мамонов писал «указы», подписывая их «Владимир Мономах».

<sup>230</sup> ГИМ, Отдел рукописных источников, ф. 282, ед. хр. 117, л. 15.

довать всем этим различным пунктам. Однако, — следует это сказать, как бы прискорбно это ни было, — что любое нарушение повлечет за собой меры строгости, неприятные как для графа, так и для тех, кому поручено иметь за ним надзор».<sup>231</sup>

Приведенный документ содержал не только приговор о лишении гражданских и имущественных прав и бессрочном одиночном заключении. Написанный в издевательском тоне, он должен был унижить Мамонова, продемонстрировать ему полное его бессилие перед правительством. Однако Николай I не остановился на этом: за отказ присягать Мамонов не только был объявлен сумасшедшим — его начали «лечить» от сумасшествия. Страшную историю такого «лечения» сообщают мемуаристы.

Н. А. Дмитриев-Мамонов, выразив сомнение в том, «был ли действительно сумасшедшим граф Матвей Александрович в момент взятия его под опеку», тут же добавляет: «. В первое время с ним обращались чрезвычайно строго и даже жестоко, чему служат доказательством горячешные рубашки и бинты, которыми его привязывали к постели, найденные мною тридцать лет спустя в его гардеробе».<sup>232</sup> Страшную картину дополняют воспоминания П. Кичеева: «Лечение началось обливанием головы холодной водою, что конечно, приводило графа в иступление».<sup>233</sup>

Помещение в доме, о котором в тоне издевательской вежливости пишется в процитированном документе, также было рассчитанным шагом. По воспоминаниям того же мемуариста, дом был расположен вблизи казарм, и в окна все время врвались «барабанный бой и военная музыка».<sup>234</sup>

Весь быт Мамонова был рассчитан до минут (это и составляло «частные правила»), и отклонений не допускалось. Время подъема и отхода ко сну, меню завтрака, обеда и ужина, прическа и время перехода из одной комнаты в другую — все это было регламентировано и строго выполнялось под наблюдением постоянно присутствовавшего в комнатах агента Сондрá. Мамонов был убежден, и видимо не без оснований, что и доктора — Маркус и Эвениус — являлись полицейскими шпионами.

Легко себе представить, какое действие должно было произвести грубое насилие (Мамонов был человек огромной физической силы, поражавшей даже тех, кто его знал стариком и, конечно, не выполнял добровольно издевательских «процедур») на человека бесконечной гордости, с детства привыкшего к почитанию со стороны окружающих. Мамонову приходилось тер-

<sup>231</sup> Там же, л. 16.

<sup>232</sup> Н. А. Дмитриев-Мамонов, Из воспоминаний, Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, Русская старина, 1890, апрель, стр. 176.

<sup>233</sup> П. Кичеев, Из семейной памяти, Граф М. А. Дмитриев-Мамонов, Русский Архив, 1868, № 1, стр. 99.

<sup>234</sup> Там же.

петь и многочисленные мелкие уколы со стороны его тюремщиков-докторов. Он пытался обороняться: на издевательские «правила» он ответил пародирующими их «Правилами поведения для господ Маркуса, Эв<ениуса> и Сон<дра> в новой квартире господина графа».

Пункты, составленные Мамоновым, прекрасно передают ту атмосферу унижений и назойливого шпионского внимания, которой он был окружен. Здесь читаем:

«1. Господа Мар<кус>, Эв<ениус> и Сон<дра> не будут показываться впредь к господину графу.

2. Господа Эв<ениус> и Сон<дра> не соизволят впредь садиться за стол господина графа без его собственного приглашения.<sup>235</sup> < . >

6. Г Маркус соблаговолит впредь не топтать ногами, как это с ним случилось однажды, каковы бы ни были причины недовольства, которое ему причиняет граф. Г Маркус должен знать расстояние, которое отделяет его от графа, перешагнуть через которое ему не помогут и тысячи тысяч ударов ногой.

8. Господ Марк<уса>, Эвен<иуса> и Сондра просят, как и прежде, никогда не говорить о политике и не упоминать императора, императрицы и великих князей. < . >

10. Г Сонд<ра> просят не принимать на себя начальственного вида, разговаривая со слугами в передней г. графа. Например, ему не следует по-генеральски вытягивать руку, отдавая старому солдату императорской гвардии приказ принести ему табакерку < . >

12. Их просят воздерживаться, если им нечего сообщить графу, от объяснений причины их визитов, которые во всех отношениях лживы и бесчестны. Также просят их не говорить графу, что он одержимый, неистовый, сумасшедший, голову которого следует успокоить средствами жестокого насилия, достойного негодяев».<sup>236</sup>

Рукопись помечена 18 августа 1827 г.

Понимая, что правительство открывает в его квартиру доступ лишь своим платным агентам, Мамонов чуждался этих людей и тяжело страдал от одиночества. Он окружал себя детьми слуг, домашними животными, голубями. Позже он взял на воспитание семилетнего мальчика-идиота Митьку (здесь можно было не опасаться слежки!) Мамонов трогательно привязался к ребенку. «Обращался он с Митькой всегда очень вежливо

<sup>235</sup> Пункт шестой правительственных «Частных правил» предлагал «Г графу время от времени приглашать к обеду господ врачей и господина Сондра» и предупреждал: «В случае, если это не будет иметь места, граф может не удивляться, если эти лица явятся сами непрощенными».

<sup>236</sup> ГИМ, Отдел письменных источников, ф. 282, ед. хр. 117, лл. 17—17 об.

и даже нежно и говорил ему «вы».<sup>237</sup> Смерть Митьки (достигшего уже 20-летнего возраста) потрясла Мамонова.

Документы показывают, таким образом, что утвердившийся в исследовательской литературе образ Мамонова — случайного человека в декабристском движении, уже в 1817 г. сошедшего с ума и заботливо отданного правительством на излечение, мало соответствует действительности.

Душевные волнения, следствие тяжелых и постоянных оскорблений, и длительное, протянувшееся почти 35 лет, строгое заключение сделали свое дело. Лица, встречавшиеся с Мамоновым в 40-60-ые годы, запомнили его уже безумцем, одержимым манией преследования и величия.

Трагическое имя М. А. Дмитриева-Мамонова должно занять принадлежащее ему по праву место в мартирологе деятелей русского освободительного движения.

---

<sup>237</sup> Н. А. Дмитриев Мамонов, ук. соч., Русская старина, 1890, апрель, стр. 182.

## К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НОВАТОРСТВЕ А. С. ГРИБОЕДОВА В «ГОРЕ ОТ УМА»

(ПРОБЛЕМА «ХАРАКТЕРОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»)

Канд. филол. наук Я. С. Билинкис

«Горе от ума» явилось одним из первых в русской литературе произведений, в котором нашли свое выражение качественно новые, по сравнению со всем предшествующим развитием искусства, принципы освещения характеров.

У Кантемира, Сумарокова, Фонвизина, Державина обличались в типических образах дурные помещики или вельможи, но еще не стоял вопрос о том, что именно таких помещиков и вельмож формируют существующие условия. У них и честные, «положительные» помещики или вельможи оставались помещиками и вельможами по содержанию своей жизни и деятельности, не приходили в столкновение с основами общественной системы, со своим собственным положением в обществе.

У Карамзина и Радищева, у каждого из них по-своему, характер выступал как некая абстрактная человеческая природа и решался (конечно, прямо противоположно у Радищева и у Карамзина) вопрос о том, нужно или не нужно делать равными по положению всех людей, обладающих изначальным равенством этой «человеческой природы». Радищев звал революционным путем добиваться свободы и одинаковых прав для всех, чтобы «естественная» сущность человека могла развиваться без ее «искажений» каким бы то ни было социальным содержанием — как человеческая природа «вообще». Карамзин отстаивал мысль о ненужности коренного социального переустройства, считая не только человеческую природу, но и всю внутреннюю жизнь людей независимой от обстоятельств.

Радищев признавал, что «люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся»,<sup>1</sup> но полагал, что зависимость эта внутренне выражается лишь в том, что человек, как хамелеон, принимает на себя «цвет предметов, его окружающих», говорил,

<sup>1</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, изд. АН СССР, М.-Л., 1938, стр. 191.

что «общежитие» только «вселяет» в человеческую «природу» «род своих мыслей, и побуждает нас то называть добрым, что оно добрым почитает».<sup>2</sup> И по Радищеву, следовательно, существует некая человеческая природа сама по себе, остающаяся в первооснове своей незатронутой социальными «наслоениями», социальными «искажениями» разного рода.

Грибоедов в «Горе от ума» сделал громадный шаг вперед в смысле обнажения общественного содержания человеческих характеров.<sup>3</sup> Он увидел одно из главных зол «неразумной» общественной системы в том, какую почву неминуемо создает она для формирования характеров, формирования отношений между людьми во всех сферах их жизни. В пьесе Грибоедова «неразумно» ведут себя не те или иные отдельные люди господствующего круга. Общий склад жизни среды лишь находит в каждом из лиц фамусовского мира более или менее полное, более или менее очевидное, шире или уже в данном случае писателем раскрываемое, выражение своей сущности.

Мы видим в «Горе от ума» целый ряд персонажей, не принимающих непосредственного участия в развитии сюжетного действия. В этом отношении без них вполне можно было бы обойтись. Непосредственно для развития сюжета не нужны не только вводимые через рассказ Фамусова Максим Петрович или Кузьма Петрович, но и появляющиеся на сцене г. Н, г. Д., Горичи и даже Загорецкий или Хлестова. Однако они важны, поскольку Грибоедов стремился показать, что весь круг хозяев общества является фамусовским, что каждый принадлежащий к этому кругу — клеточка фамусовского мира, неизбежно — в той мере, в какой она связана с этим миром, — несущая в себе его важнейшие черты.

Подчеркивая это, Грибоедов показывает фамусовский мир не только в отдельных его людях, но и в его общем, так сказать, виде. С этой целью он собирает разных людей фамусовского круга, всех вместе, на вечере у Фамусова (вспомним, что точно так же поступил в «Евгении Онегине» Пушкин, «устроив» бал у Лариных). Ради этого же он вводит в пьесу целый ряд эпизодических персонажей, нужных ему лишь для создания собирательного образа фамусовской среды. В самом тексте пьесы Грибоедов, собственно, прямо указал на эту особую роль ряда персонажей, лишив некоторых из них не только участия в развитии сюжета, но даже фамилий (г. Н, г. Д.), других

<sup>2</sup> Там же, стр. 200.

<sup>3</sup> В анализе «Горя от ума» в аспекте, обозначенном в подзаголовке настоящей статьи, автор использует некоторые наблюдения и выводы, уже сделанные в литературе о Грибоедове, в первую очередь в работах М. В. Нечкиной и В. Н. Орлова. При этом все эти наблюдения и выводы привлекаются для решения лишь интересующей нас в данном случае проблемы — проблемы «характеров и обстоятельств» в комедии Грибоедова.

прямо и подчеркнуто оставив за сценой и только так или иначе рассказав о них (устаами Фамусова или Чацкого). Грибоедов не случайно придал сходные поступки, сходный образ жизни различным персонажам. Не по недосмотру драматурга, как это казалось некоторым исследователям, Кузьма Петрович и Максим Петрович, Татьяна Юрьевна и княгиня Марья Алексевна — различные лица при всей их близости друг к другу. Повторение одной и той же системы поведения у множества действующих лиц является в пьесе специфической формой создания собирательного образа целой общественной среды. Так в пьесе Грибоедова оказались действующими даже формально бездействующие или почти не действующие лица — действующими в особом смысле.

Новаторство Грибоедова как создателя собирательного образа среды было отмечено впервые еще современником драматурга, П. А. Вяземским, хотя и отнесшимся к «Горю от ума» в целом неодобрительно. П. А. Вяземский писал: «расширяя сцену, населяя ее народом действующих лиц, он (Грибоедов. — Я. Б.), без сомнения, расширил и границы самого искусства».<sup>4</sup> Это — очень точное определение одной из важнейших черт грибоедовского новаторства в «Горе от ума». Впоследствии, уже в нашу эпоху, это расширение Грибоедовым «границ искусства» по достоинству оценил К. С. Станиславский. Он с особым вниманием отнесся при возобновлении «Горя от ума» на сцене МХАТ в советское время именно к этим «бездействующим» персонажам пьесы, указывал актерам на важность взаимоотношений героев комедии с лицами, в ней упоминаемыми. В воссоздании на сцене всего «народа действующих лиц» видел Станиславский ключ к трактовке пьесы.

Самому Грибоедову собирательный образ фамусовской среды дался в процессе его работы над «Горем от ума» не сразу. И к его созданию драматург явно сознательно стремился. Не случайно, подойдя к третьему акту — к «вечеру у Фамусова», Грибоедов отправился с Востока в Москву обновлять и освежать свои впечатления: именно в третьем акте и должен был впервые непосредственно предстать, постепенно подготавливавшийся предшествующими двумя актами, этот собирательный образ. О том, что стремление создать этот образ постепенно «назревало» у Грибоедова, говорит и такой факт, как первоначальное отсутствие в известном монологе Чацкого «А судьи кто?» столь полной и конкретной характеристики жизни фамусовского круга в целом и ряда отдельных его людей, какую мы находим в окончательном тексте. Сначала здесь не было еще ни богачей-грабителей с их «пирами и мотовством», ни «театрала» — крепостника, распродавшего «поодиночке» всех своих крепостных актеров, ни «Нестора негодяев знатных», выменявшего предан-

<sup>4</sup> П. А. Вяземский. Собр. сочинений, т. V, Спб, 1860, стр. 144.

ных слуг, неоднократно спасавших его честь и жизнь, на «борзые три собаки». Заключительный монолог Чацкого в последнем действии сначала не давал конкретной итоговой характеристики основных, с точки зрения Грибоедова, черт миропонимания и жизни всего фамусовского круга. Монолог этот представлял собою лишь лирическое выражение гнева Чацкого против фамусовской среды без глубокого обобщения главных особенностей общественного поведения ее людей. Обобщение это появилось во вставленных затем Грибоедовым в последний монолог Чацкого особых 12 строках:

С кем был! Куда меня закинула судьба!  
Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа,  
В любви предателей, в вражде неумоимых,  
Рассказчиков неукротимых,  
Нескладных умников, лукавых простяков,  
Старух зловещих, стариков,  
Дряхлеющих над выдумками, вздором, —  
Безумным вы меня прославили всем хором,  
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,  
Кто с вами день пробыть успеет,  
Подышит воздухом одним,  
И в нем рассудок уцелеет.

По-новому раскрывая связь характеров с обстоятельствами, Грибоедов смог и самые характеры показать многосторонне, в разных сферах жизни, не теряя при этом внутреннего единства образов.

У писателей XVIII века, поскольку они не видели глубины внутренней связи характеров с обстоятельствами, каждый характер представлял как носитель одной черты или, в лучшем случае, совокупности, суммы черт, более или менее соответствующих друг другу. Поскольку отсутствовало представление об истинной основе характера, постольку рассмотрение человека в разных сферах жизни давало у писателей XVIII века в большей или меньшей мере именно сумму, сочетание черт, а не целостный характер, по разному проявляющий свою внутреннюю сущность во всех тех сферах жизни, в каких автор заставляет его действовать. У писателей XVIII века (в значительной мере даже у Фонвизина) каждая новая линия действия открывает нам в герое еще какую-нибудь одну черту, что-то к его уже прежде воспроизведенным качествам «приплюсовывает», ведет больше вширь, чем вглубь. У Грибоедова обрисовка героя в различных сферах отношений между людьми постепенно ведет нас все глубже и глубже — к самой основе характера. Когда, например, мы узнаем в «Горе от ума» об отношении Фамусова к служебному долгу, это не только открывает перед нами еще какие-то черты Фамусова в дополнение к уже известным, но прежде всего в новом свете и с новой стороны раскрывает основы жизни Фамусовых. Молчалин

по-разному ведет себя с Фамусовым, с одной стороны, с Софьей — с другой, с Лизой — с третьей. И в то же время в каждой из сфер его поведения перед нами раскрывается, каждый раз по-своему, главная сущность молчалинской души, стоящий за нею склад обстоятельств.

Грибоедов показал, как одно и то же внутреннее содержание жизни фамусовской среды проявляется у различных людей по-разному в зависимости от того, какое место на иерархической лестнице фамусовского мира занимает этот именно человек.

И Скалозуб, и Фамусов, и Молчалин — люди одной системы поведения. И все они раскрываются Грибоедовым по преимуществу в одних и тех же сферах жизни. Но они не только повторяют друг друга, создавая вместе собирательный образ фамусовской Москвы. Они и отличаются весьма существенно друг от друга.

Принципы жизни фамусовского мира не содействуют проявлению и развитию в человеке подлинно индивидуального. Напротив, они всячески заглушают все человечески своеобразное. Однако человек здесь должен точно отвечать тому положению, какое он в пределах этого мира занимает. И он отвечает ему и внутренне.

Молчалин не только не имеет возможности вести себя так, как Фамусов. Благодаря этому он и по характеру своему складывается именно как Молчалин. Применительно к нему закон жизни среды, с его точки зрения единственно разумный и незыблемый, с момента его рождения звучал как требование угождать «всем людям без изъятия». И он уже естественно и органично проявляет по-иному, чем Фамусов, «неразумную» сущность той же среды, к какой принадлежат и Фамусов, и Скалозуб.

Собственно, каждый персонаж, принадлежащий к фамусовскому кругу, — это не только конкретное лицо, но и образное воплощение жизненного поведения совершенно определенной части, определенного этажа фамусовского мира. Поэтому в самой комедии Чацкий может сказать о Молчалине, что «в нем Загорецкий не умрет». Даже второстепенный персонаж Загорецкий у Грибоедова — больше, чем определенное лицо. По-иному, чем Загорецкий, но тоже больше, чем лицо, и только упоминаемая Фамусовым в конце комедии «княгиня Марья Алексевна». Ее имя возникает в пьесе так, что перед нами сразу же предстает еще одна, более высокая по сравнению с самим Фамусовым и Скалозубом, ступенька в иерархии фамусовского мира.

Многие из героев «Горя от ума» носят фамилии, сразу же их характеризующие (Скалозуб, Молчалин, Репетилов — от французского «repetet»-повторять). Этот прием роднит Грибоедова с писателями-классицистами, у которых многие фамилии персонажей были тоже непосредственно «значимы» (так

называемые «имена-маски» — типа Правдин, Милон, Скотинин, Чистосердов, Кривосудов и т. п.). Однако в данном случае сходство «Горя от ума» с произведениями классицистов еще ярче подчеркивает новаторство грибоедовской комедии.

У писателей-классицистов к «именам-маскам» (за редкими исключениями — вроде Простаковой у Фонвизина) сводилось обычно все внутреннее содержание характеров; разносторонние, объемные жизненные характеры людей обесцвечивались и, в сущности, подгонялись к тем именам, которыми носители этих характеров были названы. Характеристика Правдина или Милона из фонвизинского «Недоросля», собственно, исчерпывается тем, что первый «стоит за правду», а второй — «мил». У Грибоедова «значимость» фамилии персонажа как бы выводится из широкого и углубленного анализа характера, выглядит как результат этого анализа и определения — путем развернутого художественного исследования — ведущего начала в облике данной человеческой индивидуальности. Если можно так сказать, у классицистов даны «имена-маски» и соответственно заданы характеры, точнее, они уже заключены в этих «именах-масках». У Грибоедова даны характеры в их конкретном жизненном содержании, и художественное исследование обнаруживает в каждом из них ведущее начало, которое и получает прямое и точное обозначение в фамилиях персонажей.

Грибоедовские прямые обозначения сущности характеров его персонажей «значимыми» именами по-своему немало способствовали превращению фамилий героев комедии в нарицательные. Действительно, представление о сути молчалинства складывается у нас тем быстрее и легче, что самая фамилия Молчалина многое сразу же подсказывает, как и фамилии Скалозуба, Репетилова и т. п. В то же время подобное обозначение одним словом, почти термином разносторонне исследуемого характера отражало собою свойственное просветительскому мышлению и связанное отчасти с классицизмом стремление Грибоедова к однозначному и рационалистическому определению человека в его главной сущности. Конкретное жизненное содержание молчалинского характера, переданное самим драматургом, реально не покрывается смыслом фамилии героя. То же можно сказать в значительной степени и о Репетилове, и о Фамусове, и даже о Скалозубе.

В своей обрисовке характеров автор «Горя от ума» пошел значительно дальше и в сравнении с романтиками. Поскольку у романтиков предметом обобщения являлись их представления о должном или возможном, их устремления и чаяния, постольку конкретное многообразие реальной действительности, собственные черты различных ее явлений оставались от них в большей или в меньшей степени скрытыми. Исследователи творчества Жуковского неоднократно и справедливо указывали, что герои Жуковского лишены, в сущности, индивидуального

облика. Уже Пушкин отмечал однообразие рылеевских «Дум». Романтик творит свой художественный мир «из себя», и этот мир неизбежно оказывается однообразнее, одноцветнее мира действительности в богатстве ее красок. Грибоедов рисовал в своей комедии уклад жизни, предельно подавлявший все подлинно индивидуальное в человеке. Но он стремился передать конкретное содержание реальной жизни. И она дала драматургу разнообразие и многообразие характеров: даже в пределах фамусовского мира Молчалины все-таки были по-своему не похожи на Скалозубов, а Репетиловы на Фамусовых.

В образах отдельных персонажей «Горя от ума» могут быть отмечены черты углубленного психологического анализа. Это в первую очередь касается Молчалина и Софьи. Именно в этих образах Грибоедову удалось раскрыть неизбежность возникновения внутренних противоречий в положении и психологии людей при «неразумии» жизненных законов, правящих обществом.

Молчалин предпринимает ухаживание за Софьей ради успешного продвижения по службе, ради быстрого достижения высокого места. Но путь этот оказывается приводящим его в конце концов не к осуществлению его намерений, а напротив, к поражению, к изгнанию из дома Фамусова. Так выясняется, что даже Молчалин, готовый на любую подлость, и даже для своих мелких целей не может найти, при «неразумии» жизни всей среды, разумной, хотя бы с его точки зрения, «программы» действий.

Молчалин стремится вверх, к чинам и наградам, только для того, чтобы обеспечить себе возможность легкого и праздного существования, удовлетворения всех своих прихотей. Но именно ради осуществления этого стремления он постоянно должен отказывать себе во всех своих желаниях, даже в ухаживании за девушкой, которая ему нравится, и делать только то, чего от него ждут другие.

Софья ищет «мужа-мальчика», «мужа-слугу», во всем ей покорного и в то же время бесконечно в нее влюбленного, и — совершенно неизбежно — обманывается. Она, в сущности, обречена на то, чтобы выдумать себе влюбленность Молчалина, который в действительности только угодлив. Когда ищут такой любви, какой хочет Софья, то неизбежно должны обмануться, ибо Софья и Молчалин — это внутренне между собою связанные стороны одной и той же общественной морали.

Так у Грибоедова противоречия в положении и психологии персонажей оказываются внутренне связанными с конкретными общественными обстоятельствами. Так закладываются автором «Горя от ума» параллельно с Пушкиным основы психологического исследования характеров.

Не случайно поэтому образ Молчалина, например, привлек к себе впоследствии пристальное внимание таких глубоких ма-

стеров психологического анализа, как Шедрин и Достоевский. Шедрин, отправляясь от грибоедовского образа, рассмотрел даже последующую социально-историческую эволюцию молчалинской психологии.

Этот частный, казалось бы, факт говорит также и о том, что, запечатлевая явления своего времени, Грибоедов видел в них определенную ступень проявления противоречий более широких, охватывающих (при развитии их форм) ряд исторических эпох. Шедрин создал своего Молчалина. Но он смог связать его внутренне с Молчалиным грибоедовским, ибо, рисуя Молчалина — своего современника, Грибоедов заглянул в глубины молчалинской психологии и сумел увидеть молчалинство и как необходимое и неизбежное порождение всякой «неразумной» системы жизни. Поэтому же и мы, борясь со всяческими пережитками буржуазного сознания, один из них (и весьма существенный) без всяких дополнительных разъяснений клеймим названием молчалинства.

Жизнь современной Грибоедову России не исчерпывалась «деятельностью» Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных. Это была Россия не только Аракчеева, но и декабристов, Россия первого этапа освободительной борьбы, взрастившая и самого автора «Горя от ума». Пьеса не могла рисовать одних лишь Фамусовых, Скалозубов и Молчалиных, если Грибоедов хотел передать в ней основную коллизию русской действительности. В ней нужен был положительный герой. Автор «Горя от ума» дал его в Чацком.

Грибоедов показал своего положительного героя в остром конфликте, в борьбе с фамусовским миром.

В пьесах классицистов еще не осуждалась, не ставилась под сомнение самая основа жизни общества. Положительный герой действовал здесь как носитель санкционированной властями и законом жизненной нормы, отрицательные — как ее нарушители. За положительным героем был либо авторитет власти, либо уж во всяком случае власть авторитета. Он у классицистов просто пресекал или прекращал, так или иначе, раньше или позже, козни персонажей отрицательных. Показателен в этом смысле фонвизинский «Недоросль», где самое появление Стародума, Правдина и Милона кладет конец всякой «деятельности» Простаковой и Скотинина.

Романтики рисовали своего героя постоянно не удовлетворенным окружающей его в «цивилизованном обществе» средой (неудовлетворенность эта была, конечно, совершенно различна у героя Жуковского, с одной стороны, и у героя романтиков революционных — с другой). Больше того — именно в романтизме столкновение между носителем высоких человеческих качеств и «цивилизованным» кругом впервые было осознано как закономерность. И в этом было огромное завоевание романтизма, поскольку так обнажались внутренние противоречия прогресса в условиях существования и борьбы антагонистических

классов. Однако конфликт героя со средой осмыслился романтиками как извечный разрыв между высотой индивидуальной мечты избранных личностей и низменностью любой вовлеченной в историческое развитие действительности. И, соответственно, у романтиков снижению, развенчанию подлежала всякая втянутая в историческое движение действительность, именно как таковая. Поэтому их герой — принципиальный одиночка, принципиальный индивидуалист. В той мере, в какой у революционных романтиков отрицание всякого «цивилизованно» устроенного общества становилось обличением определенного строя жизни, в той мере они преодолевали, хотя бы и непоследовательно, ограниченность романтического миропонимания.

Чацкий у Грибоедова — не механическое орудие закона или принятой, так или иначе, нормы поведения. Он в пьесе — носитель более высокого сознания, чем то, которое еще господствует.

И конфликт Чацкого с фамусовским миром сразу же становится борьбой двух лагерей, даже независимо от того, что у Чацкого за сценой есть единомышленники и соратники. Положительный герой у Грибоедова непосредственно представляет целый лагерь уже по самому освещению художником причин «неразумного» поведения людей фамусовской среды. Коль скоро «неразумно» живет весь круг властителей общества, а разум рассматривается как неодолимая сила и основа подлинно человеческого поведения, носитель разума принципиально не может быть случайным одиночкой, не может не «обрастать» сторонниками, не может не иметь исторического будущего. Прямые указания в тексте пьесы на наличие у Чацкого единомышленников лишь подчеркивают особенность позиции Чацкого как представителя целого лагеря, лагеря «нового», в борьбе с общественным злом.

Борьба Чацкого с фамусовской средой несет в себе принципиальное отличие и от столкновения героев романтической литературы с «низменной действительностью». Чацкий отвергает не действительность любого исторически развитого общества, а совершенно определенные принципы и устои общественного поведения. Он не бежит от современной жизни, а хочет в самой действительности найти возможности ее изменения. Он верит в прогресс, во многом уже видя сложность его путей; и он вовсе не принципиальный одиночка, не индивидуалист. Чацкий умен, но он несколько не «гений» и не смотрит на всех, окружающих его, как на безнадежную «толпу». Поэтому и в конце пьесы, перенеся тяжкие потрясения, Чацкий не обращается к потусторонним силам, как сделал бы герой Жуковского, и не уповает на силу свободолюбия своей собственной души, не взывает к высокой национальной старине, как поступил бы герой революционных романтиков. Мы расстаемся с Чацким, когда он отправляется

<sup>5</sup> А. И. Герцен, Полное собр. сочинений и писем, т. XXI, Пг. 1923, стр. 230—231.

«искать по свету». «Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверное не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презирающим лицом .», — писал впоследствии Герцен.<sup>5</sup>

И вместе с тем, Чацкий у Грибоедова — во многом близок положительному герою классицистов и прогрессивных романтиков и по своим идеалам, и по художественным принципам истолкования его характера.

За Чацким нет принятой обществом или утвержденной законом нормы, но все осуждение им фамусовского мира питается высоким гражданским пафосом веры в разум, в существование нормы жизненного поведения, основанной на принципах разума, которая, пусть она и не принята пока, в конечном счете не может не восторжествовать. Обреченность фамусовских норм жизни утверждается Чацким не только и даже не столько на основе осознания им путей объективного движения самой действительности, сколько следует для него из несоответствия этих форм жизни в достаточной степени отвлеченным принципам разума. Чацкий — не резонер, но, как носитель и проповедник разума, он непоколебимо верит в его силу и торжество; он — оратор, прямо, как это делалось у классицистов, декларирующий свои взгляды и развенчивающий своих противников. И именно это во многом определило непосредственное агитационное воздействие «Горя от ума», возможность использования комедии декабристами почти как прямого изложения их идей. Став великим художественным произведением, «Горе от ума» в то же время несет в себе и свойственное просветительскому мышлению рационалистическое начало в понимании задач искусства. Удача Грибоедова в создании образа положительного героя во многом непосредственно связана с достижениями классицизма.

Чацкий отвергает данную действительность, фамусовскую среду. Но он еще не знает, как и автор «Горя от ума», в самой современной жизни другой, «высокой» среды, «высокого» быта: ему только предстоит их «искать». Поэтому обличение Чацким фамусовского мира во многом все-таки выглядит и как отрицание всякого из сложившихся и исторически развитых укладов быта. Фамусовский быт дан общим планом, отчасти как быт вообще (как всякий известный современный быт — во всяком случае), а сам Чацкий обрисован вне быта и вне своей среды (что определяет собою, кстати, особую сложность исполнения этой роли на сцене).

Идеи и принципы классицизма и романтизма не только преодолеваются Грибоедовым, но и во многом принимаются как живое и органическое еще явление. В этой связи существенно, в частности, и то, что, хотя Софью ее романтическая настроенность и не выводит за пределы фамусовского мира, не превращает ее в соратницу Чацкого, но все же позволяет ей понимать Чацкого,

делает ее для Чацкого привлекательной, а Фамусов осуждает романтические увлечения дочери.

Чацкий, его появление и поведение в фамусовской Москве отчасти также «обставлены» системой мотивировок, выводимых из обстоятельств.

Из сюжетного движения комедии очевидно, что фамусовский уклад жизни, непосредственно формируя Фамусовых и Молчалиных, в то же время делает закономерным возникновение протеста против основ этого уклада. Протест оказывается неизбежным тогда, когда фамусовский мир доходит до того, что прямо отвергает разум и хочет жить вопреки разуму, а носителя разума объявляет безумцем.

С другой стороны, неизбежность появления положительного героя рядом с Фамусовыми мотивирована у Грибоедова ростом сознания людей «разумных», освещенным также исторически. Когда за три года до того дня, в течение которого развертывается действие в пьесе, Чацкий покидал Москву, не только круг хозяев общества еще не «готов» был полностью отвергнуть разум. Тогда и сам «разумный» человек еще не сознавал всей глубины зла в этом мире. Ведь Чацкий, возвращаясь в Москву, все-таки питает еще какие-то надежды. И только посмотрев на этот мир новыми глазами, он навсегда уже рвет с ним. Да и люди самого этого круга отмечают перемены, происшедшие в Чацком: он и раньше казался им странным, у него и раньше произошел какой-то «разрыв» с министрами, но только сейчас он представляется им уже, с одной стороны, смешным, с другой — опасным. Еще даже не придя на основе своих представлений о жизни к тому выводу, что он безумен, они теперь уже объявляют его безумным. Это характеризует как новую ступень «неразумия» фамусовского мира, так и новое качество «разума» Чацкого.

Грибоедов прямо отмечает и те исторические события, которые способствовали ускоренному движению в противоположных направлениях людей фамусовского круга и людей «ума». В пьесе вспоминают о недавнем пожаре Москвы, а Чацкий всего год назад виделся с Платоном Михайловичем Горичем, состоявшим тогда в армии, за-границей. Это Отечественная война 1812 года заставила, с одной стороны, «неразумие» жизни фамусовского мира обнаружиться с небывалой прежде очевидностью. Это она же, с другой стороны, сделала Чацкого способным до конца увидеть это «неразумие» и бросить решительный вызов. (Вспомним, что Пушкин в «Рославлеве» и впоследствии, в 60-х годах, Толстой в «Войне и мире» тоже показали, как Отечественная война 1812 года стала проверкой и испытанием всех слоев русского общества).

Чацкий в комедии молод и пылок, а фамусовский мир, как целое, — стар и выжил из ума. У Грибоедова, как потом посвоему у Герцена и иначе у Толстого, возраст, темперамент

героя — понятия едва ли не в первую очередь исторические, а не биологические. Молодость Чацкого — это в пьесе в огромной мере историческая молодость его идей, лагеря, который за ним стоит, выражение того, что ему принадлежит будущее. В то же время молодость Чацкого — это, по Грибоедову, и проявление исторической еще незрелости новых, подлинно «разумных» представлений, молодость, незрелость нового «века». Завершая работу над «Горем от ума», сам Грибоедов, видимо, уже скептически относился к пылкости своего героя, к «избытку» его молодости, как и к надеждам и представлениям своей собственной юности и всего раннего этапа русской революционности — декабризма.

Положительный герой — носитель декабристских идей предстает в комедии в значительной мере как неизбежное, необходимое, закономерное следствие движения русской жизни. А во всей пьесе возникает обрисовка и отдельных характеров, и жизни общества в целом в их развитии, чего до Грибоедова и Пушкина русская литература еще не знала. Соблюдая в пьесе классицистические единства, в частности, придерживаясь единства времени, Грибоедов по-своему нашел возможность воспроизвести движение жизни, истории. В сущности, все сюжетное развитие «Горя от ума» состоит в том, что изменившийся Чацкий узнает, насколько «развилась» за время его отсутствия фамусовская Москва.

Но Чацкий не только появляется рядом с Фамусовыми. Находясь в их же кругу, он гневно обличает их, излагает свои взгляды на жизнь, выражающие декабристское миропонимание.

Такое поведение Чацкого в фамусовском кругу имеет глубокие историко-психологические основания. В Чацком отражен совершенно определенный и не столь уж короткий исторический этап в развитии разума и чувства передовых людей России — именно тот этап, когда носители наиболее передовых идей еще в той или иной степени верили и в возможность победить зло силой слова, пропагандой разума. В комедии, конечно, нет непосредственно обрисовки особенностей освободительной борьбы передовых людей в начале XIX века. Но в трудной и мучительной для Чацкого ситуации, когда он безусловно «самовыражается» весь, до конца, эти особенности целого этапа жизни, вошедшие и в разум, и в сердце героя, не могут не сказаться в жаре и энергии его обличительных речей. Изображение действительности в «Горе от ума» уже во многом опирается на историзм и в восприятии жизненного процесса в целом, и в освещении отдельных характеров.

Столкнувшись после трехлетних странствий с изменившейся да, к тому же, и по-иному увиденной им фамусовской Москвой, Чацкий в это же время переживает глубокое потрясение в своих интимно-личных отношениях. Фамусовский мир не только поновому предстает перед ним, но и в этот же момент Чацкому

становится ясно, что Фамусовы уже отняли у него навсегда самого дорогого ему человека. И это, со своей стороны, заставляет Чацкого «прорваться» с особенной силой и высказать в лицо людям фамусовского круга все, что он думает о них.

Не случайно наибольшего успеха и одновременно наиболее острого общественного звучания в роли Чацкого добивались, как правило, те актеры, которые не боялись подчеркивать влюбленность героя. Недаром наиболее глубокое и тонкое истолкование «Горя от ума» в критике смог дать Гончаров (в статье «Милльон терзаний»), рассматривавший общественную и интимно-личную линии пьесы в их единстве.

Грибоедов передавал в «Горе от ума» конфликт, сложный по своему содержанию. С одной стороны, фамусовский круг, отвергая разум и объявляя его носителя безумцем, тем самым ставил себя в положение глубоко комическое, и раскрытие сущности его жизни требовало комедийного жанра. С другой стороны, этот мир еще мог причинить горе Чацкому, горе уму, и воспроизведение этой стороны действительности вело к жанровым особенностям трагедии.

Писатель-классицист ограничил бы себя воспроизведением какой-то одной из сторон явления. В силу своей общественной и, соответственно, литературной позиции, он просто не увидел бы глубины внутренней связи, внутренней неотделимости этих разных как будто сторон жизни в «неразумном» обществе. Он создал бы либо трагедию, либо комедию. И тем самым не дал бы подлинной сущности ни комического, ни трагического в их конкретном, присущем данному «неразумно» устроенному обществу, содержанию.

Грибоедов стремился воспроизвести коллизию своего времени в ее своеобразии и исторической определенности. И! он впервые в истории русской литературы с необыкновенной смелостью пошел на создание комедии с трагическим героем в центре. При этом органичность пребывания Чацкого в комедии усилена тем, что передано и восприятие его, человека разума, как смешного и «безумного» подлинно смешными людьми фамусовского мира.

Но, хотя бы и в пределах уже одной пьесы, у Грибоедова еще строго разграничены явления, рассматриваемые в комическом и в трагическом освещении. С точки зрения автора «Горя от ума», Чацкий ни в какой момент не может быть смешон, а у Софьи нет права на трагическое освещение каких бы то ни было ее переживаний. Речь Чацкого и речь Фамусова подчеркнута принадлежат различным языковым сферам и никак не смешиваются.

\* \* \*

В «Горе от ума» Грибоедов во многом сумел обнажить внутреннее существо связи характеров с обстоятель-

ствами. При этом, однако, сами обстоятельства рассматривались им в комедии по преимуществу как столкновение двух исторических эпох — «века минувшего» и «века нынешнего». Все особенности жизни фамусовской среды выступают в «Горе от ума» прежде всего как следствие принадлежности этой среды к «веку минувшему», к «временам очаковским и покоренья Крыма». Чацкий представляет «век нынешний», только что — после Отечественной войны 1812 года — начинающийся. Борьба двух лагерей — это в «Горе от ума» по преимуществу противостояние различных «веков» жизни русского общества. Самый историзм комедии во многом внутренне связан с романтическими представлениями о движении жизни как о смене «эпох», а не как о едином историческом процессе, и одновременно со свойственным просветительскому сознанию, с характерным для классицизма строгим разграничением, строгим размежеванием жизненных явлений. Для самого Грибоедова движение истории во многом было приближением к торжеству законов разума, а «неразумный» жизненный уклад — периодом, в целом связанным с прошлым. Пьеса Грибоедова давала некоторые основания И. В. Киреевскому, автору статьи «Горе от ума» на Московском театре» (Журнал «Европеец», 1832 г., ч. I), к тому, чтобы утверждать, что «оригиналы тех портретов, которые начертал Грибоедов, уже давно не составляют большинства московского общества и хотя они созданы и воспитаны Москвою, но уже сама Москва смотрит на них, как на дикость, как на развалины древнего мира».

По принципам освещения характеров место «Горя от ума» в истории русской литературы — примерно рядом с пушкинским «Борисом Годуновым», создававшимся несколько позже завершения работы Грибоедова над его комедией. В «Борисе Годунове» сам Годунов, его дочь, Пимен, с одной стороны, и Лжедмитрий, Марина Мнишек и иные персонажи из польского стана, с другой, рассмотрены прежде всего как люди различных исторических типов культуры. Вся сложность внутренних социальных противоречий каждого из станов в «Борисе Годунове» в самые характеры (за исключением, отчасти, характера Бориса) еще не проникает.<sup>6</sup>

Как видим, в «Горе от ума» свойственный реализму анализ внутренней связи характеров с обстоятельствами, истолкование сущности обстоятельств еще в значительной мере неотделимы от основных принципов классицизма и романтизма. В комедии перед нами — первый этап в утверждении в русском искусстве направления, особенность которого Ф. Энгельс видел в «верности передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах».

<sup>6</sup> Развитие принципов обусловленности характеров в творчестве Пушкина обстоятельно и глубоко исследовано в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957).

## В. Р. ЗОТОВ — КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ 1850-х гг.

Доц., канд. филол. наук Б. Ф. Егоров

Владимир Рафаилович Зотов (1821—1896) за свою долгую жизнь «испробовал» чуть ли не все литературные жанры: он был романистом, драматургом, автором рассказов и повестей, стихотворений и поэм, политическим обозревателем, фельетонистом, публицистом, составителем журнальной «смеси», театральным рецензентом и литературным критиком, литературоведом, историком, мемуаристом, автором статей для энциклопедии (по всем отраслям знания), редактором многих журналов, газет, сборников.

Если бы собрать все печатное и письменное наследие Зотова воедино, то его сочинения превысили бы 100 объемистых томов. Но последнее вряд ли когда-либо осуществится: значительная часть трудов Зотова не имеет художественного или исторического интереса. Однако как критик и публицист Зотов сыграл некоторую роль в истории общественной мысли России предреформенного периода, что и заставляет посвятить ему эту статью.

В. Р. Зотов вырос в семье известного писателя первой половины XIX века Р. М. Зотова, человека с весьма retroградными политическими и литературными взглядами (был близок к журналистской группе Булгарина — Греча)<sup>1</sup> Консервативно-религиозное воспитание в какой-то степени повлияло на мировоззрение и Владимира Зотова, хотя в дальнейшем передовые веяния 1840—1850-х гг. значительно выветрили реакционный дух.

Воспитывался В. Р. Зотов в знаменитом преданиями царскосельском Лицее, где он провел 1836—1841 годы.

Вместе с ним в то время учились М. Е. Салтыков, М. В. Буташевич-Петрашевский,<sup>2</sup> Л. А. Мей, М. Н. Лонгинов.

<sup>1</sup> Р. М. Зотов был сыном простой крестьянки и потомка крымских ханов, мальчиком взятого ко двору Екатерины II и в 1809 г. исчезнувшего при таинственных обстоятельствах. См. об этом статью А. С. Николаева «Зотов Р. М.» в «Русском биографическом словаре», т. «Жабокритский-Зяловский», Пг. 1916.

<sup>2</sup> В. Зотов привлекался в 1849 г. к суду по делу петрашевцев. О его знакомстве с Петрашевским и об аресте см. мемуары В. Зотова «Петербург в сороковых годах», Исторический вестник, 1890, № 6, стр. 536—551.

По окончании лицея В. Р. Зотов служил чиновником в военном министерстве.<sup>3</sup> К канцелярской работе он относился исключительно халатно, целиком отдав себя литературе — и это ему чуть не стоило ссылки на Кавказ, простым солдатом. Сохранился следующий проект приказа военного министра князя Чернышева:

«Помощник секретаря 1-го отделения коллежский секретарь Зотов, за крайнее нерадение по службе и частые во время дежурства отлучки, на основании Свода воен. пост. части III, кн. II, стат. 1665, переводится, согласно изъявленному желанию, в Кавказский линейный № 12 батальон, с отчислением по гарнизону на правах вольноопределяющегося».<sup>4</sup>

Лишь связь Зотова-отца с могущественным Л. В. Дубельтом предотвратили эту ссылку «по собственному желанию».

В 1848 г. Зотову удалось перевестись в министерство финансов, где служба была чистойшей фикцией, что и дало ему возможность стать профессиональным литератором.

Как писатель Зотов стал известным уже в начале 1840-х годов. Его поэма «Последний Хеак» была раскритикована Сенковским, но поставлена в один ряд с ранними произведениями Лермонтова!<sup>5</sup> Еще лиценстом Зотов печатался в «Маяке» и «Северной пчеле».

Затем он активно сотрудничает в журнале «Репертуар», где ведет «Театральную летопись», а с 1847 г. редактирует «Литературную газету», которая большого успеха не имела и в 1849 г. прекратила свое существование.

В конце 1849 г. издатель «Сына отечества» К. И. Жернаков передал Зотову редактирование журнала, но он выпустил лишь январский номер, после чего Жернаков отстранил его и взял нового редактора (П. Р. Фурмана). Приняв еще участие в «Сыне отечества» в качестве рядового сотрудника, Зотов переходит снова в театральный журнал «Пантеон», редактируемый Ф. Кони.<sup>6</sup>

Одновременно он начинает участвовать в изданиях А. А. Краевского — «Отечественных записках» и «Санктпетербургских ведомостях».

После краха «Пантеона» (прекратил существование в 1856 г.) Зотов сближается с редактором «Сына отечества» А. В. Старчевским и становится одним из главных сотрудников журнала до конца 1857 г., когда произошла ссора его с редактором. В то

<sup>3</sup> См. Н. М. Затворницкий, Указатель библиографических сведений <...> по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно, Спб., 1909, т. III, отд. 5, стр. 197.

<sup>4</sup> Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ), ф. 548 (В. Р. Зотова), оп. I, № 36, л. 6. В дальнейшем ссылки на этот фонд будут даваться непосредственно в тексте с указанием номера и листа.

<sup>5</sup> См. Библиотека для чтения, 1842, № 10, стр. 28—36.

<sup>6</sup> Подробнее об участии Зотова в журналах 1850-х гг. см. «Приложение». Там же см. атрибуцию анонимных и псевдонимных статей Зотова.

же время Зотов продолжает составлять смесь в «Санктпетербургских ведомостях».

С начала 1858 г. он прекращает сотрудничество в различных изданиях, т. к. сам становится редактором еженедельного журнала «Иллюстрация», отнимавшего у него все время (помимо редактирования, Зотов почти единолично вел политическую и литературно-критическую части журнала). С некоторыми изменениями «Иллюстрация» просуществовала до конца 1860-х гг., когда начался новый период в жизни Зотова, выходящий за рамки нашего исследования.

Отметим лишь, что Зотов был активным литератором вплоть до самой смерти, в 1870-х годах сотрудничая в основном в «Голосе» Краевского, а в 1880—90-х г. — в «Историческом вестнике» С. Шубинского.

Социально-политические воззрения Зотова более или менее сложились ко второй половине 1850-х гг. Субъективно он всегда считал себя демократом, заявляя об этом неоднократно, вплоть до старческих стихов, относящихся к 1890-м годам:

Внук крестьянки и татарина,  
Я был русский человек,  
И недаром имя «барина»  
Ненавидел весь свой век.  
И гнушаясь бюрократией,  
Я от сердца презирал  
Всех, кто бедной меньшей братией  
Как рабами обладал ... (№ 9, л. 136 об.)

В беседе с известным революционером Н. А. Морозовым Зотов утверждал, что он по убеждениям «тоже республиканец и демократ».<sup>7</sup>

Несомненно, элементы демократизма в мировоззрении Зотова были. Но искать их нужно не в декларациях о любви к крестьянству, а в отношении к конкретным социальным проблемам эпохи. А здесь-то и проявились характерные особенности эклектика, колеблющегося между демократией и либерализмом, представителя группы, как уже говорилось, весьма типичной для русского общественного движения 1850-х гг.<sup>8</sup>

Эти люди стояли в целом на левом фланге либерального лагеря, часто смыкаясь с демократами в борьбе с крепостничеством. В тот период многие деятели иллюзорно предполагали, что они защищают крестьянские интересы. Зотов, например, искренно мечтал об экономических преобразованиях общества в пользу крестьянства. В письме к И. С. Аксакову он похвалил «Сельское благоустройство» и выразил сочувствие «всем его

<sup>7</sup> См. Н. А. Морозов, Повести моей жизни, т. 2, изд. АН СССР, 1947, стр. 434.

<sup>8</sup> См. статьи автора настоящей работы «Критическая деятельность А. И. Рыжова» (Ученые записки ТГУ, вып. 65. 1958) и «К вопросу о мировоззрении А. Н. Пыпина 1860-х гг.», Русский фольклор, т. IV, изд. АН СССР, 1959.

статьям (написанным с точки зрения крестьянской, а не помещичьей)».<sup>9</sup>

В дальнейшем его мнение об этом журнале изменилось, и на страницах «Иллюстрации» он поместил такой отзыв о «Сельском благоустройстве»: «Крестьянский вопрос не с одной помещичьей точки зрения» принадлежит г. Рачинскому и заключается в себе множество дельных и гуманных мыслей в форме беседы с крестьянами. Именно с этой, то-есть не с помещичьей точки зрения, необходимо нам взглянуть на этот вопрос < . >, а в этом-то отношении и грешат оба журнала наши, издающиеся с целью разъяснения этого вопроса. «Журнал землевладельцев» имеет менее всего в виду интересы земледельцев, а «Сельское благоустройство» было бы правильнее назвать «Помещичье благоустройство».<sup>10</sup> Ниже Зотов отрицательно отозвался о «Русской беседе»: «г. Кошелев прямо называет только те статьи благонамеренными, в которых говорится о выгодах помещиков».<sup>11</sup>

На заседании Вольного экономического общества 2 мая 1859 г. Зотов произнес речь, которая «наделала много шума», т. к. в ней были «сгруппированы известные факты, выставляющие в печальном виде наше хозяйство и экономию» (№ 25, л. 57).<sup>12</sup> Смысл речи таков: крестьяне не заинтересованы в развитии помещичьего хозяйства, отсюда такой развал, запустение в русской деревне; лишь освобождение крестьян изменит положение.

На страницах «Иллюстрации» Зотов неоднократно заявлял о необходимости освобождения крестьян с землею: «чтобы в пользовании теперешних крестьян осталась вся земля, которую они теперь владеют».<sup>13</sup>

Характерно, что Зотов полностью солидаризуется со мнениями Чернышевского по крестьянскому вопросу, особенно в отношении к общине. Он, например, сочувственно отозвался о критике в адрес вульгарного экономиста Вернадского: «г. Чернышевский окончательно доказал превосходство общинного владения землею перед частною поземельною собственностью и в конец опровергнул все неосновательные выводы г. Вернадского».<sup>14</sup>

В особой статье Зотов исключительно высоко отозвался о политико-экономических статьях Чернышевского, особенно о рецензии «Капитал и труд»,<sup>15</sup> которая ведь выражала революцион-

<sup>9</sup> ИРЛИ, ф. 382, № 22, л. 1.

<sup>10</sup> Иллюстрация, 1858, № 42, «Политика», стр. 258.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Краткое изложение речи см. в «Иллюстрации», 1859, №№ 70, 71.

<sup>13</sup> Иллюстрация, 1858, № 35, «Политика», стр. 146. См. также 1859, № 52, «Политика», стр. 18.

<sup>14</sup> Сын отечества, 1857, № 51, «Обзор лит. журналов», стр. 1265. Речь идет о статье Чернышевского «О поземельной собственности» (Современник, 1857, № 11).

<sup>15</sup> Иллюстрация, 1860, № 108, «Политика», стр. 113—114.

но-демократическое сredo в области политической экономии. Но это вовсе не означает, что Зотов «подошел» к революционно-демократическим взглядам. Речь может идти лишь о том, что в условиях бурной ломки старых общественных отношений еще выработывались социально-политические принципы различных «партий», и поэтому диапазон колебаний таких «неустоявшихся» деятелей, как Зотов, был весьма велик. Зотов мог, как мы видели, дойти до восхваления революционно-демократической политэкономии. Но не нужно забывать, что он, всячески подчеркивавший необходимость освободить крестьян с землей, присоединился в марте 1861 г. к либеральному хору, славословящему Александра II за реформу, как раз не давшую землю народу.<sup>16</sup>

Показательно, что наиболее восторженную оценку получили у Зотова статьи Чернышевского, где имелись положительные отзывы о либеральных публицистах. Так он назвал «весьма замечательной»<sup>17</sup> рецензию Чернышевского на известную речь Бабста, типичнейшего представителя либеральной профессуры (Чернышевский, действительно, очень положительно охарактеризовал деятельность Бабста, используя данные его речи для доказательства насущной потребности России в социально-политических преобразованиях: в 1857 г. либеральная критика самодержавного строя вполне могла быть сочувственно оценена демократом; в 1858 г. это уже стало бы невозможным).

Как и большинство деятелей той поры, колеблющихся между либерализмом и демократизмом, Зотов горячо приветствовал политическую активизацию «лондонских эмигрантов». 23-им ноября 1855 года помечено в рукописной тетради Зотова стихотворение «А. Герцену»,<sup>18</sup> бездарное в литературном отношении, но

<sup>16</sup> Иллюстрация, 1861, № 160, «Политика», стр. 147 и следующие номера журнала.

<sup>17</sup> Сын отечества, 1857, № 46, «Обзор литературных журналов», стр. 1127.

<sup>18</sup> «Когда читаю я твои святые строки,  
Где ты казнишь, поэт, позор наш, наше зло,  
Где, в страшной наготе, бичуются пороки,  
Где высказалась мысль так сильно и светло,  
Как в оны дни, когда громили мир пророки,  
Где как набат звучат правдивые упреки, —  
На сердце, в голове так станет тяжело.  
И безотрадно так все кажется, что было,  
И безнадежно все, что будет впереди,  
И мертво — все, что в нас и мыслило и жило,  
И пусто и темно — куда ни погляди,  
Где прежде, хоть вдали, надежда нам светила...  
Но пробуждается зато такая сила,  
Какой не ощущал и век в своей груди.

И так хотелось бы за правду и за дело  
Под знаменем твоим вслед за тобой идти,  
Трибуном обличать безумье власти смело,  
Хотя бы вслед толпа проклятьем прогремела,  
Хотя б в тот миг, когда остынет это тело —  
Участия следы ни в ком здесь не найти»

(№ 8, лл. 38 об. — 39).

в какой-то степени передающее настроения автора того периода.

Тема «Герцен и Зотов», почти совершенно не исследованная, представляет существенный интерес. Зотов познакомился с великим публицистом еще до отъезда последнего из России (в 1846 г. у Краевского).<sup>19</sup>

Он и тогда с уважением отнесся к автору романа «Кто виноват?», но, разумеется, общественная деятельность Герцена-эмигранта вызвала значительно больший интерес Зотова к личности писателя.

Предприняв летом 1857 г. заграничную поездку, Зотов специально отправляется с визитом к Герцену. Он писал жене 8 июля (н. ст.): «решил я ехать из Брюсселя через Остенде или Кале прямо в Лондон — и оттуда уже в Париж < . > В Лондоне я пробуду немного меньше, чем рассчитывал, и не поеду из него дальше Манчестера».<sup>20</sup>

В Англии Зотов пробыл, видимо, вторую декаду июля,<sup>21</sup> являясь гостем Герцена: «В Лондоне или точнее — в Путнее, в нескольких верстах от столицы Англии, где жил тогда на даче Александр Иванович, я провел несколько дней, о которых, конечно, никогда не забуду, как и о том времени, когда он был моим чичероне в Лондоне, водил меня на митинги и в клубы, где я знакомился с тогдашними политическими деятелями».<sup>22</sup>

Зотов передал Герцену свои списки нелегальных произведений, которые позднее были опубликованы последним. По воспоминаниям Н. А. Морозова, Зотов рассказывал: «Вы не читали сборников «Русская запрещенная поэзия», изданных в его (Герцена — Б. Е.) типографии? < . > Почти все это было собрано мною в России и мною же отвезено Герцену для напечатания».<sup>23</sup> Если даже Зотов несколько преувеличил свою роль, то сам факт передачи Герцену нелегальных списков несомненен.

Имеются документальные доказательства, что Зотов находил пути и раньше преправлять в Лондон рукописные материалы.

<sup>19</sup> См. В. Зотов, Петербург в сороковых годах, Исторический вестник, 1890, № 4, стр. 113.

<sup>20</sup> ЦГАЛИ, ф. 207, оп. I, № 70, л. 6 об.

<sup>21</sup> См. письма А. И. Герцена И. С. Тургеневу от 17 и 20. VII. 1857 (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. VIII, стр. 551, 552).

<sup>22</sup> Исторический вестник, 1890, № 4, стр. 113. Зотов и позднее не порывал связей с Герценом. Весной 1867 г. он совершил еще одну поездку к нему в Женеву, а затем помогал Герцену найти возможность печататься в России (см. об этом публикацию А. Н. Дубовикова в Литературном наследстве, т. 62, М., 1955, стр. 141—146). Именно о поездке 1867 г. писал Герцен Огареву: «Зотов много городил петербургских сплетен» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. XXII, стр. 141). Согласно публикации Дубовикова, это письмо Герцена можно точно датировать весной 1867 года.

<sup>23</sup> Н. А. Морозов, Повести моей жизни, т. 2, изд. АН СССР, 1947, стр. 433. Видимо, Зотов имеет в виду сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861.

В его архиве хранится черновой отрывок, написанный неизвестной рукой (может быть, измененный почерк самого Зотова?), обращенный к Герцену: «Посылая к вам несколько произведений непечатной нашей словесности, не могу вместе с тем не высказать вам несколько строк <так!> от имени всех тех, кто знает и любит вас, не высказать несколько мыслей и желаний, разделяемых лицами, представителем которых я взялся быть в эту минуту.

И прежде всего: примите полную глубокую благодарность от всех нас за ваши прекрасные труды, за все, что вы делаете для страны, которую, вероятно, никогда уже более не увидите (о, если бы не сбылись эти слова!); за открытие нам средств подать нашим братьям вольный откровенный голос, «голос из России». Не в первый раз, конечно, получаете вы такую благодарность» (№ 40, л. 127) — на этом текст обрывается.

Не исключена возможность, что именно с подобной оказией Зотов переправил Герцену «Шарманку», опубликованную в 5-ом номере «Колокола» (конечно, текст мог быть послан и не Зотовым — стихотворение ходило по рукам).<sup>24</sup>

И позднее Зотов пользовался каждым удобным случаем для доставки Герцену важных материалов, не имевших возможности появиться в русской подцензурной прессе. Сохранилось очень интересное письмо Г. Е. Благовестлова к Зотову, относящееся к концу 1850-х гг.<sup>25</sup>: «Не далее, как за два дня до вашего письма, я отправил три пакета в Лондон <. .> и тем надолго заключил мои сношения с Темзой <. .>

К осени же и сам надеюсь вырваться на несколько недель за границу; тогда попрошу вас уполномочить меня передать и словесно, и письменно, что найдете нужным» (№ 98, л. 2).

Как видно, Зотов, зная о фактах отправки Благовестловым русских материалов, просил его доставить Герцену что-то свое.

После свидания с Герценом в 1857 г. Зотов отправился в Париж, где он, видимо, договорился об издании брошюры политического содержания. Этот факт совершенно не известен в нашей литературе. В архиве Зотова хранится писарская копия письма

<sup>24</sup> Как известно, «Шарманку» долгое время приписывали перу Н. А. Некрасова. Нет окончательного «решения» вопроса и в настоящий момент, хотя современные исследователи в общем склонны считать автором Зотова (см. обзор М. Клевенского в Литературном наследстве, т. 41/42, М., 1941, стр. 592). Видимо, действительно, стихотворение принадлежит Зотову: слишком много общего у него со стихами Зотова на политические темы и в идеологическом, и в стилевом отношениях.

<sup>25</sup> Письмо, по всей вероятности, относится к началу 1857 г., когда Благовестлов собирался за границу: заграничный паспорт ему был выдан 8 мая (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 166). Однако возможна и датировка 1860 годом: Огарев сообщал Герцену 14 октября 1860 г., что Благовестлов прислал материалы для «Колокола» (Литературное наследство, т. 39/40, стр. 389).

на французском языке без обращения и подписи, проливающая свет на данный эпизод (текст даем в переводе):

«Г-н Зотов во время его приезда в Париж просил меня напечатать брошюрку, озаглавленную «Александр II и его двор», говоря мне, что он желал бы, чтобы расходы не превысили 100 рублей; согласно вашей рекомендации я взялся за это очень охотно, однако, когда начался набор, возник довольно серьезный вопрос. Три года назад появился закон, который предписывал гербовый сбор по 10 сантимов за лист всех брошюр, содержащих политический материал и имеющих менее 10 печатных листов; итак брошюра об Александре II, которая составит около 4 печатных листов, подходит под эту категорию; следовательно, мне невозможно печатать ее на тех условиях, кроме как оттиснуть 150 или 200 экземпляров. Будьте добры передать это г-ну Зотову и при okazji сообщить мне, что я должен делать с рукописью» (№ 40, л. 172).

Приняв во внимание тот факт, что в 1858 г. в Париже действительно вышла анонимная брошюра «Александр II и его двор»,<sup>26</sup> мы можем сделать следующие выводы: в период пребывания в Париже летом 1857 г. Зотов с помощью какого-то посредника обратился к издателю Мейе<sup>27</sup> с просьбой напечатать книгу об Александре II, тот затем писал посреднику об изменении условий, на что, видимо, последовало согласие Зотова, и затем, уже в 1858 году, брошюра появилась в продаже.

Сейчас очень трудно восстановить в деталях данное событие (в частности, трудно сказать, кто был посредником, рекомендовавшим Зотова — вполне возможно, что им явился известный русский эмигрант Н. И. Сазонов, с которым Зотов познакомился в Париже), но из всего сказанного ясно, что Зотов был как-то связан с автором анонимной брошюры.

Программа, изложенная в ней, является типичной для умеренно-либеральных требований той поры. Одной из главных задач современности, считает автор, является уничтожение крепостного права в России. Но народ по-своему понимает свободу. «Объявите его свободным и он поверит в право все грабить, жечь, убивать. Это будет его забавой в свободном государстве. Но самым большим его наслаждением станет ничего не делать <. > Русское правительство должно действовать с осторожностью и осмотрительностью, если оно желает дать крестьянам полную свободу. Последняя должна придти и придет, но всякий разумный человек должен желать, чтобы она наступила поздно и постепенно; нужно начать с просвещения народа. Это просвещение есть первое условие свободы» (стр. 41).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> «Alexandre II et sa cour». Par un russe. Paris, E. Mellier, libraire-éditeur, 1858.

<sup>27</sup> Mellier (1826—1886) — известный парижский издатель. См. его некролог в «Chronique du journal général de l'imprimerie et de la librairie», 1886, № 1, стр. 232.

<sup>28</sup> Здесь и в дальнейшем французский текст всегда даем в переводе.

Более того. В брошюре в значительной степени оправдывается деятельность Николая I и его министров (например, Клейнмихеля) Но В. Зотов резко враждебно относился и к Николаю, и к «николаидам» (в его бумагах хранятся резкие стихи на смерть Николая, на отставку Клейнмихеля — см. № 8, лл. 32, 37—38 об., 43 об.). Поэтому вряд ли он был автором брошюры. Скорее всего им был Зотов-отец, полный «верноподданических» чувств и постоянно стремившийся к политико-публицистической деятельности. Дополнительным доказательством авторства Р Зотова является тот факт, что в брошюре содержатся неумеренные похвалы в адрес книги Р М. Зотова (в брошюре опечатка: «К. Zotof») «Тридцатилетие Европы в царствование императора Николая I» (Спб. 1857), правда, с одной оговоркой: «но она (книга — Б. Е.) официальна, как все исторические книги в России» (стр. 32).

Р.Зотов всячески «защищал» свои труды, прибегая к самым различным способам,<sup>29</sup> и издание брошюры в Париже можно рассматривать, главным образом, как косвенную рекламу его книги.

Таким образом, В. Зотов, видимо, издал брошюру лишь по просьбе отца. Но ему хотелось популяризировать на Западе и свои собственные идеи и даже более широко: знакомить зарубежного читателя с современным литературным движением в России. Поэтому он задумывает серию очерков для французского журнала «Revue des deux mondes» (характерно, что он выбрал умеренный орган, а не радикальный!). В начале рукописи имеется на это прямое указание самого Зотова (позднейшая приписка карандашом): «Моя статья в «Revue des deux mondes», продиктованная частью Н. Д. Хвоцинской» (№ 16. л. 30) Однако, внимательное изучение журнала за 1850—1860-е гг показало, что работа Зотова не была опубликована. Остается предположить, что или автор не довел до конца свой труд, или же он был отвергнут редакцией журнала (может быть в таком случае статья опубликованна в другом органе?<sup>30</sup> — этого нам выяснить пока не удалось) До нас дошли лишь черновые отрывки.

Статья начинается с характеристики общественных событий России за период с 1848 г по конец 1850-х гг. Многие в этой характеристике сходно с мнениями Зотова, известными нам по его стихотворениям, например, суждения о Николае I: «его крутой и подозрительный характер заставлял его всюду усмат-

<sup>29</sup> П. П. Пекарский в рукописных библиографических материалах справедливо записал по поводу Р. Зотова и его книги «30-летие Европы» (1857): «В Современнике за август ему досталось, а он в ответ в «Север <ной> пчеле» напечатал список наград от лиц царской фамилии за это сочинение — проделка чисто полицейская» (ИРЛИ, 16. 422. с. III б. 21).

<sup>30</sup> Тогда позднюю приписку Зотова с указанием журнала следует считать старческой ошибкой памяти.

ривать покушения против себя лично или против его правления. Призрак 14 декабря преследовал его всю жизнь, он видел его всюду возникшим в 1848 году» (№ 16, л. 31)

«Революции 1848 года пали как гром с ясного неба на коронованные головы Европы» (№ 16, л. 31) — так начинается статья. Далее речь идет о притеснениях литературы при Николае, о печально знаменитом Комитете, ставшем над цензурой и т. п.<sup>31</sup>

Затем следуют подзаголовок «Об умственном движении в России при Александре II» с краткой характеристикой новой эпохи и несколько разрозненных листков с описанием важнейших литературных явлений 1850-х гг.

Ничего принципиально нового по сравнению с известными нам взглядами Зотова данные отрывки не содержат. Они интересны в основном более откровенным изложением этих взглядов, а — главное — интересны как сам факт усиленных попыток автора наладить активные связи с зарубежными органами прессы.

Многое сделал Зотов и для распространения зарубежных изданий в России, особенно русских нелегальных изданий, печатавшихся за границей (в первую очередь — продукции герценовской типографии).

Недовольный общественным строем России, Зотов придавал большое значение идеологической пропаганде герценовского типа (естественно, что Зотову особенно импонировали идеи, так сказать, «раннего» «Колокола», когда Герцен еще был полон либеральных иллюзий; естественно также, что идеалистическое мировоззрение Зотова чуть ли не решающую роль в деле общественных преобразователей страны отводило «слову», идеям, журналистке). Уже много лет спустя, в 1890-м году, на праздновании 50-летия литературной деятельности Зотова, юбиляр выступил с речью, где охарактеризовал свое отношение к нелегальной прессе: «С тех пор, когда журналистка, как представительница общества, принялась разрабатывать политические вопросы, социальные и религиозные реформы, экономические улучшения, на нее восстали те правительства, которые не желают, чтобы общество вмешивалось в управление.

С развитием реформации, этот протест против католического деспотизма и обскурантизма возрастал, новое учение нашло приют в летучих листовках, появлявшихся в неопределенные сроки в Голландии, Венеции, Лондоне и провозимых протестантами во Францию зашитыми в седле или в подкладке плащей

<sup>31</sup> Ср. отзыв Зотова в письме к М. Михайлову, относящийся ко времени самых событий (письмо от 17. IV. 1848): «в настоящее время положение литературы таково, что хуже его еще не было и вряд ли будет, потому что не может быть <...> Теперешние перевороты на Западе до того любопытны, в особенности в сравнении с нашими кукольными комедиями, что потомки наши будут завидовать нам, что мы живем в такое время» (ЦГАЛИ, ф. 1111, оп. 2, № 19, лл. 9—9 об.).

<. .> журналистика вынесла все: конфискации, огромные налоги, пени, аресты, тюрьму, ссылку, даже смертную казнь» (цитируем по черновику речи — № 25, лл. 8—8 об.).

Нет сомнения, что примеры из истории европейской социальной и религиозной борьбы нужны были Зотову для завуалированной характеристики русской общественной жизни XIX века. Он сам, видимо, немало привез в «седле» и «плаще» нелегальных зарубежных изданий, возвращаясь в 1857 г. из-за границы. Вообще, дом Зотова стал во второй половине 1850-х гг одним из значительных петербургских центров распространения подпольной печатной и рукописной продукции (позднее Зотов показывал Н. А. Морозову полную коллекцию всех русских нелегальных изданий<sup>32</sup>).

За герценовскими изданиями к Зотову обращались представители самых различных слоев населения, начиная с мелких чиновников, соседей и сотрудников по литературной работе, и кончая «значительными лицами». В. М. Лазаревский, бывший уже в конце 1850-х гг. крупным бюрократам (правитель канцелярии в министерстве уделов), писал Зотову: «Supplement нашлось и посылается, — запуталось как-то в старых «Revue des deux mondes» <. .> Коли дома — пришлите на несколько дней переплетенную книжку. Нет ли переплетенной какой? <. .> не оставите ли вы мне этот экземпляр Supplement, если вам особенно эта книжка не нужна, и вы могли бы обождать до следующей присылки этого издания. Меня крепко об этом просят» (№ 36, лл. 68 об., 69 об.).

«Supplement» — это известное приложение к «Колоколу». Под «переплетенной» и «непереплетенной» книгами, видимо, также подразумевались какие-либо нелегальные издания.

Неустановленное лицо сообщало Зотову: ««П<олярную> зв<езду>» я возвращу вам во вторник или среду» (№ 52, л. 19) Ниже говорится, что одно из изданий «взял Делянов и еще не возвращал» (там же). Речь идет, несомненно, об И. Д. Делянове, в конце 1850-х гг. попечителе Петербургского учебного округа.

В. Ф. Тропин, контролер Почтового департамента, запрашивал Зотова 3 октября 1857 г.: «Не получите ли еще чего-нибудь из сочинений Герцена, не откажете мне в одолжении, да нет ли у вас 2 части Révolution par Louis Blanc»<sup>33</sup> (№ 52, л. 14 об.). Три года спустя, 15 ноября 1860 г. тот же корреспондент снова обращается к Зотову: «Вчера я имел честь получить от вас <. .> сверток с журналами в целости. Нельзя ли вам будет также мимоходом занести мне книжку: «La vérité sur la Russie»,<sup>34</sup>

<sup>32</sup> См. Н. А. Морозов, Повести моей жизни, т. 2, изд. АН СССР, 1947, стр. 435.

<sup>33</sup> Видимо, имеется в виду т. 2 издания: L. Blanc, Histoire de la révolution française, tt. 1—12, Paris, 1847—1862.

<sup>34</sup> Книга эмигранта П. Долгорукова, изданная в Париже в 1860 г.

которую у меня спрашивают < . > Не можете ли также занести мне книжку «Записки Екатерины»,<sup>35</sup> которые у меня просили прочитать» (№ 52, лл. 20, 21)

С подобными просьбами к Зотову обращались поэт Л. Мей, чиновник министерства народного просвещения Л. Добровольский, цензор П. Новосильский, литератор А. Милюков и многие другие лица.<sup>36</sup>

Каким же образом Зотов доставал герценовские издания? Здесь было несколько путей. Один из самых распространенных в столицах той поры — связаться с книготорговцами, которые «из-под полы» продавали нелегальные произведения. Но агенты жандармерии время от времени пресекали эти пути распространения и устраивали погромы и аресты.

Когда М. П. Погодин попросил известного деятеля 1850-х гг. В. А. Кокорева достать для него некоторые зарубежные издания, то родственник последнего, причастный к книжной торговле, И. Кокорев отвечал ему (10 января 1861 г.): «Приняты меры к отысканию брошюр, но еще нет успеха покуда. Здешние книгопродавцы напуганы нынче, у Исакова были арестованы приказчики за промысел, и страх пал на всех».<sup>37</sup>

Зотов, видимо, пользовался услугами подобных приказчиков, но у него были и более верные способы. С помощью чиновников Почтового департамента ему, видимо, удалось установить связи непосредственно с зарубежными книготорговыми фирмами, занимавшимися переправкой соответствующих изданий в Россию. Упомянутый выше В. Ф. Тропин писал Зотову в уже цитированном письме от 15 ноября 1860 г.: «Последний любекский пароход пришел и ничего не привез. Надо предполагать, что тот Негг счел неудобным переслать; нельзя никак думать, чтобы он обманул. Немец этот известен честностью и у нас законтрактрован. На днях к нему будут писать в Берлин, где он и его семейство имеют постоянное жительство. Родной его брат живет в Петерб<sup>б</sup> урге в Караванной. Следовательно, нельзя думать, что денешки мои потерпели поражение. А между тем, не угодно ли вам будет приобрести пока покупкою те нумера из доставленного вами мне свертка, которых у вас нет. Эти нумера газеты принадлежат Нестеровскому, который вам готов продать по 50 коп. за каждый < . > Постараюсь достать для

<sup>35</sup> Герценовское издание «Записки императрицы Екатерины II», Лондон, 1859.

<sup>36</sup> Следует также учесть, что несмотря на известную «храбрость», даже какое-то бравоирование Зотова (он, как мы увидели, был плохим конспиратором и хранил письма весьма опасного содержания), далеко не все его «клиенты» решались, наверное, в письменной форме запрашивать заграничные издания: круг читателей, получавших от Зотова нелегальную прессу, был, несомненно, значительно шире, чем это запечатлено в его архиве.

<sup>37</sup> Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 231, разд. II, п. 15, № 106.

вас и недостающие №№, с 51,<sup>38</sup> чтобы пополнить пробел». (№ 52, лл. 20 об. — 21).

Это письмо дает очень многое для уяснения механизма распространения нелегальной продукции в России. Очевидно, Тропин и Нестеровский выступали в качестве посредников (комиссионеров?) между такими покупателями, как Зотов, и иностранными книготорговцами. Фамилию «немца» трудно, конечно, установить. Видимо, это представитель известной берлинской фирмы «Митчер и Рёстель», занимавшейся продажей герценовских и вообще русских эмигрантских изданий.<sup>39</sup>

Почтовые чиновники доставали Зотову и рукописные копии изданий Герцена. Коллега В. Ф. Тропина, старший контролер Почтового департамента В. П. Попов сообщает Зотову о посылке сочинения Герцена, переписанного из «Полярной звезды» (№ 40, л. 126).

Возможно, что Зотову присылали с оказией нелегальные издания и сами эмигранты. Нам известно, по крайней мере, что в период пребывания в Париже в 1857 г. Зотов договорился с Н. И. Сазоновым о двухсторонних сообщениях новостей и о посылках печатной продукции. Сохранилось письмо Сазонова Зотову (29 августа 1857 г.), где он напоминал: «Позвольте мне также полагаться на вас, в случае надобности, насчет русских книг, а я вам с оказией буду пересылать французские новости, даже неизданные» (№ 218, лл. 3 об. — 4)

Посылки Зотовым Герцену рукописных произведений русской литературы, а также личные визиты, видимо, имели следствием обратные «дары».

Кроме того, у Зотова были какие-то связи с деятелями польского революционного движения,<sup>40</sup> которые также могли помочь ему увеличивать библиотеку нелегальных изданий.

Таким образом, указанные выше факты свидетельствуют о достаточно большой политической активности Зотова после Крымской войны. Он в 1855—1857 гг., несомненно, стоял на самом левом фланге либерального лагеря.

<sup>38</sup> Несомненно, имеется в виду «Колокол», № 51 которого вышел 1 сентября 1859 года. Видимо, в комплекте Зотова были пробелы за последний год.

Согласно «Адрес-календарю на 1859—1860 гг», в Петербурге в тот период проживали из служащих лиц всего двое Нестеровских: Нафанаил и Яков Кононовичи (первый — полковник Гатчинского полка, второй — инженер, служащий министерства финансов). Речь идет скорее всего о втором Нестеровском, сослуживце Зотова (последний в это время еще числился по министерству финансов).

<sup>39</sup> В архиве Зотова хранится каталог этой фирмы 1862 года (№ 52, л. 75). Подавляющее большинство в списке занимают герценовские издания. На полях — пометки, означающие, видимо, что Зотов заказывал соответствующие названия («Полярная звезда», «Колокол» и др.).

<sup>40</sup> В его архиве имеется много рукописей на польском языке (почерк неизвестных лиц), содержащих антиправительственные стихи, материалы из русской истории с язвительными характеристиками царей и т. п. Эта тема требует специального исследования.

Стремясь к более широкому распространению своих идей, Зотов, после долгих хлопот, добывается в 1857 году права издавать еженедельный журнал «Иллюстрация», которым он руководил несколько лет (до середины 1861 г.).

Именно здесь он интересно участвует в политической жизни страны, регулярно ведет политическое обозрение, главное внимание уделяя крестьянскому вопросу, о чем уже шла речь выше. Здесь же и проявились наиболее ярко все колебания эклектика, который восхвалял политикоэкономические теории Чернышевского и одновременно приветствовал реформу 1861 года, который рискнул опубликовать запрещенную цензурой статью С. Д. Хвощинской о Радищеве (за что поплатился званием редактора)<sup>41</sup> и в то же время регулярно помещал в «Иллюстрацию» откровенно юдофобские очерки П. М. Шпилевского.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> См. об этом сообщение: А. П. Могилянский, Анонимная статья о Радищеве 1861 г. («Радишев. Статьи и материалы», Л., 1950, стр. 287—289).

<sup>42</sup> В связи с этими очерками и фельетоном Шпилевского «Дневник знакомого человека» произошла известная история 1858 г.: либеральная пресса единодушно протестовала против клеветнических антисемитских статей «Иллюстрации»; Н. А. Добролюбов отнесся к протесту иронически, как к безрезультатной пиберальной шумихе (историю печатной полемики см. в комментариях С. Р. <ейсера>: Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в 6 тт., т. 6, М., 1939, стр. 703; С. А. Рейсер ошибочно приписал псевдоним «Знакомый человек» В. Зотову; авторство Шпилевского раскрывается на основании его писем к Зотову — см., например, № 49, л. 159).

Зотов в этой истории встал на защиту своего сотрудника, проявив, таким образом, черты «черносотенно-демократической» (термин В. И. Ленина: см. Соч., т. 19, стр. 350—351) идеологии (основной пафос его и Шпилевского статей заключался в том, что еврей-торговцы притесняют крестьян на западных окраинах России) и очутившись в очень некрасивом положении: он изворачивался, отказываясь признаться в клевете на И. А. Чацкого (одного из критиков статей «Иллюстрации», в ответ на выступление которого «Иллюстрация» недвусмысленно обвинила его в подкупе); лгал в частном письме к Чацкину, что он не получал ответа последнего, хотя в архиве хранится это письмо (копию письма Зотова см. № 49, лл. 158—158 об.; письмо Чацкого — там же, л. 150—151 об.). Зотов явно испугался широкой огласки данной истории и пытался замазать дело. Еще больше «дрожал» Шпилевский: «Я боюсь, что вы (Зотов — Б. Е.) меня отдадите на съедение, только печатно не обнаруживайте моего псевдонима» (там же, л. 159).

Один из оклеветанных «Иллюстрацией» критиков, М. И. Горвиц, все же обратился в Уголовный суд, дело тянулось около двух лет и закончилось типично в духе Шемякина суда. Сотрудник «Иллюстрации» В. П. Бурнашев писал Зотову 18. 1 1860: «Мне известно, что у вас процесс по делу жидовского протеста. Надвор<ный> уголовный суд пригов<орил> вас за диффамацию на 3 мес<яца> тюрьмы. Но губ<ернский> прокурор Ник. Григ. Богуславский, мой знакомый и порядоч<ный> человек — отменил решение» (№ 28, л. 37).

Однако моральная встряска для Зотова была сильная: сотрудники отказывались участвовать в «Иллюстрации» (Н. Ф. Щербина, например, писал Зотову, что переводчица Новосильцева требует возратить ее работы, т. к. «полемика по поводу евреев <...> возбудила в Москве негодование против «Иллюстрации» и поставила ее наравне с «Северной пчелой» — № 255, лл. 9—9 об.), «Литературный фонд» тайным голосованием в 1859 г. провалил кандидатуру Зотова, желавшего вступить в эту организацию. Характерно, что после данной истории юдофобские выпады надолго исчезли со страниц «Иллюстрации».

Литературно-эстетические взгляды Зотова были также весьма запутанными. В трактате «Мысли о причине упадка новейшего искусства», относящемся к началу-середине 1840-х гг., он излагал типично идеалистическую программу: главное в искусстве — пластическая красота, «изящество форм», «гармония контуров»; искусство не нуждается в отображении действительности, необходим вымысел, украшающий жизнь и т. д. (№ 76).

К концу 1840-х началу 1850-х гг. с усилением оппозиционных элементов в мировоззрении Зотова, эти взгляды претерпевают существенную эволюцию, сохранив рудименты реакционной эстетики. Поэтому часто в одной статье наблюдается чудовищная мешанина мыслей и понятий. В программной эстетической работе 1849 года Зотов выступает против материалистической теории искусства: «живопись не есть искусство подражания, хотя она изображает внешние предметы: живописец чувствует свою картину в самом себе». <sup>43</sup> Однако эстетика Канта неприемлема для автора: «Этот преувеличенный идеализм уничтожает материальный мир». <sup>44</sup> Следовательно, материальный мир существует, но существуют и «идеи» художника, независимые от этого мира, и художник лишь пользуется внешними предметами для материального воплощения своего замысла. При этом замысел не должен носить какую-либо общественную или политическую цель: «искусство существует для искусства». <sup>45</sup>

А далее следуют новые оговорки: «человеческая фантазия <...> очень ограничена, потому что не в состоянии создать форму, не существующую в мире» <sup>46</sup> (почти «по Чернышевскому!»), следовательно, идея прекрасного не может быть врожденной, необходимы предметы, объекты, способствующие воспитанию чувства прекрасного. Тут же имеются и существенные отклонения от теории «чистого искусства»: произведение, говорит Зотов, тогда хорошо, когда истинно, «когда в нем есть какое-нибудь внутреннее содержание», когда оно «написано не для того только, чтобы написать что-нибудь». <sup>47</sup>

К середине 1850-х гг. защита «чистого искусства» уже исчезает со страниц критических статей Зотова. Осталась пропаганда субъективизма: критик, подчеркивает Зотов, «может руководиться только своими личными впечатлениями, собственным вкусом, индивидуальными понятиями. Его дело — рассказать, как ему кажется, а не так, как оно, может быть существует на самом деле». <sup>48</sup>

<sup>43</sup> Сын отечества, 1849, № 11, «Критика», стр. 7.

<sup>44</sup> Там же, стр. 13.

<sup>45</sup> Там же, стр. 14.

<sup>46</sup> Там же, стр. 17.

<sup>47</sup> Там же, стр. 23.

<sup>48</sup> Сын отечества, 1857, № 13, стр. 295. Возможно, впрочем, что эти строки принадлежат отцу Зотова, Рафаилу Михайловичу, который, видимо, был соавтором сына. Но будучи соавтором, В. Р. Зотов как бы санкционировал статью в целом.

В связи с этим Зотов подчеркивал неоднократно, что он предпочитает в сомнительных случаях умалчивать о недостатках произведения, «боясь быть несправедливым к автору и не имея возможности развивать наши личные убеждения, может быть, несогласные с мнением большинства». <sup>49</sup>

Такие принципы тесно переплетались со старомодным представлением дворянской эстетики об «учтивости» критики. Зотов, например, был возмущен ироническим разбором Чернышевского стихотворений графини Ростопчиной и выступил в ее защиту: «Как поэт и как женщина она имеет двойное право < . > на учтивость < . >. От критики не требуется «галантерейного обращения», но тон порядочного общества должен быть сохранен». <sup>50</sup>

Но когда литература для Зотова становится служительницей общества, теория «чистого искусства» находит в нем ярого противника: «бесплодная, безжизненная и безотрадная теория»; «мы неоднократно доказывали ее ложность и несостоятельность» <sup>51</sup> (впрочем, Зотов и здесь был не до конца последователен; в конце 1857 г. он уже сделал уступку: «искусство для искусства» возможно в стихах на отвлеченные темы — «мы должны все-таки допустить, что могут быть стихи, написанные без всякой цели, даже без мысли» <sup>52</sup>).

Зотов, участвуя в «Отечественных записках», борется с критическими суждениями Сенковского, направленными против общественной сатиры, реалистической литературы. «Библиотека для чтения» издается вне времени и пространства. Этот странный, немножко неприятный, но тем не менее неопровержимый факт доказывался подробным разбором статей «Библиотеки», и журнал этот не мог опровергнуть наших выводов ничем, кроме громких фраз и общих мест < . > Всякий, кто следит за успехами нашей литературы в последнее время, знает, что труды наших лучших писателей клонятся к возможно верному изображению простонародного быта. Сочувствие читателей к подобному роду произведений доказывается тою лестною известностью, какую приобрели в публике гг. Тургенев, Писемский, Потехин, Островский, Григорович и другие писатели. Из журналов одна «Библиотека для чтения» не одобряла этого рода произведений в своих критических статьях, отзываясь даже о Гоголе более чем с пренебрежением». <sup>53</sup>

Натуральная же школа находит в Зотове горячего защитника. Критикуя статью Писемского о Гоголе за отрицание общественного смысла в творчестве писателя, Зотов заключает: «мы надеемся, что кто-нибудь возвысит свой голос в защиту лиризма

<sup>49</sup> Спб. ведомости, 1856, № 85, «Русская литература».

<sup>50</sup> Спб. ведомости, 1856, № 75, тот же отдел.

<sup>51</sup> Сын отечества, 1857, № 16, «Текущая литература», стр. 358.

<sup>52</sup> Сын отечества, 1857, № 47, «Критика», стр. 1156.

<sup>53</sup> Отеч. записки, 1855, № 10, «Журналистика», стр. 116—117

Гоголя и его социально-сатирического значения, чего не позволяют нас сделать пределы фельетона».<sup>54</sup> Неоднократно Зотов подчеркивал важность общественной сатиры, «смеха сквозь слезы», в противовес дворянско-эстетской установке на бессодержательную комедию, «неудержимую веселость».<sup>55</sup>

Известны многочисленные положительные отзывы критика о «Губернских очерках» Щедрина.<sup>56</sup> Интересно, что Зотов выступил против рецензии Чернышевского о стихотворениях Щербины, где последний был рассмотрен как «антологический поэт». Зотов же выделил иные черты в творчестве писателя: «было бы странно сомневаться в значении г. Щербины, как поэта, преимущественно общественного сатирика, благородномыслящего, строгого карателя современных пороков и низостей. В этом сатирическом направлении, принятом им весьма недавно, состоит его главная заслуга < . > за этот подвиг поэта-гражданина каждый здравомыслящий человек будет любить и уважать его. Нашему веку необходимо прежде всего обличение его недостатков и пороков».<sup>57</sup>

Характерен однако либеральный вывод из этого тезиса: мощная кампания обличительства должна уничтожить все пороки, создать «просвещенных» людей (нельзя забывать, что и «Губернские очерки» были восторженно восприняты либеральным лагерем: их можно было истолковать как призыв к мирному, «просвещенному» исправлению недостатков<sup>58</sup>).

Но Зотов находился в общем на самом левом фланге либерализма, резко критикуя дворянскую эстетику. С осени 1856 г. Старчевский приглашает Зотова в качестве основного критика «Сына отечества», и тот начинает активно бороться с эстетической теорией Дружинина, нового редактора «Библиотеки для чтения»,<sup>59</sup> уже в 30-м номере журнала (28 октября) выступив

<sup>54</sup> Спб. ведомости, 1855, № 224, «Русская журналистика».

<sup>55</sup> Сын отечества, 1857, № 6, стр. 140.

<sup>56</sup> Наиболее развернутый отзыв — в специальной рецензии «Губернские очерки (...) Щедрина», Сын отечества, 1857, №№ 19, 20.

<sup>57</sup> Сын отечества, 1857, № 14, стр. 321.

<sup>58</sup> Именно так истолковал книгу и сам Зотов: «Для искоренения этой язвы России (взятки — Б. Е.) честным людям следует твердо решиться: не только не брать, что разумеется само собою, но и не давать ни малейшей взятки» (Сын отечества, 1957, № 20, стр. 467). Показательно также, что Зотов считал явлениями одного порядка и очерки Щедрина, и либерально-обличительную пьесу Н. Львова «Свет не без добрых людей» (Сын отечества, 1857, № 12, стр. 281—282).

<sup>59</sup> Интересно, что Зотов постоянно подчеркивает «новый» характер эстетической теории «Библиотеки для чтения» под редакцией Дружинина: «До сентябрьской книжки включительно не проповедовалось подобных правил в этом журнале» («Сын отечества», 1856, № 30, стр. 77); «В последнее время когда вопрос этот был поднят так некстати журналом, пользовавшимся расположением публики < . >» (там же, 1857, № 2, стр. 42). В этом вряд ли следует усматривать комплимент Старчевскому, бывшему редактору «Библиотеки» (Зотов был очень независимым в своих мнениях и постоянно противоречил желаниям Старчевского); видимо, Зотов имел в виду облик журнала, который ему придали в 1855—1856 гг. Рыжов и Ушинский.

против дружининской программы «чистого искусства» (стр. 77). Более подробно Зотов остановился на этом вопросе при анализе 2-ой статьи Дружинина «Критика гоголевского периода и наши к ней отношения» (из «Библиотеки для чтения»): «В ней развивается опять устарелая теория искусства для искусства (l'art pour l'art), названная только теориею артистического так же неверно, как и противоположная ей, истинная теория искусства для пользы, для добра (l'art pour le bien) называется, глумления ради, теорию дидактическою < . >». «Отечественные записки» и «Современник» сказали несколько жестких, но справедливых слов об этой теории < . >. Не будем доказывать теперь рецензенту всю шаткость и несостоятельность его мнений, оставив его посмеиваться над Жорж-Зандом, <...> над Гервинусом и Гейне, среди жестоких страданий сохранившими неизбежно свой беспощадный юмор; над Арнтом, Берне, Гервегом и Фрейлигратом; < . > оставим его уверять, что < . > русские повести сороковых годов не встретили ни малейшего отголоска в публике, что статьи Белинского о Пушкине производили на нее тягостное и раздражительное впечатление, что Гоголь не поэт отрицания, что он не отступает от своей прежней деятельности, что в убеждениях, изложенных им в «Переписке с друзьями», не было равно ничего предосудительного и что его воззрения и в этой книге и в «Авторской исповеди» делились миллионами людей умных и высоких душою.

Подобные мнения не опровергаются».<sup>60</sup>

Резкая критика статей Дружинина содержится и в обзоре Зотова в 6 номере «Сына отечества» за 1857 г. (стр. 140). Зотов очень положительно отозвался также о рецензии Чернышевского на «Очерки из крестьянского быта» Писемского за резкую полемику с теорией Дружинина и за защиту Белинского.<sup>61</sup>

С другой стороны, Зотов постоянно выступает против лакейской, верноподданнической литературы. Его выпады в адрес изданий Булгарина-Греча вряд ли необходимо приводить — это не является оригинальным. Но очень интересные материалы его борьбы с А. Майковым, в основном не увидившие света при его жизни.

Как известно, А. Майков, отказавшись от либеральных увлечений 1840-х гг., сблизился в начале 1850-х гг. со славянофилами и стал открыто прославлять николаевское самодержавие, вплоть до прямого угодничества перед Николаем I (стихотворение «Коляска»).

По этому поводу В. Зотов пишет целый ряд памфлетов, начиная со стихотворения «Позту-отступнику» (9 мая 1855 г.). Одно стихотворение Зотова является прямой пародией на «Коляску»:

К А. Майкову

(по прочтении его стихов «Когда по улице, в откинутой коляске»).

<sup>60</sup> Сын отечества, 1857, № 2, стр. 42.

<sup>61</sup> Сын отечества, 1857, № 18, стр. 418—419.

Когда по улице, согнувши стан свой гибкий,  
На дрожках пред толпой суровой едет он,  
Закутавшись в шинель, с своей гнилой улыбкой,  
Тревожен, с совестью нечистой и смущен, —  
В нем виден наглый льстец, позорных дел хвалитель  
И царственных наград искусный промыслитель  
И первый негодяй народа своего ( . )

(№ 8, л. 45).

В завуалированной форме Зотову удавалось неоднократно выражать подобные идеи и в печати. Сообщив в «Журналистке» «Пантеона» о смерти Николая I, Зотов использует прием иронического неумеренного восхваления и заявляет далее, что на первом месте следует в связи с этим событием говорить о стихах Майкова, «обратившего на себя всеобщее внимание, в особенности в последнее время своими удивительными произведениями. Как следует истинному поэту, автор < . > идет по пути, избранному им однажды, с твердостью и неизменностью во мнениях». <sup>62</sup> А далее идет сопоставление стихов Майкова с бездарными виршами Н. Кравченко.

Однажды, впрочем, Зотову удалось не эзоповым языком, а прямо сказать о ренегатстве Майкова, осмеяв антиреволюционное произведение поэта: «неприятнее всего поразило нас стихотворение г. Майкова «Арлекин» < . > Видно, что арлекин несколько раз менял свои убеждения, что теперь ему советно самому за свои поступки, и от этого он выражается сбивчиво, неловким тяжелым стихом и отсутствие искренности хочет заменить высокопарностью и, в то же время, уничижительными фразами». <sup>63</sup> Зотов очень тонко отождествил автора с отрицательным героем!

Критик и в других случаях пытался говорить в подобном тоне о стихах Майкова, но наткнулся на сопротивление цензуры. Так, он дал развернутый отзыв о поэте в журнальном обзоре, подготовлявшемся для «Сына отечества» (1857, № 4) но цензор В. Бекетов запретил весь текст, относящийся к Майкову. <sup>64</sup>

<sup>62</sup> Пантеон, 1855, № 5, стр. 2.

<sup>63</sup> Пантеон, 1855, № 2, стр. 21—22.

<sup>64</sup> Гранки с цензорскими красными крестами сохранились в архиве Зотова. Приводим текст (в квадратных скобках — запрещенное цензором): «Стихотворения числом семьдесят <в «Отечественных записках — Б. Е.»> большею частью очень слабы, хотя под ними подписаны имена известных поэтов, впрочем, наряду с самыми неизвестными. [Из этого числа мы исключим только стихотворения г. Щербины и несколько пьес гр. А. Толстого; все остальное весьма плохо, не исключая двух поэм: г. Фета «Сон» и г. Майкова «Рыбная ловля».

При обзоре отдельно вышедших произведений наших поэтов мы не имели случая сказать ни слова о г. Майкове, и поэтому теперь должны упомянуть об этом поэте, некогда возбуждавшем участие в читателях. В прошлом году он написал только одно хорошее стихотворение «Старый хлам» (в «Русском вестнике»), все остальное, напечатанное им, весьма посредственно. Вообще, в последнее время мы видим в г. Майкове такой упадок таланта, что нам грустно говорить о его последних нехороших произведениях, вспомнив прежнюю блестящую пору его успехов. Его стихотворения, написанные на разные современные события, не подлежат разбору — по чувству, его одушевляющему, хотя и в этом роде у него есть достойные соперники гг. Кравченко и Татаринов, но возьмем его пьесы из вседневного быта.

Что найдем мы в них, кроме измельчавшего, сконфуженного дарования, бросившегося описывать пустые быденные мелочи, с заднею мыслью заставить, может быть забыть всеобщее неодобрение, встретившее его попытки воспевать не с должной точки зрения предметы более серьезные. В стихах этих гладкость стиха не прикрывает отсутствие мысли, приторность изобра-

Впрочем, позднее Зотову удалось вставить большую часть этого текста в «Обзор литературных журналов»,<sup>65</sup> но в очень смягченном виде: цензурой выброшено сравнение с ничтожными поэтами Кравченко и Татариновым, вместо «нехорошие» (произведения) появилось «странные», вместо «самое дикое» (произведение) — «едва ли не самое странное» и т. п.

Редактор Старчевский был сам не менее строгим цензором. 17 октября 1857 г. он писал Зотову: «Вы знаете, что я уже получил за вас от правительства два замечательных» выговора. Теперь подумайте, что вы пишете о Майкове и французской революции? Разве это могу я пропустить?» (№ 225, л. 33). Очевидно, имелись еще какие-то острые выпады Зотова, не дошедшие до нас.

Руководствуясь принципом идейности литературы, отрицательно относясь к теории «чистого искусства», Зотов в своих рецензиях мало обращал внимания на «художественность»: «важна мысль, а не форма, цель, а не исполнение. Слабого произведения мы не оуждаем, но вечно и непримиримо будем преследовать ложь и лицемерие».<sup>66</sup> (Кстати сказать, если иметь в виду художественность не в эстетском понимании, Зотов был не только плохим писателем, но и в критике он обнаружил весьма посредственное художественное чутье; показательны его посто-

---

жений не заменяет поэтического чувства. Какое содержание одного из последних стихотворений его, напечатанных в «Современнике»? Дождь, звонкая в окошко, и кошка, свернувшаяся клубком под образами, там же напечатал он приторный мадригал, в котором собирается разбудить свою милую, брызнув на нее росой, повисшей на ветке сирени, — событие может быть, очень важное для поэта, но несколько не интересное для читателей. Там же поместил он еще прежде своего «Арлекина», самое дикое из всех его произведений, в котором он старается в чем-то оправдаться, кого-то обвинить, что-то высказать — и ничего не высказывает, ни в чем не оправдывается, а еще более запутывается в то неловкое положение, в котором даже «Современник» видит «удаление от истинных условий творчества».

Наконец, что за содержание взял он в своей «Рыбной ловле»? Такие ли предметы должна описывать поэзия, что за неуклюжий стих, что за «описательная поэзия», вроде «Садов» Делиля, «Времен года» Томсона, и других усыпительных поэм! Не цитируем плохих стихов, приведенных вполне во второй книжке «Пантеона» (Зотов ссылается, видимо, на свою «Журналистику» в «Пантеоне», 1856, № 3 (ошибся на месяц), где резко критиковал «Рыбную ловлю»: см. стр. 10—11), но пожалев о ложном направлении г. Майкова, о его упорстве остаться при своих непонятных заблуждениях и нежелании прямо и благородно отречься от них, скажем, что во всей «Рыбной ловле» нам понравились только следующие полтора стиха:

... вхожу я с торжеством  
и криком все меня встречают: ах несчастный!]]  
(№ 21, лл. 3—4).

<sup>65</sup> Сын отечества, 1857, № 8, стр. 188.

<sup>66</sup> Иллюстрация, 1858, № 12, «Журналистика», стр. 187.

янно отрицательные отзывы о поэзии Тютчева,<sup>67</sup> он совсем не видел выдающегося таланта этого поэта!). Характерно, что в журнальных обзорах Зотов главное внимание уделял не столько «изящной словесности», сколько научным, публицистическим, критическим статьям. Он сам откровенно признавался: «Беллетристическое произведение в периодическом издании то же, что пирожное в обеде. Очень приятно, конечно, кончить обед таким блюдом, но оно не составляет все-таки существенной части обеда < . > Поэтому мы всегда с большим удовольствием раскрываем журнал, видя в нем, в отделе словесности, какие-нибудь очерки нравов, отрывки из путешествий и тому подобное, нежели повесть».<sup>68</sup> Или еще точнее: «многие смотрят у нас на журналы с ошибочной точки зрения, считая главной, необходимою принадлежностью всякой книжки периодического издания — романы, повести, рассказы. Пора бы нам отвыкнуть от этого ложного понимания < . > Главными отделами в периодическом издании должны быть критика и смесь»<sup>69</sup> (т. е. отделы, выражающие социально-политическую и эстетическую программу журнала).

В таких суждениях, несомненно, проявился общий дух эпохи: стремление к научному познанию действительности, тяга к политическим и естественным наукам, этнографии. Это закономерно переплеталось с отмеченной выше защитой натуральной школы.

Зотов, таким образом, и в данном вопросе стоял на самом левом фланге либерального лагеря, смыкаясь с демократами, ибо большинство либеральных критиков главное внимание уделяли именно форме, художественной стороне произведения, принципиально игнорируя содержание.

Сложным было отношение Зотова к революционно-демократическим деятелям и к их литературно-эстетическим взглядам.

---

<sup>67</sup> См., напр., Пантеон, 1854, № 8, «Журналистика», стр. 5. Ср. также одинаковое восхваление стихов Некрасова и Бенедиктова (Сын отечества, 1857, № 4, стр. 90), отрицательное отношение к «Грозе» Островского (Иллюстрация, 1859, № 100, «Критические заметки», стр. 395) и др. ляпусы.

Впрочем, здесь нужно учитывать и то обстоятельство, что Зотов был весьма пристрастен (а часто и беспринципен) в литературных оценках. Под воздействием вражды Краевского к А. Н. Островскому и ревниво отчуждаясь к драматическим успехам писателя, Зотов очень резко отзывался о творчестве Островского, одновременно пытаясь опорочить его и в моральном отношении (см. Л. Р. Коган, Летопись жизни и творчества А. Н. Островского, М., 1953, стр. 76—78).

Или еще пример. Стоило лишь Н. Гречу благосклонно напечатать в «Северной пчеле» ответ Зотова на «литературный протест» (по поводу антисемитских статей), как Зотов пишет своему бывшему недругу следующее: «вы исполнили только долг справедливости, но самая готовность и быстрота, с которою вы исполнили его, заставляет меня сожалеть о слишком резких суждениях, высказанных в последнее время в «Иллюстрации» против вас и вашей газеты» (№ 25, л. 72).

<sup>68</sup> Сын отечества, 1856, № 33, стр. 137.

<sup>69</sup> Иллюстрация, 1858, № 17, «Журналистика», стр. 278.

О Белинском Зотов постоянно говорил с увлечением и любовью,<sup>70</sup> защищая его имя от нападок реакционеров.<sup>71</sup>

Зотов дерзнул в 1858 г. напомнить читателям о «едком, благородном письме Белинского, упрекавшего его (Гоголя — Б. Е.) за напечатание несчастной «Переписки»». Или еще более прозрачно: «никто сильнее Белинского не поразил его в известном благородном письме, напечатанном в отрывках в издании г. Кулиша».<sup>72</sup> Зотов видел в Белинском идеолога натуральной школы: «Из собственных слов Белинского выводится цель литературного движения — действительность, зрелость литературы измеряется степенью близости к действительности. Стремление нашей литературы — из риторической сделаться естественной, натуральной, по словам Белинского, яснее всего обнаруживается в Гоголе. Сочинения его — воспроизведение действительности во всей ее истине».<sup>73</sup> Наследование критического метода Белинского в журналистике 1850-х гг. вызывало также в общем сочувственную оценку Зотова. Например, он назвал «замечательной» статью Салтыкова-Щедрина «А. В. Кольцов» в «Русском вестнике»: «Хотя и трудно было после Белинского сказать что-нибудь об этом поэте, но критик умел найти в нем некоторые новые стороны, сказать несколько умных и теплых слов о нашем лучшем народном поэте».<sup>74</sup>

Но наследие Белинского Зотов трактовал несколько иначе, чем демократы-шестидесятники. Характерен, например, «далтонизм» Зотова при оценке критического метода Ап. Григорьева: «В особенности восстает он (Григорьев — Б. Е.) против критики сороковых годов, хотя на каждом шагу отдает ей справедливость и чаще соглашается, нежели расходится с ней <. > Нам кажется даже, что если бы не желание г. Григорьева создать свою маленькую, особенную, московскую школу, то он

<sup>70</sup> Искренней скорбью проникнуто письмо Зотова к М. Л. Михайлову, где сообщается о смерти великого критика (от 5 июля 1848 года): «литературные геопостраты живы да здоровы, а бедный Белинский отыде ad patres!» (ЦГАЛИ, ф. 1111, оп. 2, № 19, л. 15).

<sup>71</sup> См., напр., Слб. ведомости, 1855, № 249.

<sup>72</sup> Иллюстрация, 1858, № 15, «Н. В. Гоголь», стр. 239; № 36, «В. Г. Белинский», стр. 163. Зотов умышленно сообщил ложные сведения (для обмана цензуры!): в действительности, конечно, ни в издании Кулиша (имеются в виду, очевидно, «Сочинения и письма» Гоголя под ред. П. А. Кулиша, т. VI, 1857, где опубликованы письма Гоголя к Белинскому, в том числе черновые отрывки известного ответа Гоголя на письмо Белинского — стр. 379—387 — а не письма Белинского!), ни в другой какой-либо легальной русской книге публикация письма Белинского была невозможна.

Факт двукратного упоминания в «Иллюстрации» запрещенного письма Белинского, кажется, не был известен в нашей литературе. В исключительно богатой материалом статье Ю. Г. Оксмана «Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ» (Ученые записки Саратов. ун-та, т. XXXI, 1952, стр. 111—204) нет указания на эти статьи Зотова.

<sup>73</sup> Иллюстрация, 1858, № 36, «В. Г. Белинский», стр. 163.

<sup>74</sup> Сын отечества, 1856, № 37, стр. 238.

мало в чем разнился бы в мнениях с петербургскою критикою». <sup>75</sup> Показательно это невидение существенных различий между Григорьевым и Белинским!

Курьезно, с другой стороны, что в «Очерках гоголевского периода» Зотову не понравился тезис об умеренности требований Белинского: «Г Чернышевский, говоря о характере Белинского, напрасно настаивает на его умеренности. Критик не мог, конечно желать невозможного, несбыточного; признавая действительность, он не думал, очевидно, уничтожить ее, но чтобы он не думал о ее коренном преобразовании, не желал изменений — это явно противоречит мысли всех его произведений». <sup>76</sup> Это Чернышевского-то учить «думать о коренном преобразовании»! Важно однако, что в то время, как либералы 1850-х гг. стремились сгладить острые углы в наследии «неистового Виссариона», Зотов подчеркивает именно «экстремизм» требований критика.

К кругу «Современника» у Зотова было двойственное отношение. К Панаеву — резко отрицательное. Не последнюю роль здесь играла утвердившаяся уже в либеральной прессе оценка Панаева как легкомысленного «хлыща», любителя «светской» жизни (что в значительной степени соответствовало действительности), а также насмешки самого Панаева над Зотовым. <sup>77</sup>

Но Зотов критиковал не только Панаева. «Завоевание» «Современника» демократами отнюдь не всегда вызывало его одобрение.

Исключительно интересно поэтому его отношение к Чернышевскому и Добролюбову. За сочувствие к Белинскому Зотов положительно оценивает «Очерки гоголевского периода русской литературы», хотя и спорит со многими выводами исследования. <sup>78</sup> Но, как и большинство либеральных критиков, он резко отрицательно характеризовал диссертацию Чернышевского, акцентировав внимание на уязвимых местах труда (представление об искусстве как суррогате действительности) и выступая вообще против материалистического объяснения искусства. <sup>79</sup> Показательно, что Зотов сочувственно отозвался об образе Чер-

<sup>75</sup> Спб. ведомости, 1855, № 249, «Русская журналистика».

<sup>76</sup> Иллюстрация, 1858, № 36, «В. Г. Белинский», стр. 163.

<sup>77</sup> См., например, Современник, 1857, № 1, «Заметки Нового Поэта», стр. 125—128. Еще раньше Панаев высмеял театрально-критические статьи Зотова о Рашели (в «Пантеоне»), опубликовав под псевдонимом «Апполиний \*\*» статью «Литературные гномы и знаменитая артистка» (Современник, 1854, № 3). См. об этом запись в дневнике Добролюбова от 2. I. 1856: «Панаеву также принадлежит «Литературные гномы, помещенные» в 1854 г. в «Современнике». Там гном в золотых очках — Кони, а гном с мочалкой на голове — В. Зотов» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в 6 тт., т. 6, М., 1939, стр. 404).

<sup>78</sup> См. Спб. ведомости, 1855, № 281; 1856, №№ 52, 85, 96; Сын отечества, 1856, № 30, стр. 76; 1857, № 2, стр. 43; № 4, стр. 91.

<sup>79</sup> Спб. ведомости, 1855, № 139, «Русская журналистика»; Пантеон, 1856, № 2, «Журналистика», стр. 25—28.

нушкина в «Школе гостеприимства» Григоровича,<sup>80</sup> хотя в целом его отношение к повести было сугубо отрицательное.<sup>81</sup> Он не мог не знать, что этот образ — пасквиль на Чернышевского.

Не обошлось без анекдота. В одном из обозрений 1856 г. Зотов опять вернулся к эстетической теории «Современника». «Передовые мыслители», говорит он, видят в литературе средство «улучшения человечества», а «не одну утилитарность и рабское подражание природе. К стати об этой теории утилитарности в литературе: нам было очень приятно встретить в «Современнике», выхвалявшем еще так недавно эту теорию, в лице ее представителя, г. Чернышевского, — такую статью, как «Очерки гоголевского периода», в которой видно уважение к литературе, ее цели и значению».<sup>82</sup> Ясно, что критик не знал об авторстве Чернышевского!

Но это незнание или, точнее, неумение четко отличить особенности взглядов того или другого демократического деятеля свидетельствует и о том, что в данный период (1855—1857) расхождения между либеральным и демократическим лагерями еще не достигли кульминации. Целый ряд положений в демократической критике в какой-то степени «устраивал» таких либералов, как Зотов.

Аналогично отношение Зотова к Добролюбову. Дебют критика — «Собеседник любителей русского слова» — был встречен отрицательно, в известной полемике вокруг этой статьи Зотов целиком стал на сторону Галахова.<sup>83</sup> Затем несколько рецензий получили похвальный отзыв Зотова (например, на роман Е. Ростопчиной «У пристани»<sup>84</sup>), но в целом тон многих статей Добролюбова вызывал в Зотове отрицательную реакцию (рецензии на стихи Бенедиктова и Вердеревского<sup>85</sup>).

Как и многие либеральные критики, Зотов выступил против статьи Добролюбова «Что такое обломовщина?», истолковав ее, как обвинение всей России в лени и бездействии.<sup>86</sup> И снова анекдот: Зотов готовил специальную обзорную статью «Полемика о книге «Описание сельского духовенства»» (статья была запрещена духовной цензурой 22. VII. 1859, но сохранились гранки — № 282, л. 11), где исключительно высоко отозвался о идеях рецензии «Современника» на брошюру «Мысли светского человека...» (а рецензия принадлежит Добролюбову) и резко отрицательно — о критической деятельности Добролюбова, особенно о его статьях «Литературные мелочи прошлого года» и

<sup>80</sup> Там же, № 210.

<sup>81</sup> См. Отеч. записки, 1855, № 10, «Журналистика», стр. 119—120.

<sup>82</sup> Спб. ведомости, 1856, № 52.

<sup>83</sup> См. Сын отечества, 1856, № 30, «Журналы и газеты», стр. 76; там же, № 39, «Обзор периодических изданий», стр. 285.

<sup>84</sup> Сын отечества, 1857, № 46, «Обзор литературных журналов», стр. 1127.

<sup>85</sup> Там же, № 51, стр. 1265; Иллюстрация, 1858, № 17, «Журналистика», стр. 279.

<sup>86</sup> Иллюстрация, 1859, № 100, «Критические заметки», стр. 395.

«Что такое обломовщина?» (в переделанном виде этот отзыв опубликован Зотовым в другой статье — см. примечание<sup>86</sup>) Но это противоречие вполне объяснимо: в рецензии на «Мысли светского человека» Добролюбов обнажал те пороки самодержавного строя, которые критиковали и самые умеренные либералы, зато в двух последних статьях он категорически отмежевывался от либерализма, что не могло не вызвать отрицательную оценку Зотова, в мировоззрении которого либеральная идеология занимала отнюдь не последнее место.

Тем не менее, тотчас же после смерти Добролюбова Зотов написал сочувственный некролог, предназначенный им для «Иллюстрации» (в левом верхнем углу рукописи его заметка для типографии: «№ 197 непременно»).

Но статья не появилась ни в этом, ни в следующих номерах: весь текст перекрещен красным цензорским карандашом.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> № 24, л. 7 Приводим текст рукописи Зотова, так и не увидевшей света при его жизни:

#### «Некролог.

В ночь на 17-ое ноября умер Николай Александрович Добролюбов, один из даровитейших молодых писателей, сотрудник «Современника», замечательный критик и публицист, редко выставлявший под статьями свое имя, но большею частью подписывавшийся Н. - бов. Всем, конечно, памяты его меткие, бойкие статьи, из которых более других возбудили всеобщее внимание «Темное царство» и «Забитые люди». Николай Александрович страдал грудною болезнью, получил небольшое облегчение нынче летом, за границей. Но с возвращением в Петербург припадки болезни возобновились и она свела его в могилу, в молодых годах, в полном цвете умственных сил. Судьба все еще продолжает быть мачехой русской литературы и губит лучших ее деятелей, не давая им возможности высказаться вполне. С Добролюбовым легли в гроб надежды на преемничество Белинского в области русской критики. Покойник начал свое литературное поприще так, как немногие его оканчивают. Самые ошибки и увлечения Николая Александровича простирались от горячей любви к человечеству, к русскому народу, от полного сочувствия его нуждам и невзгодам. Он не был оптимистом, не верил громким фразам и обещаниям, не смотрел в радужные стекла на события своего времени — но можно ли упрекнуть его за это? В понедельник, в день его похорон, несмотря на дурную погоду, густая толпа шла за его гробом, который несли на своих плечах друзья и почитатели покойного, от Литейной до Волкова кладбища, где положили подле Белинского. Были тут и писатели, и офицеры, и студенты, были лица, никогда не знавшие и не видевшие покойного, но которые считали долгом поклониться телу благородного деятеля, добивались как чести возможности пронести хоть несколько шагов на плечах своих тяжелый гроб. Над могилой сказали несколько теплых правдивых слов друзья покойного. Еще одною горькою утратою, безвременною могилою стало больше на печальном поприще русской литературы, но не отвратит никого от трудов на этом поприще ранняя кончина даровитого труженика; напротив, благородным примером укрепит она каждого действовать, по мере сил своих, на развитие и укоренение в массе здравых идей, вечных, хотя и неутешительных истин. Редакции «Современника» предстоит собрать и издать все, что успел высказать и написать Добролюбов. Это будет самый прочный памятник ему в нашей литературе».

Постоянно, на протяжении десятков лет, исключительно высокую оценку получали в статьях Зотова произведения Некрасова. И в середине 1850-х годов, если только Зотов обозревал в своих «Журналистках» очередной номер «Современника», то, каковы бы ни были его отзывы о других авторах, Некрасов неизменно оказывался отмеченным как выдающийся поэт эпохи. Это и понятно, если учесть постоянную защиту Зотовым натуральной школы. Характерно, что критик связывал именно с этим направлением творческий метод Некрасова. «Конечно, — анализировал он стихотворение «В больнице», — писатели ненатуральной школы могут найти все это стихотворение грязным, не эстетическим < . > но мы убеждены, что этому стихотворению будет сочувствовать всякий, чье сердце отзывается голосу человеческих страданий».<sup>88</sup>

По инициативе Зотова осенью 1856 года для «Сына отечества» готовилась большая статья А. И. Рыжова о творчестве Некрасова, не увидевшая света по вине цензуры.<sup>89</sup> И уже после цензурной бури по поводу пропуска в свет «Стихотворений» Некрасова, после официального запрещения говорить об этом сборнике в печати, Зотов отважился напомнить о знаменитой книге,<sup>90</sup> попутно охарактеризовав и новые стихи поэта, только что появившиеся в «Современнике»: «Двадцать стихотворений Некрасова займут почетное место в истории литературы».<sup>91</sup>

Много лет спустя, в тяжелую для Некрасова годину, Зотов обратился к нему с приветом и сочувствием, на что Некрасов ответил трогательной запиской: «Спасибо вам от души, Владимир Рафаилович, за ваше доброе, милое письмо: Очень оно мне было приятно; в последнее время, кроме грубых (и безапелляционных) ругательств в печати, ничего не слышу!».<sup>92</sup>

Несомненно, в оценке поэзии Некрасова Зотов ближе всего подошел к принципам демократической критики. Но он не связал своей судьбы с демократическим лагерем. Его постоянно «тянуло» к либерализму. В либеральных органах печати сотрудничал он в 1850-е годы, умеренным журналистом был и позднее. Он лишь наблюдателем созерцал революционное движение в России второй половины XIX века, положительно относясь к самой идее расшатывания самодержавного строя, который ненавидел, но не сочувствуя методам борьбы и конечным целям революционеров (как народников, так и марксистов)

<sup>88</sup> Пантеон, 1856, № 2, «Журналистика», стр. 13—14.

<sup>89</sup> См. подробнее Ученые записки ТГУ вып. 65, Тарту, 1958, стр. 86—89.

<sup>90</sup> Сын отечества, 1857, № 4, стр. 86.

<sup>91</sup> Там же, стр. 91.

<sup>92</sup> Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. 11, М., 1952, стр. 298.

## ПРИЛОЖЕНИЕ.

### КРИТИЧЕСКИЕ, НАУЧНЫЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

В. Р. ЗОТОВА

(1849—1861 г.г.)<sup>1</sup>

«Сын отечества».<sup>2</sup>

1849.

Полное собрание сочинений русских авторов. Издание А. Смирдина. Статья первая (№ 11)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Статьи расположены по журналам, внутри журнальных рубрик — хронологически.

Большинство этих статей опубликовано анонимно. (В таком случае в примечании указываются источники атрибуции). Если статья подписана полным именем или псевдонимом, то последние приводятся в списке.

Ссылки на основные источники даются сокращенно: как и в тексте нашей статьи, при ссылке на архив В. Р. Зотова в ИРЛИ указывается лишь номер единицы хранения и лист; список сочинений В. Р. Зотова — приложение к статье С. Шубинского <«50-летие литературной деятельности В. Р. Зотова» (Исторический вестник, 1890, № 11, стр. 510—513) — отмечается просто «Шубинский». Список, кстати сказать, составлен очень неполно и исключительно неряшливо, с опечатками и неточностями почти в каждой строке, поэтому в таких случаях приходится ссылку сопровождать поправкой.

<sup>2</sup> В. Р. Зотов заключил 10 ноября 1849 г. договор с издателем «Сына отечества» К. И. Жернаковым о передаче Зотову редакции журнала на два года, считая с 1 января 1850 г. (№ 48, л. 1), вместе с тем новый редактор обязался составить и выпустить в свет недоданные в 1849 г. томы «Сына отечества» за июль, август, ноябрь и декабрь (там же, л. 6).

Зотов рьяно принялся за дело: выпустил ноябрьскую книгу и подготовил (почти единолично) январский номер: «написал сам несколько критических, политических, юмористических статей, наполнил отдел: внутренних известий, библиографии, смеси, фельетона» (Ист. вестник, 1890, № 6, стр. 558). Очевидно, таким образом, Зотов был автором отделов «Современная летопись и политика», «Критика и библиография», «Смесь». Но Жернаков был, видимо, недоволен работой Зотова; он слишком боялся полемики, а Зотов предполагал вести ожесточенную борьбу с болгаринской группой: сохранились черновики его полемических выпадов против «Северной пчелы» (№ 48, лл. 19—20), которые были посланы Жернакову, и ответ последнего, запрещающий печатание подобных статей: «я ни с кем ссориться не хочу» (там же, л. 5).

Издатель в январе отстранил Зотова от редактирования, взяв на его место П. Р. Фурмана (там же, л. 11). Между прочим, №№ 7, 8 и 12 за 1849 г. так и не увидели света.

<sup>3</sup> Атрибутируется на основании письма П. Фурмана Зотову от 18, V 1850, где автор хвалит данную статью и просит прислать продолжение (№ 48, л. 15), которое и появилось в № 7 за подписью «В. З.»

Современная летопись и политика (№ 1).<sup>4</sup>

Мнемоника — по методе Ревентлова (. .) Спб., 1850 (№ 1).

Календарь на 1850 год. Спб. (№ 1).

Смесь (№ 1).

Всемирная лингвистика (№ 3).<sup>5</sup>

Греческие стихотворения Н. Шербины (№ 5) <?><sup>6</sup>.

В. З. Полное собрание русских авторов. Издание А. Смиридина. Статья вторая (№ 7).

#### «Пантеон».<sup>7</sup>

1852.

Петербургский вестник <подраздел о журналистике> (№ 3—12).

В. З. Французский театр в Петербурге (№ 9).

<sup>4</sup> Данные статьи приписаны Зотову на основании сведений о его роли в подготовке январского номера (см. примеч. 2). В дальнейшем атрибуция статей, объясненная в общем примечании о соответствующем журнале, особо не повторяется.

<sup>5</sup> Атрибутируется на основании счета Зотова, поданного в редакцию (№ 48, л. 8).

<sup>6</sup> П. Р. Фурман писал В. Зотову 26 апреля 1850 г.: «Критику тоже прошу прислать, как только будет готова» (№ 241, л. 7). Очевидно, речь идет о «Критике» в майском номере журнала (ц. р. 20. V), где имеется всего одна развернутая литературная рецензия — на сборник стихов Шербины. Возможно, впрочем, что и другие рецензии тома принадлежат Зотову.

<sup>7</sup> В биографии Зотова сообщалось: «В 1850 году <...> принял самое деятельное участие в «Пантеоне», <. .> где заведовал отделами критическим театральным (рецензии новых пьес) и так называемой «Смеси» (Портретная галерея русских деятелей, изд. А. Мюнстера, т. II, Спб., 1869, стр. 288).

В более поздней биографии указано, что Зотов участвовал «в Пантеоне» Кони, во все продолжение его существования с 1850 по 1856 год (Русские поэты в биографиях и образцах, изд. Н. В. Гербеля, Спб., 1888, стр. 437).

Сам же Зотов писал в своих мемуарах: «с 1852 г. я вел эту театральную — Б. Е.) хронику уже в «Пантоне» Кони» (Ист. вестник, 1890, № 3, стр. 563); и несколько позже: «В сорок шестом году я принужден был прекратить мою театральную-критическую деятельность и возобновить ее только через шесть лет в «Пантеоне» Ф. А. Кони» (там же, № 4, стр. 93).

В данном случае у нас есть все основания верить скорее самому Зотову, чем его биографам. Если в 1850—1851 г.г. он и участвовал в «Пантеоне», то вряд ли заведовал театральным-критическим отделом: в течение обоих лет «Театральную летопись» почти без исключения вел редактор Ф. Кони. Единственный раз за два года, в апрельском ноябре 1850 года, появился новый раздел «Драматическая библиография», содержащий рецензии нескольких пьес (книг, а не театральных постановок). Автор — аноним. Может быть, Зотов был этим автором?

Постоянно вести «Театральную летопись» Зотов не мог начать и с 1852 г., в объявлении о подписке на «Пантеон» в 1852 году (приложение к Пантеону № 1) сообщалось, что «Театральную летопись» «постоянно будет вести сам редактор Ф. А. Кони», и действительно, в 1852—1854 г.г. (в середине 1854 г. отдел «Театральная летопись» был ликвидирован) Кони довольно активно вел обозрение русского театра (1852, №№ 1, 2, 6, 10; 1853, № 12; 1854, № 4), ему помогал «В. С.» (В. Стасов?) в 1852 г., №№ 9, 11 и в 1853, № 12. Это — почти все обозрения русского театра.

Возможно участие и других лиц. Например, на письме П. Н. Арапова к

Журналистика (№№ 1—6,8).

Французский театр (№ 1).<sup>8</sup>

В. З. Французский театр в Петербурге (№№ 3, 7, 9)

В. Р. Зотов. Рашель и классицизм (№ 11).<sup>9</sup>

Рашель в Петербурге (№№ 11, 12).<sup>10</sup>

Зотову от 26 декабря 1850 г. в левом углу имеется пометка адресата: «Арапов, автор летописи русск<ого> театра» (№ 86, л. I). Другие же театры рецензировали в основном Крейслер и Ф. Толстой («Ростислав»).

Поэтому нет возможности более точно определить степень участия Зотова в отделе «Театральная летопись», если не считать его обзоров французского и немецкого театра. К тому же он вскоре интенсивно берется за другие отделы. В письме от 27 июня 1853 г. Кони просит Зотова, чтобы «послел «Вестник» и «Современное»» (ЦГАЛИ, ф. 207, оп. 1, № 82, л. I). «Современное» — это смесь различных статей, посвященных в основном зарубежным новостям искусства; «Петербургский вестник» включал подраздел «Русская литература» (в основном «Журналистика» и библиография новых книг), обзор общественных событий, новости театра и т. п. «Современное» Зотов вел, очевидно, в течение 1852—1856 гг. Уже где-то на пороге закрытия журнала, Кони писал Зотову: «От «Журналистики» я вас, пожалуй, уволю, потому что она отнимает много времени; но «Современное» составьте (№ 153, л. 26).

«Петербургский вестник» составляло несколько лиц. По крайней мере, известно авторство Л. Брандта в подразделе «Общественная жизнь» в №№ 6—12 за 1853 г. и № 2 за 1854 г. (см. его статью «Деревенские письма» в «Северной пчеле», 1855, № 191).

Это подтверждается и письмом Брандта к Зотову от 15 июня 1853 г., где он просит прислать корректуры своих статей по разделам «Новые книги» и «Общественная жизнь» для июльского номера «Пантеона» (№ 102, л. I).

Наиболее точно известно нам участие Зотова в отделе «Журналистика». В момент медленного умирания «Пантеона» Зотов указывал: «Более трех лет писал я почти каждый месяц разборы журналов в «Пантеоне»» (Спб. ведомости, 1856, № 85, «Русская литература»). Почти год назад он то же писал на страницах самого журнала: «Три года постоянных трудов на этом не всегда веселом и легком поприще, дают нам некоторое право — проститься с читателями «Пантеона» до некоторого времени» (Пантеон, 1855, № 5, «Журналистика», стр. 2). Следовательно, Зотов начал составлять «Журналистику» где-то в первой половине 1852 года. В самом деле, журнальное обозрение впервые появилось в мартовской книжке «Пантеона» в 1852 г., входя без особой рубрики в «Петербургский вестник», а с 1853 г. составив особый подраздел «Журналистика». Зотов, таким образом, регулярно вел этот отдел вплоть до мая 1855 г. (за исключением «Журналистик» в №№ 7 и 10 за 1853 г., которые были составлены другим лицом (Брандтом), о чем без раскрытия имени объявлено в самом тексте и о чем писал Брандт в «Северной пчеле», 1855, № 191). После этого «Журналистика» появилась всего лишь в № 7 за 1855 г. и в №№ 2 и 3 за 1856 г. Авторство Зотова в последнем номере определяется письмом Кони к Зотову от 18 мая 1856 г. (№ 153, л. 14). Видимо, и остальные две «Журналистики» составлены им же, судя по содержанию.

<sup>8</sup> Атрибутируется по связи с предшествующим обозрением французского театра.

<sup>9</sup> У Шубинского статья ошибочно отнесена к 1854 г. без указания номера.

<sup>10</sup> Шубинский. Ошибка: статья отнесена к 1854 г., №№ 11, 12; Продолжение (1854, №№ 1, 2) отнесено ошибочно к 1855 г.

1854.

Рашель в Петербурге (№№ 1, 2).<sup>11</sup>  
Русская журналистика (в 1853 году) (№ 1).<sup>12</sup>  
Журналистика (№№ 2—8, 10, 11).  
В. З. Балет в Петербурге (№ 3).<sup>13</sup>  
Французский театр (№ 3).<sup>14</sup>  
В—В. Немецкий театр в Петербурге (№ 2).<sup>15</sup>

1855.

Журналистика (№№ 1—3, 5, 7).

1856.

Журналистика (№№ 2, 3).

«Отечественные записки».<sup>16</sup>

1852.

Смесь (№ 2).

1854.

Новости наук, искусств и литературы (№ 5).

1855.

Журналистика (№ 10).

---

<sup>11</sup> См. прим. 10.

✓ <sup>12</sup> У Шубинского эта статья ошибочно отнесена к 1855 г., №№ 1 и 2.

<sup>13</sup> У Шубинского ошибочно — «1855 г.» без указания номера.

<sup>14</sup> Шубинский. Ошибочно — «1855 г.»

<sup>15</sup> В «Словаре псевдонимов» И. Масанова раскрыт данный криптоним по отношению к статье Зотова 1890-го года. Вряд ли Зотов, зная хорошо псевдонимы 1850-х г.г., использовал бы чужие инициалы.

<sup>16</sup> Познакомившись с Краевским еще в 1846 году (см. Ист. вестник», 1890, № 4, стр. 96), Зотов активно участвует в его изданиях в 1850-х гг.

По крайней мере, в 1852 г. Зотов уже составляет отдел «Иностранная литература», судя по письмам Краевского к Зотову: «Где же вы, наконец? и что делать с «Иностранной литературой» в нынешнем месяце?»; «Я просмотрел «Иностранную литературу» — и не нашел под некоторыми статьями имени журнала, из которого взяты они. Выставьте эти названия» (5. VII и 7. IX. 1852; № 29, л. л. 23, 25).

Кроме того, имеется большая пачка расписок Зотова в получении денег из редакции журнала (к сожалению, большинство расписок без указания года), позволяющая в общих чертах установить объем работы Зотова у Краевского.

Приводим содержание этих документов, систематизировав их в таблицу. Годы, указанные в скобках, определяются на основании выписанной суммы: Зотов получал не более 1 р. 50 к. за страницу смеси (имеется его записка к Краевскому: «я полагал бы справедливым возвосить плату вообще за мелкие статьи и известия до 1 р. 50 к. с <серебром> за страницу» — № 25, л. 111 об.), следовательно, например, за статью в 20 стр. он никак не мог получить 50 рублей. Это дает возможность выбрать тот год, когда объем статей в данном номере соответствует (хотя бы приблизительно) указанной сумме.

Расписки Зотова в получении денег (№ 25, лл. 109—121).

№ п.п.	За какие отделы	Год и № журнала	Полученная сумма в копейках	Дата расписки	Примечания
1.	«Смесь»	1853,2	87.00	6. II 1853	Сумма соответствует 48, $\frac{1}{2}$ стр. За 1852—1856 гг. лишь в 1853 и 1854 г. в «Смеси» превышено это число (63 и 93 стр.). Но есть еще мартовская расписка на 118 р. 75 к., что возможно лишь для 1854 г., т. к. соответствует $79\frac{1}{2}$ стр. (т. е. из 91 стр. «Смеси» Зотову принадлежат $79\frac{1}{2}$ ), следовательно, данная расписка относится к 1853 г.
2.	«Смесь»	1853,3	72.75	6. III <1853>	
3.	«Смесь»	1853,12	62.25	10. XII <1853>	Сумма соответствует $41\frac{1}{2}$ стр., что как раз составляет «Смесь» 1853 г. (без письма из-за границы, включенного в «Новости наук...»).
4.	«Иностранная литература» и «Смесь»	1853—1854, I	120.50	9. I <1853—1854>	Отдела «Ин. литература» еще не было в январе 1852 г., а в 1855 г. отдел уже ликвидирован, следовательно, возможны даты 1853 и 1854.
5.	«Смесь»	1854,3	118.75	11. III <1854>	См. примеч. к № 2. Сумма соответствует 30 стр., что составляет лишь раздел «Смеси» — «Новости наук, искусств и литературы».
6.	«Смесь»	1854,5	45.00	13. V 1854	
7.	«Новости наук...»	1854,6	52.50	12. VI <1854>	Сумма соответствует 35 стр., а за все «окрестные» годы «Новости...» имеют значительно меньший объем, лишь в 1854 г. — 40 стр.
8.	«Новости наук...»	1854,8	72.00	4. VIII <1854?>	Сумма соответствует 48 стр. но в 1852—1856 гг. нет таких больших «Новостей...» Лишь в 1854 г. «Новости» несколько ближе по объему к этому

№№ п.п.	За какие отделы	Год и № журнала	Полученная сумма в копейках	Дата расписки	Примечания
9.	«Смесь»	1854 — 1855,2	55.50	2. II <1854—1855>	числу — содержит 40 стр. Сумма соответствует 37 стр. В 1852 и 1856 г.г. «Смесь» занимает меньший объем, о 1853 г. имеется датированная записка.
10.	«Журналистика»	1855,10	40.00	II. X 1855	«Журналистка», как самостоятельный текст, оплачивалась дороже — 2 р. 50 к. за стр., в отличие от «Смеси», носившей компилятивный характер. Объем статьи ровно 16 стр.
11.	«Смесь»	1856,1	70.50	7. I 1856	Сумма соответствует 47 стр. Зотову, видимо, принадлежит иностранная часть «Новостей», исключая ученые известия, что составляет именно 47 стр.
12.	«Новости наук...»	1856?,5	59 р. 62 к.	7. V <1856?>	Сумма соответствует приблизительно 40 стр. текста. Из 1852—1856 г.г. лишь «Новости...» 1856 г. содержит 38½ страниц, остальные — значительно меньше. Впрочем, не исключена вероятность, что данная сумма — перевод серебряной монеты на бумажные деньги, тогда число страниц будет немногим более 10 стр. и возможно для любого года.

Кроме того, из редакции «Отеч. записок» Зотову 24 января 1856 г. был послан номер «Illustrated London News», использованный в иностранной части «Новостей наук...» февральского номера (№ 40, л. 103), следовательно, Зотов был автором этого отдела.

Зотову в «Смеси» помогали Р. Н. Ахматова, Комаров, Делаво (№ 29, л. 50; № 40, л. 99), что весьма затрудняет точную атрибуцию. Поэтому в список мы включаем лишь статьи, о которых имеются точно датированные расписки Зотова.

<sup>17</sup> См. п. II таблицы из примеч. 16.

**«Санктпетербургские ведомости».<sup>18</sup>  
1855.**

Русская журналистика (№№ 45, 75, 81, 85, 96, 106, 112, 129, 139, 145, 155, 158, 164, 174, 178, 194, 204, 210, 224, 239, 249, 264).  
В. З. Русская журналистика (№ 281)<sup>19</sup>.

**1856.**

Вл Зотов. Русская литература (№№ 21, 30, 46, 52, 64, 75, 85, 96, 110, 118, 138, 147, 165, 191, 205, 243).  
Русская литература (№271).<sup>20</sup>  
Литература в Галиции (№ 283)<sup>21</sup>

**1858**

Владимир Зотов. Ответ на литературный протест (№ 262).<sup>22</sup>

**Сын отечества.<sup>23</sup>**

**1856.**

Журналы и газеты (№№ 30, 31, 34).  
Обзор русских книг за прошедшую неделю (№ 31).

---

<sup>18</sup> В «Портретной галерее русских деятелей», изд. А. Мюнстера указано: «в 1855 и 1856 году заведовал критическим отделом, составляя рецензии книг и журнальные обзоры, в С.-Петербургских ведомостях» (т. II, Спб., 1869, стр. 288).

В 1856 г. Зотов в основном печатал журнальные обзоры (они включались в этом году в отдел «Русская литература» без особого подзаголовка) с полным своим именем. В то же время в самом начале 1856 г. Зотов объявил, что он принимает «на себя полную ответственность за суждения об ней (журналистике — Б. Е.), высказанные в прошлом году» (Спб. ведомости, 1856, № 21, «Русская литература»). Это — лишнее доказательство авторства Зотова в журнальных обзорах 1855 года. К сожалению, у нас нет никаких дополнительных данных об участии Зотова в рецензировании книг на страницах «Спб. ведомостей», поэтому оставляем сведения «Портретной галереи» под вопросом.

В ноябре 1856 г. Зотов, в связи с переходом в «Сын отечества», прекращает журнальные обзоры и участвует в «Спб. ведомостях» эпизодически (впрочем, еще в 1857 г. он, очевидно, составляет иногда «Смесь», судя по письмам редактора А. Н. Очкина: «Намерены вы (...) произвести еще «Смеси» (...)» — 22. V. и 10. IX. 1857; № 198, лл. 3, 4).

<sup>19</sup> Зотову принадлежит часть обзора, посвященная петербургским журналами. Обзорение московской журналистики писал «Н. Н.» — Н. С. Назаров. Он же является соавтором Зотова в других статьях, где имеется московское обозрение (например, в №№ 46, 64 за 1856 г.). Ему принадлежат также некоторые обозрения целиком (анонимное в № 37, подписанные криптонимом «Н. Н.-в» в №№ 125, 126, 129, 130 за 1856 г. и др.)

<sup>20</sup> Статья посвящена анализу драматического пролога Зотова в честь 100-летия русского театра, а Зотов писал Старчевскому 12. XI 1856: в «Спб. ведомостях» явится «библиографический разбор пьесы с цитатами из лучших мест, составленный мною же» (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. 71 об.).

<sup>21</sup> У Шубинского ошибочно отнесено к 1857 г.

<sup>22</sup> Перепечатано также в «Северной пчеле», № 266.

<sup>23</sup> Редактор журнала А. В. Старчевский осенью 1856 г. пригласил Зотова в качестве главы критического отдела (см. Уч. зап. ТГУ, вып. 65, 1958, стр. 84—86), и тот в течение полутора лет (до конца 1857 г.) вел журнальное обозрение и опубликовал ряд других статей. В связи с этим он почти прекратил сотрудничество в «Спб. ведомостях» (незадолго же перед этим фактически «скончался» другой журнал, где Зотов был постоянным сотрудником — «Пантеон»).

Зотов потребовал от Старчевского, чтобы именно ему были предоставлены на рецензию все журналы (ИРЛИ, ф. 583, № 40, лл. 60—60 об.), на что Старчевский, видимо, согласился, т. к. с этого момента «Журналистика» почти без исключения пишется Зотовым (кроме лета 1857 г., когда Зотов уезжал за границу, а вместо него обозрения делал Л. Л. Добровольский).

Объем работы Зотова в «Сыне отечества» очень точно определяется его месячными счетами, поданными Старчевскому, где указаны все его статьи за соответствующий период. Сохранились такие счета за ноябрь и декабрь 1856 г., за январь—апрель, июнь—август, октябрь—ноябрь 1857 г. (ИРЛИ, ф. 583, № 40, лл. 74, об., 83, 94, 103 об., 116 об., 126, 51, 55, 164, 171 об.), на основании которых легко атрибутируются все статьи Зотова за данные месяцы.

Первая статья Зотова, опубликованная в «Сыне отечества» за 28 октября 1856 г. (№ 30), обнаруживается на основании его письма к Старчевскому от 24. X. 1856 (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. 60). Майские статьи Зотова 1857 г. (в №№ 18—21) атрибутируются с помощью его писем к Старчевскому от 28. IV; 1. V; 7. V; середины мая 1857 г. (тот же №, лл. 12, 124, 128, 130). В сентябре 1857 г. в журнале не было опубликовано «ни одной строки» Зотова (тот же №, л. 157 об.). Из декабрьских статей нам известна лишь «Журналистика» в № 51, как явствует из письма Зотова к Старчевскому от 12. XII. 1857 (тот же №, л. 181). А в конце года между сотрудником и редактором произошел разрыв, который назревал уже давно.

Взаимоотношения Зотова со Старчевским были все время очень напряженные. Зотов — отнюдь не беспристрастный критик. Являясь одновременно сотрудником «Отечественных записок», он весьма снисходительно смотрел на издания Краевского, в основном лишь похвально отзываясь о них. Для Старчевского же «Отечественные записки» и Санктпетербургские ведомости были давнишними конкурентами его изданий, поэтому он постоянно требовал от Зотова критики в адрес периодики под редакцией Краевского (письма от 30 января, 18 октября 1857 и др. — № 225, лл. 22 об., 41).

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Старчевского, был холодный (впрочем весьма корректный) отзыв критика «Санктпетербургских ведомостей» П. Басистова (криптоним «П. Б.») (1857, № 234) о журнальных обзорах в «Сыне отечества». С яростью писал он Зотову 29 октября 1857 г.: «Читали ли вы, как «Спбург» <ские> ведомости» воздали вам за ваши похвалы «От. запискам». Ведь Краевский знает, что «Журналистику» пишете вы! Пришлите на это ответе, а если вы не пришлете, то за вас заступятся другие. Вообще прошу вас «От. зап.» впредь не разбирать, я отдам их лицу, которое не будет к ним так снисходительно, как вы» (№ 225, лл. 36—36 об.).

В следующем же номере (44) «Сына отечества» появилась статья самого редактора (под криптонимом «А. В.») «Необходимое объяснение», где Старчевский не без ехидства отмечал: «Обзоры наши пишутся тем самым лицом, которое еще так недавно разбирало журналы в фельетоне «С. П. Ведомостей» и так усердно и постоянно восхвалялось в журнале «Отечественные записки» (стр. 1063).

С другой стороны, Старчевский боялся резкой полемики и всячески сглаживал «острые углы» в статьях Зотова (см. выше историю с Майковым). Зотов же сопротивлялся и энергично настаивал на сохранении всего текста статьи. В связи с этим осторожный Старчевский и решил, видимо, избавиться от беспокойного автора.

Трения между редактором и сотрудником достигли предела в конце 1857 г., когда Старчевский стал задерживать печатание зотовских обзоров на несколько недель. Или такой факт. Зотов 27 ноября сообщил о подготовке рецензии на 3-й том «Губернских очерков» Щедрина (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. 172). Старчевский около месяца молчал, а затем поместил в номере 22 декабря (№ 50) рецензию другого автора (см. там же, л. 182).

В № 43 Зотов очень зло отозвался о стихах Мея (стр. 1052), а в № 48 Старчевский поместил злую же эпиграмму Мея на Зотова (стр. 1186), что привело Зотова в неопишемую ярость. Он добился от Старчевского (там же, л. 181) опубликования своего ответа на эпиграмму (№ 51, стр. 1264), и

Журналы (№ 33).

Один из читателей «Сына отечества». <Письмо — приложение к предыдущей статье> (№ 33).

Обзор периодических изданий (№№ 36, 37, 39).

Столетний юбилей русского театра (№ 37).

1857.

Обзор литературных журналов (№№ 2, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 42, 43, 45, 46, 51).

Смесь (№№ 2, 4, 5, 8, 30).

Очерк истории русской словесности в 1856 году (№№ 3, 4).

Иностранная литература (№ 3).

Обзор литературных изданий (№ 6).

Ученые и литературные известия (№ 7).

«Стихотворения» Н. Щербины. Спб. 1857 (№№ 13, 14).<sup>24</sup>

Обзор деятельности петербургских театров в сезон 1856—1857 года (№№ 13, 14)<sup>25</sup>

«Альманах пересмешника», Г. Кругликова;

«Краткий учебник русского языка», Н. Минина;

«Мир божий». Составил А. Разин (№ 13).

это, очевидно, была последняя статья Зотова в «Сыне отечества».

Старчевский довольно откровенно описал причины разрыва с Зотовым: «Я бы никогда не расстался с З., потому что это был знающий, трудолюбивый и даровитый сотрудник; но, несмотря на наши отличные отношения (...), главною причиной нашего разлада служило то, что З. желал, чтобы отнюдь ни изменять, ни уничтожать что-либо в том, что он доставит в редакцию, между тем у него были свои паншан (склонности — Б. Е.), свои кумиры и протезы, которым я не сочувствовал, что шло против интересов газеты и, наконец, что же я был за редактор, который был не властен» (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. 189).

С начала 1858 г. Зотов стал редактором еженедельного журнала «Иллюстрация», и он не забыл ссоры со Старчевским. В № 13 он помещает ядовитую эпиграмму на сотрудника «Сына отечества» И. Крешева (стр. 202), на что фельетонист «Сына отечества» М. Загуляев («М. З.») очень корректно ответил (№ 15, стр. 425); Зотов же написал Старчевскому очень нервное письмо: «вы допустили вашего сотрудника г. М. З. написать такой вздорный ответ (...) Меня вы знаете — я не пропущу никогда без ответа никакой выходки против меня и отвечу, конечно, резче и жестче г-на М. З.» (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. л. 193—193 об.).

Действительно, Зотов ответил «резко и жестко» («Иллюстрация», № 15, «Журналистика», стр. 239), на что Загуляев ответил опять весьма мягко в «Сыне отечества» (№ 17, стр. 483). Зотов воспринял это еще более нервно: «Еще раз приходится мне сказать, что вы позволили вашему Залетаеву или Загуляеву — не знаю, как зовут этого знаменитого писателя — отвечать на мою заметку — и еще такой вздор <...> Вы хотите войны — будь по-вашему» (ИРЛИ, тот же №, л. 195).

И вслед за этим Зотов не отзывался о «Сыне отечества» иначе, как с унижительными, презрительными эпитетами. «Война» разгорелась на несколько лет.

<sup>24</sup> В статье «Критическая деятельность А. И. Рыжова» (Уч. зап. ТГУ, вып. 65, 1958, стр. 89) мы предположительно приписали эту рецензию А. Рыжову. Однако целый ряд писем Зотова к Старчевскому (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. л. 95 об., 97, 114) бесспорно доказывает авторство Зотова.

<sup>25</sup> Эта статья создана, очевидно, в соавторстве с Р. М. Зотовым: В. Р. Зотов сообщил Старчевскому 26.XII.1856, что о театрах он будет писать совместно с отцом (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. 80 об.). Очевидно, к этому периоду относятся недатированное письмо Зотова-отца к сыну: «Посылаю статью о театрах. Прибавляя, что хочешь» (ИРЛИ, ф. 548, оп. I, № 18, л. 30).

Иностранные известия (№№ 15, 33).

Текущая литература (№ 16).

«Губернские очерки» (...) Щедрина. М. 2 тома (№№ 19, 20).

Обзор специальных периодических изданий (№№ 21, 22).

Парижские театры (№ 25).

Иностранные литературные известия (№ 26).

Вла dim ир З от ов. Заграничные письма. I—VII (№№ 27, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 43).

Лонгфелло у Гете (№ 29).

«Сборник, издаваемый студентами Императорского Спб. университета».

V. I. 1857 (№ 45).

Стихотворения Л. Мея. Спб., 1857;

Слово о полку Игореве. Перевод Л. Мея, 1856;

От Зауралья до Закавказья. Письма с дороги Е. Вердеревского. М., 1857 (№ 47).

#### «Иллюстрация»<sup>26</sup>

Политика. Россия. (1858, № 1 — 1861, № 175)<sup>27</sup>.

Письма из Петербурга (1859, № 91 — 1861, № 175).

1858

Журналистика (№№ 3, 12, 17, 18, 20, 49)<sup>28</sup>

Р < е д а к т о р > Журналистика «№ 15».<sup>29</sup>

Очерки истории русской словесности в 1857 году (№№ 14, 22, 23, 25).<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Зотов редактировал журнал три с половиной года (по № 175 в 1861 г.), т. к. в 1861 г. Петербургский цензурный комитет приказал издателю А. О. Бауману избрать другого редактора вместо Зотова, замеченного в «неблагонамеренном направлении» (см. № 49, л. 86).

<sup>27</sup> Руская часть политического обозрения и «Письма из Петербурга» — программные разделы, написанные от редакции. В них встречаются неоднократные указания на авторство редактора, а в других статьях Зотова имеются на них ссылки, как на свои (см., напр., «Русский вестник и вопрос о приличном тоне» (1858, № 42, стр. 270). Но возможна помощь и других лиц. В. П. Бурнашев, например, посылал 20.XII.1859 материалы для «петербургского письма» (№ 28, л. 28).

<sup>28</sup> Будучи редактором «Иллюстрации», Зотов, видимо, являлся и основным автором статей литературно-критического характера. Так, в анонимной «Журналистике» (1858, № 12) имеется фраза («Много лет трудимся мы на критическом поприще < . > наши критические и журнальные обзоры в «Отечественных записках», «Петербургских ведомостях», «Репертуаре», «Литературной газете», «Пантеоне», «Сыне отечества» (в последние два года) — стр. 186), которая не оставляет сомнения, что автором был сам редактор. Это дает возможность утверждать, что анонимные журнальные обзоры 1858 г. (№№ 3, 12, 17, 18, 20, 49) принадлежат Зотову, тем более, что почти все из них (особенно №№ 12 и 49) написаны от имени редактора. Очевидно, лишь обзор в № 22 принадлежит не Зотову, т. к. в № 20 (стр. 327) объявлено, что он представляет собой письмо сотрудника (впрочем, это могло быть чисто литературной мистификацией).

<sup>29</sup> Авторство раскрывается на основе письма Зотова к Старчевскому от 15.IV <1858> (ИРЛИ, ф. 583, № 40, лл. 193—193 об.) В связи с этим криптоним «Р.» расшифровывается как «Редактор».

<sup>30</sup> Авторство раскрывается на основании фразы: «вот что говорили мы в «Сыне отечества» (№ 14, стр. 222) — речь же шла об обзоре русской литературы 1856 г. (т. е. Зотов сослался на свою статью «Очерк истории русской словесности в 1856 году» — Сын отечества, 1857, №№ 3, 4).

О. И. Сенковский (№ 13)<sup>31</sup>

Н. В. Гоголь (№ 15)<sup>32</sup>

Редактор. Несколько слов г. Шапире, в ответ на его статью «Еще в защиту евреев» в «Петербургских ведомостях» № 164 (№ 30).

Редактор. В. Г. Белинский (№ 36).

А. Ф. Писемский (№ 40).<sup>33</sup>

«Русский вестник» и вопрос о приличном тоне в журнальных отзывах (№ 42).<sup>34</sup>

Владимир Зотов. Письмо к редактору «Московских ведомостей» (№ 47).

#### 1859.

Обзор деятельности петербургских театров в 1858—1859 году (№№ 64, 65).<sup>35</sup>

О значении экономии в общественной жизни России (№№ 70, 71).<sup>36</sup>

Критические заметки (№ 100).<sup>37</sup>

#### 1860.

Критические заметки, II, III (№№ 107, 137).

#### 1861.

Критические и художественные заметки (№№ 154, 156, 157, 159, 162, 163, 166).

---

<sup>31</sup> Авторство раскрывается на основании письма Зотова к Старчевскому от 15.IV (1858), где он говорит об этой статье как о своей (ИРЛИ, ф. 583, № 40, л. 193).

<sup>32</sup> В статье имеется фраза: «мы впервые в издаваемой нами в то время (в 1847 году) «Литературной газете» подняли голос. .» (стр. 239), которую мог написать лишь Зотов.

<sup>33</sup> Статья написана от имени редактора (имеется ссылка на журнальные обзоры Зотова в «Петербургских ведомостях»).

<sup>34</sup> Статья написана от имени редактора.

<sup>35</sup> Приписывается на основании критического метода, исключительно типичного для Зотова: автор подчеркивает важность полного статистического отчета о театре и строит статью на перечислении всех постановок сезона (№ 64, стр. 218).

<sup>36</sup> Атрибутируется на основании объявления о публикации данной речи Зотова, произнесенной на заседании «Вольного экономического общества» (№ 69, стр. 294).

<sup>37</sup> Статья написана от имени редактора. Это дает основание приписать Зотову и остальные статьи под этой рубрикой и ей подобной. («Критические и художественные заметки»).

## К ИСТОРИИ КРУЖКА ТИЩИНСКОГО, ЛЕБЕДЕВА, МАНАССЕИНА

(ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 60-е ГОДЫ XIX ВЕКА)

Канд. филол. наук П. С. Рейфман

В конце 50-х — в начале 60-х годов XIX века, в связи с нарастанием и назреванием революционной ситуации, почти во всех университетах России происходили студенческие волнения.

В литературе неоднократно высказывалось утверждение, что Тартуский (Дерптский) университет избежал этих волнений. С такими утверждениями выступали люди самых различных взглядов. Так, активный участник студенческого движения 60-х годов Л. Ф. Пантелеев отмечал, что «Волнения тогда охватили все университеты, кроме Дерптского».<sup>1</sup>

На отсутствие студенческих волнений в Тарту указывал и автор анонимной брошюры, написанной с совсем противоположных позиций реакционно-охранительного лагеря: «В то время, как все наши университеты хронически подвержены более или менее серьезным волнениям и беспорядкам среди студентов, пытающихся принять участие в социальной и политической жизни общества, один только Дерптский университет остается спокойным».<sup>2</sup> Подобный взгляд был общепринятым. Его разделяли и власти, допуская в Дерптском учебном округе то, что было строго запрещено в других (например, разрешение корпораций после введения в 1861 году новых студенческих правил, запрещавших всякие корпорации; сохранение воскресных школ после приказа об их закрытии и пр.).

Конечно, такая оценка Тартуского университета не являлась случайной. Действительно, в 60-е годы значительных студенческих волнений в Тарту не было. Нет никаких оснований характеризовать Тарту чуть ли не как один из революционных центров, как делает это Любарский.<sup>3</sup> Тартуский университет на самом деле был относительно «спокойным», и его «спокойствие» объяснялось рядом причин. Прежде всего это объяснялось тем,

<sup>1</sup> Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, М., 1958, стр. 244.

<sup>2</sup> О студенческой жизни в Дерпте, Спб. 1891, стр. 2.

<sup>3</sup> См. А. Любарский, Слово дружбы, Таллин, 1956, стр. 280.

что большинство студентов составляли сыновья прибалтийских баронов, материально обеспеченные, консервативно настроенные, чуждые национальным русским интересам, вовсе не склонные участвовать в студенческих волнениях. Известное значение в предупреждении «беспорядков» имела и ловкая политика попечителя Дерптского учебного округа Е. Ф. фон-Брадке. Хитрый и влиятельный, поддерживавший дружеские отношения с министром просвещения А. С. Норовым, сумевший сохранить эти отношения и с преемниками Норова, Брадке до самой своей смерти (апрель 1862 г.) пользовался в глазах начальства значительным авторитетом. Характерно, что незадолго до смерти он был назначен председателем комиссии для выработки нового университетского устава, общего для всех университетов России.<sup>4</sup> В то же время Брадке, по мере возможностей, старался не вызывать недовольства студентов. Пользуясь своим влиянием и благожелательным отношением начальства к Тартускому университету, он добился того, что ряд правительственных мер, которые могли бы вызвать студенческие волнения, не распространялись на Тарту. Так, в представлении Брадке министру просвещения от 8 августа 1861 года он защищал существование корпораций и добился их сохранения.<sup>5</sup>

В конце мая 1861 года министерство просвещения разослало по учебным округам новые студенческие правила. Введение этих реакционных, так называемых «путятинских» правил, что неоднократно отмечалось в литературе, вызвало мощную волну возмущения студентов всех университетов страны. Получив правила, Брадке и в этом случае постарался избежать студенческого недовольства и в то же время подчеркнуть еще раз перед начальством благонадежность вверенного ему округа. В представлении управляющему министерством просвещения от 20 июня 1861 года он писал: «что же касается до запрещения сходок без разрешения начальства, объяснения с ним через депутатов или сборищем и шумного на лекциях одобрения или порицания преподавателей, то объявление сих запрещений по Дерптскому университету я счел нужным отложить до проявления подобных случаев, ибо таковых в оном во все время управления моего округом не было, и я не имею причины предполагать, чтобы могла представиться надобность в предупредительных против подобных беспорядков мерах».<sup>6</sup> И разрешение министра, санкционированное царем, было получено.

В письмах к Норову Брадке неоднократно обосновывал свое либеральное отношение к студентам, к их внешнему виду, к

<sup>4</sup> См. А. Георгиевский, Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков, Спб, 1890, стр. 4.

<sup>5</sup> ЦГИАЛ, Архив министерства просвещения, ф. 733, оп. 57, ед. хр. 749, л. 24.

<sup>6</sup> Там же, лл. 10, 10 об

несоблюдению правил ношения формы и т. п. В книге Петухова приводятся ряд таких писем от 21.X.1855, от 29.V.1856 и др.<sup>7</sup> Подобные же письма от 31.IX.1856, от 26.XI.1857 и т. п. обнаружены нами в архиве министерства просвещения.<sup>8</sup> «Наказывать и без того беспрерывно приходится, — сообщал он Норову 29 мая 1856 года, — ибо беспорядков против правительственного порядка и дисциплины терпеть невозможно < . >, но ежели к этому еще присовокупить наказания за несоблюдение строгой формы, то несомненно произведутся волнения умов, которые будут препятствовать всем действительным и необходимым улучшениям».<sup>9</sup>

Конечно, либерализм Брадке был чисто внешним. Попечитель старался лишь без особой нужды не раздражать студентов. Когда же дело касалось серьезного, политики, Брадке вовсе не был склонен к снисходительности, широко использовал исключение или, чтобы не поднимать шума, удаление из университета неугодных студентов по «их собственному желанию».

Все перечисленные причины способствовали сохранению «спокойствия» в Тарту. Однако, отсутствие крупных студенческих волнений не свидетельствует, что в Тарту не было студентов, разделявших оппозиционные политические настроения, столь характерные для всей передовой русской молодежи 60-х годов.

В литературе о Тартуском университете неоднократно подчеркивалось, что в него сравнительно легко принимались очаровавшиеся «объятиями коварной девы-политики»,<sup>10</sup> т. е. политически неблагонадежные студенты. «Но в то время в пределах России был один немецкий университет, куда без особых затруднений принимали «скомпрометированных» студентов из разных университетов. Полагали, что ввиду полного отсутствия политических волнений в этом университете < . > страсти молодых людей улягутся, и, отбросив посторонние увлечения, они спокойно примутся за свое учебное дело».<sup>11</sup> Подобная практика свидетельствовала об уверенности начальства в благонадежности Тартуского университета, но она приводила к тому, что в университете скапливалось значительное число таких «скомпрометированных» студентов, и, конечно, само пребывание в Тарту большей частью не могло изменить их политических взглядов. О настроениях лучшей части тартуского студенчества конца 50-х годов рассказывал в своих «Воспоминаниях» Соллогуб: «направление в университете совершенно изменилось. До-

<sup>7</sup> См. Е. В. Петухов, Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования, Юрьев, 1902, стр. 545, 546.

<sup>8</sup> См. ЦГИАЛ, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 305., лл. 52, 193.

<sup>9</sup> Там же, л. 29 об. Частично эту цитату приводит в выше упоминаемой книге Петухов, стр. 546.

<sup>10</sup> М. Лаврецкий, Город студентов, Ревель, 1891, стр. 6.

<sup>11</sup> Е. Бобров, К биографии В. А. Манассеина, Русский врач, 1905, № 44, стр. 1369.

вольно значительный кружок русских студентов внес в него зачинающееся зерно нигилизма, еще не имевшего впрочем этого названия, т. к. знаменитый роман Тургенева «Отцы и дети» появился только года три после нашего переселения в Дерпт». <sup>12</sup> О настроениях тартуского студенчества можно судить и по вышеназванной брошюре Лаврецкого. Рассказывая о неоднократных столкновениях немецких и русских студентов, автор показывал, что их вражда в значительной степени основывалась на различии политических взглядов, имела социальные корни. Первые — сыновья прибалтийских баронов, жили на «готовые средства», русский же студент, по словам Лаврецкого, «перебивался изо дня в день, со страхом помышлял о последних сроках взноса платы в университете»; первым «мерещилось впереди обеспеченное житье на теплом и сытном месте, а второй был погружен в мечты и думы о всеобщем благополучии». <sup>13</sup>

Вышеприведенные воспоминания довольно отчетливо воссоздают тип русского студента в Тарту конца 50-х — начала 60-х годов, материально не обеспеченного, «зараженного» духом «нигилизма», мечтающего не о собственном благополучии, а о всеобщем счастье людей; и иногда это были не абстрактные мечтания, а вполне конкретное стремление к политической деятельности, направленной на изменение существовавшего строя. Такое стремление заметно в кружке, возникшем в Тарту в самом начале 60-х годов и связанном с именами А. А. Тишинского, А. С. Лебедева, В. А. Манассеина.

Об этом кружке, главным образом, на основании материалов, опубликованных в работе М. Лемке «Молодость отца Митрофана» <sup>14</sup> упоминает в своей книге А. Любарский. <sup>15</sup> Но и факты, приводимые автором книги, и истолкование их не дают полного и верного представления о кружке. Любарский, в основном, сосредоточивает внимание на личности Манассеина, всячески революционизирует его взгляды, делает его единомышленником и соратником не только видного представителя революционного движения 60-х годов М. Д. Муравского, но чуть ли не Чернышевского, Огарева, Герцена. С именем Манассеина Любарский, главным образом, и связывает организацию и деятельность кружка. О Тишинском и Лебедеве же в книге упоминается только мимоходом: «Мы располагаем весьма скудными данными о Лебедеве и Тишинском», — замечает Любарский. <sup>16</sup> Дело в том, что имя выдающегося русского врача и общественного деятеля В. А. Манассеина широко известно. О нем имеется ряд статей,

<sup>12</sup> В. А. Соллогуб, Воспоминания, М.-Л., 1931, стр. 491.

<sup>13</sup> М. Лаврецкий, Город студентов, Ревель, 1891, стр. 24.

<sup>14</sup> См. М. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». Спб, 1908. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут обозначаться: М. Лемке.

<sup>15</sup> А. Любарский, Слово дружбы, Таллин, 1956, стр. 275—281.

<sup>16</sup> Там же, стр. 278.

недавно его деятельности была посвящена книга.<sup>17</sup> С конца 1861—1862 гг., после удаления Тишинского и Лебедева из университета, он действительно становится во главе тартуского студенческого кружка. Но сама организация кружка, начальный, видимо, самый радикальный период его деятельности, с середины 1860 по вторую половину 1861 г., связаны в первую очередь с именами Лебедева и Тишинского. Особенно велика, по всей вероятности, роль последнего, товарища Муравского с 1856 года, прошедшего вместе с ним через Харьковское и Киевское тайные общества, исключенного в дальнейшем из Тартуского университета без права поступления в другие университеты, судившегося позднее по процессу Андрущенко, долгие годы находившегося под строгим полицейским надзором. Он, видимо, был из всех тартуских студентов наиболее близок Муравскому. Не следует забывать, что его с Муравским связывала многолетняя дружба, знакомство же Муравского с Манассеиным возникло лишь в конце 1860 года и ограничивалось перепиской между ними, лично они никогда не встречались.

О Тишинском и Лебедеве имеется довольно большое количество материалов. Их имена неоднократно упоминаются в архивах 3-го отделения, Тартуского университета, Рижского губернатора. О них сообщается ряд сведений в книге Б. П. Козьмина «Харьковские заговорщики».<sup>18</sup> Любарский даже не упомянул об этой книге, он ни словом не обмолвился, что Лебедев и Тишинский, по распоряжению министра просвещения, были исключены из Тартуского университета, что ясно видно из их личных дел, хранящихся в Тартуском архиве, не постарался выяснить причины их исключения.

Материалы, имеющиеся в Московском, Ленинградском и Тартуском исторических архивах, позволяют достаточно отчетливо осветить политические взгляды Тишинского и Лебедева и прояснить их роль в тартуском студенческом кружке. Для этого не лишним будет остановиться на некоторых фактах их жизни до прибытия в Тарту.

Александр Амфианович Тишинский родился 5 июля 1835 г. в селе Голубичах Черниговской губернии. Его отец, Амфиан Петрович, имел чин коллежского секретаря и служил в Черниговской казенной палате. Родом Тишинский из дворян, но по существу он был типичным разночинцем. Ему, двум его братьям и четырем сестрам принадлежало небольшое имение в 80—100 душ; Тишинский даже не знал, сколько там десятин земли. Первоначальное образование Тишинский получает дома, под руководством отца, а затем, в 1847 году, в год смерти отца, его отдают в Черниговскую гимназию. В 1856 году Тишинский был из 6-го класса гимназии и в августе того же года отправил-

<sup>17</sup> Г. И. Арсеньев, В. А. Манассеин, М., 1951.

<sup>18</sup> Б. П. Козьмин, Харьковские заговорщики, Харьков, 1930.

ся в Харьков, собираясь держать экзамены в университет. Но попасть туда в этом же году ему не удалось, и он, чтобы не терять времени, поступил в Харьковское ветеринарное училище.

В доме, где поселился Тишинский в 1856 году, жили студенты Харьковского университета, активные участники тайного студенческого общества, Ефименко и Завадский.<sup>19</sup> Тишинский сблизился с ними, под их влиянием он начал по-новому осмысливать окружающую действительность: «Со времени моего приезда в Харьков я сошелся с некоторыми студентами с современным взглядом на вещи, вообще, как выражается Щедрин, людьми с «направлением». Этот-то круг моего нового знакомства много помог мне в умственном отношении, так что мои убеждения социальные и религиозные во многом не сходны с прежними, гимназическими»,<sup>20</sup> писал он 21 января 1858 года своему знакомому по гимназии Н. Н. Рашевскому. Эти товарищи, по словам Тишинского, научили его не смотреть на науку как на средство к личному процветанию, а как на то, что «учит нас еще заботиться и не забывать других, ближних наших».<sup>21</sup> Вскоре Тишинский стал членом тайного общества, вступил он в общество шестым, непосредственно после основных его организаторов. В августе 1857 года Тишинский поступил на медицинский факультет Харьковского университета. К этому времени тайное общество прекратило свое существование, но Тишинский остался верен «направлению», с которым он познакомился в обществе.

Об этом отчетливо свидетельствует его переписка с Рашевским, учившимся в тот период в Петербургском университете. Не исключена возможность, что эта переписка отражает стремление бывших членов харьковского тайного общества установить связь с революционным студенчеством других университетов. Известно, что после 1860 года харьковские студенты, разосланные в различные города, активно налаживали подобные связи. Возможно, что переписка Тишинского с Рашевским является одной из первых таких попыток. В письме от 27 января 1858 года Тишинский прощупывал взгляды Рашевского, намекал на изменение своего мировоззрения, подчеркивал ложность убеждений «хотя бы, например, в том, что все только у нас в России хорошо непогрешительно».<sup>22</sup> Указывая на лживость «истин», которые проповедуются в гимназиях и университетах, он замечал, что виноваты в этом не названные учебные заведения, а «чья-то воля, которая сверху вниз все давит, давит...»<sup>23</sup>

Из ответа Рашевского от 6 февраля, подписанного «Никандр Никандрович Иванов», видно, что он хорошо понял намеки Тишинского, признал его за своего единомышленника, но откровенно писать к нему опасался «до тех пор, пока у нас существуют любопытные и предательские «шпекинны», читающие чужие письма, жандармы (в переводе — люди меча — сиречь палачи)

<sup>19</sup> Подробно о Харьковском тайном обществе, Ефименко, Завадском см. книгу Б. П. Козьмина «Харьковские заговорщики», Харьков, 1930.

<sup>20</sup> ЦГИАМ, Архив 3-го отделения, ф. 109, 1 экзп., 1860 ед. хр. 26, ч. 4, л. 15.

<sup>21</sup> Там же, л. 15 об.

<sup>22</sup> Там же, л. 15.

<sup>23</sup> Там же. Многоточие Тишинского.

и откуда у нас не выйдет из моды поощрять подлость, предательство, шпионство и другие рыцарские доблести в наших же братьях». <sup>24</sup> Рашевский советует и Тишинскому быть более сдержанным в письмах и в то же время дает понять, что целиком сочувствует взглядам Тишинского, и лишь осторожность прятает его откровенности: «Весело было читать мне Ваше письмо и совестно отвечать на него этим цензурованным посланием». <sup>25</sup> Отвечая на вопросы Тишинского, Рашевский намекает, что он внимательно следит за нелегальной литературой и весьма одобрительно оценивает ее: «Вы спрашиваете, знаком ли я с хорошими сочинениями и читаю ли их. Конечно. Читаю все, решительно все, что хорошо и правдиво». <sup>26</sup>

В ответном письме от 17 февраля Тишинский учил Рашевского, как избежать неудобств, связанных с цензурой, и в то же время выразить свои взгляды. Он указывал, что «можно совершенно высказаться перед человеком и не поставить ни его, ни себя в неприятное положение, т. е. не подписывать письма своим именем и не относиться лично к нему. Вы скажете «а адрес на конверте?» — Эка беда! Разве Вы не можете написать мне письма с передачей какому-нибудь вымышленному лицу». <sup>27</sup> Характерно, что Тишинский подписывал свой ответ вымышленным именем «Петр Григ. Днепров», которое утвердилось за ним еще в тайном обществе. Это еще один довод в пользу предположения, что Тишинский выступает в переписке не только лично от себя, но и как выразитель мнений определенной группы харьковских студентов, стремившихся наладить связи с другими университетами.

Рашевский воспользовался советом Тишинского и 23 февраля направил ему за подписью «Николай Зубов», якобы для передачи Днепрову, письмо, в котором откровенно говорил о своих политических взглядах. Резкость характеристик, высказанных Рашевским, суровое осуждение самодержавия, мысли о необходимости революционной борьбы с ним обратили на письмо особенное внимание властей. Оно неоднократно подробно цитируется в делах харьковского процесса, 3-е отделение настойчиво доискивается, кто его автор. С огромным сочувствием Рашевский оценивает деятельность революционеров, «благородные порывы людей энергических, старающихся более или менее потрясти некоторые нелепые верования общества, данные ему воспитанием в казенных заведениях или по программам, высочайше утвержденным, потрясти веру в неприкосновенность верховной власти и ее главы, хотя бы эта глава была одержима бесом зла и тупоумия и хотя бы цель ее была уничтожить у нас на родине все разумное, молодое, гениальное, но не верно-подданническое, прибегая для этого, притом же, к средствам самым возмутительным. Удивительно, однако, какой страх навела на всех у нас виселица, тюрьма, палач и кнут. Все так запуганы земным идолом и жандармами, что боятся нарушить законы основные больше, чем законы природы, законы божеские, несмотря на то, что основные законы предписаны не народом, не сердцем, не умом, не любовью к Родине и к человечеству, а каким-то полупьяным, полубешенным, полуйсступленным извергом и злодеем-монархом в ограждение своей преступной, достойной десяти казней головы от мести народной, вполне им заслуженной». <sup>28</sup> В письме отчетливо звучит мысль о необходимости уничтожения самодержавия, революционного низвержения его: «Монархическая, единодержавная власть, беззаконно и безбожно злоупотребляемая, с безграничным и безответным деспотизмом — тоже, положим, от бога посланное испытание — болезнь. Почему ж бы нам и не полечиться, и не приложить особенных трудов, не пожертвовать многим для избавления себя и своих ближних от этой проказы, от этой язвы, постоянно так страшно, так эпидемически в нашей стране появляющейся». <sup>29</sup> Трудно

<sup>24</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. I, л. 69.

<sup>25</sup> Там же, л. 70.

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 4, л. 20. Многоочия Тишинского.

<sup>28</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 1, л. 71.

<sup>29</sup> Там же, л. 72.

сказать, в какой степени Тишинский разделял подобные воззрения Рашевского. Во всяком случае Рашевский писал ему как единомышленнику, первые решительные слова, вызывающие на откровенность, были сказаны Тишинским, он бережно, в течение двух лет, хранил эту переписку, и мысли, высказанные в ней, вряд ли были совсем ему чужды.

Правда, в письмах самого Тишинского подобных резких выражений не встречается, но нужно помнить, что цитируемое выше письмо Рашевского написано уже от чужого и на чужое имя, сразу же после договоренности о том, каким образом можно откровенно высказать свои воззрения, не компрометируя ни себя, ни своего адресата. Дошедшие до нас письма Тишинского написаны до этой договоренности, когда и Рашевский был весьма сдержан, гораздо даже более сдержан, чем Тишинский.

В апреле 1858 года Тишинский участвовал вместе с другими бывшими членами тайного общества в волнениях харьковских студентов и получил высочайший выговор. Затем он перешел на юридический факультет Киевского университета, где и оставался до момента ареста по харьковскому процессу. Он, видимо, интересовался украинским народным творчеством, собирал заговоры, заклинания. Характерно его внимание к судьбе великого украинского поэта-демократа Т. Г. Шевченко. В апреле 1859 года Ефименко сообщал Тишинскому из Чернигова, что Шевченко разрешено побывать на родине и что прислан уже приказ в Черниговскую и Киевскую губернии следить за его поступками.<sup>30</sup>

В Киеве бывшие харьковские студенты, перемещенные сюда после апрельских волнений, в 1859 году составили «замкнутый круг, к которому присоединились и некоторые киевские студенты».<sup>31</sup> В нем, по словам Лебедева, участника этого кружка, беседовали «о нашем административном мире, что говорит о нем г. Герцен, спрашивали друг друга, — нет ли чего нового из Искандеровщины? Если что-нибудь оказывалось, отправлялись читать куда-нибудь подальше! О всем толковали друг с другом не стесняясь».<sup>32</sup> Следует учесть, что значение деятельности общества в показании Лебедева, видимо, явно преуменьшалось, так как вышеприведенная характеристика давалась им во время допроса. Упомянутый киевский кружок объединял и бывших членов харьковского тайного общества Муравского, Тишинского и др.) и лиц, не входивших в него. К последним относился и Лебедев.

Александр Сергеевич Лебедев родился в Новосибирском уезде Екатеринославской губернии в августе 1836 года. Родом из купцов, Лебедев, как и Тишинский, по существу был разночинцем: «Моя мать ничего не имеет, как движимого, так и недви-

<sup>30</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 2, лл. 350 об. — 351.

<sup>31</sup> ЦГИАЛ, Архив министерства внутренних дел, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 71, л. 210.

<sup>32</sup> ЦГИАМ, ф. 109, 1 экз., 1860, ед. хр. 26, ч. 2, л. 268.

жимого; я тоже ровно ничего не имею», — показывал он во время следствия.<sup>33</sup> Учиться Лебедев мог лишь благодаря материальной помощи помещика Полтавской губернии П. И. Козельского, покровительствовавшего ему. Учился Лебедев в Одессе, в пансионе Одена, который, по его словам, не много значил в его развитии, а затем поступил в Харьковский университет, где и формируются его политические убеждения: «Университетское же образование имело значительное влияние на мой образ мыслей и направление».<sup>34</sup> В апреле 1858 года Лебедев участвовал в студенческих волнениях, «находился под следствием и был исключен на год из Харьковского университета по высочайшему повелению».<sup>35</sup> Затем он уехал в Киев, где прожил несколько месяцев. Студентом Киевского университета Лебедев не был, но посещал некоторые лекции, познакомился с профессором Павловым, сблизился с вышеупомянутым кружком бывших харьковских студентов, принимал участие в распространении рукописного студенческого журнала «Гласность», в котором «помещались нестеснительные выражения о государе императоре».<sup>36</sup>

Трудно сказать, насколько знали друг друга Тищинский и Лебедев во время пребывания их в Харькове, во всяком случае в Киеве они сблизились между собой. В начале 1860 года, во время следствия, Лебедев называл Тищинского своим хорошим киевским знакомым, указывая, что они — товарищи еще по Харьковскому университету. В мае 1859 года Лебедев уехал из Киева, он пытался получить заграничный паспорт, но 3-е отделение не дало на это согласия. Тогда Лебедев вновь поступил в Харьковский университет и продолжал там учиться до начала 1860 года.

В январе 1860 года началось следствие о Харьковском студенческом обществе, и сразу же в деле начинают встречаться имена Тищинского и Лебедева. Имя Тищинского упоминалось в письмах участников общества Бекмана и Муравского к Левченко, арестованному 28 января.

Во время допросов он был назван в числе членов тайного общества. В ночь с 30 января на 1 февраля Тищинский был арестован. 6 февраля был сделан обыск и в квартире Лебедева в Харькове. Сам Лебедев в это время уехал в Полтавскую губернию, в дер. Козельщину, к помещику Козельскому, где и был 7 февраля арестован. В бумагах Лебедева обнаружили письмо от одного студента, в котором говорилось об аресте члена общества Завадского, намекалось на необходимость уничтожить компрометирующие бумаги. Воспользоваться советом Лебедев, видимо, не сумел. Его бумаги, находившиеся в Харькове, были опечатаны еще прежде его ареста, но нам точно не известна дата

<sup>33</sup> Там же, к делу 26, ч. 1, л. 328.

<sup>34</sup> Там же.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 5, л. 42 об.

отъезда Лебедева из Харькова. Не исключена возможность, что в Полтавскую губернию он отправился уже после первых арестов и часть бумаг все же успел уничтожить. Во всяком случае в его переписке «криминального» обнаружено было немного. Особое внимание следственной комиссии вызвало лишь письмо некоего Оптовцева от 14 ноября 1858 года, в котором утверждалось, «что русская власть олицетворена в пьяном джентельмене, с золотыми эполетами и красными штанами».<sup>37</sup> В бумагах же Тишинского комиссия нашла большое количество материалов, свидетельствовавших об антиправительственных воззрениях их хозяина. Здесь были две пародии на царские манифесты 1856 года, изданные один по поводу заключения мира, второй — в связи с разрешением от бремени императрицы Марии Александровны, прокламация «Русскому воинству в Польше», воззвание к украинцам, по определению комиссии, «закрывающее в себе опровержение высочайшего манифеста о мире и призыв к изменению образа правления в России»,<sup>38</sup> прокламация на украинском языке «Голос з села», «возбуждающая неудовольствие малороссиян к государю и правительству»,<sup>39</sup> переписка с Рашевским, 28-ой номер «Колокола» за 1858 год и копии ряда запрещенных сочинений; «статьи Белинского, Расстопчиной, не пропущенные цензурой. Списки вроде пасквилей на начальствующих лиц».<sup>40</sup> «Ни у кого из арестованных лиц не найдено такое количество выписок этого рода, и это одно только обстоятельство указывает на необходимость за ним надзора», — писал о Тишинском начальник 1-го округа жандармов, генерал-майор Анненков.<sup>41</sup>

Во время следствия Лебедев и Тишинский вели себя поразному. Лебедев сравнительно легко давал показания, вскоре признал свою вину, тем более, что ответы других арестованных не давали особых возможностей к заpirationству. Но в то же время Лебедев держал себя перед комиссией с большим достоинством, не пытался переложить вину на других. Когда ему 22 апреля задали вопрос, кого имел в виду Оптовцев, упоминая о пьяном джентельмене в красных штанах, Лебедев показал, что речь шла о царе, но в то же время добавил, вызвав гнев председателя следственной комиссии: «при тех впечатлениях и при тех обстоятельствах (ноября 1858 г.) и я может быть написал бы то же самое».<sup>42</sup> В специальном заявлении, сделанном 3 мая, он снова подтвердил эти слова, подчеркнув, что «ежели г. Оптовцев мог мне писать подобные письма, то этим он давал мне право писать подобные же. Теперь, при разъяснении некоторых

<sup>37</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 2, л. 270.

<sup>38</sup> Там же, л. 493.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> Там же, к делу 26, ч. 1, л. 456.

<sup>41</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 3, л. 18.

<sup>42</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 2, л. 405.

выражений его письма, если бы скорчил наивную физиономию, если бы прикинулся святошей, то что бы я этим доказал? Я этим доказал бы, что в глазах комиссии и в глазах г. Оптовцева я остаюсь пошлым негодяем. Быть двойным негодяем я считаю для себя вещь невозможной < . > Выдвигать же другого в защиту свою считаю подлостью. Вина другого, ни в коем случае, не должна служить мне оправданием. Итак, я прошу, как милости, подвергнуть меня, на основании моих слов, тому же наказанию, какому подвергается г. Оптовцев». <sup>43</sup> Такое поведение свидетельствовало об искренности и благородстве Лебедева, но в то же время и об его наивности, незрелости его оппозиционных взглядов.

По-иному вел себя во время следствия Тишинский. На допросе 13 февраля он начисто отрицал свою принадлежность к обществу, старался, под видом мнимой искренности, ввести комиссию в заблуждение, прикидывался наивным простаком. Тишинский утверждал, что он еще в гимназии воспитывался в духе «начал православия, самодержавия и народности, которым верен остаюсь и до сих пор». <sup>44</sup> Говоря об учебных заведениях, в которых он занимался, Тишинский заверял: «Во всех этих учебных заведениях не случилось со мною ничего особенного, что могло бы служить к изменению моего образа мыслей». <sup>45</sup>

С мнимым простодушием он убеждал комиссию: «Вообще жизнь моя, пока еще, небогата никакими особенного рода приключениями, как жизнь вообще всякого учащегося, а тем более небогата такими происшествиями, которые могли бы иметь особенное влияние на мой образ мыслей и направление». <sup>46</sup> Упомянув о переходе из Харьковского университета в Киевский, Тишинский мотивировал этот переход тем, что Киев ближе к его дому и лишь мимоходом заметил в самом конце показания: «Я участвовал в апрельских беспорядках в 1858 г., за что и получил высочайший выговор, объявленный мне уже в то время, когда я был в Киевском университете». <sup>47</sup> Подобной же тактики непризнания, прикрываемой мнимой откровенностью, придерживался Тишинский и во время допроса 12 апреля. Он упорно заверял комиссию в своей искренности: «Считаю нужным сказать, что я буду говорить сущую правду и ничего не утаю». «С большею уже откровенностью я не могу изложить обстоятельств, сопровождавших мое пребывание в университетах». <sup>48</sup> В то же время он вовсе не собирался открывать истинного положения дел. Тишинский ссылался даже на низкий уровень преподавания в Харьковском ветеринарном училище, чтобы доказать свою

<sup>43</sup> Там же, лл. 405, 405 об.

<sup>44</sup> Там же, к делу 26, ч. 1, лл. 352, 352 об.

<sup>45</sup> Там же, л. 353.

<sup>46</sup> Там же.

<sup>47</sup> Там же, лл. 353, 353 об.

<sup>48</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 2, лл. 103, 104 об.

непричастность к политике: «Поэтому я не мог здесь набраться премудрости, чтобы думать о каких-либо переворотах».<sup>49</sup> Он рассказал даже о пренебрежении харьковского общества к воспитанникам ветеринарного училища, чтобы аргументировать утверждение о своем мнимом одиночестве. Вынужденный отвечать, откуда у него прокламации, Тищинский объяснял дело лишь своим любопытством, не связанным якобы с его политическими взглядами, старался не дать комиссии повода потребовать у него имена лиц, снабжавших его нелегальной литературой: «Я тоже начал доставать запрещенные стихи, в чем, при открытом характере студентов, мне не трудно было успевать, потому что увидишь, бывало, тетрадь с запрещенными стихами, не смотришь, знаком или нет студент, просишь и получаешь. Часто такие тетради оставались у меня навсегда: приходишь на лекции — нет того, у кого взял, фамилию забыл или и вовсе ее не знал. Притом же я также замечал, что страсть к запрещенным стихам не имела никакого влияния на направление студентов: это было ни больше, ни меньше просто любопытство, интерес новизны».<sup>50</sup> Принадлежность свою к тайному обществу он продолжал начисто отрицать. «Обществ ни явных, ни тайных между студентами я не знал, поэтому и сам не принадлежал к ним», «Тайных обществ и в Киеве я не знал».<sup>51</sup> Характерно, что Тищинский не назвал ни одного важного имени, в числе своих знакомых не указал ни одного из близких ему по Харьковскому обществу и Киевскому кружку людей, подчеркивая, что и вообще у него было весьма мало знакомых.

И лишь 26 апреля, когда ему подробно изложили показания других обвиняемых, Тищинский вынужден был сознаться в своей принадлежности к обществу, которое ставило своей целью «распространение либеральных идей»<sup>52</sup> и стремилось водворить в России конституционный образ правления. Свои прежние показания Тищинский объяснял тем, что не хотел «вечно мучиться совестью, что я причина страданий моих товарищей», что думал: «если мои товарищи на меня не показали, то как же я буду их обвинителем».<sup>53</sup> Но и в последних показаниях Тищинский далек от искренности. Он всячески преуменьшал свою связь с обществом, с его членами, изображал себя лишь случайным посетителем двух собраний, ни слова не говорил о своем участии в кружке киевских студентов, утверждал, что «с этих пор (т. е. с начала 1857 года — с момента прекращения деятельности общества — П. Р.) участие мое во всех предприятиях студентских прекратилось».<sup>54</sup> Письма Тищинского к Рашевскому начала 1858 года,

<sup>49</sup> Там же, л. 103 об.

<sup>50</sup> Там же, л. 104.

<sup>51</sup> Там же, лл. 104, 104 об.

<sup>52</sup> Там же, л. 330 об.

<sup>53</sup> Там же, лл. 333, 334.

<sup>54</sup> Там же, л. 332.

его участие в апрельских беспорядках, в Киевском кружке ясно показывают, как мало веры можно придавать этим утверждениям.

Признавался Тишинский только в том, о чем уже говорилось в приведенных ему чужих показаниях, что отрицать не было никакой возможности. Характерно, что большинство арестованных призналось ранее Тишинского, и лишь руководитель Киевского и Харьковского кружка Муравский до 10 мая продолжал отрицать свою принадлежность к обществу.

Все это достаточно ясно свидетельствует о зрелости оппозиционных взглядов Тишинского, о твердости его политических убеждений. Не следует, конечно, излишне революционизировать позицию Тишинского, превращать его в одного из руководителей Харьковского и Киевского кружков. Тишинский занимал в тайном обществе, сравнительно с его руководителями и организаторами, второстепенное место. Так характеризует его и следственная комиссия. В записке начальника 1-го округа жандармов от 11 июня 1860 года говорится, что «он был одним из членов общества и ничем особенным не обратил на себя внимания, кроме склонности к переписыванию и собиранию всех попадавших ему под руку рукописных сочинений преступного содержания».<sup>55</sup> Однако, следует учесть, что подобным же образом характеризуется и вся деятельность общества. Значение его явно преуменьшается. Политические взгляды участников объясняются молодостью, незрелостью их мысли, всячески подчеркивается, что никакого практического результата эти взгляды не имели, что общество распалось само по себе: «Но едва только дошли они до вопроса: с чего начать им свои действия, то тотчас же увидели всю безрассудность своего предприятия <. .> После нескольких заседаний, в которых ничего не было решено положительно, они убедились, что предприятия их дошли до крайних пределов нелепости. В этом сознались тогда же все члены общества и положили: существование общества прекратить».<sup>56</sup> Именно таким образом старались представить дело арестованные студенты, в том числе и Тишинский. И комиссия поверила или сделала вид, что поверила им. Время было тогда еще относительно либеральное, и правительство, видимо, не хотело подчеркивать вину подсудимых. Большинство из них отделалось сравнительно легкими наказаниями. Тишинский и Лебедев, согласно решению комиссии, утвержденному царем, после предупреждения, «что если еще когда-либо будут замечены в подобных поступках, то подвергнутся строжайшему взысканию», должны были отправиться для продолжения учебы в один из университетов страны, «с поручением их особенному наблюдению полицейского начальства».<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 3, л. 18.

<sup>56</sup> Там же, лл. 20, 20 об.

<sup>57</sup> Там же, ед. хр. 26, ч. 5, лл. 51, 51 об.

23 июня 1860 года министр народного просвещения сообщил в 3-е отделение, что он решил направить их в Тартуский университет. В конце июня Тишинский и Лебедев получили свидетельства из 3-го отделения за №№ 1266 и 1267, в которых им разрешалось выехать по месту учебы, «с обязательством, по прибытии в Дерпт тотчас явиться к тамошнему полицмейстеру».<sup>58</sup> Одновременно 3-е отделение направило 25 июня жандармскому штаб-офицеру в Тарту фон-Корфу предписание за № 1271, в котором извещало, что Тишинский и Лебедев посланы в Тарту «с поручением их особенному наблюдению тамошнего начальства и с учреждением за ними секретного полицейского надзора».<sup>59</sup> 3-е отделение требовало в свою очередь от жандармского офицера «иметь за этими молодыми людьми негласное наблюдение и о поведении и образе жизни их по временам доносить его сиятельству»<sup>60</sup> (т. е. управляющему 3-м отделением В. А. Долгорукому — П. Р.) Таким образом Тишинский и Лебедев попали сразу под тройной надзор: университетского начальства, полиции и жандармерии. 16 июля Лифляндский губернатор доносил в 3-е отделение, что Тишинский и Лебедев 29 июня прибыли в Тарту и что за ними установлен секретный полицейский надзор.<sup>61</sup> Со 2-го семестра 1860 года Тишинский и Лебедев были зачислены в Тартуский университет, первый на отделение правоведения, второй — по предмету дипломатических наук.<sup>62</sup>

Пребывание Тишинского и Лебедева в Тарту свидетельствует, что их участие в Харьковском деле было далеко не случайным, что и в Эстонии они пытались сплотить вокруг себя передовое студенчество, развернуть пропаганду. Если в Харькове и Киеве руководящая роль принадлежала не Тишинскому и не Лебедеву, то в Тарту именно они стали организаторами студенческого кружка, его руководителями. Как выяснилось в дальнейшем, во время 2-го процесса Муравского,<sup>63</sup> бывшие участники Харьковского тайного общества, разосланные в различные города, вовсе не прекратили своей революционной деятельности, они поддерживали друг с другом регулярную связь, систематически переписывались между собой. Видимо, они мечтали об обширной организации, которая бы сетью кружков связала значительную часть страны. Трудно судить, в какой степени была оформлена эта организация, имела ли она достаточно разработанную программу, насколько были однородными взгляды ее участников. Во всяком случае позиция одного из ее руководи-

<sup>58</sup> Там же, лл. 83, 83 об.

<sup>59</sup> Там же, л. 102.

<sup>60</sup> Там же.

<sup>61</sup> Там же, л. 146.

<sup>62</sup> См. личные дела Тишинского и Лебедева, ЦГИА ЭССР, архив Тартуского университета, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 25345 и 14436.

<sup>63</sup> См. М. Лемке, стр. 284 и след.

телей, Муравского, была в достаточной степени радикальной. Тишинский и Лебедев, очутившись в Тарту, также налаживают связь с этой организацией, стремясь превратить созданный ими студенческий кружок в одну из ее ячеек. Они переписываются с видными руководителями студенческого революционного движения 60-х годов Муравским и Ефименко, знакомят их с тартускими делами, со своими попытками сплотить студентов. Эти попытки были предприняты, видимо, в первые же месяцы после приезда Тишинского и Лебедева в Тарту. 25 декабря 1860 года о них сообщал Муравский в Казань Манассеину. Сам же Муравский узнал о тартуской жизни из письма Ефименко, которому писал Тишинский. Следовательно, к концу декабря Тишинский и Лебедев не только начали свою деятельность в Тарту, но и успели сообщить о ней в Пермь Ефименко, тот переслал известие Муравскому в Бирск и уже 25 декабря Муравский цитировал слова Тишинского: «около нас они (русские студенты — П. Р.) теперь начинают группироваться; положительно можно сказать, что ни одного дня не проходит без того, чтобы у нас кто-нибудь не был». Здесь же Тишинский сообщал, что он с Лебедевым сумели проникнуть в бесплатную школу для русских и эстонских девочек и обучают их русскому языку. Он писал об удовлетворении, которое дает им эта работа. Упомянул здесь Тишинский и о попытках русских студентов «вытребовать себе права»<sup>64</sup> т. е. освободиться от стеснительных оков корпоративного устройства. Обо всех этих фактах сообщает в своей заметке. «Несколько слов о дерптских студентах» и Манассеин. Он говорит о стремлении группы русских студентов освободиться от корпоративной опеки, о переговорах, которые ведутся по этому поводу уже 10 месяцев, но еще не привели ни к каким результатам, о школе: «Да кроме того некоторые из русских студентов занимаются в бесплатной будничной школе для девочек».<sup>65</sup> Эта школа, по свидетельству Манассеина, основана при приюте, в ней учится 14 пенсионеров, средства для них добываются частично при помощи спектаклей, устраиваемых русскими студентами. Сообщает Манассеин и об устройстве студенческой кассы, общедоступной библиотеки, о получении ею 7 журналов, в том числе «Современника», «Русского слова» и «Искры», о попытке обучения жандармов грамоте.

Г. И. Арсеньев сообщает в своей книге, без указания на статью «Несколько слов о дерптских студентах», о перечисленных в ней делах и приписывает их целиком Манассеину. По словам Арсеньева, все они организованы «под влиянием Манассеина».<sup>66</sup> В действительности же многие из названных дел начаты, видимо, еще до приезда Манассеина в Тарту, связаны с именами Тишинского и Лебедева. Иногда это совершенно бесспорно.

<sup>64</sup> Там же, стр. 306.

<sup>65</sup> Русская речь, 1861, № 62, стр. 160.

<sup>66</sup> Г. И. Арсеньев, В. А. Манассеин, М. 1951, стр. 22.

О школе для девочек, о попытках освободиться от опеки корпораций, сплотить кружок русских студентов, упоминаемых в заметке Манассеина, Тишинский писал задолго до приезда последнего в Тарту. Но и другие дела, о которых сообщал Манассеин, начаты, по всей вероятности, до его приезда. Заметка «Несколько слов о дерптских студентах» напечатана в «Русской речи» 3 августа 1861 г. В самом же конце февраля Манассеин находился еще в Казани. 28 февраля он сообщал оттуда Муравскому об университетских делах. Тот, рассказывая о них Ефименко, ни словом не упоминал о намерении Манассеина оставить Казань.<sup>67</sup> Итак, Манассеин уехал из Казани не ранее марта 1861 года, а, вероятно, позднее; сама дорога в Тарту требовала известного времени, возможно, что по пути Манассеин делал остановки. О том, что он прибыл в Тарту незадолго до июля свидетельствует и личное дело Манассеина, хранящееся в Тартуском архиве.<sup>68</sup> Как раз в июле ведется переписка о поступлении Манассеина в Тартуский университет, и только 7 августа он был принят в число студентов. Если даже предположить, что Манассеин приехал в Тарту несколько ранее июля, то и тогда мало вероятно, что он, не будучи еще даже студентом, сумел развернуть ту обширную деятельность, о которой он пишет в газете. Ведь многое, из упоминаемого им, требовало для своего осуществления довольно длительного времени. Так, Манассеин сообщает, что организаторы студенческой библиотеки успели договориться с редакциями ряда журналов и уже получают некоторые издания бесплатно, а некоторые по пониженной цене. Да и занятия с жандармами, о которых он пишет, происходили в первую половину года, и летние огородные работы прекратили их.

Гораздо более вероятным представляется нам следующее предположение: еще до приезда в Тарту Манассеин слышал о Тишинском и Лебедеве. О них неоднократно упоминал в своих письмах Муравский. Так, в письме Манассеину от 25 декабря 1860 года он излагал известия Тишинского о Тарту, разъясняя при этом: «Тишинский и Лебедев — тоже мои товарищи, посланы в Дерптский университет».<sup>69</sup> Между Тарту и Казанью вскоре налаживается и непосредственная связь. В письме Манассеину от 20 января 1861 года Муравский высказывает предположение, что такая связь уже существует,<sup>70</sup> а в письме от 19 февраля 1861 г. помогает в установлении прямой переписки: «Впрочем, подробные известия о Дерпте будете получать непосредственно. Адрес: в *Лифляндскую губернию, в Дерпт, студенту университета Александру Сергеевичу Лебедеву*, а не то —

<sup>67</sup> См. М. Лемке, стр. 294.

<sup>68</sup> См. ЦГИА ЭССР, ф. 302, оп. 2, ед. хр. 15813.

<sup>69</sup> М. Лемке, стр. 306.

<sup>70</sup> Там же, стр. 310.

*Александр Амфиановичу Тищинскому*.<sup>71</sup> Конечно, и имя Манассеина было знакомо Тищинскому и Лебедеву. Естественно, что по прибытии Манассеина в Тарту он сразу же сблизился с тем и с другим и даже поселился с Тищинским в одной квартире. Позднее, во время допроса 7 января 1863 года по делу Муравского, Манассеин показал: «Со студентом Дерптского университета Тищинским я сошелся по приезде моем в Дерпт, где, встречая со всех сторон незнакомые мне обычки и вовсе не сочувствуя направлению тамошних студентов, я невольно искал познакомиться с кем-либо из русских, которых там всего человек 12. Из них я более сошелся с Тищинским и даже с ним только одним. Мы жили с ним на одной квартире, вплоть до его отъезда из Дерпта».<sup>72</sup> В дружбе с Тищинским Манассеин уже был изобличен, но он стремился скрыть подлинные причины ее и предотвратить вопросы о других своих тартуских знакомых. Конечно, не следует принимать всерьез его слова о том, что он сошелся с одним только Тищинским, но сам факт дружбы с ним отражен в показании весьма верно. Неизвестно, насколько был знаком Манассеин с Лебедевым. Летом 1861 года тот получил отпуск по 1 августа и более в Тарту не вернулся. Во всяком случае, после своего исключения из Тартуского университета, Лебедев поручает именно Манассеину получить его документы.<sup>73</sup>

Ко времени прибытия Манассеина в Тарту там уже существовал кружок, организованный Тищинским и Лебедевым. О действиях этого кружка они и рассказали Манассеину, а тот использовал кое-что из услышанного в своей заметке. Это, конечно, не означает, что он оставался праздным зрителем, не принимал никакого участия в делах, о которых идет речь. Напротив, сразу же, видимо, после приезда Манассеин активно включается в работу кружка, после отъезда Тищинского и Лебедева из Тарту становится его руководителем, заведует частной студенческой библиотекой, снабжает студентов нелегальной литературой. В его бумагах при обыске в конце 1862 года нашли тетрадь запрещенных стихотворений и рукописных статей, прокламации «Что такое государство?» и «Что надо делать войску?», три номера «Великорусса», объявление о русских запрещенных изданиях, литографированные экземпляры «Былого и дум» Герцена, «Христианства» Ф. Лорана, четвертую книгу «Голосов из России», одиннадцать номеров «Колокола», три номера «Общего вече», «Народное дело» Бакунина, № 3 журнала «Правдивый», один номер журнала «Весть».<sup>74</sup> Со всей этой запрещенной лите-

<sup>71</sup> Там же, стр. 320.

<sup>72</sup> ЦГИАМ, ОППС, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 28, л. 82.

<sup>73</sup> ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 14436, лл. 3—4.

<sup>74</sup> ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 28, л. 109 об. В работе Лемке, на стр. 302 упоминаются произведения, обнаруженные при обыске у Манассеина, но полного списка их не приводится.

ратурой Манассеин, видимо, широко знакомил студентов — членов кружка. О том периоде кружка, когда им руководил Манассеин, вспоминал бывший студент Тартуского университета Гончаров.<sup>75</sup> Но эти воспоминания изображают более позднее время, с конца 1861 г., когда Тишинский и Лебедев уже покинули Тарту. Само же основание кружка, те его дела, о которых говорит Арсеньев, относятся ко второй половине 1860 года — первой половине 1861 г., связаны в первую очередь с Тишинским и Лебедевым.

Деятельность, которую вели члены кружка, выглядит на первый взгляд совсем безобидной. Обучение девочек и жандармов русской грамоте, студенческая касса и др. кажутся весьма далекими от вопросов революционного движения. На самом деле это не совсем так. Тишинский и Лебедев стараются в Тарту осуществить ту программу, которую выработала революционная организация, возглавляемая Муравским. Мысль об обучении народа, о революционной пропаганде в школах для народа была весьма популярной еще в Харьковском тайном обществе, а идея организации воскресных школ возникла в Киевском университете, в кружке, в который входили Тишинский и Лебедев. О школах для народа неоднократно говорится в письмах Муравского.

В 1862 году было обнаружено, что в двух воскресных школах Петербурга ведется революционная пропаганда. Распорядителем одной из них, Самсониевской, оказался Рымаренко, бывший студент Харьковского университета, участвовавший в студенческих волнениях 1858 года, поддерживавший связь с киевским и харьковским кружками. Любопытно, что Манассеин, отправляясь из Казани в Тарту, имел свидание с Рымаренко. «Студента медико-хирургической академии Рымаренко мне рекомендовал Португалов. Проездом в Дерпт я завез ему письмо Португалова», — показал Манассеин, отвечая 7 I. 1863 г. на вопросы следственной комиссии.<sup>76</sup> Португалов же был членом харьковского и киевского тайного общества, товарищем Лебедева и Тишинского. В бумагах Манассеина обнаружили и письмо от Рымаренко. Не случайно при разборе дела «воскресников» столь часто упоминаются Харьковское и Киевское тайные общества, приводятся обширные выписки о них. Среди этих выписок неоднократно встречаются имена Тишинского и Лебедева.<sup>77</sup> Комиссия Жданова, которая расследовала дело о воскресных школах, правильно оценила «намерение, под видом распространения грамотности, готовить простой народ к принятию участия в осуществлении преступных целей».<sup>78</sup> Антиправительственная пропаганда была раскрыта лишь в немногих школах, одна-

<sup>75</sup> Воспоминания не были опубликованы. В настоящее время они подготовлены к печати Б. Ф. Егоровым.

<sup>76</sup> ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 28, л. 82 об.

<sup>77</sup> См. напр. ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 71, лл. 210, 216, 219.

<sup>78</sup> М. Лемке, стр. 281.

ко вряд ли бесосновательны предположения комиссии, что попытки такой пропаганды не ограничиваются обнаруженными случаями. «Можно ли думать, чтобы преступные элементы ограничились только этими тремя городами (Харьковом, Киеве, Петербургом — П. Р.) и чтобы злоумышленники, рассеянные по всей империи, упустили из виду воскресные школы, столь удобные, по строю своей организации, для распространения между простым народом антиправительственных понятий?»<sup>79</sup>

В свете всего вышесказанного видно, что интерес, проявленный в Тарту Тищинским и Лебедевым к школам для народа, стремление «вторгнуться» в них были далеко не случайны. Характерно, что в письме Тищинского идет речь и об обучении эстонских девочек, что, вероятно, свидетельствует о стремлении организаторов кружка наладить связи с местным эстонским населением. Неизвестно, делали ли Тищинский и Лебедев какие-либо попытки вести революционную пропаганду в той школе, где они преподавали. Скорее всего — нет. Но несомненно, что их интерес к преподаванию в народных школах перекликается со взглядами тайной студенческой организации на эти школы, как на одно из важных средств революционной пропаганды. В этой связи следует рассматривать и желание тартуских студентов обучать жандармов грамоте. Арсеньев характеризует это желание «как курьез»,<sup>80</sup> на самом же деле оно перекликалось с мыслями Муравского, выраженными в одном из его писем: «престол держится только войском, в нашем тайном обществе поговаривали иногда, что следует покороче сблизиться с военным сословием».<sup>81</sup> Конечно, члены кружка собирались обучать грамоте не жандармских офицеров, а простых солдат.

Большое значение имели и письма, которые Тищинский и Лебедев посылали из Тарту Муравскому, Ефименко и, видимо, другим членам общества. Ведь по замыслу такая переписка должна была явиться связующим звеном тайной организации.

Таким образом, в 1860—1861 гг. Тищинский и Лебедев пытались сплотить тартуских студентов и образовать в университете одну из ячеек широко разветвленного общества. Как раз к этому времени, по всей вероятности, относится наиболее активная деятельность кружка, которая объясняется даже не столько личными качествами его руководителей, сколько общей обстановкой периода «революционной ситуации», существованием в стране широкой тайной студенческой организации. В 1862 году эта организация была разгромлена, что, естественно, наложило отпечаток на действия Тартуского кружка в более поздний период, под руководством Манассеина.

У нас имеется весьма мало данных о составе кружка. Но учи-

<sup>79</sup> ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 75, л. 211.

<sup>80</sup> Г. И. Арсеньев, В. А. Манассеин, М., 1951, стр. 22.

<sup>81</sup> М. Лемке, стр. 313.

тывая, что русских студентов в те годы было в Тарту очень немного и что большинство из них сплотилось вокруг Тишинского и Лебедева, можно делать некоторые предположения. В 1860 году в университете учились русские студенты Владимир и Георгий Чивилевы из Москвы, Дмитрий Филиппов из Воронежа, Василий Ильин из Гатчины, Семен Владыкин из Саратова, Спиридон Грабовский из Полтавы, Константин Сочеванов из Новгорода, Григорий Богословский из Петербурга. В 1861 году в Тарту прибыл Константин Филиппов из Петербурга, Александр Гончаров из Симбирска, Александр Волков из Петербурга, Степан Волков из Москвы. Вероятно, большинство из перечисленных студентов было связано с кружком Тишинского, Лебедева и Манассеина. Известно, что Александр Волков, в дальнейшем серьезно занимавшийся химией, автор магистерской диссертации «Влияние света на растения», был близок с Манассеиным. В 1862 году они вместе перевели «Физиологическую химию» Гаруп-Безанеца. Александр Гончаров впоследствии сам писал о своем участии в кружке. Из личного дела Константина Сочеванова известно, что из университета он выбыл в мае 1861 года не по собственному желанию, а поведение у него лишь «довольно хорошее».<sup>82</sup> Вскоре оказались вынужденными оставить Тартуский университет и Тишинский с Лебедевым. Университетская администрация вряд ли не тяготилась студентами, за которыми она должна была вести особое наблюдение, следовательно, нести за них ответственность. В 1861 году Тишинский и Лебедев — почти единственные студенты Тартуского университета, находившиеся под полицейским надзором.<sup>83</sup> Да и их деятельность не могла вызвать одобрения начальства. Правда, избавиться от них было не так просто: их прислало в Тарту 3-е отделение на основании повеления царя. Однако, случай представился. Однажды Тишинский резко ответил на замечание проректора, приказавшего ему сбрить бороду. Вспомним, что в 60-ые годы борода для многих была характерным признаком «нигилиста», и спор приобретал для обеих сторон принципиальный характер. Проректор приказал посадить Тишинского в карцер, на что тот «изъяснил, что он ни в коем случае не подчинится этому приговору и в случае принуждения будет сопротивляться всеми своими силами».<sup>84</sup> То же повторил он университетскому суду, который приговорил его к исключению из университета. Попечитель же Дерптского учебного округа фон-Брадке во время беседы с Тишинским «нашел в нем решительное намерение вообще не подчиняться власти».<sup>85</sup> Возможно, что Брадке не-

<sup>82</sup> ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 23671.

<sup>83</sup> См. «Ведомости о лицах, находящихся под надзором полиции за 1861 год», ЦГИА ЭССР, ф. 291, оп. 1, ед. хр. 16173.

<sup>84</sup> См. донесение в 3-е отделение дерптского жандармского офицера от 31. VIII. 1861 г., ЦГИАМ, ф. 109, 1 экс, 1860, ед. хр. 26, ч. 5, л. 299 об.

<sup>85</sup> Там же, л. 300.

сколько преувеличивал, желая избавиться от беспокойного студента, но возможно, что выведенный из себя Тишинский кое-что и высказал из своих мнений о «власти». Приговор послали на утверждение министру народного просвещения, тот полностью согласился с ним и «с своей стороны признал также необходимым исключить Тишинского за дерзкие поступки его из университета, с тем, чтобы его не принимать ни в один из университетов в империи».<sup>86</sup> 28 августа 1861 года совет университета вынес об этом окончательное решение. 30 августа Тишинский выехал из Тарту и отправился на родину, в Черниговскую губернию. 3-е отделение сразу же поставило в известность о Тишинском черниговского жандармского офицера, приказало учредить за ним наблюдение, и по прибытии 21 октября Тишинского в Чернигов за ним был установлен полицейский надзор.<sup>87</sup>

Заодно университетское начальство решило избавиться и от Лебедева. Тот, уволенный по 1 августа в каникулярный отпуск, отправился в Харьков и пытался устроиться в Харьковский университет. 10 августа 1861 года он просил 3-е отделение не препятствовать ему в этом, мотивируя свое желание покинуть Тарту удаленностью этого города от его дома, скудными материальными средствами и плохим знанием немецкого языка, на котором велось в Тарту преподавание.<sup>88</sup> К ходатайству Лебедева была приложена докладная записка попечителя Харьковского учебного округа, в которой тот соглашался на такой переход. 3-е отделение тоже не возражало против оставления Лебедева в Харькове, видимо, полагая, что здесь за ним будет удобнее наладить наблюдение. О просьбе Лебедева было доложено царю и тот повелел окончательное решение дела представить на усмотрение министра просвещения. Обо всем этом 3-е отделение сообщало Путятину 24 августа 1861 г.<sup>89</sup> Однако министр просвещения, возможно, уязвленный и тем, что Лебедев обратился с просьбой о переводе не к нему, а в 3-е отделение, сообщил туда 1 сентября: «Я не могу согласиться на его просьбу».<sup>90</sup> Ожидая ответа на свое ходатайство, Лебедев оставался в Харькове, не вернувшись в Тарту к назначенному сроку, и министр просвещения, по представлению фон-Брадке, «предложил сделать распоряжение об исключении Лебедева из числа студентов, за просрочку данного ему на время летних вакаций отпуска, без извещения о причинах».<sup>91</sup> Путятину была ясна причина опоздания Лебедева, кроме того, тот дважды посылал в Тартуский университет медицинские свидетельства, видимо, мотивируя свое запоздание плохим состоянием здоровья.<sup>92</sup> Однако,

<sup>86</sup> Там же.

<sup>87</sup> Там же, лл. 302 об., 330.

<sup>88</sup> Там же, лл. 288—290.

<sup>89</sup> Там же, лл. 292—293.

<sup>90</sup> Там же, л. 297.

<sup>91</sup> Там же, л. 315.

<sup>92</sup> ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 14436, л. 3.

это не помешало расправе с неугодным студентом. 7 октября 1861 года Совет университета исключил Лебедева из числа студентов. Весною 1862 года Лебедев собирался держать экзамены в Харьковский университет, позднее он там учился, но его дальнейшей судьбы нам проследить не удалось.

Зато имя Тишинского неоднократно упоминается на страницах архивов 3-го отделения. Его жизнь после отъезда из Тарту доказывает стойкость его передовых убеждений, свидетельствует в пользу высказанного нами предположения, что из дерптских студентов 1861 года именно он настроен был наиболее радикально и руководил их кружком. Поэтому небезинтересно будет остановиться на некоторых фактах этой жизни. Их позволяют восстановить материалы следственной комиссии по так называемому процессу Андрущенко, большому политическому процессу участников «Земли и воли» 60-х годов.<sup>93</sup> Из этих материалов видно, что по дороге из Тарту Тишинский остановился в Москве и, видимо, пытался поступить в университет, но принят в него не был. Инспектор Московского университета сообщил в конце 1863 года Московскому губернатору, что Тишинский из Тартуского университета «за дерзкие поступки в 1861 г. исключен, вследствие чего и в Московский университет принят не был».<sup>94</sup> В Москве Тишинский встречался с оппозиционно настроенными студентами. Евгений Андрущенко вручил ему там в конце сентября «Полярную звезду» и «Колокол» для передачи своему брату Ивану, что Тишинский и выполнил, приехав в Чернигов.<sup>95</sup> Вынужденный добывать своим трудом средства к жизни, Тишинский становится домашним учителем и живет в селе Макишене Городнецкого уезда Черниговской губернии в доме полковника П. П. Чичерина. Трудно ответить точно, был ли Тишинский членом «Земли и Воли», но можно предполагать, что был. Во всяком случае он и в Черниговской губернии, после многих злоключений, которые, казалось, могли его заставить смириться, сохранил свои прежние революционные взгляды, оказался связанным с революционным подпольем. Так, член «Земли и Воли» Иван Андрущенко, подъезжая летом 1863 г. к Чернигову с грузом прокламаций, по его признанию, «на станции оставил записку, в которой уведомлял Тишинского, что пробуду некоторое время в Чернигове, то если он желает видеться со мною, чтобы приехал».<sup>96</sup> 16 сентября Андрущенко показал, что в начале июля он вместе с Тишинским и Носом был у подпоручика Белозерского, тот в конце вечера взял стихотворение «Долго нас помещики душили», полученное им ранее от Андрущенко, «показал

<sup>93</sup> Дело Андрущенко напечатано в «Колоколе» Герцена (1865—1866, №№ 208—215), но материалы следственной комиссии опубликованы полностью не были.

<sup>94</sup> ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 75, л. 41 об.

<sup>95</sup> Там же, ед. хр. 72, лл. 211, 176, 177.

<sup>96</sup> Там же, ед. хр. 72, л. 436.

Тищинскому и хотел было читать, но Тищинский остановил его словами: я это давно знаю; откуда вы взяли? Белозерский указал на меня, а я прибавил, что оно положено на голос и идет в ход. Тищинский спросил, есть ли у меня кроме этого еще что? Я сказал, что есть. Он просил дать ему и говорил, что теперь и ему будут присылать, что будет печататься». <sup>97</sup> В тот же вечер, — продолжал Андрущенко, — на квартире Носа Тищинский, ложась спать, просил дать ему для прочтения что у меня есть. Я дал ему два воззвания «Свобода № 1» и другое, начинающееся словами «Долго давили вас» и пр. На другой день утром Тищинский перед отъездом спросил, есть ли у меня еще экземпляры этих воззваний и просил дать еще; я достал из чемодана и дал ему экземпляров, примерно, по пяти этих воззваний и брошюры «Что нужно народу?» Но Тищинский сказал, что этого мало и просил дать ему несколько экземпляров воззвания «Свобода № 1». Отдавая ему еще столько же, я просил спрятать их. «Да чего вы так боитесь?» — спросил Тищинский». <sup>98</sup>

20 сентября 1863 года у Тищинского был сделан обыск, который не дал никаких результатов. Это и понятно. Об аресте Андрущенко, Носа и Белозерского стало известно в городе. Тищинский сам показал, что на другой день после его возвращения из Чернигова он узнал, что «Нос, Андрущенко и Беляковский» взяты. Я, конечно, догадался в чем дело и, опасаясь у себя обыска, также предполагая, что и меня, как видевшегося с Андрущенко, возмут, сжег все, полученное мною от Андрущенко». <sup>99</sup> Конечно, Тищинский имел время уничтожить не только прокламации, взятые у Андрущенко, но и все другие материалы, которые могли бы его компрометировать. Дело в начале вел провинциальный следователь, он не только предоставил Тищинскому длительное время для уничтожения улики, но и сделал все, чтобы заставить его насторожиться. Обыск был проведен 20 сентября, а еще 22 июля следователь направил Тищинскому письмо, в котором сообщал, что он ведет негласное следствие, запрашивал его, в чем заключался разговор на квартире у Белозерского, интересовался, не получал ли Тищинский от Андрущенко прокламаций и просил их прислать, если они окажутся. <sup>100</sup> Посылать такое письмо человеку, находившемуся под полицейским надзором, возможному соучастнику Андрущенко, было по меньшей мере наивно. Если бы он даже до этого письма и ничего не подозревал, то после получения его, как бы он ни был неосторожен, естественно забеспокоился бы и уничтожил все возможные улики. И когда в октябре Тищинского арестовали, против него не имелось никакого компрометирующего материала, кроме показаний Андрущенко. С основной группой арестованных

<sup>97</sup> Там же, ед. хр. 73, л. 1.

<sup>98</sup> Там же, л. 1 об.

<sup>99</sup> Там же, ед. хр. 74, л. 229.

<sup>100</sup> Там же, ед. хр. 72, л. 403.

стованных, живших в Петербурге и в Москве, Тишинский, видимо, и на самом деле не был связан. В показаниях этой группы его имя не упоминается, Андрущенко ограничился показаниями, которые мы приводили выше, сам же Тишинский отвечал в комиссии очень сдержанно и осторожно, умело маскируя свои подлинные взгляды и дела. Он и здесь придерживался той тактики, к которой прибегал во время Харьковского процесса. До последней возможности Тишинский старался ввести комиссию в заблуждение, признавая лишь то, что отрицать было нельзя. Еще до ареста, отвечая на письмо черниговского следователя, Тишинский 1 августа утверждал, что на квартире у Белозерского «разговоров особенно важных или интересных для следователя, а также и касающихся правительства, никаких не было < . > Что же касается до каких-то листков возмутительного содержания, то об них тоже не было речи, и я их не получал, следовательно, и у себя не имею. Да, вероятно, никто из поименованных лиц этих листков у себя не имеет, потому что и намека о них никакого не было».<sup>101</sup>

В письме Тишинского заметно не только стремление скрыть истину, отвести от себя подозрение, но и попытаться выгородить арестованных. Не зная, захватили ли у них прокламации, он выражает догадку, что вообще никто из задержанных их не имел. Правда, сразу же, из осторожности, он добавляет, что если звания у этих людей и имелись, то ему их не показывали.

Подобной же тактики отрицания придерживался Тишинский и после ареста. Так, во время допросов 18 и 19 октября он утверждал, что его знакомство с Андрущенко — чисто поверхностно, что он даже не помнит, где и как с ним познакомился, что с 1859 года, с харьковской истории, он вообще «принял за правило жить особняком, не искать знакомств»,<sup>102</sup> что в Чернигов он в тот день приехал случайно, «разговор наш был самый обыкновенный < . > Андрущенко не сообщал мне, что у него есть возмутительные сочинения < . > На другой день, как человек занятый службой, я рано утром уехал из Чернигова и уже после узнал, что у Андрущенко взяли какие-то возмутительные сочинения < . > Также и в квартире Белозерского не было и речи про возмутительные сочинения, какие отыскивались у Андрущенко, и я вовсе не знал, что они у него есть, а тем более не знал, с какими целями он их держал у себя».<sup>103</sup>

И только тогда, когда Тишинского познакомили с показаниями Андрущенко и Белозерского, он начал понемногу признаваться, но лишь в том, чего нельзя было опровергнуть, что комиссии было заведомо известно. Тишинский не добавил ни одного нового факта, не назвал ни одного нового лица. Он лишь подтвердил, да и то со многими оговорками, показания Андру-

<sup>101</sup> Там же, л. 403 об.

<sup>102</sup> ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 74, л. 223 об.

<sup>103</sup> Там же, л. 225 об.

щенко и Белозерского о себе, с которыми его постепенно познакомила комиссия. Так, он полупризнался, что видел одну из прокламаций на квартире у Белозерского, но продолжал отрицать, что получил воззвания от Андрущенко. «Утверждать положительно, чтобы «Долго нас помещики душили» было мне показываемо и притом с такими подробностями, как показали гг. Белозерский и Андрущенко, я не могу, потому что не помню < . > Одним словом, я не отрицаю этого факта, а говорю только, что не помню, был ли он действительно».<sup>104</sup> «Относительно же того, чтобы я говорил, что мне будут они присылаться, я говорю, что этого не было < . > Андрущенко мне не давал никаких воззваний < . > С просьбою о присылке воззваний я никогда ни к кому не обращался и их у себя никогда не имел, а значит и не имею».<sup>105</sup> Тогда Тишинского познакомили с той частью показаний Андрущенко, в которой он говорил, как передал Тишинскому прокламации. И лишь после этого Тишинский признался в получении воззваний, но и здесь пытался всячески преуменьшить значение этого факта и особенно решительно отрицал свою связь с революционным подпольем. «Я действительно взял воззвания у Андрущенко < . > Что же касается до той фразы, которою, будто бы, у Белозерского я хвалился, что и мне будут присылать, то от этой фразы я отказываюсь, как от неимеющей ровно никакого значения, потому что никто мне не обещался высылать и я никого не знаю, кто бы мог это делать. Если даже я и сказал эту фразу (что положительно не помню), то это было ни больше ни меньше как хвастовство подкутившего человека, ибо, как я уже сказал, у Белозерского я пил водку < . > Так что если я и взял у него (Андрущенко — П. Р.) несколько экземпляров этих воззваний, то решительно из одного простого любопытства, а не из-за каких либо особенных целей, также как и не из-за особенного сочувствия к подобным вещам».<sup>106</sup>

На допросе 21 октября Тишинскому резонно заметили, что его любопытство должно было удовлетвориться чтением прокламаций и уж во всяком случае не требовало 20 экземпляров их. Но он продолжал стоять на своем. «Хотя я и взял у Андрущенко несколько экземпляров воззваний, но вовсе не с целью их распространения, а с какою именно целью, я и сам тогда не давал себе отчета. Вероятно, с целью иметь у себя столь любопытный и столь запрещенный предмет. Взял же я по несколько (именно по 5) экземпляров каждого воззвания раз потому, что так сунул мне в руки Андрущенко, в другой потому, что воззвания напечатаны очень дурно, так что из пяти едва-едва

<sup>104</sup> Там же, л. 226.

<sup>105</sup> Там же, л. 227.

<sup>106</sup> Там же, лл. 229, 231, 231 об.

можно выбрать один сколько-нибудь такой, какой можно читать без труда».<sup>107</sup>

Этого утверждения, явно не соответствующего действительности, Тишинский продолжал держаться до самого окончания следствия. Он никого не запутал в дело, не выдал, упорно объясняя все своим любопытством, хвастовством подвыпившего человека. Его можно было обвинить лишь в хранении прокламаций, в скрывании того, что он знал об Андрущенко, но не в распространении воззваний, не в революционной деятельности. Так позднее и оценивалась его вина судом.

8 января 1864 года комиссия вынесла решение освободить Тишинского в числе 7 арестованных из под ареста «и впредь до решения об них дела судом, отдать их на благонадежное поручительство».<sup>108</sup> Решение было выполнено не сразу. Дело в том, что в Петербурге у Тишинского не было никого, кто бы взял его на поруки. Другие заключенные, упомянутые в решении комиссии, вышли из крепости, а он все еще продолжал оставаться под стражей. Наконец, 10 февраля 1864 года Тишинского освободили без поручительства, под строгий надзор полиции.

О бедственном положении его после выхода из крепости свидетельствует отношение в комиссию Петербургского губернатора, который 14 февраля 1864 года писал, что Тишинский «не имеет решительно никаких средств ни для проживания в С.-Петербурге, ни для поездки на родину. Вообще положение Тишинского, по его объяснению, до того незавидно, что его даже не радуется дарованная свобода, и если правительство не окажет ему помощи, в таком случае он вынужден будет отправиться на родину пешком».<sup>109</sup> Характерно, что на просьбу Тишинского помочь ему добраться до дому комиссия ответила отказом, упомянув, что он не оправдан и что «едва ли свойственно назначать такому лицу просимое им денежное пособие».<sup>110</sup> Не сумев собрать против Тишинского достаточно улик, вынужденная освободить его, комиссия подчеркивала, что в этом случае освобождение вовсе не означает оправдания. Суд приговорил Тишинского к 2-м месяцам крепости и к высылке по месту жительства под надзор полиции. Сравнительно мягкий приговор объяснялся рядом причин: во-первых хладнокровное и продуманное поведение Тишинского во время следствия свело к минимуму улики, которые можно было использовать против него. Во-вторых, Тишинский на самом деле вряд ли был связан с основной группой подсудимых, и их показания оставили его в тени. В-третьих, он просто затерялся в этом процессе среди большого количества арестованных. В-четвертых, правительство решило сурово наказать зачинщиков, проявив видимость мило-

<sup>107</sup> Там же, л. 257.

<sup>108</sup> Там же, ед. хр. 76, лл. 149—149 об.

<sup>109</sup> Там же, л. 276 об.

<sup>110</sup> Там же, л. 297.

сердия к остальным привлеченным к делу. Некоторые из них были признаны совсем невиновными, остальные отделались сравнительно небольшими наказаниями от 8 месяцев крепости и менее. В число последних попал и Тищинский.

Конечно, эта «мягкость» приговора была чисто условной. Тищинскому пришлось провести около 4-х месяцев в крепостных казематах, испытать после освобождения голод и унижения. Его, «согласно предложению министерства внутренних дел, как неблагонадежного в политическом отношении», лишили права «заниматься обучением детей и юношества»,<sup>111</sup> т. е. делом, которое давало ему средства к существованию. Тищинский был вынужден устроиться письмоводителем в губернскую канцелярию. Да и это место он получил только потому, что, по мнению Черниговского губернатора, оно давало удобную возможность следить за Тищинским. Долгие годы он находился под строгим надзором полиции и жандармерии, который сняли с Тищинского только в январе 1872 года. Уже сам факт, что под надзором Тищинский был около 12 лет, свидетельствует о многом. Да и после того власти не слишком доверяли ему. Видимо, для этого были веские основания, и тяжкие испытания не сломили его. Когда в конце 1872 года Тищинский вместе с учителем гимназии Н. Константиновичем просил о разрешении издавать газету «Черниговский листок», начальник губернской жандармерии доложил в 3-е отделение, что Тищинский и Константинович «не отличаются благонамеренным направлением и, хотя держат себя чрезвычайно осторожно, и обличить их в чем-либо весьма трудно, тем не менее о них сложилось мнение, как о людях с вредным образом мыслей, и что за них далеко нельзя поручиться, чтобы они могли быть в политическом отношении благонадежны».<sup>112</sup>

Имя Тищинского упоминается и в «Сведениях по Черниговской губернии» за 1873 год, посылаемых местным начальником жандармского управления в 3-е отделение, в числе лиц, объявивших демонстративную подписку в пользу «хронически голодающих» крестьян двух уездов Черниговской губернии. Эти лица, по утверждению жандармского офицера, уже давно составили партию, которая еще в 1870 году вела агитацию «с целью выставить себя защитниками народа как бы от тяжелого положения».<sup>113</sup> Подписку же 1873 года они хотели использовать «для проведения снова в народе мысли о возможности освободиться от установленных повинностей, по несостоятельности их к тому, вследствие постигшего будто голода».<sup>114</sup>

<sup>111</sup> Там же, л. 372 об.

<sup>112</sup> ЦГИАМ, ф. 109, 3 экс., 1872, ед. хр. 1, ч. 2, лл. 101—101 об.

<sup>113</sup> ЦГИАМ, ф. 109, 3 экс., оп. 158, ед. хр. 440, л. 6 об.

<sup>114</sup> Там же, лл. 7—7 об.

Таким образом, вся последующая жизнь Тищинского свидетельствует о стойкости его свободолюбивых убеждений, служит подтверждением высказанным выше доводам о его роли в организации Тартуского студенческого кружка, о радикальном направлении, которое он пытался придать кружку. Лишь расправа с Тищинским и Лебедевым, а затем разгром студенческой организации, возглавляемой Муравским, помешали осуществить эти попытки.

## А. И. ТОДОРСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ.

Канд. филол. наук З. Г. Минц.

Положительный отзыв В. И. Ленина о «замечательной книге» Александра Ивановича Тодорского «Год — с винтовкой и плугом» уже давно и широко известен. В. И. Ленин горячо рекомендовал книгу советским читателям, указывая, что «с ней надо познакомить как можно большее число рабочих и крестьян».<sup>1</sup> Несмотря, однако, на то, что статья Ленина «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов» цитируется почти во всех исследованиях и учебниках по советской литературе ранних периодов,<sup>2</sup> о самом Тодорском в нашем литературоведении известно очень мало. В 20-х гг. о нем была написана всего одна работа, в 30-х — 40-х гг. — ни одной, и лишь в самое последнее время появилось несколько статей, посвященных истории знакомства В. И. Ленина с книгой А. Тодорского,<sup>3</sup> военной биографии Тодорского<sup>4</sup>, а также рецензий в связи с переизданием книги «Год — с винтовкой и плугом» (М., изд. «Советская Россия», 1958).<sup>5</sup> Имя А. Тодорского не упоминается даже в большинстве современных работ по истории и теории очерка.<sup>6</sup> Лишь в содержательной статье В. Дробышевского<sup>7</sup> говорится о значении «Года — с винтовкой и плугом» как одного из пер-

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 363; см. также т. 33, стр. 259—260.

<sup>2</sup> См., например, Очерк истории русской советской литературы, ч. 1, М., изд. АН СССР, 1954, стр. 45—46; В. Иванов, Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы, М., ГИХЛ, 1953, стр. 55 и др.

<sup>3</sup> См.: К истории написания В. И. Лениным статьи «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», Исторический архив, 1958, № 4; Г. Апресян, Читая Ленинскую статью..., Октябрь, 1958, № 5.

<sup>4</sup> См.: Л. Мнацаканян, Александр Тодорский — Герой Зангезура, газ. Коммунист, 1958, 19 февраля.

<sup>5</sup> См.: Н. Мор, Книга, которую высоко оценил Ленин, В помощь политическому самообразованию, 1958, № 9; З. Минц, Памятник героических лет, газ. Молодежь Эстонии, 1958, 10 сентября.

<sup>6</sup> См., например: В. Росляков, Советский послевоенный очерк, М., изд. «Советский писатель», 1956; Е. Журбина, Искусство очерка, М., изд. «Советский писатель», 1957; Н. Соколова, Советский очерк, его авторы и его темы, Культура и жизнь, 1958, № 3 и др.

<sup>7</sup> См. В. Дробышевский, В борьбе за новое (очерки и очеркисты 20-х—30-х гг.) в кн.: Пути Советского очерка, Сборник литературно-критических статей, Л., изд. «Советский писатель», 1958.

вых советских очерков. Автор статьи перечисляет основные затронутые А. Тодорским темы, говорит о принципах построения его очерков: «...безискусственность, ясность и одновременно замечательная меткость изложения <...>. широкое привлечение документов, статистических данных, всевозможных бюджетных выкладок <...>, очень силен публицистический элемент».<sup>8</sup> Однако объем работы не позволил В. Дробышевскому сколько-нибудь подробно остановиться на исследовании книги А. Тодорского: «Году — с винтовкой и плугом» автор статьи отводит всего 3 страницы, уделяя основное внимание очеркам А. С. Серафимовича, Д. А. Фурманова и Л. М. Рейснер. Естественно, дать детальный анализ произведения в таких рамках было невозможно.

Между тем, названная книга А. Тодорского (как и другие произведения этого автора) представляет весьма значительный интерес для историка советской литературы ранних периодов. А. Тодорский не был писателем-профессионалом, однако, в его творчестве отразились многие существенные стороны зарождающейся советской литературы. А. Тодорский — один из родоначальников советского очерка, и можно смело утверждать, что без знакомства с творчеством этого писателя нельзя составить полного и разностороннего представления ни об истории советского очерка и жанров, вырастающих на его основе, ни о некоторых особенностях развития советской литературы 1917—1921 гг.

Центральное произведение А. Тодорского интересно еще и в другом отношении. Как известно, именно оно явилось объектом одного из самых первых по времени отзывов В. И. Ленина о советской литературе. Анализируя «Год — с винтовкой и плугом», мы тем самым отвечаем на вопрос о том, какие стороны зарождающейся литературы имели, по мнению В. И. Ленина, особую социальную ценность.

Александр Иванович Тодорский родился 13 сентября 1894 г. в с. Деледино Весьегонского уезда Тверской губ. Отец его был сельским священником. Тодорский учился в духовной семинарии, где, по его словам, у него обнаружилась любовь к литературе и тяга к самостоятельному творчеству.<sup>9</sup> Не окончив полного курса семинарии, Тодорский «идет в люди», работает мелким служащим в Твери и Петербурге. Изредка Тодорскому удается печататься (в газетах, в журнале «К свету» и т. д.). С начала первой мировой войны А. Тодорский — в действующей армии. Вначале он — солдат, затем, окончив школу прапорщиков, становится офицером. В 1917 году, после Февральской революции, Тодорского избирают председателем полко-

<sup>8</sup> Там же, стр. 126.

<sup>9</sup> Там же.

вого комитета. Возвратясь в Вельегонск, А. Тодорский активно включается в советскую работу. В июне 1918 года он вступает в ряды РКП(б). Вместе с отрядом Красной армии Тодорский участвует в подавлении контрреволюционного восстания в гор. Рыбинске, в борьбе с дезертирством по Вельегонскому и Устюженскому уездам. Одновременно он редактирует газету «Известия Вельегонского Совета» и активно в ней сотрудничает. Затем А. Тодорский сражается на фронтах Гражданской войны: вначале на Южном, затем — на Кавказском (в частности — в Дагестане) и, наконец, на Туркестанском (в районе Ферганы) фронте. Он проходит путь от комбрига до помощника командующего фронтом.<sup>10</sup> В середине 1920-х годов А. Тодорский — слушатель Военной академии. В конце 20-х — первой половине 30-х гг. он занимает различные руководящие посты в Красной Армии, в частности — пост начальника Военно-Воздушной академии. За годы советской власти Тодорский был награжден четырьмя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 1955 году он ушел в запас в звании генерал-лейтенанта. В настоящее время А. Тодорский живёт в Москве, занимаясь общественной и литературной работой.

Первая книга А. Тодорского — «Год — с винтовкой и плугом» (1918). История создания этого произведения освещена самим автором.<sup>11</sup> А. Тодорский указывает, что книга создавалась первоначально по поручению Тверского Губкома партии как годовой отчёт о работе Вельегонского Укома РКП(б) Несмотря на значительный объем партийного поручения, его необходимо было выполнить в срок и тщательнейшим образом. Как вспоминает А. Тодорский, на помощь ему пришел весь уездный актив: «Только двери редакций, напряженные вельегонские дни и ночи да многострадальные почтово-телеграфные служащие тех неповторимых времен могли бы в точности и поименно сказать о числе людей, участвовавших в подготовке отчета. В движение пришёл весь партийный и общественный актив <. > Каждый старался помочь справкой, отчетом или добрым пожеланием» (3). Вскоре обнаружилась еще одна важная особенность подготавливаемого отчета. Составитель его был настолько захвачен ощущением огромной исторической значимости происходящих вокруг него событий, что решил не просто ответить на необходимые вопросы, но и дать развернутое описание основных фактов вельегонской жизни. Создаваемый отчет постепенно «приобретал широкое общественное значение и выходил за стены ведомственных канце-

<sup>10</sup> См. А. Тодорский, Год — с винтовкой и плугом, М., изд. «Советская Россия», 1958, стр. 70.

<sup>11</sup> См. А. Тодорский, Ленинская забота о ростках нового, Правда, 1956, 15 апреля; Он же, Воспоминания об истории написания книги «Год — с винтовкой и плугом», Исторический архив, 1958, № 4; Он же, Вместо предисловия, в кн.: А. Тодорский, Год — с винтовкой и плугом, М., изд. «Советская Россия», 1958, стр. 3—4. Ниже все ссылки на это издание даются в тексте; в скобках — страницы цитат.

лярый. Перед глазами вставали не голые факты и цифры, а живые весьегонские Степановы» (3)<sup>12</sup> Подобное понимание задачи, в сочетании с бесспорной «литературной жилкой» автора, и вызвало то, что отчет стал «с каждой страницей все более» принимать «вид литературно-художественного очерка». К 7 ноября 1918 года книга вышла в свет.<sup>13</sup>

Уже краткое изложение обстоятельств создания книги А. Тодорского вызывает естественный вопрос: является ли «Год — с винтовкой и плугом» фактом истории советской *художественной* литературы? Может ли эта книга, родившаяся из «отчёта местной власти»<sup>14</sup>, быть чем-нибудь иным, кроме как, быть может, талантливо написанной, но не имеющей прямого отношения к искусству социально-политической и экономической брошюрой?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует остановиться на некоторых особенностях формировавшейся в 1917—1921 гг советской литературы. Характерной приметой революционной действительности была полная, решительная перестройка самых различных областей жизни, смена привычных форм новыми, невиданными не только в истории страны, но и в мировой истории. Сбывалась мечта А. Блока — «изменить все». Говоря об этом времени, писатель Ив. Касаткин в 1923 г. вспоминал, что в «эпоху гигантских сдвигов» «всё плывет, течет, переворачивается», что в те дни как будто «ушло знакомое, общупанное, нет ни в чем оседания и устойчивости, даже в адресах учреждений и уличных вывесках».<sup>15</sup> В этих условиях одной из существеннейших сторон идеологии передового класса, заинтересованного в познании действительности, становится пристальный интерес к тем конкретным фактам живой жизни, в кото-

---

<sup>12</sup> Г. Т. Степанов — председатель Весьегонского уисполкома. См. о нем в цитированной выше статье А. Тодорского «Ленинская забота о ростках нового», а также в книге «Год — с винтовкой и плугом», стр. 3 и 30.

<sup>13</sup> А. И. Тодорский, Воспоминания об истории написания книги «Год — с винтовкой и плугом», Исторический архив, 1958, № 4, стр. 6. О соотношении книги Тодорского и художественного очерка см. ниже.

До настоящего времени книга «Год — с винтовкой и плугом» выдержала 4 издания. I издание: Александр Тодорский, Год — с винтовкой и плугом. Весьегонск, Издание Весьегонского Уездного исполнительного комитета, 1918. II издание — сильно сокращенное — вышло в изд. «Прибой» в 1924 г. III — полное — М.-Л., ГИЗ, 1927. Это издание, приуроченное к десятилетию Октября, снабжено статьей В. И. Ленина «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», вступительными статьями: «Три книги», «Городок Окуров» и «Строители России», а также стихотворением Д. Бедного «Рак на золотом поле (путевые впечатления)». Последнее, IV издание — М., «Советская Россия», 1958. В нем имеется краткое редакционное вступление, биографическая справка «Об авторе этой статьи» и цитированная выше статья А. Тодорского «Вместо предисловия».

<sup>14</sup> Так определил жанр книги Тодорского Г. Т. Степанов (см. А. Тодорский, Год — с винтовкой и плугом, стр. 3.).

<sup>15</sup> Ив. Касаткин, Литературные ухабы, Красная новь, 1923, стр. 247—248.

рых проявляются закономерности развития нового строя. Читатель, стремящийся понять происходящие события, ищет в литературе информации, фактических материалов и в первую очередь ценит достоверность. О значении «фактов» выразительно писал В. И. Ленин по поводу первых советских газет: «Чрезмерно уделяется места политической агитации на старые темы — политической трескотне. Непомерно мало места уделяется строительству новой жизни — фактам и фактам на этот счет».<sup>16</sup> Особое значение в этом высказывании имеет мысль о том, что «политической трескотне» — повторению уже известных общих положений, добытых из анализа явлений прошлого («на старые темы»), — необходимо противопоставить изучение «фактов и фактов» «строительства новой жизни», фактов, без которых невозможно дальнейшее развитие экономической, политической и т. п. теории социализма. Характерно ленинское отталкивание от всевозможных «общих рассуждений» и тяготение к «собираанию, тщательной проверке и изучению фактов действительного строительства новой жизни».<sup>17</sup> Отсюда установка значительной группы первых советских писателей (в основном, очеркистов и публицистов) на предельную фактическую достоверность и насыщенность произведений. Не случайно именно в период изживания своего ошибочного отношения к революции, в январе 1919 года, А. М. Горький в письме к В. И. Ленину выдвигает идею создания информационного журнала. Главным содержанием его, считает Горький, должны быть «подсчет и разъяснение того, что Советская власть сделала — за год — положительного в разных областях социальной жизни». В крайнем случае, считает Горький, нужно издать «хотя бы брошюру — очерк деятельности Советской власти за год».<sup>18</sup> Столь же определённую установку

<sup>16</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 78. (Разрядка моя — З. М.).

<sup>17</sup> Там же, стр. 79. (Курсив В. И. Ленина).

Тяготение к очерку и прежде обострялось в переломные эпохи, когда возникали новые социальные закономерности, познать которые можно было только, обратившись к еще не освоенному литературой жизненному материалу. А. И. Герцен писал:

«Каждая эксцентрическая жизнь, к которой мы близко подходим, может дать больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, если он не существующее лицо под чужим именем. Герои романов похожи на анатомические препараты из воска. Восковой слепок может быть выразительнее, нормальнее, типичнее; в нем может быть изваяно все, что знал анатом, но нет того, чего он не знал, нет дремлющих в естественном равнодушии, но готовых проснуться ответов, — ответов на такие вопросы, которые равно не приходили в голову ни прозектору, ни ваятелю. У слепка, как у статуи, все снаружи, ничего за душой, а в препарате засохла, остановилась, оцепенела сама жизнь со всеми случайностями и тайнами» (А. И. Герцен, Письма к будущему другу, Полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, т. XVII, Птб, ГИЗ, 1922, стр. 96. Курсив автора. Ср. истолкование этой цитаты: Л. Гинзбург, «Былое и думы» Герцена, Л., ГИХЛ, 1957, стр. 52—53).

<sup>18</sup> А. М. Горький, Собрание сочинений в 30 т. т., т. 29, М., ГИХЛ, 1955, стр. 387.

мы находим в таком ярчайшем памятнике эпохи революции, как книга Дж. Рида «10 дней, которые потрясли мир». Опытный газетчик, Дж. Рид сознательно отказывается в своей книге от ряда специфических черт газетного репортажа: здесь нет ни малейшей погони за сенсацией, нет ярких интервью, нет стремления к острому, неожиданным сопоставлениям фактов и т. д. Нет здесь и газетной лаконичности. Основной тенденцией книги Дж. Рида является стремление к максимальной правдивости и полноте сообщаемых сведений. Центральная установка Дж. Рида — как можно больше увидеть и как можно о большем рассказать. Не случайно в предисловии он сопоставляет свою книгу с жанром, крайне далеким от газетно-журнальной корреспонденции, — с летописью. Проводя важнейшую для революционной идеологии мысль о том, что тенденциозность передового искусства — в его правдивости, Дж. Рид пишет: «В борьбе мои симпатии не были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину».<sup>19</sup> Эту центральную особенность книги Дж. Рида отметил и В. И. Ленин, назвавший ее «правдивым < . > изложением событий».<sup>20</sup> Такую же тенденцию находим и в очерках А. С. Серафимовича, также высоко оцененных В. И. Лениным. Вспоминая о своем творчестве периода Гражданской войны, Серафимович пишет: «Я знал, что самое главное и важное быть правдивым. Советскому читателю не нужно никакого приукрашивания»; зато ясно, что «советский военный корреспондент должен сам побывать в самых дальних закоулках, все лично обследовать, рассмотреть»,<sup>21</sup> что ему необходимо «подбор убедительных фактов и их обобщение».<sup>22</sup>

Важно подчеркнуть слова о «дальних закоулках». Свою миссию подготовки базы для новых теоретических выводов литература могла выполнить только становясь разведчиком, проникая в самую толщу складывающейся новой жизни. Отсюда и стремление к точной документации сообщаемых сведений, к цифрам, рисующим как победы молодого строя («. Знаете, как работают? 7% переработки против четырнадцатого года. А знаете, какие прогулы? 2—3%»)<sup>23</sup>, так и реальные трудности пути к со-

<sup>19</sup> Дж. Рид, 10 дней, которые потрясли мир, М., Госполитиздат, 1957, стр. 13. (Разрядка моя — З. М.) Ср. мысль А. И. Тодорского о том, что «в условиях того времени подлинным и беспристрастным летописцем всей жизни и работы была именно <...> газета» (А. И. Тодорский, Воспоминания об истории написания книги «Год — с винтовкой и плугом», Исторический архив, 1958, № 4, стр. 6).

<sup>20</sup> Там же, стр. 5.

<sup>21</sup> А. С. Серафимович, Собрание сочинений, т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 426.

<sup>22</sup> Там же, стр. 425.

<sup>23</sup> А. С. Серафимович, Собрание сочинений, т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 68.

циализму («Мне показали страшные цифры. За ноябрь на весь бассейн требовалось хлеба 379 вагонов, доставлено 26; за декабрь — 381, доставлено 30; за январь — 379, доставлено 26»)<sup>24</sup> и т. д. Это же стремление к документальности оставалось, как известно, существенной стороной творческой манеры Д. А. Фурманова и в более поздний период. Не случайно и то, что именно в годы Гражданской войны начинается формирование таких выдающихся советских очеркистов, как Л. Рейснер, М. Кольцов и др.

Не только очерки, корреспонденции, социально-политические и экономические брошюры строились на подобной основе; стремление к отображению реальных фактов действительности, как известно, наложило сильнейший отпечаток и на поэзию Д. Бедного (ср., например, систему взятых из газет эпитафий и пояснения их в тексте стихотворений, а также его стихотворные корреспонденции), и на агитационные стихотворения В. Маяковского.

Эта особенность важного русла развивающейся литературы была связана не только с желанием как можно скорее познать закономерности новой жизни, но и с вытекающим отсюда стремлением активно направлять ход событий — с потребностями агитации. Вражеской агитации, построенной на извращении истины, необходимо было противопоставить большевистскую агитацию правдой. Как указывал в уже цитированном письме А. М. Горький, мотивируя мысль о необходимости информационного журнала, только факты «делают теорию жизненно убедительной».<sup>25</sup> А. С. Серафимович также считал важнейшей причиной своего обращения к очерку решение задач правдивой и насыщенной фактами большевистской агитации. «Лжи и клевете надо было непременно противопоставить нашу агитацию», а действенность ее зависела от убедительности фактов.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Там же, стр. 62.

<sup>25</sup> А. М. Горький, Собрание сочинений, т. 29, стр. 387.

<sup>26</sup> А. С. Серафимович, Собрание сочинений, т. VIII, стр. 425. М. Щеглов, говоря о причинах появления первых советских очерков, указывает на два отмеченных выше обстоятельства: «Жанр художественного очерка приобретает особую важность в периоды больших общественных движений, когда одним из основных требований, предъявляемых к литературе, становится требование скорейшего отклика» (М. Щеглов, Литературно-критические статьи, М., изд. «Советский писатель», 1958, стр. 9). Далее отклик расшифровывается исследователем как «информация и агитация»: «Первой потребностью, родящей к жизни целый очерковый слой в литературе, была потребность в узнавании, в широком ознакомлении со страной» (там же).

«Наряду с этим очерк был важнейшей литературой *воспитания и агитации*. Еще в те времена, когда вопрос о победе в Гражданской войне не был окончательно решен, очерк в силу своей связи с печатью — коллективным организатором и пропагандистом нашей партии — был самой советской струей в литературе. Вспомним, например, очерки Серафимовича периода Гражданской войны, которые выполняли роль непосредственной информации и глубокого партийного комментария к событиям». (там же, стр. 9—10. Курсив автора, разрядка моя — З. М.).

И, наконец, необходимо указать еще на одну важнейшую сторону подобного стремления к документальности и непосредственному отражению конкретных фактов реальной действительности — на сторону собственно-эстетическую.

Мысль о том, что надо как можно точнее отразить как можно большее число жизненных фактов, была одновременно и формой утверждения действительности как наиболее интересного и достойного писательского внимания объекта. При таком подходе к вопросу, источником эстетического объявляется, в первую очередь, сама жизнь. П. С. Коган, вспоминая эпоху революции, утверждал, что «гениальным спектаклем» тех дней были коммунистические субботники,<sup>27</sup> «образцом волнующей лирики» — приказ Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов,<sup>28</sup> «классическим образцом социальной сатиры» — ответ Наркоминдела на заявление Антанты<sup>29</sup> и т. д. Не случайно, лучшим писателем тех дней он объявляет, наряду с авторами декретов, справочников и т. д. — Д. Бедного, причастного к «созиданию новых форм жизни».<sup>30</sup> Этой мысли противостояло стремление писателей «внутренней эмиграции» уйти от «безобразной» современности, — стремление, объединяющее даже субъективно весьма далеких друг от друга авторов. Так, о полной «нелитературности» современной темы постоянно говорит реакционный критик В. Ховин. Ховин утверждает, что, якобы, нелепо видеть «в авторах декретов» «творческую силу», а в «толпах, поддерживающих их (большевиков, — З. М.) исключительно силою бесшабашного нигилизма», — «нового читателя».<sup>31</sup> Выход он видит в возвращении «к просторам своей творческой независимости», которая тут же саморазоблачается как «творческий бунт» против «каменных изваяний идолов, сотворенных по своему образу и подобию сегодняшними чемпионами мира».<sup>32</sup> Эти же мысли повторяются далекоим от Ховина и идейно, и по эстетическим вкусам, но переживающим в те годы глубокий идейный кризис (сменивший неясные восторги конца 1917 года) А. Белый. Белый также утверждал, что бурная современность и искусство — несовместимы, и собирался «откровенно заявить читателю о невозможности русскому писателю в настоящее время работать над крупным произведением».<sup>33</sup> Всякую уста-

<sup>27</sup> П. С. Коган, Литература этих дней, изд. 2-е, Иваново-Вознесенск, изд. «Основа», 1924, стр. 17.

<sup>28</sup> Там же, стр. 20.

<sup>29</sup> Там же, стр. 21.

<sup>30</sup> Там же, стр. 25.

<sup>31</sup> Виктор Ховин, Сегодняшнему дню, Пгг, изд. «Очарованный странник», 1918, стр. 6.

<sup>32</sup> Там же, стр. 7. Все эти рассуждения многократно повторяются и на страницах редактировавшегося В. Ховиным журнала «Книжный угол», в самом названии которого (как и в названии «Записок мечтателей») содержится противопоставление искусства и жизни.

<sup>33</sup> А. Белый, Я, эпопея, Записки мечтателей, Пгг, 1919, № 1, стр. 12.

новку на социальную тематику А. Белый считает гибельной для искусства. «Писатель, обрубленный заданной темой, — только бревно < .> птицы и пчелы свободного творчества покидают его».<sup>34</sup> При этом автор как типичный представитель колеблющейся мелкобуржуазной интеллигенции субъективно стремится не служить ни старому («предприниматели литературных кафе»), ни новому миру («животрепещущая культурная работа, лекции, статьи и тому подобные миниатюры»)<sup>35</sup>.

Но логика классовой борьбы, естественно, сближала его произведения этого периода с творчеством так же «бегущих от современности» писателей «внутренней эмиграции» и отгораживала от литературы советской с её тягой к современной теме как форме утверждения революции.

С другой стороны, обращение к новой жизни как сумме конкретных фактов противостояло и пролеткультовской абстрактной поэзии, провозглашавшей новое искусство как «плод реторт и катапульт»,<sup>36</sup> как отражение «классовой психологии». Писатели-очеркисты, в первую очередь, изучали новые формы бытия, подготавливая тем самым характерное для социалистического (как и для критического) реализма понимание природы характера героя. Это было отличие между действительным принятием революции, во всей её полноте, и принятием её лишь «в целом», в «очищенном», теоретически препарированном (а иногда и искаженном) виде.

Надо отметить ещё одну важную особенность литературы, связанной с непосредственным обращением к фактам действительности. Важность и сложность изучения только что возникающего, бурный рост нового и быстрая смена событий, требующие высокой оперативности, создавали условия, при которых объективно наибольшую ценность приобретала тема, достоверность и широта охвата фактов, а не тщательность их художественной обработки. Отсюда возникало стремление противопоставить революционное искусство, как искусство содержания, дела, литературе реакционной как литературе формы, слова. Стремление это красной нитью проходит, например, через поэзию В. Маяковского, с её отказом от слов («словесной не место кляузе!», «отгородимся от бурь словесных молот»), её презрением к «чистой» форме («теперь для меня неважная честь, что чудные рифмы рожу я») и тяготением к делу («поэт-рабочий»), к поэзии социального содержания. Отсюда же сближение первых советских художников слова — профессионалов и писателей, вообще не ставивших перед собой художественных задач: их роднит внимание к конкретным сторонам жизни, стремление осмыслить их в марксистском духе

<sup>34</sup> Там же, стр. 7.

<sup>35</sup> Там же, стр. 11—12.

<sup>36</sup> См.: Красный Молот, Долой Пролеткульт!, Грядущее, 1920, № 9—12, стр. 87.

и установка на агитационность. Создавалось весьма своеобразное положение. Писатели, 1917—21 гг., не являющиеся профессионалами, вносят значительный вклад в подготовку расцвета советской художественной литературы 20-х гг., реалистически решая вопрос об отношении искусства к действительности. Писатели же, которые в период Гражданской войны отворачиваются от «животрепещущей» действительности во имя задач «чистой» профессионализации, в конце концов оказываются и художественно бесплодными и в развитии советской литературы 20-х гг. заметной роли не играют (если, разумеется, не меняют своих позиций). Сам тип профессионального писателя, «только писателя», в эти годы нередко является синонимом человека, не принимающего революции. Вырабатываются новые формы отношения литератора к жизни, что нашло яркое отражение в известной мысли Фурманова о необходимости для советского писателя активного участия в практике общественной борьбы.<sup>37</sup> Отсюда естественно то огромное значение, которое приобретали для литературы произведения, не ставившие перед собой собственно литературных задач, произведения непрофессиональные, созданные непосредственными участниками классово-вой борьбы.

Необходимо сразу же оговориться. Во-первых, не следует забывать, что наряду с путем в художественную литературу от очерка, у молодого искусства было и много других путей, особенно заметных в поэзии и драматургии. Во-вторых, речь идет только о периоде Гражданской войны. Как мы уже говорили, отказ от специфической установки на «художественность» сам был определенной формой художественности. Однако, такое, в значительной степени негативное, решение вопроса возможно было лишь в начальный и краткий период истории советской литературы. На следующем этапе неизбежно возникли новые, значительно более гибкие и глубокие представления об эстетической природе новой советской литературы. В дальнейшем, когда создадутся объективные условия для развития художественной стороны искусства, для объединения наблюдений и выводов в единстве художественного образа, отрицание или принижение эстетической функции литературы станут тормозом для ее развития. Тормозом станет и лефовское сведение искусства слова к очерку и агитке, и отрицание типа профессионального писателя, и игнорирование вопросов формы. Но в годы Гражданской войны дело обстояло иначе. Не следует забывать, что именно В. И. Ленин считал книги практических «работников, действовавших в массе и с массой, в настоящей гуще живой жизни», произведениями «наиболее правдивыми, наиболее бесхитростными, наиболее богатыми ценным фактическим содержанием» и весьма невысоко отзывался о «книжных работах за-

<sup>37</sup> См. Д. Фурманов, Сочинения в 3 тт., т. 3, М., ГИХЛ, 1952, стр. 205.

писных литераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни».<sup>38</sup>

Одним из таких произведений, созданных «в настоящей гуще живой жизни», была и высоко оцененная Лениным книга А. Тодорского «Год — с винтовкой и плугом».

Ленин использовал собранные Тодорским материалы как объективную научную информацию о положении на местах, включая её в ряд других фактов, послуживших основной для решения им теоретических вопросов.

Автор книги не ставил перед собой специфически литературных задач. Подобно большинству очеркистов периода Гражданской войны, А. Тодорский, в первую очередь, стремился собрать как можно больше материала из жизни «красного Восьегонска» за год новой власти. Стараясь дать представление, во-первых, о процессе становления нового и, во-вторых, о разных сторонах этого процесса, Тодорский строит свою книгу хронологически (внутри I части и отдельных глав II части) и тематически (принцип деления книги на 2 части, соответственно двум основным функциям новой власти, а также принцип деления II части на главы). Первая часть книги — «С винтовкой» — рассказывает об основных этапах борьбы с угнетателями на территории уезда за период с ноября 1917 по ноябрь 1918 г.; вторая часть — «С плугом» — повествует о развернувшемся в городе и уезде строительстве в различных областях экономической, политической и культурной жизни. Такая структура живо напоминает приведенную выше мысль Горького о необходимости информации о достижениях «в разных областях жизни», причем за год.

Но Тодорский, разумеется, не ограничивается простым отбором и систематизацией материала. Пристальное внимание к действительности в сочетании с общим марксистским взглядом на мир позволили писателю создать одну из самых первых советских книг, в которой давалось объективно-правильное решение вопроса о характере и перспективах русской революции.

Многочисленные проблемы, решаемые в книге А. Тодорского, в основном, могут быть сведены к двум, Это, во-первых, — утверждение права народа на классовую борьбу с угнетателями и мысль о неизбежности победы революции, а, во-вторых, — представление о социалистическом характере происходящей революции.

А. Тодорский обратился к весьма сложной задаче — показу революции «во глубине России», в тех «самых дальних закоул-

<sup>38</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 363. Разрядка моя — З. М. В. И. Ленин долго и внимательно изучал книгу А. Тодорского. Материалы, характеризующие это изучение, см. в статье: «К истории написания В. И. Лениным статьи «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», Исторический архив, 1958, № 4; см. также альбом «Ленин в Кремле», М., изд. «Искусство», 1958 (стр. не нумерованы) и В. И. Ленин, Сочинения, т. 36, стр. 525.

ках», о которых писал А. С. Серафимович. Эту сторону произведения подчеркнул В. И. Ленин, назвавший «Год — с винтовкой и плугом» книгой о «ходе революции в захолустном уезде».<sup>39</sup> Столкновение «захолустья» и революции и составляет внутреннюю логику построения книги. «Год — с винтовкой и плугом» начинается с краткого описания прошлого Восьегонска. В этом прошлом автор выделяет две основные особенности: безжалостную эксплуатацию народа (см. стр. 6) и в то же время отсутствие традиций классовой борьбы, мещанскую застойность жизни (глава «Тихая заводь») Сопоставление Восьегонска с заводью, с болотом, «желанным приютом беззаботных лягушат» (6), сразу же вводит нас в круг определенных традиций, объективно продолжавшихся книгами типа произведения Тодорского. Это — традиция последовательного разоблачения «идиллии» мещанского застоя, показ его как сочетания жесточайшей «азиатской» эксплуатации с экономической отсталостью и неразвитостью социальных противоречий (М. Е. Салтыков-Щедрин, «Ненастоящий город» В. Г. Короленко и т. п.). Но общий ход мыслей Тодорского, обобщавшего опыт пореволюционной жизни уезда, выводит его за рамки указанной традиции. На это тонко указал сам писатель в предисловии к последнему изданию «Года — с винтовкой и плугом»: «В общественном сознании дореволюционной России господствовало убеждение о вопиющей захолустности нашего края. Восьегонск не случайно попал под острое перо наших сатириков: Н. В. Гоголя — в VII главе «Мертвых душ» — и М. Е. Салтыкова-Щедрина — в V главе очерков «За рубежом», где он пишет: для того, чтобы «Версаль превратить в Восьегонск», нужно не воображение, а «самое обыкновенное оцепенение мысли» (4) Но автор и его соратники были свидетелями огромных изменений в жизни города, его превращения из «уездной, звериной глуши» в один из участков ожесточенной классовой борьбы и начала строительства социализма. «Мы имели все основания гордиться», — пишет автор в предисловии (4). В этом плане книга Тодорского развивает традицию горьковского интереса к России «окуровской», провинциальной, взятой со стороны её революционных потенций. Тодорский одним из первых в советской литературе показал возможность победы революции в русском «захолустье», — и в этом историческая ценность его книги.

Новое для Тодорского воплощено в Советах как власти подлинно народной, и по социальному составу её органов (см. стр. 23), и по характеру действий (гл. «Что сделал Восьегонский совет в деле помощи деревенским беднякам», «Революционный отряд в Чамерове» и др.). Советская власть противопоставляется в этом плане царизму и Временному правительству (см.

<sup>39</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 28, стр. 363.

стр. 50). Сущность её — борьба за всеобщее равенство: «. Сейчас одинаковы и Петербург, и Весьегонск, и Макарово, и Ленин, и Мокин, и все те, кто живет в вольных поселках, слободах и городах и трудится над отшлифовкой вольной советской республики» (55).

Утверждая новое, Тодорский постоянно подчеркивает, что единственно возможным путем к его победе является классовая борьба, революция. Эта мысль неоднократно проводится автором в I части книги, которая заканчивается восторженным прославлением «винтовки» — классовой борьбы с угнетателями: «Празднование сегодняшнего дня, дня нашей пролетарской пасхи, мы добились потому, что держали крепко в своих руках винтовку <. > винтовка, и только одна она, добьётся, завоюет то светлое время, когда во всех уголках земного шара заблестит заря новой жизни» (44) Разоблачая либеральные иллюзии (сохранявшиеся в сознании определенных слоев непролетарского населения «уездной Руси», а потому представлявшие серьезную опасность), Тодорский показывает бесплодность «убеждения» врага: «Там, где нужна сила и суровые меры, слова оказываются бессильными» (16). В то же время — что особенно важно — Тодорский показывает, что именно люди революции являются носителями идей высокой гуманности. Красная армия, уничтожающая контрреволюцию в уезде, постоянно стремится «избежать невинных жертв» (21, 34), она отличается глубоко человеческим отношением, и это хорошо понимало всё население (см. стр. 24, 25) и т. д.

Мысль о том, что именно классовая борьба является формой осуществления идей гуманности, — центральная мысль и революционной публицистики, и революционного искусства 1917—1921 гг. Она объединяет всю советскую литературу периода Гражданской войны и противостоит абстрактному, контрреволюционному псевдо-«гуманизму», — тому «социализму», сущностью которого, было, как это показал В. И. Ленин, лакейство перед буржуазией.<sup>40</sup> Именно такой, предельно абстрактный «гуманизм» (а не всегда — прямое отрицание нового строя) был основной особенностью литературы «внутренней эмиграции» от рассказов Е. Замятина, утверждавшего, что революция, «кровь» будит в человеке «зверя» («Мамай»), стихотворений Вяч. Иванова с их призывом к примирению людей — «двойников»<sup>41</sup> или произведений А. Толстого первых лет революции («Милосер-

<sup>40</sup> См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 501.

<sup>41</sup> Ср.: Как Мать Сыра Земля томится,  
Как стосковалась — по любви!

Когда ж противники увидят  
С двух берегов одной реки,  
Что так друг друга ненавидят,  
Как ненавидят — двойники?

(Вяч. Иванов, Человек — един, Записки мечтателей, 1919, № 1, стр. 97).

дия!), I редакция «Смерти Дантона» и т. д.) и т. д. — до детских стихотворений декадентской поэтессы П. Соловьевой (Allegro), поучавшей юных читателей, что героем является тот, кто «сумел /Всем тем страстям, что в звере есть,/ Большую жалость пред-почсть».<sup>42</sup>

Если признание исторической правомерности классовой борьбы объединяло всю молодую советскую литературу, то дальше у советских писателей начинается ряд значительных идейных расхождений в понимании сущности революции, ее социального характера и задач. В решении этих вопросов Тодорский стоит на последовательно коммунистических позициях. Его книга оказывается особенно близкой к произведению Дж. Рида «10 дней, которые потрясли мир».

Подобно Дж. Риду, Тодорский показывает, что ведущей силой революции является пролетариат, люди «большевикско-ленинского толка» (как скажет Тодорский в своей второй книге). Подобно Дж. Риду, закончившему свою книгу главой «Крестьянский съезд», где говорится о поддержке пролетариата трудовым крестьянством, Тодорский уделяет много места вопросу о взаимоотношении революционного авангарда с непролетарскими слоями населения уезда. Он рассказывает о терпеливом воспитании крестьян (гл. «Перелом в настроении крестьянства»), трудовой интеллигенции (см. стр. 35—36) и о том, как постепенно укрепляется союз рабочего класса и крестьянства.

Важной особенностью советской литературы 1917—1918 гг., последовательно связанной с коммунистической идеологией, было акцентирование вопроса о созидательной стороне социалистической революции. Напротив, писатели, принимавшие Октябрь в основном с точки зрения «походя» решаемых им задач демократической революции, сталкивались позитивную сторону событий в плане своих патриархально-утопических идеалов (С. Есенин) или вовсе отказывались решать этот вопрос (А. Блок).

Тодорский (опять-таки подобно Дж. Риду, увидевшему созидательное начало революции уже в период 10 дней её осуществления, А. Серафимовичу, не случайно давшему своей книге очерков о революции подзаголовок «Фронт и тыл», поэзии В. Маяковского и Д. Бедного и др.) посвящает вопросам созидания всю 2-ю часть книги. Объявляя виновниками развала в хозяйственной жизни уезда царизм и Временное правительство (см. стр. 10, 60—61 и др.), Тодорский многочисленными примерами доказывает мысль о творческих силах народа. Писатель перечисляет основные достижения города и уезда в области хозяйственной и культурной жизни; говорит о строительстве железной дороги Овинище — Суда, о проведении телефона,

<sup>42</sup> П. Соловьев (Allegro), Бочонок. Герой. (2 сказки), М.-Л., 1922, стр. 4.

электрификации уезда, постройке 2-х заводов, о работе типографии, выпуске газет, организации школ, культурно-просветительной работе и т. д. Характерно при этом, с одной стороны, восторженное отношение Тодорского к техническому прогрессу (см. стр. 53—54), с другой — отсутствие абстрактного «технизма» и противопоставление капиталистического и социалистического прогресса, характеристика последнего как идущего «на пользу трудовому люду» (48).

Наконец Тодорский решает в ленинском духе и вопрос о соотношении в революции сознательности и стихии, организации и анархии. Как и Дж. Рид, умеющий отделить революцию от иногда сопутствовавших ей анархических вспышек, показать подлинных виновников последних и борьбу с ними большевиков,<sup>43</sup> как и Серафимович и Фурманов, подчеркивавшие в очерках периода Гражданской войны элементы организации в армии, на заводах (А. Серафимович «Новая стройка») и др., автор «Года — с винтовкой и плугом» считает начала сознательности и дисциплины ведущими в событиях 1917—1918 гг. Это являлось важным аспектом утверждения именно социалистического характера Октябрьской революции (ср. отношение к стихии А. Блока, С. Есенина и др.). Писатель, не скрывая правды, говорит об отдельных случаях неорганизованного поведения красноармейцев (см. стр. 25). Но, во-первых, он ни в малой степени не склонен считать такие действия революционными и, напротив, утверждает правомерность «сурового наказания» за анархические поступки (25). Во-вторых, Тодорский документированно доказывает, что подобные случаи не были типичными для Весьегонский Красной армии и местных советов, — напротив, революционные кадры Весьегонска состояли в подавляющем большинстве «из сознательных революционеров, подчиненных строгой дисциплине» (25).

Как видим, Тодорский действительно решает важнейшие вопросы эпохи в последовательно-ленинском духе. Вместе с тем, «Год — с винтовкой и плугом» не был ни простой иллюстрацией, ни только популяризацией марксизма применительно к условиям российского «захолустья». Книги такого типа наглядно, с фактами и цифрами в руках, показывали, что объективное изучение действительности, показ «правды и только правды» (25) могут и должны привести именно к марксистскому миропониманию. В этом и состояло историческое значение книг, подобных «Году — с винтовкой и плугом», для развития и советской науки, и советского искусства (поскольку под-

<sup>43</sup> См. Дж. Рид, 10 дней, которые потрясли мир, М., Госполитиздат, 1957, стр. 225 и др. Ср. также утверждение такого далекого от коммунизма, но весьма объективного наблюдателя, как Г. Уэллс, о том, что за отдельные случаи проявления анархии «в конце 1917 года» «в большинстве случаев коммунисты несут не большую ответственность, чем, скажем, правительство Австралии» (Г. Уэллс, Россия во мгле, М., Госполитиздат, 1958, стр. 22).

черкивалась роль в познании конкретного облика явлений).

В «Годе — с винтовкой и плугом» имеются, однако, и некоторые специфические черты, сближающие ее именно с художественной литературой эпохи. Если в значительной мере стиль изложения в «Годе — с винтовкой и плугом» связан с возникновением книги из «отчета местной власти» (цифры, выписки из постановлений, протоколов, резолюций, цитаты из речей, газет и т. д., в ряде мест — протокольно-констатирующие, короткие и четкие фразы), то есть здесь и места иного звучания. То, о чем пишет Тодорский, не только приводит автора к определенным выводам, но и вызывает в нем яркие, сильные чувства. Отсюда — появление в ряде мест книги эмоционального стиля, который сближает «Год — с винтовкой и плугом» с газетной публицистикой революционных лет, а иногда — и с социально-политической лирикой этого периода. Как правило, А. Тодорский вначале точно и сжато рассказывает о событиях, а затем, говоря об их общем значении, выразит и свое отношение к ним, причем стиль в этих случаях резко меняется (ср., например, стр. 62—65 и 66—68 книги). Возникают своеобразные лирические вставки.

Характерно, что этот эмоциональный пафос сопровождает не изложение отдельных фактов, а осмысление общих законов — это пафос познания, пафос мировоззрения, понимаемого как «могучая музыка» (Маяковский). Данное обстоятельство, с одной стороны, сближает книгу Тодорского с научной публицистикой (где раскрывается поэзия познания закономерностей). С другой стороны, однако, это роднит «Год — с винтовкой и плугом» с лирикой периода революции, влхновленной именно общими перспективами борьбы и игнорирующей подчас её конкретные проявления.

Эмоции, которыми пронизана книга, не отличаются многообразием, нюансами (как и во всей литературе периода), но зато они волнуют силой и искренностью. Это — чувства человека, воспринимающего мир как окрашенный в «два цвета». Поэтому эмоции книги легко можно разделить на 3 группы: чувства восторженного принятия всего нового, революционного; чувства ненависти к врагу и чувства презрения, насмешки над уходящим в прошлое миром эксплуатации. Отсюда — 3 стиля повествования в эмоционально звучащих отрывках: восторженный «гимн» в прозе (концовки I и II части), «инвектива» — обличение старого и сатира на классового врага. Все эти стили характерны не только для книги Тодорского, но и для митинговых речей, публицистических брошюр и газет той поры (в частности, и для редактируемой самим Тодорским газеты «Известия Восьмого Советского Союза»), а также и для художественной литературы. Н. К. Крупская не случайно отметила наличие в стихотворениях Д. Бед-

ного двух основных струй — «пафосной» и сатирической,<sup>43а</sup> что отражало отношение поэта к двум классам — участникам борьбы: прославление нового и осмеяние старого. Эти же две тональности ощущаются и в поэзии Маяковского 1917—21 гг., они отражены и в названии его первой послеоктябрьской пьесы — «Мистерия-буфф». «Инвектива» (строящаяся, в отличие от сатиры, на отрицательных образах «высокой» тональности) нашла свое наиболее яркое выражение в известном стихотворении В. Брюсова «Товарищам — интеллигентам», отчасти — в «Скифах» А. Блока и т. п.

Места торжественного звучания в книге Тодорского обычно написаны прозой с элементами ритмизации (периоды, анафоры, ряды фраз с параллельной конструкцией, повторы и т. д. — по стилю довольно близко к стихотворениям в прозе А. Гастева). Лексика в этих местах торжественная, иногда — с оттенком архаичности («доблестно», «вольные», «не молим о пощаде» и т. д.), образы берутся из «высокой» сферы героической борьбы и героического труда (советские люди — «броневая стена, которая доблестно выдержала уже много ударов» — 69; крестьяне уезда — «вольные пахари, советским плугом разрыхляющие запущенную барами ниву» — там же) и т. п. Иногда встречается и характерное для литературы тех лет тяготение к использованию церковной лексики и навеянных ею образов («революция — наша пролетарская пасха» — 44; пролетарское мировоззрение — «то евангелие, которое возвестила освобожденному подъяремному народу истинно народная советская власть» — 10; и др.) В отличие от мест информационного характера, отрывки эмоционального звучания содержат много сравнений и метафор, часто развернутых. Образы Тодорского идут в общем русле публицистики и поэзии тех лет. Ср., например, сопоставление угнетенных с мухами, а угнетателей — с пауками (12), возможно, навеянное книжкой К. Либкнехта «Пауки и мухи», изданной в Вельсегонске в 1918 г. (см. стр. 51), но, впрочем, весьма распространенное в те годы вообще: оно встречается и в баснях Д. Бедного, и — как воспроизведение языка митингов — в рассказе В. Шишкова «Коммуния»<sup>44</sup> и т. п.

При обличении врага также используется ритмизированная структура фразы, «высокая», местами архаическая лексика («тунейдцы», «насильники», «мятежные кулаки»), а также особая система отталкивающих отрицательных образов (враги — «вороны черного стана», «ночные филины и совы», «хищные шакалы») и т. д. Повторяем, во всех этих образах Тодорский далеко не всегда оригинален; он и не стремится к оригинальной

<sup>43а</sup> См. Воспоминания родных о Ленине, М., Госполитиздат, 1955, стр. 197.

<sup>44</sup> Ср. «. Кто ваши Гуляевы? Пауки вот кто. А вы мухи. В паутину — хлоп, вот вам и карачун» (В. Шишков, Коммуния, Пламя, 1919, № 45, стр. 5).

манере выражения, а лишь к силе выявления классовых чувств.<sup>45</sup> Индивидуальное своеобразие эмоционально окрашенных отрывков у Тодорского составляет, пожалуй, только мастерское построение периодов, звучащих торжественно и, вместе с тем, предельно доходчиво.

В отрывках сатирического звучания основной прием — ирония: иронически употребленные «высокая» лексика и образы («Весьегонск остался благословенной Аркадией; — 6), в том числе и библейские (кулаки вышли, «как Лазарь из гроба» — 11), а также дающее комической эффект столкновение социально-политической терминологии и бытовых понятий при характеристике врага («контрреволюция <. .> стала с каждым днем хиреть и таять, как старая дева, теряющая последнюю надежду на замужество» — 30) Реже используется комизм положений (ср. при характеристике главаря кулацкого восстания сопоставление его внешности: «В полном походном снаряжении, с офицерскими ремнями. Обязательные шпоры» — и поведения: «Как герой тыла, первым удрал из сопротивляющегося отряда еще до выстрелов» — 20). Часто встречаются поговорки и поговорки («не до жиру — быть бы живу», «при царе Горохе»), крылатые выражения из различных литературных источников (городовой в Весьегонске «как будто стоя спал» — 7; «в кулацком стане «смешались в кучу кони, люди» — 43 и т. д.), «литературные» сравнения (кулаков прижали, «как крыловского волка»; — 43) и т. п. Круг литературных цитат и сравнений берется при этом такой, чтобы он был понятен самому широкому кругу читателей (хрестоматийно известные басни Крылова, «Бородино» и др.).

Последнее обстоятельство весьма существенно. Ориентация на самую широкую, подчас мало подготовленную аудиторию пронизывает книгу А. Тодорского, накладывая сильнейший отпечаток на ее облик. Понимая революцию как социалистическую и считая основной формой воздействия на крестьянство убеждение, А. Тодорский, естественно, приходил к мысли о важности агитационной литературы. Эта последняя подразумевала двойное различие между автором и читателем: социальное (сознательный идеолог коммунизма и стихийно тянущаяся к нему, но подчас колеблющаяся крестьянская масса) и культурное. Первое обуславливало тематику книги, отбор проблем, наи-

<sup>45</sup> Ср. высказывание А. С. Серафимовича о том, что в его очерках периода Гражданской войны «индивидуальные черты творчества исчезали» (Собрание сочинений, т. VIII, стр. 426) и, с другой стороны, рассуждения А. Белого о том, что настоящая культура создается лишь «при условии отделенности личностей, выветвляющих индивидуально растущую крону» (А. Белый, Записки мечтателей, Записки мечтателей, 1919, № 1, стр. 8). Повторяем, подобное противопоставление (как и противопоставление художника-профессионала и практического работника из «гущи живой жизни», пишущего очерк) имело смысл лишь в годы Гражданской войны. В 20-х гг. оно стало уже вульгаризацией, тормозящей развитие литературы.

более нуждающихся в разъяснении, — второе заставляло думать о специфике формы, наиболее доступной этому читателю. Поиски такой, особо удобной для целей агитации формы приводят Тодорского, с одной стороны, к использованию приемов ораторской речи (прямые обращения к аудитории, риторические вопросы, восклицания и т. п.) — черте, без которой немислима и поэзия В. Маяковского и Д. Бедного (ср. подзаголовок стихотворения «Правда» — «С товарищами красноармейцами беседа по душам» и т. п.), и газетная публицистика тех лет. С другой стороны, — что особенно интересно, — автор, чтобы сделать социально-политические выводы и обобщения наиболее доступными читателю, облакает их в условную форму конкретных сценок-иллюстраций. Иногда это — развернутые метафоры (например, образ весьегонской «завоуди», постепенно превращающейся в «бурную реку»). Но часты здесь и сценки иного типа — не метафоры, а своего рода «плакатные» иллюстрации общих положений, концентрирующие признаки целого ряда явлений в один зрительно-воспринимаемый образ. Так, развивая общую мысль о переходе врагов летом 1918 года к наступлению на революцию, Тодорский создает «наглядный» образ «пробудившегося кулака»: «Кулак пробудился.. Сладко расправил свои руки, надел смазные сапоги, помазал волосы лампадным маслом, повесил на жилете цепочку, осенил себя широким крестным знаменем и не спеша принялся за свое так хорошо знакомое ремесло: драть семь шкур со своего ближнего.

— Довольно царствовать этой голи! Полно гневить богато! Пора начинать жить по-старому!», а жена его в это время «уже начищала самовары для дорогих гостей кулака и примеряла вытщенные из подвала салопы» (11—12) и т. д.

Совершенно очевидно, что речь здесь ни в малой степени не идет о каком-то конкретном кулаке. И имя Тит Титыч, нарицательное еще со времен Островского, и все действия персонажей показывают, что в героях и событиях автора интересуют не конкретные, неповторимые черты, а лишь общие, социально-типические стороны явления. Индивидуальное, зрительно-воспринимаемое отдельное явление здесь возникает лишь как результат стремления к «наглядности» выводов, а потому носит условно-плакатный характер. Сказанное как будто бы противоречит тому, что говорилось выше о роли конкретных фактов в книге А. Тодорского. Но противоречие это — только кажущееся. К конкретным фактам реальной жизни писатель относится как к основе для обобщений; художественный же образ он рассматривает как пояснение, и иллюстрацию уже имеющихся в его распоряжении и полученных научных путем выводов. В этом отразилась характерная особенность советской агитационной литературы 1917—1921 гг. — недооценка искус-

ства, художественного образа как особой формы познания, сведение процесса познания к его только научной форме, а специфики искусства — только к его большей доходчивости. Сказанное объясняет, почему основными формами этой литературы были либо очерки, либо произведения широкого обобщающего плана, показывающие основные закономерности истории: в первых как бы накапливался материал, необходимый для общих выводов — во вторых эти выводы пояснялись «плакатными», зрительно-осязаемыми образами. Но отсюда видно и принципиальное отличие агитационного искусства периода Гражданской войны от некоторых «иллюстративных» произведений, которые наносили впоследствии большой вред развитию советской литературы: в основе последних лежала ошибочная мысль о ненужности проверки готовых выводов, в основе первых — недооценка художественных форм познания. Поэтому совершенно неверным было бы противопоставление агитационной литературы 1917—1921 гг реализму. Более того: агитационные произведения и в их наиболее ярком выражении (В. Маяковский, Д. Бедный), и в их, так сказать, «массовом» виде были связаны с формированием реализма нового, социалистического, с его пониманием неразрывной связи типического и показа социально-исторической сущности явления и образа. На первых порах при этом внимание автора естественно сосредоточивалось на типическом как основном, а индивидуальное, неповторимое расценивалось как служебное. В дальнейшем, по мере преодоления элементов вульгаризации, художественная деталь начинала осмысляться как единственно возможная форма проявления общих закономерностей. Отсюда — рост внимания к «подробностям жизни», без которых и сами общие закономерности — либо фикция, либо даны грубо, «приблизленно». Об этой линии развития советской художественной литературы писал в свое время Ю. Либединский. В период Гражданской войны «у нас люди давались так: вот комиссар такой-то. Ему надлежит обладать такими-то определенными чертами. Мы и давали ему такие-то черты и пускали в действие. Дальше — буржуа — ему надлежит обладать вот такими-то чертами. Интеллигент — то же самое, определенный трафарет — и идет в действие». Такой схематизм Либединский в 1927 году считает уже пройденным этапом советской литературы; сейчас ее задача — преодолеть схему, «дать < . > конкретных людей с их сложными внутренними процессами, внутренними перестройками и передрягами < . > Дать личность в конкретности». Вместе с тем, Ю. Либединский понимает исторический смысл схематизма первых художественных произведений советской литературы и видит его в том, что писатель «первоначально выхватывает только основные тенденции < . >

мира и эти основные тенденции пытается воплотить в конкретные образы». <sup>46</sup>

В книге А. Тодорского, естественно, нет еще понимания роли художественной детали. В этом, как и во многом другом, книга отразила существенные «типические» стороны литературы эпохи.

Как мы видели, «Год — с винтовкой и плугом» состоит из трех, сильно различающихся стилистически, но, в сущности, тесно связанных слоёв: протокольно-точного изложения основных событий всеягонской жизни, отступлений и заключений, отражающих эмоциональное отношение автора к изображаемой действительности, и из иллюстративных сценок, поясняющих или дополняющих общие выводы книги. Все эти пласты, тесно между собой переплетаясь, составляют своеобразие облика произведения. Сказанное позволяет ответить на вопрос о жанре книги Тодорского. По ряду существенных признаков «Год — с винтовкой и плугом» ближе всего к очерку. Здесь мы видим ту опору на факты и события реальной жизни, то внимание к конкретному облику явления, освещенное общим марксистским взглядом на мир, которые для советского очерка — в том числе и художественного — являются центральными. Однако это — своеобразный очерк: в нем, с одной стороны, отсутствуют элементы, отсутствующие или редкие в очерке научном («картинки» — иллюстрации и т. п.), с другой — здесь нет таких, например, существенных сторон художественного очерка, как внутреннее единство сюжета, наличие героев и т. д. «Год — с винтовкой и плугом» можно сблизить в некоторых отношениях с теми клубными инсценировками — «живыми газетами», которых так много появлялось в период Гражданской войны и 20-х гг. и которые, сыграв важнейшую роль в развитии художественной самодеятельности, одновременно подготовили и развитие других, исторически более важных жанров молодой литературы. Подобно тематическим «живым газетам», здесь имеются две отчетливо выраженные основные установки: познавательная-информационная и агитационная, причем обе эти стороны еще не слиты органически в единстве художественного образа. Поэтому при четко выраженном единстве мысли здесь нет единства стиля, а различные средства информации и убеждения читателя и зрителя (цифры, факты, лозунги, стихи и сценки — иллюстрации) нарочито быстро сменяют друг друга. Художественное значение книги Тодорского, однако, гораздо шире, чем

---

<sup>46</sup> Ю. Либединский, Реалистический показ личности как очередная задача советской литературы, На литературном посту, 1927, № 1, стр. 26 и 27. Впоследствии ряд критиков из журнала «На литературном посту», как известно, выводил из задач борьбы со схематизмом ошибочную теорию «живого человека». Однако сама по себе приведенная мысль Ю. Либединского о необходимости преодоления схематизма, свойственного советскому искусству 1917—1921 гг., бесспорно, плодотворна.

произведений подобного рода. В последних цифры и факты, как правило, берутся (как и, подчас, образы) из вторых рук — Тодорский в своем произведении сам осуществляет процесс познания действительности на одном из ее участков. Этот процесс — еще не специфически научный, но и не специфически художественный. Поэтому через книги типа «Года — с винтовкой и плугом» проходят, собственно говоря, два важных пути развития советской культуры. Это — путь к научному социально-политическому очерку, а также — путь к художественному очерку и историко-революционному роману фурмановского типа. Подобно книге Тодорского, произведения Д. А. Фурманова соединяют в себе внимательное отношение к реальным фактам окружающей жизни, интерес к документу как отражению подлинного облика явления с партийной страстностью и общим марксистским взглядом на жизнь. Однако сочетание фактов, высокого напряжения чувств и зрительно-ощутимых иллюстраций, составляющее в «Годе — с винтовкой и плугом» три параллельно идущих струи, в очерках Фурманова синтезируется в единстве художественного образа и создает жанр, столь существенный для дальнейшего развития советской художественной литературы. При этом происходит своеобразное «укрупнение плана» каждого изображаемого события. Книга А. Тодорского дает на 70 страницах изображение разных сторон жизни уезда и города за год — очерки Д. Фурманова «Пилюгинский бой», «Уфимский бой» и др. посвящаются показу одного боя. Это, в свою очередь, ведет к появлению не только народной массы — субъекта истории — но и ее отдельных представителей, конкретных, живых людей («Чапаев», поздние очерки Фурманова) Общий, суммарный показ ведущих тенденций жизни сменяется здесь детальным, внимательным изучением тех отдельных явлений, из которых слагаются закономерности. Это влечет за собой как появление индивидуализированных художественных образов, так и более углубленное познание самих закономерностей.

Дальнейшая писательская деятельность А. Тодорского развивалась по двум руслам. С одной стороны, он создает ряд книг документальных, где художественно-публицистические моменты постепенно исчезают, с другой — обращается и к решению собственно-литературных задач (пьеса «Там и тут»).

Из произведений первого типа наибольший интерес представляет написанная совместно с А. Киселевым книга «Черные страницы Восьмого года истории» (1919). Созданная, как и «Год — с винтовкой и плугом», по партийному заданию,<sup>47</sup> книга эта во

<sup>47</sup> 8 января 1919 года Восьмого года Уисполком принимает интересное решение — образовать издательскую коллегию в составе т. т. Тодорского, Киселева и Мокина и поручить ей «собрание исчерпывающего материала по истории Восьмого года, каковой она должна всесторонне обработать и <...> издать не позднее, как 1 мая сего 1919 года», а также собирание по уезду фольклорных материалов. В этом решении, овеянном духом рево-

многим близка к первому произведению Тодорского. Книга посвящена изложению основных моментов истории города и уезда. Сам путь от очерка экономического и социально-политического к краеведческой брошюре вполне закономерен. Он представлен и историей русского классического очерка XIX в.: среди участников сборника «Физиология Петербурга» находился и будущий крупнейший краевед — очеркист В. Даль. Для Тодорского такое движение тоже вполне естественно. История края была для него одним из конкретных участков жизни, который, как и другие участки, должен быть детально и документально изучен. Изучение истории — один из важнейших аспектов познания истины.

Обращение к истории, вместе с тем, рассматривалось авторами книги и как часть просветительной работы с населением, которое должно знать прошлое своего края как культурную ценность: «То, о чем поведали нам деды, не умрет. Мы, слышавшие это, передадим другим, другие — третьим» (48). Обращение народной власти к изучению прошлого противопоставляется безразличию бывших хозяев уезда, которые «не удосужились» заняться его историей.<sup>48</sup>

Подобное отношение к прошлому, осознание его культурной ценности очень интересно. Оно противостояло весьма распространённым в те годы пролеткультовским тенденциям нигилистического отношения к истории и шло в плане осуществления ленинской культурной политики, проводившейся Наркомпросом.<sup>49</sup>

Вместе с тем, обращение к истории было и продолжением агитационной литературной работы, к которой тяготел Тодорский. История Весьегонщины интересовала авторов в значительной степени потому, что опыт прошлого давал возможность читателю лучше ориентироваться в настоящем. Авторы прямо указывали на эту особенность книги: она «предназначается чтению крестьянства уезда, которое должно хоть отчасти взглянуть на прошлое родного края и сделать из него соответствующие выводы, после чего, мы надеемся, многие «не-

---

людионной смелости и масштабности, отразился и несколько наивный максимализм, неясное представление о реальных контурах работы. Сами авторы вынуждены были сознаться, что «в полной мере» задание не могло быть выполнено в срок. Тем не менее, прилагая поистине героические усилия, «отрывая у себя по несколько часов необходимого, к сожалению, для человека сна» (стр. 3 данной книги), Тодорский и Киселев к 1 мая книгу заканчивают.

<sup>48</sup> См. А. Тодорский, А. Киселёв, Черные страницы Весьегонской истории, Весьегонск, Издание Уездного исполнительного Комитета, 1919, стр. 2. Ниже все ссылки на это издание даются в тексте; в скобках — страницы цитат.

<sup>49</sup> Ср. мысли А. В. Луначарского о культурном значении изучения истории: А. В. Луначарский, О преподавании истории в коммунистической школе, Пгг, 1918.

уступчивые» и «непонимающие» будут более внимательны к словам местных большевиков» (2. — Курсив мой — З. М.). В этих целях выбор темы из местной истории тоже был характерен: он отражал стремление показать общие закономерности «наглядно», на примерах из той области, которая ближе всего читателю и лучше всего известна ему.

«Черные страницы Весъегонской истории» — это, конечно, не научный труд по истории края. Как указывают сами авторы, книга не даёт исчерпывающих сведений в этой области, хотя и очень богата интересными материалами. Авторы книги стремятся к тому, чтобы документированно и правдиво, на понятном материале, рассказать читателю об основных законах истории в их марксистском истолковании (поэтому, в частности, книга не полностью строится по хронологическому принципу: I и II части ее содержат краткий социально-экономический очерк истории края и очерк истории классовой борьбы в уезде, а III и IV части посвящены истории двух наиболее хорошо известных читателю форм надстройки: государства и религии.<sup>50</sup>

Авторы «Черных страниц Весъегонской истории», действительно, смотрят в историю марксистскими глазами. Это отражается и в постоянном стремлении подчеркнуть экономическую основу классовой борьбы и всех исторических сдвигов, и в подчеркивании роли народных масс в истории, и в понимании классовой природы государства и религии, и в многократном повторении мысли о том, что вся история классового общества была историей угнетения народа («если от непосильной работы, голода и холода трещали кости весъегонского мужика, так в это же время от сладкой лени, сытой еды и уютного тепла нежно урчал живот весъегонского барина, переваривавшего крестьянскую кровь и силу» — 53) и что выход может быть только в народной революции: «Желанного освобождения можно добиться лишь собственной рукой» (69). Правда, в ряде мест книги встречаются случаи несколько наивного истолкования явлений истории (ср., например, мысль о том, что экономическое неравенство возникло из-за выделения «наиболее хитрых и расторопных» людей и подчинения им остального населения — 9). Особенно ощущается эта наивность там, где история рассматривается как аналогия современности. Последнее ярче всего заметно в характеристике «первобытного коммунизма» на территории Весъегонщины; характеристика эта имеет, в сущности, единственный смысл — показать крестьянам уезда исконность и выгодность коллективных форм собственности. Такое истолкование истории

<sup>50</sup> А. Тодорскому принадлежат главы II («Под игом барства») и IV («Под игом религии»), А. Киселеву — гл. I («Давным — давно») и III («Опора помещиков»). Вступление, выясняющее задачи работы, по-видимому, написано коллективно.

как «урока коммунистической психологии» (весьма, кстати, близкое к мыслям Луначарского о прошлом как об «уроке коллективизма»<sup>51</sup>), однако, не определяет общего облика книги. В подавляющем большинстве случаев выводы агитационного характера здесь не искажают исторического облика фактов. Эта «пропаганда правдой» роднит «Черные страницы Восьмого истории» с первой книгой Тодорского.

Композиция и стилистический облик книги также близки к «Году — с винтовкой и плугом». Интересно стремление подчеркнуть в документах (играющих здесь еще более заметную роль) не только их социальный, но и эмоциональный смысл, стремление показать за цифрами и фактами живую жизнь народа, его страдания и радости. Так, приведя варварский закон XIX в. о наказаниях рекрутов за членовредительство, А. Тодорский добавляет: «Так спокойно повествует канцелярским языком закон того времени, но не чувствуется ли нам за этими холодными буквами весь ужас неволи крестьянства, не проступают ли через эти бледные страницы потоки крови и реки слез сдавленных рабством людей?!» (41 — Разрядка моя — З. М.). Здесь нельзя не увидеть продолжения гуманистических традиций очерка XIX в., всегда стремившегося увидеть за бюрократическим документом — живую жизнь, за мёртвой статистикой — «живые цифры» (Г Успенский) Поэтому авторы стараются отобрать такие документы, содержание которых само по себе способно вызывать яркие эмоции. Это, с одной стороны, свидетельства народных страданий, с другой — документы, так сказать, комической тональности, рисующие тупость и бессмысленность действий «властей предрержащих»: обращение в период первой мировой войны к владельцам не существовавших в уезде аэропланов о запрещении полетов над городом, «Совершенно секретное сношение Тверского губернатора № 950» о надзоре за почтовыми спортивными голубями «во избежание антиправительственных полетов с революционными целями» (124) и др. Такой подход к документу — также один из мостков, ведущих от агитационно-документальных произведений периода Гражданской войны к художественной прозе. Характерно, с другой стороны, стремление ряда писателей тех лет насыщать художе-

---

<sup>51</sup> А. В. Луначарский, О преподавании истории в коммунистической школе, Пг., 1918, стр. 12.

При этом сам А. В. Луначарский решительно выступает против идеалистического истолкования истории «в воспитательных целях» (там же, стр. 5). Здесь отразились не только еще не преодоленные противоречия во взглядах Луначарского, но и его мысль о том, что объективный смысл исторического процесса подтверждает правильность марксизма, а потому определенные, важные для формирования передового мировоззрения выводы могут извлекаться из перенесенного в современность исторического материала, не искажая его подлинного смысла.

ственный текст документальным материалом (ср. «Мятеж» Фурманова).

Специфическому отбору документов соответствуют, как и в первой книге Тодорского, эмоциональные комментарии и обобщения, а также вытекающие из агитационной функции произведения приемы ораторской речи и «плакатные» сценки — иллюстрации. Следует отметить, что если в отношении мировоззрения, понимания задач книги и принципов подхода к материалу позиции обоих авторов в целом тождественны, то стиль их несколько отличен. Повествование А. Киселева, тоже эмоциональное, более бледно по форме, язык не только тесно связан с газетной публицистикой, но и подчас просто повторяет привычные, хорошо знакомые выражения и образы, зарисовок — «сенок» у него почти нет и т. п. Иначе у Тодорского (в чем и проявились его отмеченные выше литературные склонности): он значительно оригинальнее и многообразнее и в структуре ораторской речи, и в образах, а в главах, написанных им, по-прежнему встречаются отмеченные выше образные иллюстрации выводов. Особенно интересно место, где А. Тодорский дает характеристики основных помещиков уезда. Начинается оно с призыва к читателю «посмотреть в последний раз на этих бывших богачей»: «Ну-с, смотрите!». Затем следует «парад» эксплуататоров:

«Равняйсь, барское отродье! —

Смирно!

Паразиты Вёсьегонского уезда, шагом марш!» (48) —

после чего идет перечень основных помещиков по алфавиту волостей и отдельные сатирические зарисовки врагов. Это место книги с его яркой динамикой позволяет уточнить, с каким жанром художественной литературы тесней всего связаны подобные зарисовки: бесспорно, с первыми советскими пьесами. Однако в целом «Черные страницы Вёсьегонской истории» дальше, чем первая книга, от задач и интересов художественной литературы и художественного очерка. Вёсьма заметную роль здесь играют исторические и социально-политические обобщения, изложенные обычным языком научно-популярной брошюры; документ окончательно выходит на передний план; элементы художественного мышления, напротив, играют меньшую роль. Всё это вместе создает яркий облик историко-агитационного, научно-популярного и публицистического произведения, иногда соприкасающегося с революционно-агитационным искусством, но, в целом, связанного с иным — научным — мышлением.

Еще дальше в этом смысле от «Года — с винтовкой и плугом» третья книга А. Тодорского — «Красная Армия в горах».<sup>52</sup> «Красная Армия в горах» продолжает, собственно, лишь одну

<sup>52</sup> А. Тодорский, Красная Армия в горах (Военные действия в Дагестане), М., изд. «Военный вестник», 1925. Предисловие главкома С. С. Каменева.

линию прежних произведений автора — установку на тщательное изучение жизни в её конкретных проявлениях. Однако элементы художественно-эмоциональные и иллюстративные в произведении отсутствуют.

Такое движение очень любопытно и является характерной чертой времени. В начале 20-х гг революция вступает в новую стадию. Эпоха «невиданных еще миром достижений в области пролетарского творчества, военного, административного, общеполитического» сменилась периодом «гораздо более медленного нарастания новых сил». <sup>53</sup> В этот период становится нужным неизмеримо более внимательное изучение законов формирующейся действительности. Если в 1918 г. Ленин писал о необходимости охвата как можно большего количества примеров и «образцов», <sup>54</sup> то в 20-х гг. он требует сплошного анализа явлений экономической и политической жизни страны; отсюда — усиление интереса к статистической науке. <sup>55</sup> Вызванная жизнью потребность углубленного изучения фактов и общих закономерностей уже не могла удовлетвориться очерком, характерным для периода 1917—1921 гг., с его, так сказать, синтетическим (включающим в себя элементы и научного, и художественного познания действительности) методом подхода к явлениям. Такой очерк, невольно ограничивающийся примерами, «образцами», не всегда давал науке достаточного материала для обобщения или давал его слишком узко, локально; — искусству же в нем не доставало интереса к своеобразию, индивидуальной стороне явления.

Поэтому, если коммунистическая идеология периода Гражданской войны находила свое наиболее яркое выражение в газетном очерке и в публицистике (а также в социально-политической агитационной поэзии и пьесе), то с начала 20-х гг. наблюдается, с одной стороны, бурный рост социальных наук, с другой — расцвет художественной литературы. Сказанное, разумеется, ни в малой степени не означает изживания очерка: имена Д. Фурманова, М. Кольцова, Л. Рейснер, С. Третьякова и многих других сами говорят за себя. Но если в годы Гражданской войны лучшие советские поэты стремились, в известном смысле, к «очерковости», то теперь мало-по-малу начинается обратный процесс — очерк равняется в сторону углублённой художественности, образности, мастерства. Достаточно вспомнить известные высказывания Фурманова об изменении его подхода к литературе, <sup>56</sup> его переход к очерку-портрету, рост новеллистического мастерства М. Кольцова, яркую образность языка Л. Рейснер, а в её поздних произведениях («Уголь, железо и живые люди» и др.) — тяготение ко всё более четко индиви-

<sup>53</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 7.

<sup>54</sup> Там же, т. 28, стр. 80.

<sup>55</sup> См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 15.

<sup>56</sup> См. Д. А. Фурманов, Сочинения в трех томах, М., ГИХЛ, 1952, стр. 208, 225—226.

дуализированным образам героев. Более того: безоговорочно правильные для периода Гражданской войны мысли о ведущей роли в литературе публицистики, очерка и очерковой манеры письма, о значении темы, выпуклости идеи и открытой, бьющей в лоб тенденциозности, о второстепенности вопросов поэтической техники, выработки индивидуальной творческой манеры и т. д., и т. п. — теперь постепенно становятся всё более вульгаризаторскими, тормозящими развитие литературы.

Названный процесс имеет и еще одну сторону. В период начавшейся и успешно осуществляющейся культурной революции создаётся возможность уже не приспособляться к культурному уровню малоподготовленной народной аудитории, а иля, по выражению В. И. Ленина, «немного впереди» читателя, вести его к высотам художественного и научного познания. Это несколько уменьшает роль агитационной (в узком значении слова) литературы, выдвигая на первый план в искусстве ту реалистическую тенденциозность, о которой писал Ф. Энгельс, а в науке — вопросы профессиональной доброкачественности исследования.

В силу сказанного те очеркисты периода Гражданской войны, в которых брали верх художественные устремления, постепенно все больше насыщают очерки элементами эстетическими или переходят от очерка к другим жанрам художественной литературы, а те, у которых главными интересами оказываются научные, — к созданию научных: экономических, исторических, военных и т. п. — трудов.

Это мы и видим в книге А. Тодорского, представляющей собой, по его собственному определению (в письме к автору настоящей статьи). «обычный печатный отчет участника военных событий — широко распространенное явление тех лет, когда почти все командиры и политработники поделились своим боевым опытом или в книгах, или в статьях». В книге затрагивается ряд важных социальных проблем, как волновавших Тодорского и прежде (пути и формы руководства пролетариата непролетарской народной массой), так и новых (вопросы тактики революционной армии), но все они решаются уже в научном плане. Получив назначение быть адресованной не широкой крестьянской аудитории, а специалистам по военному делу — командирам Красной Армии, книга утрачивает агитационный аспект, а вместе с тем и элементы образности в показе действительности. Весь язык и стиль ее — это язык и стиль научного повествования, с рядом не выпадающих из общего тона книги публицистических вставок.

Если после окончания Гражданской войны А. Тодорский отходит от задач художественной литературы, то в период своей весьегонской деятельности он после «Года — с винтовкой и плу-

гом» пишет пьесу «Там и тут».<sup>57</sup> Произведение это, указывает автор, возникло как «следствие запроса местной художественной самодеятельности и отсутствия пьес на злободневные темы». Пьеса «Там и тут» была поставлена в Вёсьегонске, а также в одном из рабочих театров Петрограда и на фронте в театре дивизии. Агитационный характер произведения подчеркнут в подзаголовке — «Для Рабоче-крестьянского театра». Здесь же определена и тематика, поскольку «Там и тут» названа «пьесой из наших дней».

Пьеса состоит из двух действий, внешне сюжетно не связанных и не содержащих общих персонажей, но объединенных единством авторского замысла. В I действии автор рисует сцены из жизни семьи Питерского рабочего; рабочий и его сын мужественно переносят жестокий голод, но не падают духом и уверены в грядущей победе. Во II действии показывается жизнь затаившихся в Вёсьегонской глуши кулаков, их пока ещё сытое, но уже обречённое на неизбежную гибель существование. Тематика пьесы и круг её основных проблем очень близки к двум первым произведениям А. Тодорского. Так, в «Годе — с винтовкой и плугом» важное место занимает вопрос о борьбе с голодом; борьба за хлеб рассматривается как одно из основных проявлений классовой борьбы в уезде (см. стр. 11—12). В пьесе также основные коллизии разворачиваются вокруг вопроса о путях борьбы с голодом. Всей логикой произведения автор стремится доказать зрителю мысль о справедливости реквизиции у кулаков хлебных излишков и о необходимости помочь красному Петрограду.

Центральная мысль пьесы — показ острой классовой борьбы как основной закономерности сегодняшней жизни и утверждение этой борьбы как единственно возможного пути к социализму — также тесно связана с предшествующими произведениями А. Тодорского. Монолог рабочего в I действии пьесы, содержащий прославление надежного друга пролетариата — винтовки, и по мысли, и текстуально близок к концовке I части «Года — с винтовкой и плугом». Во II действии пьесы, опять-таки в выражениях, очень близких и к «Году — с винтовкой и плугом», и к «Черным страницам Вёсьегонской истории», показывается, что всякое ослабление классовой борьбы пролетариата неизбежно приведет к наступлению беспощадного и мстительного врага. В «Черных страницах Вёсьегонской истории» автор предупреждал крестьян, что «слова о мести злобно и ядовито шепчут губы всех помещиков не только нашего уезда, но и всей России, всего мира» (108), что в случае поражения — «гибель, виселицы» (109). В пьесе мысли о мести вкладываются

<sup>57</sup> А. Тодорский, Там и тут, Пьеса из наших дней в двух действиях для Рабоче-крестьянского театра, Вёсьегонск, Издание Вёсьегонского Исполнительного комитета, 1919.

в уста классового врага: напившийся пьяным, бывший деревенский трактирщик Наколай Евстигнеич яростно кричит: «Жги комитет! Бросай в огонь и Вавилок, и Гришек»<sup>58</sup> Ему вторит торгош Иван Борисович и другие представители мира кулаков. Связана с предшествующими произведениями и оптимистическая тональность пьесы. «Победа за нами!» — восклицает Тодорский в конце «Года — с винтовкой и плугом», подводя итоги жизни города после Октября (69). «Мы завершим радостной победой борьбу пролетариата!» — уверенно заявляет главный герой I действия пьесы, Питерский рабочий (17) Неизбежность собственной гибели ощущают в пьесе и эксплуататоры.

В пьесе затрагивается и еще один вопрос, постоянно волновавший писателя, — вопрос о том, с кем пойдут колеблющиеся, еще не определившие своего точного места в классовой борьбе люди. В первых книгах Тодорского — это крестьяне уезда, вначале запуганные врагом и растерянные, но постепенно вовлекаемые в борьбу за социализм. В пьесе — это жена Питерского рабочего, испуганная трудностями первых лет революции и в какой-то мере зараженная настроениями отсталой мещанской массы. На слова Сына о том, что «мы голодны, но что потом будет лучше» (6). Мать отвечает: «Когда это потом? <. .> Слава богу. уж второй год твой отец с товарищами кричат, что они победили, а толку все-таки мало» (6). Матери даже приходят мысли о том, что за хлеб можно сдать «буржую»: «А что же ты думаешь? Чем подышать, так, может быть, можно и спасенье получить. А не все равно, от кого хлеб? Если большевики не дали, может, буржуй даст. Все равно хуже не будет. Ведь жить-то надо!» (7) Далее, однако, Тодорский вновь проводит характерную для него мысль о том, что всех, связанных с трудовой жизнью, можно и нужно перевести на сторону революции. Убежденная мужем и Сыном, Мать в конце концов отправляется на митинг рабочих. Свою полупрезрительную реплику о том, что «бабья-то большевистского развелось много», она дополняет раздумьем: «А иной раз как-будто и правду скажут» (12) Муж провожает героиню радостно-шутливым восклицанием: «Ого! Влево потянуло! Давно пора! Возвращайся оттуда Колонтаей» (12). Так еще раз решает А. Тодорский важный для судеб революции вопрос о том, куда должно «потянуть» колеблющихся.

Наконец, в пьесе, как и в предшествующих произведениях Тодорского, постоянно подчёркивается мысль о ведущей роли в революции пролетариата и «ленинско-большевистского толка»: «Мы сегодня в районный совет провели всех своих. Исключительно большевики!» (11) — говорит Сыну Питерский рабочий. Враги тоже боятся, в первую очередь, «большевистского отродья».

<sup>58</sup> А. Тодорский, Там и тут, стр. 34. Ниже все ссылки на пьесу — в тексте; в скобках — страницы цитат.

Вместе с тем, «Там и тут» — произведение, связанное с закономерностями иного, чем в «Годе — с винтовкой и плугом» и в «Черных страницах Весьегонской истории», жанра. Поэтому оно вносит элементы нового в манеру писателя, а иногда — и в характер решения поставленных проблем.

«Там и тут» — одно из типичных произведений массовой агитационной драматургии периода Гражданской войны — драматургии, представленной часто произведениями не писателей-профессионалов, а рядовых участников революции, работников Политотделов, учителей и т. д., озабоченных созданием пьес нового репертуара. Пьеса эта не занимает такого важного места в истории советской драматургии, как «Год — с винтовкой и плугом» — в истории советского очерка. Тем не менее, в «Там и тут» отчетливо проявились некоторые характерные особенности первых послеоктябрьских пьес-агиток, и это делает произведение А. Тодорского интересным для выяснения некоторых более общих закономерностей развития драматургии 1917—21 гг. В центре первых советских пьес — мысль о праве угнетенных на борьбу за счастье. Эта мысль раскрывается и в условной форме («Мистерия — буфф»), и в плане бытовых зарисовок (А. Вермишев «Красная правда», П. Арский «За красивые Советы»), на материале современном и историческом («Фома Кампанелла», «Оливер Кромвель» А. Луначарского), русском и западном («Канцлер и слесарь» Луначарского), на темах из жизни пролетариата, крестьянства. (А. Неверов «Захарова смерть»), интеллигенции (пьесы Т Майской) и т. п. Без преувеличения, утверждение права на борьбу с социальным злом можно назвать основной особенностью идейного содержания советской драматургии 1917—1921 гг. Напротив, в центре драматургии внешней и внутренней эмиграции стоит утверждение бессмысленности и жестокости классовой борьбы (I редакция «Смерти Дантона» А. Н. Толстого) и прославление «всенселяющей» любви (А. Н. Толстой «Любовь, книга золотая», В. Люсциниус <Влад. Ник. Соловьев> «Легенда о кипрском напитке» и др.).

Структура большинства первых советских пьес также имела ряд существенных черт сходства.

Если в очерках первостепенное значение имела агитация фактом, характерными частными наблюдениями, то для большинства драматургических жанров (и целого ряда жанров поэзии) дело в указанный период обстояло иначе. Не вполне уясняя роли художественной индивидуализации, авторы первых советских пьес рассматривали свои произведения в основном лишь как пояснение определённых общих закономерностей. Хотя закономерности эти были, бесспорно, правильными, отражали реальное положение вещей, но в литературное произведение они не всегда попадали как результат художественных наблюдений автора, а подчас непосредственно переносились из сферы политического сознания. Единичное (как и в отмечен-

ных выше у Тодорского «сценках») возникало лишь как наиболее понятная форма иллюстрации общих выводов (поэтому пьесе «Там и тут» легко можно рассматривать как одну из подобных сенок, развернутых и драматизированных) Это естественно порождало сосредоточение внимания на типических сторонах образа. Индивидуальное сводилось к минимуму, в ряде случаев — уничтожалось, заменяясь непосредственным введением на сцену народных масс и классов — антагонистов,<sup>59</sup> а иногда — оказывалось в известной мере фикцией, поскольку речь шла лишь о представлении общего в форме единичного (отсюда — тяготение текстов подобного рода к иллюстрациям под плакатом — или к пьесе: в обоих случаях сам жанр обеспечивал зрительность, наглядность вывода и позволял сосредоточить словесную характеристику явления на его общих признаках). Такая установка порождала стремление предельно усилить, сконцентрировать общие признаки явления в каждом отдельном образе, что подчас приводило к гиперболе, фантастике («Мистерия-буфф»), но часто, оставляя произведение в рамках бытового правдоподобия, обуславливало характерную для пьес этого рода схематичность героя — «социальной маски» — и ситуации. Сказанное, разумеется, не исключало возможности включения в текст живых зарисовок быта, психологии и т. п. Последнее зависело от наличия в творчестве писателя определенных традиций, от его жизненного опыта, а частью — от степени таланта автора. Так, например, пьесы Серафимовича («Марьяна» и др.), при всей их агитационной четкости, дают и ряд жизненно ярких зарисовок индивидуальных характеров. Тем не менее, все эти пьесы объединены в основном: представление о классовой борьбе как основной особенности современной жизни, переведенное на язык эстетики, дало представление о двух типах полярно-противоположных героев, с противоположным бытом и психологией. Показу этой противоположности и подчинялась, в основном, структура образов и сюжета первых советских пьес.

В пьесе А. Тодорского указанные особенности проявились весьма ярко. «Там — и тут», красный Питер — и кулацкая глухомань, рабочие — и эксплуататоры — таковы два мира, раскрытые в 2-х действиях пьесы. Интересно авторское указание на время действия пьесы: в I акте это «новый 1919 год по новому стилю», во II — «новый 1919 год по старому стилю».

Внутри класса оттенков почти нет. Правда, люди одного класса в пьесе А. Тодорского (полностью выдержанной в тонах бытовой правдоподобности) отличаются друг от друга — внешним видом, возрастом, биографией, жизненным опытом и т. д.,

<sup>59</sup> О пьесах подобного рода см.: О. Цехновицер, Праздненства революции, Л., 1931.

но главное, подчёркиваемое в героях одного класса, — это их общая социальная природа. Так, в частности, решается в пьесе проблема «отцов и детей»: герои отличаются друг от друга не поколениями, к которым они принадлежат, а классами — потому и конфликт «отцов и детей» сменяется здесь полным единодушием старших и младших борцов за общее дело (ср. близкое решение проблемы в ряде сцен пьесы «Канцлер и слесарь»). Проблема «отцов и детей» возникает в эти годы в советской литературе, говорящей о жизни представителей непролетарских народных масс, главным образом, крестьянства (См. А. Неверов «Захарова смерть»). Указанные тенденции обусловили (также характерное для многих революционных пьес этих лет) сочетание в «Там и тут» яркости и искренности общего чувства, бесспорной правильности общей мысли — со схематизмом в обрисовке отдельных характеров. Та предельная концентрация признаков, которая требовалась для «социальной маски» и которая у Маяковского естественно обуславливалась фантастически-условной формой, а у Серафимовича как-то психологически, жизненно мотивировалась, — у авторов с меньшим литературным опытом нередко порождала некоторую наивность характеристик. Положительные герои здесь лишены каких бы то ни было сомнений, колебаний, а отрицательные — малейших признаков человечности: один из кулаков во II действии хладнокровно рассуждает, что по восстановлении старых порядков он «в кипяток перебросает» всех детей бедняков: «Пусть варятся. Все равно толку не будет. Зараза большевистская и к ним пристала» (34)

Однако, повторяем, такая наивность отдельных сцен не нарушает в пьесе ни правды общей мысли, ни чистоты революционного чувства.

Вместе с тем, в пьесе А. Тодорского можно подметить и другую характерную закономерность. В героях из мира врагов-эксплуататоров индивидуальные черты подчеркнуты несколько отчетливее, чем в образах героев-рабочих. Героев II действия, принадлежащих к одному классу, автор стремится как-то отделить друг от друга. Так, здоровая, наглая Катерина Осиповна довольно далека и по манере поведения, и по языку от набожной ханжи Елены Митриевны. В перечне действующих лиц II акта автор дает подробное описание внешнего вида отрицательных героев — для персонажей же I акта он указывает лишь социальное положение и возраст. Правда, и во II действии особенности героев ни в малой степени не заслоняют их социальной общности и характера их образов как «социальных масок», но известное стремление к индивидуализации здесь налицо. Напротив, положительные герои не названы даже по имени. Отличается и язык героев. У персонажей II действия в речи заметны живые интонации:

«Елена Дмитриевна: «Довольно, довольно, Евстигнеич! Мне

только пригубить ради праздника, а много — грех» (26) В речь героев II действия, в соответствии с их социальным положением, автор стремится включить ряд местных слов и форм (срядить, спосуда), подслушанных автором в живой речи крестьян Весе-гонского уезда. В речь мужиков и Катерины Осиповны автор вводит просторечья и вульгаризмы (шушера, голодранцы, лапотники, напрут, голоштанники и т. д., и т. п.) а в реплики Елены Митриевны — слова церковной лексики (окаянные, умопомрачительно, помилосердствуй и т. д.) В I же действии самым живым языком говорит Мать — причем, именно в те моменты, когда, колеблясь, отражает настроения отсталой мещанской массы: счастливая жизнь для рабочих настанет, «когда на горе рак свиснет», «чем поды х а т ь, так, может быть, можно и спасенье получить»; «вот и вы к р у ч и в а й с я» (6—7) и т. п.

Речь же Питерского рабочего и его Сына не индивидуальна, приближена к нормам языка революционной публицистики, насыщена политической терминологией. Стиль их речи — это стиль газеты. Характерно резкое отличие почти сплошного диалога во II действии и сравнительно коротких реплик матери в I действии от длинных монологов Питерского рабочего и Сына. Монологи эти подчас представляют собой длинные самостоятельные отрывки публицистического характера, содержащие эмоциональную лексику и образы лишь в той степени, в какой они свойственны были вообще языку Тодорского и в его первых книгах: «Отец: «Низкая заработанная плата в городе, мало-земелье и убогий домашний скарб в деревне не давали нам возможности особенно угождать своему животу, в котором и тогда так же громко распевали соловьи голода < . > В России еще до войны около хлебных амбаров помещиков и кулаков болели голодным тифом и цынгой и медленно вымирали целые поколения деревенской бедноты < . > В городах, рядом с первоклассными ресторанами, где опивались и объедались богачи, под забором сдыхал наш брат, синеблuzник — мастеровой» (стр. 14). Сын прямо зачитывает матери длинные выдержки из петроградской «Правды» и т. д. Такое заметное различие в степени индивидуализированности характеров и речи положительных и отрицательных героев не случайно. Оно связано со стремлением подчеркнуть качественное своеобразие героя-революционера, человека, сознательно, а потому особенно тесно, связавшего свою судьбу с общим делом своего класса (причем антииндивидуализм здесь прямолинейно сближается с приглушением индивидуальной характеристики) Новый герой — носитель правды, а облик этой «красной правды» неизменен. Напротив, в образах представителей уходящих классов здесь акцентируется их звериная индивидуалистическая разобщенность (что вызывает стремление подчеркнуть «разноликость» отрицательных героев). Это — различные представители разных форм социальной неправды прошлого. Подобное представление оказывалось в ос-

нове значительной части лучших произведений советской литературы периода Гражданской войны. Оно проявлялось обычно в том, что именно отрицательный герой наделялся чертами обиходно-бытовыми и в той или иной степени индивидуальными; чем же герой был положительней, тем более он утрачивал черты личности и растворялся в великом целом бытия и психологии своего класса.

Сказанное особенно заметно в значительных (не только драматургических) произведениях, где дается широкая картина эпохи и сталкиваются между собой представители полярных сил. Такова, например, поэма А. Блока «Двенадцать». В поэме портреты отрицательных героев даны как сумма отдельных индивидуальных зарисовок: «буржуй на перекрестке», «долгополый» поп, «писатель-вития», две «барыни в каракуле» и т. п. Хотя эти зарисовки также дают в первую очередь и в основном социальный тип, однако, старый мир мыслится здесь как мир многоликий, многоплановый, с различными типами людей. Иначе рисуются «двенадцать» — это революционный народ с единым портретом («в зубах цыгарка, примят картуз»), без вариаций, без имен. О них говорится всегда во множественном числе. Индивидуальные вариации (с одновременным появлением имени героя) мыслятся только в двух случаях. Во-первых, — когда речь идет об отступниках, предателях (изменница — Катька, «был Ванька наш — а стал солдат»). Во-вторых, — когда представитель революционного народа в чем-то отходит от нормы поведения нового человека-массы. Это — Петруха. Пока речь идет о нем как о части революционной массы, с её священным правом на разрушение и месть, Петруха выступает в общем диалоге как безымянный герой (гл. 2: «Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, мою попробуй — поцелуй»), а в его лирических размышлениях (гл. 5 — «У тебя на шее, Катя .», гл. 8 — «Ох ты, горе-горькое! .»), выдержанных в духе народной частушки или песни, первое лицо явно носит обобщенный характер и говорит не столько об узко-личных, сколько об общенародных чувствах — всё о том же праве мести. Неясно даже, представляют ли эти главы монолог Петрухи или лирическое авторское отступление. Само имя «Петруха» (если исключить малозначащий диалог в гл. 6: «Андрюха, помогай! — Петруха, сзади забегай!») упоминается в поэме только в двух случаях — и оба раза в связи с «неправильностью» его поведения. Первый раз речь идет о том, что он предается недостойному красногвардейца унынию по личному поводу — жалеет убитую Катьку. Товарищи сразу же — все вместе — говорят о невозможности личного чувства в дни революции: «Что, Петруха, нос повесил ?» «Что ты, Петька, баба, что ль?» «Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой!») И второй раз имя героя упоминается в связи с его «несознательностью»:

— Ох, пурга какая, Спасе!  
— Петька! Эй, не завирайся!  
От чего тебя упас  
Золотой исконостас?  
Бессознательный ты, право» . . и т. д.<sup>60</sup>

Но как только герой пошел вперед «без имени святого», слившись с революционной массой, он опять утратил все индивидуальное и стал маленькой песчинкой великого целого. В гл. 11 и 12 имен нет — действует безымянная революционная масса.

Характерна и поэма Д. Бедного «Главная улица». Здесь тоже действуют, в первую очередь, два класса-антагониста. Индивидуальных героев нет. Но, тем не менее, изображая врагов, Д. Бедный вводит (явно — в некрасовской традиции) живой диалог, в котором звучат жизненные и даже — в какой-то мере! — личные интонации:

— Видели лозунги? — Да, ядовитые!  
— Чернь отступала, заметьте, грозя!  
— Правда ль, что есть среди рабочих убитые?  
— Жертвы! Без жертв, моя прелесть, нельзя!<sup>61</sup>

Здесь голоса говорящих (перепуганных мещан, жеманной «жалостливой» дамы и её хладнокровного спутника) звучат хотя и в общем хоре, но по-разному. Голоса рабочих — это единый громовой удар. Отдельные интонации полностью утонули в великом хоре «воли стальной, рабоче-державной». В ряду такого рода революционной литературы понятна и пьеса Тодорского, с его стремлением к индивидуализации именно отрицательных героев.

Здесь сразу же нужно оговориться. Если теоретические построения пролеткультовских критиков, понимавших коммунизм как стирание личности, представляли собой результат воздействия буржуазной идеологии на незрелое пролетарское сознание, то в практике названных авторов речь идет, в первую очередь, об ином. Здесь перед нами — творческие поиски новых форм показа нового человека, действительно, неразрывно связанного со своим классом. Хотя в дальнейшем, в 20-х гг., отрицание нового человека как личности стало серьезным тормозом для развития советской литературы и было преодолено лучшими ее представителями, однако, на первом этапе, в годы Гражданской войны, оно было неизбежным для становления искусства социалистического реализма.

Другая важная особенность пьесы А. Тодорского состояла в ее ярко выраженной героической тональности. Эта героика суровой борьбы — тоже типическая черта литературы эпохи.

<sup>60</sup> А. Блок, Собрание сочинений, т. 5, Л., 1933, стр. 16.

<sup>61</sup> Д. Бедный, Собрание сочинений в пяти томах, т. 3, М., ГИХЛ, 1954, стр. 38—99.

Как справедливо указывает Л. И. Тимофеев, подобная героическая тональность была присуща всем советским произведениям периода Гражданской войны, «от «Двенадцати» Александра Блока до «Главной улицы» Демьяна Бедного, от поэтов «Кузницы» < . > до С. Есенина».<sup>62</sup>

Но героика искусства эпохи Гражданской войны (в том числе и анализируемой пьесы) весьма специфична и не тождественна, например, героической тональности произведений 20-х гг. Героическое понимается в пьесе «Там и тут», прежде всего, как пафос и прославление суровой классово-борьбы за коммунизм. Но одновременно этот героический пафос осмысливается и как прославление связанного с суровостью борьбы отказа от личных материальных благ во имя торжества дела революции. В связи с этим возникает еще одна характерная антитеза: героическое пролетарское мироощущение как высокодуховное противопоставляется мещанскому и вражескому как антигероическому и нерасторжимо связанному с «низменным» бытом, ставящему выше всего личные материальные блага. Само понятие быта и материальных благ становится фоном для показа отрицательного или колеблющегося героя. В I действии пьесы духовные устремления Сына, думающего об общих перспективах классово-борьбы и читающего газету, наталкиваются на насмешку Матери: «Мать: Ну, что, закусываешь газетой для праздника? Это — для отца любимое блюдо! Неужто и ты сыт им?» (5). Сама Мать думает о сытости лишь в прямом смысле слова — именно это и приводит её к паническим настроениям: хлеба «если большевики не дали, может, буржуй даст».

К поздравлению трудящихся с праздником Мать относится злобно-иронически, опять-таки потому, что оно относится к области духовных, а не материальных интересов: «Лучше бы поздравили фунтом настоящего хлеба, а не какой-то трухой из овса < . > Не верю я им». (6).

Мыслям матери о куске хлеба как основном в жизни противостоят настроения её мужа и Сына. Сын уверен, что «без газеты было бы хуже» (6). Он ценит не только хлеб, но и правду свободного человека, которую несет газета: «Тут прямо, без всякой утайки, говорится о том, что мы голодны, но что потом будем жить лучше» (5). За скудным завтраком отец и Сын оживленно разговаривают о революции. Интересно, что и перерождение Матери происходит как отказ от мыслей о куске хлеба — эти мысли сменяются размышлениями о политике и уходе на собрание. Во II действии отношение к быту еще отчетливей. Духовному миру рабочих здесь противопоставляется царство пошлой сытости и богатства. В доме кулака, как подчеркивается авторской ремаркой, «чисто и светло», «хозяйка дома — румяная

<sup>62</sup> Л. И. Тимофеев, Пути русской литературы после Октября, Известия АН СССР. Отд. языка и литературы, т. XVI, вып. 5, стр. 447.

баба» (18); к встрече Нового года «бабы вынимают из буфета блюда с творогом, сметаной, грибами, капустой, мясом» (21), за едой — по крайней мере, вначале — разговор вертится вокруг смакования пищи и т. д. Дело здесь, разумеется, не только в отмеченной выше мысли о наличии у бывших эксплуататоров хлебных и прочих излишков и о справедливости их реквизиции в пользу голодающих питерцев. Само понятие только и в первую очередь еды мыслится автором как характеристика врага. Идеал революционного пролетариата — неизмеримо выше только сытости! Ободряя Сына, Рабочий так говорит о будущем: «Будем вольными и сытыми <...> Мускулы будут крепки, и дух будет бодр <. .> Весело будем работать и у машин, и в наших школах и университетах» (17) Подобное отношение к быту, к материальной стороне жизни находим и в других пьесах этого периода. В пьесах А. Серафимовича («Марьяна»), А. Неверова («Захарова смерть») высокие духовные устремления положительных героев, их тяготение к правде, к культуре противопоставлены мыслям остальных персонажей о «жратве» и деньгах как единственном содержании жизни. Слова деда Захара в пьесе Неверова прямо перекликаются в этом смысле с монологом матери из «Там и тут»: «И чего они видят в этих самых книжках? Какую сласть? <. .> Што она кормит? Хлеба дает? Жили мы слава богу без книжек. По пяти лошадей держали. Теперь больно образовались <. .> Учены-то стали, а хлеба-то вот не выдумали». Ср. также характеристику священника о Анисия в пьесе А. Вермишева «Красная правда» (1919): отец Анисий говорит преимущественно о «благостях» пищи.

Здесь опять-таки необходимо оговориться, что известная недооценка, даже боязнь быта, материальной стороны жизни нередко становилась впоследствии, в период нэпа, тормозом для развития литературы (ср. новое отношение к быту в стихотворении В. Маяковского «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о все-российском масштабе», в сборнике А. Безыменского «Так пахнет жизнь» и др.). Но в период, рассматриваемый нами, вопрос этот не мог не решаться иначе. Дело не только в том, что прославление героической выдержки и презрения к тяготам жизни должно было стать в те годы неизбежной особенностью искусства, видящего трудности борьбы, но верящего в победу. Дело и не в том только, чтобы противопоставить высокий идеал коммунизма вульгарному или враждебно-тенденциозному истолкованию его как простого царства сытости (хотя последнее соображение было весьма существенным) Вопрос имеет и тесно связанную со сказанным собственно-эстетическую сторону. Речь у писателей типа Годорского ни в малой степени не шла о понимании рево-

<sup>63</sup> А. Неверов, Захарова смерть, в кн.: Первые советские пьесы, М., изд. «Искусство», 1958, стр. 259.

люции только как процесса духовного освобождения человека и об антиреалистическом игнорировании роли бытия. Выше уже говорилось, что социализм А. Тодорский понимал как «царство довольства» и революцию рассматривал, в первую очередь, как освобождение трудящихся от ига эксплуатации. В пьесе революция тоже понимается в указанном плане, — не случайно столь важную роль в пьесе играет мысль о справедливости ликвидации хлебных излишков, а в речи отца подчеркивается и материальная (сытость, крепость мускулов), и духовная сторона жизни людей будущего общества. Речь, следовательно, идет совсем о другом — о том, что вопросы изменения бытия, роста материального благосостояния для пролетариата и трудового крестьянства должны, по мнению автора книги, решаться применительно к жизни не отдельного человека, а класса в целом. Рабочий и его сын будут «вольными и сытыми» лишь после победы пролетариата в революции — потому-то в показе положительного героя и акцентируется, в первую очередь, его готовность к героической борьбе. Отрицательные же или колеблющиеся герои говорят о сытости для себя, о сытости, добытой путем эксплуатации или (Мать) капитуляции перед эксплуататорами, — и это является для автора объектом обличения или насмешки. Такая постановка вопроса вовсе не была прославлением жертвенности<sup>64</sup> — речь шла и о личном счастье, и о материальной заинтересованности каждого трудящегося в победе нового строя; но только личное счастье, личные интересы мыслились как добываемые единственным путем — путем борьбы всего класса (мыслимой — в духе всей литературы периода — в мировом масштабе; ср. рассуждение Сына о революции в Германии). Здесь и находится то рациональное зерно, которое позволяет считать героические и одновременно «антибытовые» тенденции искусства периода Гражданской войны существенным этапом на пути формирования искусства социалистического реализма.

Со сказанным неразрывно связано и еще одно обстоятельство. Личность рассматривается в неразрывной связи с общими закономерностями истории не только, так сказать, в пространственном, но и во временном отношении. Настроения каждого отдельного героя оказываются связанными не только с данным этапом классово-борьбы, но и с ее прошлым, и с ее перспективами. Оптимизм голодных питерских рабочих, верящих в победу, противопоставлен животному отчаянию еще сытно едящих и пьющих, но все-таки «бывших» людей Восьмого уезда именно по этому принципу (не случайно все герои II действия

---

<sup>64</sup> С проповедью жертвенности связывалось обычно лишь субъективное принятие революции, объективно весьма далекое от понимания её сущности (А. Белый «Христос воскрес!»). Впрочем, не следует забывать, что проповедь жертвенности иногда могла быть и первым шагом на пути к пониманию подлинной сущности революции (ср., например, образ революционера Михаила в первой советской пьесе А. Н. Толстого — «Бунт машин», 1924).

характеризуются, как «бывший трактирщик», «бывший торговец», «бывший волостной старшина» и т. д.). Эта особенность пьесы Тодорского также роднит её с большинством первых произведений советских драматургов. Ср., например, монолог Степана Разина в пьесе Ю. Юрьина «Сполошный зык». Разин (выражающий настроения автора) говорит о своем восстании как части освободительной борьбы крестьян. То, что не удалось ему, удастся будущим поколениям.<sup>65</sup> Отсюда — сочетание трагизма судьбы Разина и оптимизма общих перспектив борьбы в финале пьесы и, с другой стороны, — бессилие победителей Разина, осужденных, в конечном счете, на гибель.

«Разин: Придет час правды моей!  
Одоевский: Врешь! Не бывать тому, сатана!  
Разин: Так будет же! Будет! Будет!»

(Задышающийся от бессилия и ненависти, колотится от злобы Одоевский. И светло и победно смотрит перед собой закованный Разин).<sup>66</sup> Так уже в первых произведениях новой литературы намечается тот особый диалектический подход к личности и к событию, та двуплановость в их изображении (позволившая, например, А. Фадееву в «Разгроме» противопоставить данный этап борьбы и его конечные результаты), которые станут затем одной из важных особенностей советского искусства.

Отдельные элементы такого «двупланового» взгляда на жизнь находились уже в «Годе — с винтовкой и плугом». Так, говоря о начале строительства железной дороги Овинище — Суда, Тодорский добавляет:

«Мы не будем сейчас заглядывать далеко в будущее. Впереди так много хорошего, что и не перескажешь. Одно мы скажем. Недалеко то время, когда с шумом и грохотом, разбрасывая миллиарды искр, уверено и легко заходит по Вьезгонскому краю могучий советский паровоз» (48). Глава «Советские мастерские» заканчивается словами уверенности в том, что недалеко то время, когда «рюриковская колымага, с визгом и стоном уныло качавшаяся по выбоинам и камням, сменится удобным экипажем на железном ходу, который весело застучит по гладким дорогам» (53. См. также стр. 57) и т. п. Однако в «Годе — с винтовкой и плугом», где нет героев, а есть лишь события, эта особенность не могла проявиться так ярко, как в пьесе.

Таков основной круг проблем творчества А. Тодорского. Произведения этого интересного писателя позволяют проникнуть в сложную картину становления советской литературы.

<sup>65</sup> См. Ю. Юрьин. Сполошный зык, в кн.: Первые советские пьесы, М., изд. «Искусство», 1958, стр. 361.

<sup>66</sup> Там же, стр. 379.

## О НЕКОТОРЫХ ИНДО-УРАЛЬСКИХ СУФФИКСАХ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В РУССКОМ И ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКАХ

В. И. Эрнитс

Уже давно отмечено, что индоевропейские и уральские (финно-угро-самоедские) языки имеют некоторые общие элементы, трудно объясняемые заимствованием. Впервые к этому вопросу строго научно подошел датский филолог В. Томсен в своей работе «О влиянии готского класса языков на финский»,<sup>1</sup> где он приводит 4 общих слова в обеих семьях языков, которые, по его мнению, могли бы указать на прародство между этими семьями. Эти слова (русские соответствия: вести, вода, имя, слушать) впоследствии всегда приводились сторонниками этой теории, в комбинации с большим или меньшим количеством новых данных.

В 1879 году эстонской филолог Николай Андерсон защитил в Тартуском университете свою магистерскую диссертацию на тему «Очерки по сравнению индогерманских и финно-угорских языков».<sup>2</sup> В этой диссертации рассматривается, главным образом, действительно почти идентичная система местоимений обеих семей языков, а также целый ряд «общих слов», образованных от корня *ka-* в обеих семьях. Попутно затрагиваются в диссертации и многие другие вопросы из этой области.

Это сочинение вызвало обширную полемику, продолжающуюся до сих пор. Обзор соответствующей литературы до 1933 года дан в сочинении упсальского финно-угриста Бьерна Коллиндера «Индоуральский языковой материал».<sup>3</sup> Более полную библиографию по данному вопросу можно найти в статье П. Хайду «Об этногенезе венгерского народа».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> V. Thomsen, *Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske*, København, 1869, стр. 2.

<sup>2</sup> N. Anderson, *Studien zur Vergleichung der indogermanischen und finnisch-ugrischen Sprachen* (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, IX, Dorpat, 1879).

<sup>3</sup> Björn Collinder, *Indo-uralisches Sprachgut* (Uppsala Universitets Årsskrift, B. Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper, 1934, I).

<sup>4</sup> *Acta linguistica, Academiae Scientiarum Hungariae* II, 3—4, 1953, стр. 287—290.

В настоящей статье я принимаю эту теорию как рабочую гипотезу, требующую дальнейшей разработки, и ограничусь рассмотрением в ее освещении некоторых общих суффиксов преимущественно действующего лица, главным образом в русском и эстонском языках.

\*            \*  
                 \*

В русском языке существует довольно редкий, до некоторой степени архаический суффикс действующего лица  $e/\dot{y}/ka < -e/\dot{e}j\dot{y} -/ka/ < *e/\dot{e}/jos-/ka/$ , ой, яй, дай, тай тьяй, уй, ий и т. д. Примеры: чародей/ка/, злодей/ка/ и др.; ротозей/ка/, ворожея, ворожей/ка/, шалопай/шелопай/, разгильдяй, слюнтяй/ка/, змей/ка ~ змий, швея (швейка); кнутобой (бичующий палач), зверобой, волнобой, в переносном смысле и Волгострой и Днепрострой и т. д., а также судомойка, шерстомойка, водогрейка, душегрейка. Сюда же относятся слова всезнайка, богатей, гордей и др.<sup>5</sup>

Сюда же примыкают и слова на -тай: русск., болг. хода тай, старосл., русск., болг. глашатай, вожатай, хожатай, соглядатай, оратай (польск. ogacz, чешск. ořáč, ogatel), ратай, завсегдай, старосл. позоратай, 'наблюдатель', поводатай 'вождь'<sup>6</sup> Теоретически допустимы при этих словах и формы женского рода на ка, но на практике они не употребляются, может быть по той причине, что соответствующими действующими лицами были, по-видимому, почти всегда мужчины, по крайней мере в былые времена. Еще следует отметить, что это архаическое окончание в некоторых случаях модернизируется, выступая в виде -тый: вожатый, хожатый.<sup>7</sup>

Окончание суффикса действующего лица  $*-jos$  встречается и после палатальных согласных: старослав. с ж пьрь 'противник'

<sup>5</sup> Так как слова этого типа встречаются довольно редко, к тому же имеют архаический оттенок, звучат несколько необыкновенно, то многие из них представляют собой слова эмоциональные, иронические, пренебрежительные и т. д., как русск. негодяй, скупердяй и т. д.

<sup>6</sup> Эти слова А. М. Земский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев (Русский язык, I, 1955, стр. 35) считают заимствованиями из старославянского языка. Однако этот суффикс можно считать и праславянским, сохранившимся в восточнославянских языках под влиянием старославянского языка, но почти целиком вышедшим из употребления в западнославянских языках. Его праславянское происхождение доказывается тем, что слова того же типа существуют в большом количестве в литовском (-tojis, -tojas) и латышском языках (-tajs), как будет указано ниже.

<sup>7</sup> Академическая грамматика, I, стр. 223.

стражь 'сторож' вождь, врачъ и др., в переносном смысле у слов граждь 'конюшня', кличь и т. д.<sup>8</sup>

Отметим, что в индоевропейском праязыке существовали не только *nomina agentis* на -ios, ж. ia (в переносном значении и *nomina agentis, instrumenti* и т. д.) — слова на -o-s, ж. -ā могли также иметь значение действующего лица, причем в таком случае они имели особое ударение на последнем слоге, ср. греч. φόρος 'подать' ~ φορός 'носитель, носящий', τροχός 'бег' ~ τροχός 'колесо', τόμος 'отрезок' 'кусок' ~ τομός 'режущий', 'острый'<sup>9</sup>

В русском языке, как, по-видимому, и в других славянских языках, эти суффиксы совпали вследствие отпадения конечного ъ, а поэтому во избежание смешения понятий суффикс действующего лица получил дальнейшее распространение суффиксом \*i-ikos > ьсь и, возможно, другими, ср. русск. ловец < \*lovós +i-ikos, лов < \*lónvos, но в сложных словах такие краткие *nomina agentis* все же могли сохраниться, так как здесь значение *nomina agentis* было сильнее подчеркнуто и не было опасности смешения понятий: русск. китолов, китобой, рыболов, водовоз (*nomina agentis*), греч. οχός сарах, retinaculum, rota, tunis<sup>10</sup>, русск. воз, греч. όχος 'телега' и т. д., индоевр. \*voghós и \*voghós.

Слова таких типов встречаются и в украинском и в белорусском языках: укр. звіробій (растение); китобій 'китолов', мийка 'тряпка', 'судомойка', шерстемийка (машина), тілогрійка уст., русск. душегрейка, всезнайко, ка ирон., багатій/ка/ = багатир/ка/ (в смысле 'богатея'), гордий ~ гордивник, чародійка, ~ чаривник, лиходий/ка/, уст. фолькл. чудодійный (но чудодій уже в словаре Гринченко отсутствует), ротозій 'роззява', гультяй, нехлюй = русск. разгильдяй, слинтяй/ка/, змий/ка/, змяя, надия (перен.).

Интересно, что некоторые слова имеют уже конкурирующие параллельные формы, а иногда сохранились в украинском языке только в прилагательных, как например чародійний. Интересно и то, что нет например слова ходатай, но есть глашатай ~ оповісник, а также ратай ~ орач; вместо вожатай уже современное вожатий 'вагоновод'

В белорусском видим редко те же самые типы слов: чарадзеі/ка/, чараўнік, лихадзеі/ка/, пралюбадзеі/ка/. разгільдзяй; однако нет слов злодей, ротозей,

<sup>8</sup> Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, I, Göttingen. 1924, стр. 505 и сл.; А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. II, М., 1952, стр. 57—58.

<sup>9</sup> А. Мейе, Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков, Юрьев, 1914, стр. 121 и сл.; К. Вугманн, А. Тумб, Griechische Grammatik, 1913, стр. 210.

<sup>10</sup> Stephanus, Thesaurus Linguae Graecae V, Paris, 1844—1846, столб. 2479—2480.

слюнтяй и ворожея, а вместо них употребляются злачинец, разяв/ка/, слімак, ворожітка и швачка. Есть змей и змяя, багацей, есть слова типа звералоў, зверабойны, кітабой, кіталоў, пасудамыйка (помещение), шерсцемыйка, воўнамыйка, водагрейка, ўсе знайка и др. Слов на тай, по-видимому, еще меньше, чем в украинском: вместо ходатай, глашатай и соглядатай употребляются хадаїнік, вяшчальнік и выведнік, есть важатый и важатая, фолькл. уст. аратый, а также ратай (может быть, единственное слово того типа с неизменным окончанием)

Слова таких типов, по-видимому, редко встречались и в других славянских языках, ср. чешск. *zloděj/ka/*, *dobroděj/ec/*, *-/ka/*, *voměj* (*omej*) 'aconitum' (переносно), *gevaј* 'weinendes Kind', *paděje* 'надежда' (переносно) и др., польск.: *złodziej* 'вор' *czarodziei*, *kołodziej* 'колесник' *dzieje* 'история' (переносно), *padzieja* 'надежда' (переносно), *mazgai* 'разгильдяй' *zmija*, *gubow* и др., но в польском, по-видимому, нет слов на тай, за исключением, может быть, слова *hułtai*, которое является, вероятно, заимствованием из украинского языка, как на это указывает *g > h*, а также польской фамилии *Rataj*.

В сербохорватском встречаем *prēmestaj* 'перемещение', перевод по службе' (переносно). *zmaj*, *zmija*, *kitolov*, *vodovod* 'водопровод' (переносно). но нет, по-видимому, слов типа глашатай, ратай, чародей. Этот тип, вероятно, почти целиком вышел из употребления.

В верхнелужицком имеем *padzija*, *odija* 'одежда' (переносно), в нижнелужицком *zložej*.

Такие типы слов были, по-видимому, праславянскими. Они сохранились лучше всего в восточнославянских языках, в других же крайне редко.

Суффиксы (форманты) *\*-io-*, ж. р. *\*-iā*, *\*-iio-*, ж. р. *\*-iijā* общеиндоевропейские, безусловно существовали и в индоевропейском праязыке.<sup>11</sup> По мнению Бругманна, при помощи этих суффиксов в праиндоевропейское время можно было образовывать прилагательные от любого существительного.<sup>12</sup> Но так как действие можно рассматривать и как признак предмета, то эти прилагательные могли означать и *poen agentis*, ср.: др.-инд. *kṣātriya-s*, авест. *xsaδrua* — 'господствующий', 'повелитель'. А такие *poipa agentis* могли в свою очередь дать начало именам лиц и живых существ вообще, инструментов, названий действий, абстрактных понятий и т. д., ср. др.-инд. *kṣāya-s* 'повелитель' и 'господство',<sup>13</sup> нем. *Walzer* 'крутящий-

<sup>11</sup> К. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, II, I<sup>2</sup>, стр. 182—198.

<sup>12</sup> Там же, стр. 187.

<sup>13</sup> Там же, стр. 187.

ся' и 'вальс'. Бругманн полагает, что старославянское слово *ходъ* означало первично 'Geher Gänger' и лишь позже получило современное значение.<sup>14</sup> Бругманн ничего не говорит о первоначальной возможности двоякого ударения в этом слове.

Особенно часты слова таких типов в балтийских языках: лит. *pešejas* 'носильщик', *vedejas* 'руководитель' и т. д., *edejas* 'обжора', *grobejas* 'захватчик' *grojėjas* 'игрок' и т. д., латышск. *pešējs* 'носильщик' *vedējs* 'проводник' и т. д., *ēdējs*, *ēdājs* 'едок' *grabējs* 'гробовщик' и т. д.

В литовском языке обычны *nomina agentis* на *tojis*, *tojas*, в латышск. *tājs*: лит. *artōjis*, *artōjas* 'пахарь', 'крестьянин' *atpirktōjis* ~ *jas* 'Erlöser' *linksmintōjis* ~ *jas* 'утешитель', *gydytojas* 'врач', *vertintojas* 'ценитель', *žiūretojas* 'зритель' и т. д., латышск. *mācītājs* 'учитель' 'пастор' *dziedātājs* 'певец', *cienītājs* 'поклонник', *telo tājs* 'изобразитель', *laupītājs* 'разбойник' и т. д.<sup>15</sup>

Литовское архаическое окончание *tojis* вполне соответствует фонетически старославянскому окончанию *таи* < <\*-*тајь*, русск. -*тай*, но в последнее время это окончание, по-видимому, вытесняется аналогичным окончанием *tojas*, которое целиком господствует например в словаре литовского языка Серейского.<sup>16</sup> Что же касается суффикса *tojis* ~ *tojas*, латышск. *-tājs*, старосл. *таи* (-*тајь*) и др., то Бругманн видит в *-та* — суффикс абстрактных имен, — например старосл., русск. *доброта*, — который может иметь иногда и конкретное переносное значение, например *сирота*, *староста*. Эндзелин же отождествляет этот суффикс с греческим суффиксом *-ta->-te-* в словах типа *ποιητής* 'поэт' не определяя ближе характера этого суффикса.<sup>17</sup>

Все эти типы слов имеют соответствия в уральских, особенно же часто в прибалтийско-финских языках. По-видимому, общие индо-уральские корни этих типов получили особенно сильное развитие в издавна соседних группах индоевропейских и уральских языков. Рассмотрение этих типов *nomina agentis* в уральских языках позволяет в большей мере удостовериться в этом предположении.

В эстонском языке встречается очень часто суффикс агента *j a*: *and ja* 'кто дает' *мага ja* 'кто спит' *kõnele ja* 'кто говорит' *gони ja* 'кто лезет' *тасу ja* 'мститель' и т. д. Такие *nomina agentis* можно образовать от любого эстонского

<sup>14</sup> Там же, стр. 613.

<sup>15</sup> Латышский суффикс *-tājs* сопоставил с эстонским суффиксом *-taja* проф. П. Аристэ в докладе «О родстве языков» в Тартуском учительском институте в апреле 1950 г. (рукопись).

<sup>16</sup> В. Sereiskis, *Lietuviškai — rusiškas žodynas*, Kaunas, 1933.

<sup>17</sup> J. Endzelins, *Latviešu valodas skaņas un formas*, Rīga, 1938, стр. 100. Ср. его же, *Baltu kalbu garsai ir formas*, Vilnius, 1957, стр. 69.

глагола. То же наблюдается и в других прибалтийско-финских языках: финск. *osta-ja* 'покупатель', *tuli ja* 'кто идет' *kääntäjä* 'переводчик' *seiso-ja* 'кто стоит' *katu ja* 'кто раскаивается' Этот прауральский суффикс встречается во всех уральских языках.<sup>18</sup>

*Nomina agentis* на *ja* могут изредка иметь окончание, напоминающее праиндоевропейское окончание именительного падежа: *s/\* ios*, например, эст. *ela ja* 'животное', *jooks ja ~ jooks ja* 'ревматизм', *koolja ~ koolja s* 'мертвец', *luurainaja ~ raenja s* 'кошмар', финск. *juoks-ia-s* 'ревматизм' *pitäjä ~ pitä jä s* (диал.) 'приход' и др. Это *s* возникло, по-видимому, по аналогии таких индоевропейских заимствований, как эст., финск. *kuning a s* 'король' < прагерм. \**kuningaz*, эст., финск. *armas* 'милый' < прагерм. \**armaz*, где окончание \**az* < праиндоевр. \**-os*, а также по аналогии таких финских слов на *as*, как *kaksitalvias* < \**vjas* 'двухзимний' род. *iaap* < *iazen*, *uksivuotias* 'однолетний', род. *iaap* < \**-iazen*, эст. *sinkjas* 'синеватый' и т. д.

*Nomina agentis* на *ja* соответствуют причастиям настоящего времени в ливском, эстонском, финском, карельском, саамском (лапландском) и мордовских языках<sup>19</sup>, причем может быть отмечен более поздний выход из употребления причастных форм на *ja* (эст. *luge ja* 'читатель' *lugeja tees* 'читающий человек'), которые уступают место причастиям на *-va*: эст. *lugev tees*, финск. *lukeva mies* и т. д., ср. эрзянск. палы тол, мокшанск. палай тол 'горящий огонь'

Основной элемент этого суффикса *i ~ i* имеет в уральских языках широкое распространение: он является признаком прошедшего, а в известных случаях и настоящего времени. Допускают, что первоначально это был один и тот же элемент: кто действовал или действует, тот и есть действующее лицо, деятель.<sup>20</sup> Хакулинен считает родственным и деминутивно-поссессивное *i*,<sup>21</sup> а также *-i* как признак множественного числа,<sup>22</sup> что, по крайней мере, на первый взгляд уже не так убедительно. Б. Коллиндер полагает, что легко (*fuglich*) предпо-

<sup>18</sup> См.: Т. Lehtisalo, *Über die primären ururalischen Ableitungssuffixe*, SUST LXXII, Helsinki, 1936, стр. 60—66, а также J. Budenz, *Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana*, Budapest, 1884—1894, стр. 192—202; J. Szinnyeи, *Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft*, Leipzig, 1910, стр. 94; Н. Rätsep, *Infinitivsed verbivormid soome-ugri keeltes*; кандидатская диссертация (рукопись), Тарту, 1954, стр. 88—101; Л. Хакулинен, *Развитие и структура финского языка*, I, М., 1953, стр. 168—173, 179—184; 103—108.

<sup>19</sup> Н. Rätsep, указ. соч., стр. 474, табл. 4.

<sup>20</sup> Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 65; J. Szinnyeи, указ. соч., стр. 141 и сл.

<sup>21</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 169.

<sup>22</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 78.

ложить идентичность глагольного форманта с именным.<sup>23</sup> Автор этих строк присоединяется к этому мнению, так как в древнейший период развития языка отыменные и отглагольные корни-основы были во всяком случае часто, если не всегда, идентичны. Нет поэтому и ничего невозможного в допущении идентичности одинаковых по форме и до известной степени близких по значению суффиксов.

Сравнивая балтийско-финское окончание *poimnis agentis ja* с индоевропейским *\*-ios ~ -iā-*, мы замечаем некоторую разницу в гласном элементе. В прибалтийско-финских языках мы имеем гласный *-a-*, а по законам гармонии *-ä-* (после передних гласных). В индоевропейском же праязыке мы имеем в мужском и среднем роде гласный *-o-*, в женском роде *-a-*. В уральских языках нет грамматического рода, и поэтому в них такая дифференциация невозможна. Что же касается самого праиндоевропейского *-o-*, то оно по крайней мере в восточной части праиндоевропейских говоров было безусловно открытое, близкое к звуку *-ä-*, на что указывает его переход в *ä* в индоиранских, в германских и балтийских языках; а в праславянском индоевропейские *\*ä* и *\*ö* совпали в широком *\*o*.

В своих сопоставлениях приведенных уральских и индоевропейских суффиксов Н. Андерсон и Б. Коллиндер даже не ставят вопроса о гласном элементе этих суффиксов, считая их соответствие как бы само собой очевидным.

Особой категорией этих *poimna agentis* в прибалтийско-финских языках являются слова на *-/t/äjä*, например, эст. *õretaja*, финск. *opettaja* 'учитель', эст. *päitaja*, финск. *päyttäjä* 'показывающий', 'показатель' и т. д. Такие производные слова можно образовать от любого глагола эстонского языка *nä tada*, финск. *-ttää < \*-ttäädäk*, которых в прибалтийско-финских языках вообще громадное количество. Суффиксы *tt ~ t ~ δ* встречаются в уральских языках в очень большом количестве, образуя сложную систему близких между собой по форме и значению их частных вариантов, нередко в комбинациях с другими суффиксами.

Эти суффиксы в главных чертах следующие: фактивные (т. е. означающие то, что выражает корневое слово), ср. финск. *oma* 'свой' ~ *omia < \*omidak* 'присваивать', *uusi* 'новый' ~ *usia < \*üsidad* 'обновлять', 'возобновлять',<sup>24</sup> эст. *uusida* (обыкновенно *uendada*), эрзя-морд. *сал* 'соль' ~ *салтомс* 'солить', марийск. *йошкар* 'красный' ~ *йошкартым* 'выкрасить в красный цвет' ненецк. *пя* 'дерево'

<sup>23</sup> В. Collinder, указ. соч., стр. 38.

<sup>24</sup> Л. Хакулинен, указ. соч. стр. 269.

пята́ 'бросать дрова в огонь',<sup>25</sup> каузативные, означающие вызывание известного действия, ср. финск. *aivastaа* 'чихать' ~ *aivastuttaа* 'вызывать чихание' *heilah̄taа* 'покачнуться', *heila/hd/uttaа* 'размахивать' 'колебать', эст. *hõljuda* ~ *hõljutada*, эрзя-морд. киремс 'стягиваться' 'сморщиваться' ~ киртамс 'стягивать', 'сморщивать', удм. пырыны 'войти' ~ пыртыны 'вводить' 'вносить' коми юны 'пить' ~ ютины 'поить', венг. *kelni* 'вставать' ~ *költeni* ~ /*kelteni*/ 'будить', ненецк. тада́ 'приставать', прилипать' ~ тадага́ 'приклеить',<sup>26</sup> пассивные, т. е. обозначающие переход объекта активного действия в подлежащее страдательного оборота, ср. финск. *saadaаn* 'получается', 'получаются', *saatiin* 'получили', 'было получено', *saatu* 'полученный', эст. *saadakse*, *saadi*, *saadud*, эрзя-морд. вано́ 'смотреть' 'стеречь' ~ вано́го - страдательная форма;<sup>27</sup> транслативные, т. е. выражающие становление или превращение в состояние, выраженное корневым словом, ср. финск. *haja* 'разбросанный', *hajota* 'рассеиваться', эст. *hajuda*, саамск. луойтет 'отпускать' ~ луойтадит 'опускаться', 'заходить' (о солнце);<sup>28</sup> возвратно транслативные, с направлением действия на действующий предмет, ср.

<sup>25</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 260—262, Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 322—325.

Насчет каузативного суффикса *-tt* установлено, что по крайней мере отчасти он восходит к праугрофинскому *kt* или *-pt*, см. Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 261—262 и 279—289, J. Szinyei, указ. соч., стр. 130—131 и 136. Синией считает этот суффикс сложным и приводит даже именные образования с *-k* без элемента *-t*; отчасти в таких образованиях можно видеть прафинноугорское причастие настоящего времени на *k* (марийск. иликша 'живущий' < илик + суфф. ша [J. Szinyei, указ. соч., стр. 130]). Л. Хакулинен допускает, что рядом с древними образованиями *\*-k+t* и *\*p+t* > *tt* были и образования *\*-t+t* > *\*-tt*, например: финск. *vikautua* 'портиться' ~ *vikauttaa* 'портить' по аналогии которых могло быть образовано большое количество каузативных глаголов на *tt*. Древние же финноугорские каузативы на *kt* и *pt* перешли в прибалтийско-финском языке в глаголы на *tt* ко времени контактов с прабалтами и праславянами, а может быть и с прагерманцами. Но до этого они представляли собою группу глаголов с индоуральским суффиксальным элементом *-t*, который присоединялся к элементам *-k* или *p* уже в уральское время.

Т. Лехтисало допускает смешение *\*tt* и *\*kt* в *\*tt*, а также образование суффиксов *\*pp*, *\*tt*, *\*kk* в известных случаях из сложных суффиксов, с выпадением редуцированных гласных внутри суффикса. (Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 322, 395).

Можно добавить, что в индоевропейском языке был слитный суффикс *\*-kt->-t*, ср. лат. *explico* и славянское *плетж* < *pleqtōm*, как допускает Бругманн (см. его *Grundriss*, II, 1, стр. 366).

<sup>26</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 217. и сл., Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 328—333.

<sup>27</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 217 и сл., Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 328—333.

<sup>28</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 266, Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 805 и сл.

финск. antautua 'отдаваться' kantautua 'доноситься', эст. anduda, kanduda (во многих случаях по примеру финского языка); куративные, т. е. показывающие, что действие, выражаемое коренным словом, совершается по принуждению, ср. финск. kirjoittaa 'писать' ~ kirjoituttaa 'заставлять писать' эст. joosta ~ jooksutada<sup>29</sup>, инструментативные, т. е. означающие действие тем, что означает корневое слово, ср. финск. pokka 'клюв', pokkia <\*pokkiðak 'клевать', sota 'война' ~ sotia <\*sotiðak 'воевать' эст. pokkida, sõdida;<sup>30</sup> эссенциальные, означающие действие в качестве фактора, выражаемого корневым словом, ср. финск. isäntä 'хозяин' ~ isännöidä 'хозяйничать',<sup>31</sup> эст. peremees ~ peremehetseda (новообразование, с другим суффиксом, все же содержащим звуки t и d); инструктивные, означающие придание лицу или предмету того, что выражено корневым словом, ср. финск. hopea 'серебро' ~ hopeoida 'серебрить' эст. hõbe ~ hõbetada;<sup>32</sup> привативные, т. е. выражающие устранение того, что выражено корневым словом, ср. финск. kuori 'коры' ~ kuoriga 'сдирать кору', эст. koog ~ koorida,<sup>33</sup> оноματοпоэтические, описательные, ср. финск. kaakattaa, kaakottaa 'кудахтять', 'гоготать' эст. kaagutada;<sup>34</sup> каптативные, означающие лов, сбор того, что выражает корневое слово, ср. финск. kalastaа 'ловить рыбу' (kala 'рыба'), metsästäа 'охотиться' (metsä 'лес'), эст. kalastada ~ metsastada (новообразования по примеру финского языка);<sup>35</sup> интенсивные, усилительные, ср. финск. johdattaa 'водить' 'вести', 'руководить',<sup>36</sup> эст. juhutada ~ juhtida; неопределенные (прочие), ср. финск. havaitsen, havaita 'замечать' 'видеть' 'узнавать'<sup>37</sup> и др., особенно в комбинациях суффиксов с элементами t и d, которых довольно много.<sup>38</sup>

Система глагольных суффиксов с элементами tt ~ t ~ ~ -d. ~ -d- очень развита и хорошо сохранилась в финском языке. В эстонском языке многое заменено аналитическими конструкциями по примеру соседних индоевропейских языков.

Элемент t и т. д. встречается в причастиях (финск. otettu, эст. võetud 'взятый'), в инфинитивах (финск. ottaa, эст. võtta <\*ottaðak 'взять' финск. lukea, эст. lugeda

<sup>29</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 265.

<sup>30</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 249—250, 265.

<sup>31</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 268.

<sup>32</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 269.

<sup>33</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 268.

<sup>34</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 279.

<sup>35</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 284.

<sup>36</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 254.

<sup>37</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 270 и сл.

<sup>38</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 236—287.

\*|uкеδак 'читать' и т. д.) и в отглагольных существительных (ср. финск. *nähtävyyd*, основа — *nähtävyyte*<sup>39</sup>, эст. *nähtavus* 'видимость' и др.)

Суффикс *t*- встречается в уральских языках и как признак множественного числа (финск. *puut*, эст. *puud* 'деревья' эрзя-морд. кудо 'дом' ~ кудот 'дома' и т. д.) но это *-t*-, по-видимому, стоит далеко от указанных глагольных суффиксов.<sup>40</sup>

Литература об этих суффиксах очень обширна. Много места посвящено им в указанных уже сочинениях.<sup>41</sup>

Интересно, что Хакулинен ничего не говорит в своем упомянутом сочинении о суффиксе *-(t)täjä*, хотя он рассматривает его составные части *-(t)tä* и *-jä*. Все же этот суффикс дает в финском языке целую массу названий агента — их можно образовать от всех глаголов на *(t)taa*, а таких громадное количество.

В южно-эстонских и некоторых других прибалтийско-финских говорах конечное *ä* в словах на *äjä*, *(t)täjä* и др. отпадает, так что получают формы, сильно напоминающие соответствующие русские, вообще славянские формы: южно-эст. *opettajä* 'õpetaja' 'учитель' *orrajä* 'orraja', 'учащий' и т. д. И. Авик предложил даже ввести такие формы в эстонский литературный язык.<sup>42</sup>

Отпадение конечных гласных в эстонском языке произошло хронологически, по-видимому, приблизительно в то же время, как и в славянских языках, в частности в русском, а так же в соседних — латышском, ливском и велском, между тем как это отпадение конечных и выпадение гласных в слабой позиции внутри слова вообще не произошло (только спорадически и диалектально) в северной части прибалтийских языков (суоми, карельский, ижорский и водский языки), а также в литовском языке.

В данном случае (*opetai* и т. д.) мы имели бы несколько более позднее диалектное отпадение конечного гласного, возможно под влиянием соседних, латышского и русского, языков с их уже элидированными формами.

Как уже было сказано раньше, в латышском языке много названий агента на *tājs*, в литовском на *tojis*, в современном литературном языке *tojas*. Глагольный суффикс *t* в смысле факитивном, транслативном, каузативном и т. д. встречается, правда, редко, и в индоевропейских языках, ср. лат. \**facilitāge*, франц. *facifiter*, 'облегчать' лат. *mutāge*

<sup>39</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 193—195.

<sup>40</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 80—83.

<sup>41</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 217—256, Н. Rätsep, указ. соч., стр. 293—358, 474, J. Szinnyei, указ. соч. стр. 92—93, 129, 132—136, Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 273—333.

<sup>42</sup> Joh. Aavik, *Õigekeelsuse ja keeleuuenduse põhimõtted*, Tartu, 1924, стр. 54.

< movitāge, 'изменять', ср. movēge, 'двигать', лат. dubitāge 'сомневаться', ср. dubius 'сомнительный' и т. д., в особенности же в причастиях, а также в инфинитивах и супинах, одним словом, в отглагольных именах на -t.<sup>43</sup>

Из русского языка я могу пока привести следующие примеры каузативных глаголов на т-: пить ~ питать, ср. др.-инд. pituti, авест. pituš 'Saft, Trank, Nahrung, Speise';<sup>44</sup> расти ~ растить,<sup>45</sup> кипеть ~ кипятить, а также запропасть 'исчезнуть' ~ запропастить 'затерять неизвестно куда' (Даль, I<sup>4</sup>, 1554), распропасть 'пропадать исподволь' и т. д. ~ распропастить 'растратить беспутно' (Даль, III<sup>4</sup>, 1912), заимствованное кучитать ~ кучетать 'kitzeln' < карельск. kučutta вепск. kutšutada.<sup>46</sup> Может быть относятся сюда и такие слова, как тереть ~ тратить, колоть ~ колотить, запереть ~ запретить?

В русском языке можно отметить и существование довольно обширной группы ониматопозитических глаголов на -та ть: хохотать, скрежетать, гоготать, кудахтать и т. д. Большинство из них имеет параллели в виде существительных на -т: хохот, скрежет, трепет и т. д. Обыкновенно принято считать, что существительное древнее (название действия с отыменным суффиксом t-), но Виноградов<sup>47</sup> отмечает, что такие глаголы позже стали осознаться, как производимые от существительных, которые в свою очередь осознаются производными от глаголов. Во всяком случае вопрос «первенства» тут не всегда ясен, тем более, что некоторые из этих глаголов не имеют соответствующих производных от них существительных, например: кудахтать; есть междометие кудах кудах!, но нет существительного кудахт! Из других индоевропейских языков К. Бругманн приводит известное небольшое количество глаголов на t, иногда общих нескольким языкам, напр. лат. plecto, гр. πλέκτός (причастие), др.-инд. praśpañ 'плетеный', древневерхненемецкий flehten, старосл. плетѣ, неопр. плести, по Бругманну <\*pletō или \*plegtō-, лат. ex plicō (без суффикса t — более древ-

<sup>43</sup> К. Brugmann, Grundriss II, 1, стр. 390—473; II, 3, 1, стр. 362—379.

<sup>44</sup> Walde-Pokorný, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen II, Berlin u. Leipzig, 1927, стр. 74.

<sup>45</sup> К. Brugmann, Grundriss II, 3, 1, стр. 362.

<sup>46</sup> J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, Helsinki, 1915, стр. 144, цит. по M. Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch I, Heidelberg, 1953, стр. 709.

<sup>47</sup> В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 433—434. Впрочем в уральских языках имеются соответствующие отглагольные существительные с индоуральским суффиксальным элементом -t-, ср. эст. korutada 'стучать', korutus 'стук' финск. koruttaa — korutus и русск. стучать ~ стукот (обыкн. стукотня). Разница в этих суффиксах в более новых дополнительных элементах: невр. \*-t o-s > прасл. -ть- > русск. -т-, приб. — финск. \*tus (s < -ks или -ti < -te), ср. Л. Хакулинен, указ. соч., 1, стр. 119—122, 163, 178, 197—199, 201—203.

няя формал). В этих словах он не выделяет особых групп по суффиксам, сложенным с *t-*: группа наст. вр. на *птω < \*-ptō* или *\*-ptō* (II, 3, стр. 365); лат. на *cto* (стр. 366, см. выше); кельтские (стр. 367) и германские (стр. 367—390) *-t praeterita*, с которыми Бругманн, так сказать, издалека сопоставляет и литовский имперфект на *davau < \*-dō*, так наз. Schall-verba на *-sto-* (глаголы отзвука, эха) в германском (стр. 368) и в литовском языках (стр. 371), где этот сложный суффикс встречается и в других глаголах, непереходных, начинательных, также отыменных; <sup>48</sup> литовские каузативы и итеративы на *dau*, неопр. ф. *dyti*, в особенности же многие фактивы или каузативы (у Хакулиненна куративы) на *-dīnu*, неопр. ф. *dinti* (стр. 379, а также 368—369 и 323—324): лит. *links minu 'tröste'* ср. *linksmas 'fröhlich' ~ linksmindinu 'lasse fröhlich machen' 'trösten'*; *kaitinu 'mache heiss' ~ kaitindinu 'lasse heiss machen'* О существовании таких куративных глаголов в других индоевропейских языках Бругманн ничего не говорит. Во всяком случае таких слов крайне мало в славянских языках.

Из балтийских языков можно еще прибавить: лит. *kalti*, латышск. *kalt* 'ковать' ~ лит. *kaldinti*, латышск. *kaldīt*, *kaldinat* 'поручать, велеть, ковать'; лит. *gulėti* 'лежать' латышск. *gulēt* 'спать, лежать', лит. *guldyti*, латышск. *guldīt* 'укладывать спать'; лит. *gerti*, латышск. *dzert* 'пить', ~ лит. *girdyti*, латышск. *dzirdīt* 'поить', лит. *siūti*, латышск. *šūt* 'шить' ~ лит. *siūdinti*, латышск. *šūdit šūdinat* 'отдавать шить' лит. *pūti* 'размокать, напитываться' (о земле), 'наполняться молоком' (о вымени), <sup>49</sup> лит. *rudyti* 'eine Kuh zum Milch reizen', греч. *πτωω* 'бить ключом' 'вытекать', 'литься'; <sup>50</sup> безусловно тот же корень и в греческом *πινω* 'пить', <sup>51</sup> И в германских языках отмечается существование этого суффикса, по крайней мере в готском *fōdjan*, нем. *füttern 'nähren'*, из индоевропейского корня *\*-pā* 'Vieh weiden, hüten' <sup>52</sup>

В латинском языке есть подобный суффикс, но он имеет усилительное значение, как и в финском языке, как уже указано раньше: *agere ~ agitāre* 'гнать', 'действовать усиленно' *aperire ~ apertāre* 'открывать', *capere ~ captāre* 'схватывать', *confligere* 'сталкиваться, сталкивать' ~ *conflictāre* 'разорять' 'губить', 'расстраивать', *maefacio ~ maefacto* 'увлажняю, орошаю' *potō* 'пью' ~ *potitō* 'мно-

<sup>48</sup> В русском языке относится сюда по крайней мере глагол шелестеть ~ шелестить.

<sup>49</sup> Sereiskis, Lietuviškai-rusiškas žodynas, стр. 707.

<sup>50</sup> A. Walde-Pokorny, II, стр. 74.

<sup>51</sup> А. Д. Вейсман, Греческо-русский словарь, СПб, 1888, стр. 998. А. Walde-Pokorny, указ. соч., II, стр. 73.

<sup>52</sup> Walde-Pokorny, указ. соч., II, стр. 72.

то пью', *prandere* ~ *pransitāre* 'завтракать', *progere* ~ *progestāre* 'выполнить', *sedere* 'сидеть' ~ *sessitāre* 'постоянно, долго сидеть', *volgere* ~ *volutāre* 'катить' и т. д.

По-видимому, усилительное, интенсивное значение этого суффикса древнее, чем куративное ('заставлять делать кого-нибудь другого'), которое может явиться его дальнейшим развитием, ср. а *gege* 'гнать' ~ *agitāre* 'усиленно гнать' > 'агитировать других', т. е. заставлять их делать то же самое. В латинском языке можно уловить намеки на возможность такого развития: *confligere* 'сталкиваться' и 'сталкивать' (непереходное и переходное значение в одном слове, что встречается довольно часто не только в латинском языке), но *conflictāre* означает уже 'разорять', 'губить', 'расстраивать' т. е. привести к столкновению через других.

В балтийских языках эта категория представлена не очень многими примерами, но она уже несомненно существует, в русском же языке она находится в самом моменте зарождения. В эстонском, а особенно в финском, также в венгерском языке, по-видимому, и во всех уральских языках<sup>53</sup> этот суффикс самый обыкновенный: эст. *juua*, финск. *juoda*, венг. *inni* 'пить' ~ эст. *joota*, финск. *juottaa*, венг. *itatni* 'поить'; эст. *süüa*, финск. *syöda*, венг. *enni* 'есть' ~ эст. *sööta*, финск. *syöttää*, венг. *etetni* 'кормить' и т. д.

Имея все вышеприведенные факты в виду, можно прийти к следующему выводу.

Суффикс отыменных и отглагольных существительных *-t-* с различными оттенками значений и морфологических применений существовал безусловно уже в индоуральском праязыке. В индоевропейских языках он получил несколько меньшее развитие, но в уральских языках он применялся очень часто, оттенки его значения расширились, образуя целую сложную систему форм и значений, внутренне связанных между собой. При этом нужно иметь в виду, что дальнейшее развитие уральских языков шло в направлении агглютинативности (во многих языках десятки новых падежей, образованных агглютинативно), хотя и появляются элементы флективности в некоторых языках, напр. в ливском и эстонском, может быть не без влияния соседних индоевропейских языков, развитие которых шло главным образом в направлении флективности и аналитичности, хотя и в них есть следы агглютинации. Следствием такого развития является большая систематичность, закономерность и прозрачность уральских языков по сравнению с индоевропейскими, большая развитость и обобщенность известных категорий в фонетике и морфологии. Все этому может быть способствовало географическое исконное соседство с агглютинативными алтай-

<sup>53</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 254.

скими языками, с которыми у уральских языков есть безусловно общие формальные черты, а также материальные языковые элементы. Я оставляю открытым вопрос об их предполагаемом прародстве с уральскими языками; укажу только на то, что в виду возможностей индоуральского прародства этот вопрос следует расширить именно в эту сторону, на что уже намекал венгерский тюрколог Немет Дьюла,<sup>54</sup> а также Холгер Педерсен в своем предположении о так наз. «нострацких» языках, т. е. имеющих какие-нибудь родственные отношения к индоевропейским (лат. *poster 'наш'*) языкам.<sup>55</sup>

Следует иметь в виду то обстоятельство, что балтийские языки являются уже несколько тысячелетий соседями прибалтийско-финских языков, славянские около двух тысячелетий, может быть и больше. Они оказывали заметное влияние на развитие прибалтийско-финских языков, но и сами тоже подвергались с их стороны влияниям, которые пока мало изучены. Мне кажется, что в данном случае мы имеем дело с некоторыми моментами таких влияний, а именно с усилением развития функций и значений некоторых общих индоуральских элементов, представленных, так сказать, в полном расцвете в уральских языках и развившихся довольно сильно в балтийских языках, до некоторой степени в славянских и в германских, а в других индоевропейских языках представленных рудиментами. Тут следует отметить, что довольно часто выражается мнение, что прагерманцы и праугрофинны (по мнению автора этих строк, «западные уральцы»;<sup>56</sup> Фриц Флор<sup>57</sup> называет носителей раннеарктической и гребенчатой керамики протоуральцами) оказывали в далеком прошлом заметное влияние друг на друга. Об этом писал одним из первых немецкий археолог Г. Коссинна<sup>58</sup> (1853—1931), а также финский филолог Т. Е. Карстен,<sup>59</sup> советский финно-угрист Д. Бубрих<sup>60</sup> и др. Ввиду сложности и недостаточной разработанности этого вопроса<sup>61</sup> пишуший эти строки воздержи-

<sup>54</sup> Nyelvtudományi Közlemények XLVII (1928) 1, стр. 69.

<sup>55</sup> Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft LVII (1903) стр. 560, а также С. Uhlenbeck, там же, LXI (1907), стр. 436. Мы не говорим уже о теории моногенеза всех языков мира — Alfredo Trombetti (L'Unità d'origine del linguaggio, Bologna, 1907).

<sup>56</sup> Cp. V Ernits, Polska a ugrofinowie, Warszawa, 1938, стр. 120.

<sup>57</sup> Fritz Flor, Helmut Arntz, Germanen und Indogermanen, Heidelberg, 1936, стр. 90.

<sup>58</sup> G. Kossinna, Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, стр. 216—238.

<sup>59</sup> Т. Е. Карстен, Die Germanen, Berlin-Leipzig, 1928, стр. 123.

<sup>60</sup> Язык и литература I, 1926, стр. 53—92.

<sup>61</sup> Э. Покорный (Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 332) считает, что одни и те же явления германских языков объясняются разными авторами влиянием разных субстратов: кельтского (Ivan Ginneken, M. Bréal, Sophus Müller, H. d'Arbois, M. Jubainville, A. Hansen), яфетического (H. Марр, Браун), финского (Т. Е. Карстен, Д. В. Бубрих, [еше F Dietrich, K. Nörrenberg-Globus, 77 (1900) и K. Wessely — Anthropos,

вається от решительного суждения о нем, но считает его все-таки достойным дальнейшей разработки и внимания.

Я имею в общем в виду очень частые окончания *po minis agentis* финские и эстонские *äjä, ejä, ijä, -oja, uja* и т. д., довольно частые литовские *ejas, -ojas*, латышск. *ejs, ajs* и т. д., редкие славянские слова на *ej ~ aj* и т. д., в особенности же эстонские и финские *po mina agentis* на *-t/t äjä*, довольно частые литовские на *to'jis ~ to'jas*, латышские на *tājs*, редкие славянские на *-тай*, главным образом старославянские, болгарские и русские, а также очень частые в финском и венгерском, несколько менее частые в эстонском так наз. куративные глаголы на *-t/t/-*, довольно редко представленные в балтийских языках, а в русском языке только в единичных случаях. Сюда же относится глагольный суффикс *sto* в разных значениях (интранзитивном, начинательном, деноминативном, так называемые *Schall-verba* — глаголы отзвука, эха) в германских и балтийских языках (в русском языке по крайней мере слова *шелестеть ~ шелестить ~ шелест*), которым соответствует финское *helisen*, непр. ф. *helistä* 'звенеть' ~ *helistäñ*, неопр. ф. *helistää* \**helistääk* 'звонить', эст. *helisen*, неопр. ф. *heliseda* ~ *helistan*, неопр. ф. *helistada* и др. В финском и эстонском, а также во всех прибалтийско-финских языках такие образования самые обыкновенные. Возможно, что имеются соответствия и в более далеких родственных языках.<sup>62</sup> Сюда же нужно отнести и индоевропейские причастия страдательного залога прошедшего времени на *-t-, -kt-*, которые, по-видимому, единственно распространены в уральских языках, особенно в финском, эстонском и вепском. Они встречаются во многих индоевропейских языках, например в санскритском языке с окончанием *-tah < -tas < \*-tos*, гр. *-τος*, лат. *-tus*, лит. и латышск. *-tas*, в германских и кельтских языках и в виде *-t-* претеритума, но в немецком и славянских языках в чередовании с теми же причастиями на *-p*: нем. *gemacht*, но *gepotten*, русск. *взятый*, но *сделанный* и т. д. Причастие на *-p* встречается и в уральских языках, но оно, по-видимому, имеет в них исключительно значение причастия прошедшего времени действительного залога: эст.: *võtnud*, финск. *ottanut* 'взятый', но эст. *võtetud*, финск. *otettu* 'взятый'<sup>63</sup> В немецком же языке это окончание имеет и активное и пассивное значение: *gepotten* 'взятый', но *gekotten* 'пришедший'; в славянских языках этот суффикс имеет только пассивное зна-

1917—1918. В. Э.], этрусского (Дечев, Гюнтерт), иллирийского (S. Feist), автотонов северногерманской равнины (Naumann, см. Karsten, указ. соч., стр. 135).

<sup>62</sup> Л. Хакулинен, указ. соч., стр. 243.

<sup>63</sup> Дополнительный элемент *-u t* *-u d* в этих окончаниях считается денинудивным суффиксом (ср. Л. Хакулинен, указ. соч. стр. 122 и сл.).

чение и конкурирует с первоначальным индоуральским суффиксом на -t-. Причина этого, по-видимому, дославянского (причастия на -пе встречаются и в индоиранских, в албанском и в германских языках<sup>64</sup>) нововведения мне не ясна.

Сюда же следует присоединить и образование инфинитивов на -t-/-δ-/ с одной стороны в прибалтийско-финских языках, а также в саамском (лапландском), спорадически на основе первоначального существительного и в хантыйском (остяцком) языке, а с другой стороны в древне-индийском, в славянских и балтийских языках. Следует еще прибавить, что во многих индоевропейских языках имеются супины на -t-. Интересно, что несколько форм инфинитивов в разных значениях встречается в прибалтийско-финских языках вплоть до мордовских языков, между тем как в других финно-угорских языках встречается главным образом только одна форма инфинитива. Имея в виду эту параллель с соседними балтийскими и славянскими языками, а также более позднее, может быть, даже одновременное образование инфинитивов на -t- на той же территории издревле соседних народов, можно прийти к выводу, что и тут мы не имеем дело с простой случайностью, но со взаимным контактом между этими языками при создании форм инфинитива из одних и тех же индоуральских элементов (отглагольные существительные на -t-, причастия на -m- [эст. *l u g e t a*, *l u g e t a s*, русск. читаемый и т. д.] и др.). Так как супины на -t- встречаются во многих индоевропейских языках, то можно допустить, что приоритет в образовании инфинитивных форм на -t- принадлежит главным образом северо-восточной группе индоевропейских языков. Поскольку же комбинированная система инфинитивов и супинов известна многим индоевропейским языкам (если не всем), а в уральских языках она встречается, в сущности, только у древних соседей индоевропейцев, то естественно и тут думать об индоевропейском влиянии, в особенности со стороны балтийских языков, давших так много важных заимствований прибалтийско-финским языкам.

Что же касается слов на ей, тай и т. д., то, по-видимому, главное направление влияний шло здесь от прибалтийско-финских языков, вернее от их праязыка к балтийским языкам или к прабалтийскому языку, а тот оказывал некоторое влияние на соседние славянские языки, прежде всего на русский; последний же или северные говоры праславянского языка были, правда, в несколько более позднем прямом контакте и с прибалтийско-финским праязыком и с его потомками, которые могли со своей стороны оказывать влияние на него и в этом пункте.

Что влияние фонетической системы одной группы языков или даже одного языка на другие языки или язык само по себе возможно, не подлежит никакому сомнению. По подсчетам

<sup>64</sup> Ср. К. В r u g m a n n, Grundriss II, 1, стр. 651.

И. Аавика, звуки типа -t- -d- встречаются в эстонском языке примерно в 13% случаев, в латышском около 11%, в русском и финском 10%,<sup>65</sup> по более новым и более основательным подсчетам А. Сааресте t(d) встречается в эстонском языке в 10,5%. Поэтому Сааресте пишет, что эстонский язык можно было бы назвать «языком s и t».<sup>66</sup> Безусловно, такое изобилие звуков типа -t- в прибалтийско-финских языках не могло не бросаться в глаза и их древним соседям, у которых тоже появилось слабо обоснованное с индоевропейской точки зрения изобилие названий помпa agentis на tojas, tojis (лит.), tajs (латышск.), редкие славянские слова на -тай (эстонские и финские обыкновенные слова на -/t/täjä), и некоторое количество куративных глаголов на -t- ~ -d-, между тем как у соседей, прибалтийских финнов, такие образования очень часты и обычны.

---

<sup>65</sup> J. Aavik, Keele kaunima kõlavuse poole, Eesti Kirjandus VII (1912), стр. 458—459, 259—260 и др.

<sup>66</sup> A. Saareste, Kaunis emakeel, Lund 1952, стр. 26.

## ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ГОВОРЕ ПРИЧУДЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1958 Г.)

Т. Ф. МУРНИКОВА

В настоящее время состояние работы по составлению атласа русских народных говоров позволяет и до известной степени способствует созданию областных словарей тех или иных диалектных зон, выявленных на основе собранных для атласа языковых материалов. Об этой важной задаче, стоящей перед русскими диалектологами, говорится в решениях VI диалектологического совещания, проведенного Институтом русского языка АН СССР в мае месяце 1958 г. Участники этого совещания подчеркивают, что необходимо уже сейчас проводить работу по созданию региональных словарей путем интенсивного обследования словарного состава говоров с целью возможно более глубокого и всестороннего его изучения. (См. Решение VI диалектологического совещания, стр. 4). В решениях того же совещания указывается, что при собирании и подготовке материалов для региональных словарей следует учитывать основные положения книги Г. Г. Мельниченко «О принципах составления областных словарей»,<sup>1</sup> и в частности рекомендуется придерживаться той схемы тематической классификации слов, которая разработана автором книги в результате тщательного анализа «Материалов для словаря народного языка в Ярославской губернии», изданных в 1899 г. Е. И. Якушкиным. Согласно этой классификации, словарный состав русского языка разбивается на пятьдесят три основных тематических раздела, внутри которых проводится более мелкое дробление общей темы. Словарный материал, касающийся личных мужских и женских имен, выделяется в классификации Г. Г. Мельниченко в особую подтему 51 раздела, что свидетельствует о том, что этот контингент слов требует в русском языке особого, отдельного от других словарных тем, рассмотрения.

Летом 1958 года кафедрой русского языка ТГУ было положено начало изучению словаря наиболее интересного в историческом и лингвистическом отношении русского говора на тер-

<sup>1</sup> См. Ученые записки Ярославского пединститута, вып. XXVI (XXXVI), Ярославль, 1957.

ритории Эстонской ССР, а именно говора старообрядческих поселений на берегу озера Пейпси (оно же Чудское озеро, откуда и название этого края «Причудье»), причем особенно тщательно был собран материал по теме «Личные мужские и женские имена». Участниками научной экспедиции было опрошено по специально составленной анкете не менее пяти-шести местных жителей в каждом обследованном населенном пункте, что позволило довольно обстоятельно изучить все особенности словообразования и грамматической структуры личных имен в говоре Причудья. Анкетный материал собран в следующих населенных пунктах западного побережья Чудского озера: Муствее, Тихеда, Кюкита, Калласте, Нина, Большие Кольки, Малые Кольки, Казепель, Воронья и остров Пийрисаар. В дальнейшем тему о личных именах, несомненно, следует несколько расширить, дополнив ее теми данными, которые будут собраны по северному побережью Пейпси — начиная от Логоты и кончая Смольницей. Вместе с тем, необходимо оговориться, что в настоящей статье вопрос о личных именах в говоре Причудья освещается автором лишь наполовину, поскольку анализу подвергаются только полные имена, в то время как сокращенные формы тех же образований будут рассмотрены особо.

О личных мужских и женских именах говорится почти во всех грамматических трудах по русскому языку, причем чаще всего в непосредственной связи с суффиксацией личной оценки. В. В. Виноградов в своем труде «Русский язык» касается этой темы также и при трактовке вопроса об именах существительных общего рода, т. к. сокращенные имена — как мужские, так и женские — оканчиваются на -а, имеют общие словообразовательные средства и таким образом примыкают к словам общего рода типа «сирота», «плакса» и др. Весьма обстоятельно и интересно разработана эта тема в статье В. И. Чернышева «Русские уменьшительно-ласкательные личные имена».<sup>2</sup> Необходимо отметить, что статья Чернышева построена на материале литературного и народного употребления личных имен, причем автор указывает, что он ограничивался традиционными именами, вошедшими в живой оборот у интеллигенции начала XX века. В настоящем небольшом исследовании рассмотрение вопроса переносится в сферу употребления личных имен в языке носителей одного определенного говора, имеющего весьма своеобразную историю формирования, наложившую свой отпечаток как на грамматическую структуру, так и на словарный состав языка местного населения. Прежде всего следует отметить, что в этой местности мы имеем дело в основном со старообрядцами, бежавшими сюда в период гонений на так называемую старую веру со стороны господствующей православной церкви, и поэтому живая часть общеупотребительных личных имен в говоре

<sup>2</sup> См. Русский язык в школе, 1947, № 4.

Причудья значительно обширнее и богаче по объему, чем в соседних деревнях с православным населением, а тем более чем в среде русской интеллигенции нашего времени. Отбор этой живой части общеупотребительных имен производился при составлении анкеты по дониконовскому церковному месяцеслову (по святцам). В результате такого отбора оказалось, что употребительными до настоящего времени являются свыше 300 имен (около 200 мужских и 120 женских), в то время как по материалам для Ярославской губернии Якушкина еще в конце прошлого столетия эту живую часть составляло всего 130 имен. Несомненно, что за время существования Советской власти в Эстонии выбор личных имен и в говоре Причудья изменился в очень сильной степени, но никак нельзя согласиться с утверждением Г. Г. Мельниченко, что вряд ли среди русских можно сейчас найти людей с такими именами, как Аверкий, Анфим, Феврония, Гликерия и т. д. В причудском говоре живыми и общеупотребительными являются не только вышеприведенные наименования, но и такие имена, как Василиса, Вевея, Евпраксия, Еликомида, Фотиния, Акилина, Епистимия, Акиндин, Варсонофий, Иринарх, Ксенофонт, Алимпий, Аристарх, Калинин, Онисифор и т. д. Все эти уже с давних пор забракованные русской интеллигенцией личные имена приобрели в говоре Причудья свой особый диалектный характер и «обросли» в целом ряде случаев весьма своеобразными сокращенными вариантами полного имени, например: Епистимия — Пистимка ~ Пимка ~ Пистя ~ Сtima ~ Тима ~ Сима; Онисифор — Нисифор ~ Нисифра ~ Сифра ~ Нитифа ~ Нитя и др. Полное и сокращенные варианты имени нередко очень трудно отделимы друг от друга, но только для человека постороннего — местные жители прекрасно разбираются в этом сложном вопросе и никогда не затрудняются выделить основную форму, т. е. местный диалектный вариант полного мужского или женского имени.

С точки зрения частоты употребления, а также общей жизнеспособности личного имени сокращенные варианты играют очень существенную роль. В связи с этим В. И. Чернышев вполне справедливо отмечает, что собственно только наличие сокращенных имен делает личное имя пригодным для живого обращения, удовлетворяющим потребностям семейных и общественных отношений. Само по себе ничего не говорящее русскому сердцу, заимствованное в большинстве случаев из греческого языка, то или иное полное имя лишь в русской переработке, т. е. в сокращениях, приобретает определенный эмоциональный характер, оживает, наполняется доступным для каждого русского человека содержанием. Поэтому не случайно, что и в наше время выбор имени ребенку сопровождается примерным воспроизведением всех возможных при нем уменьшительных и ласкательных вариантов, причем симпатии обычно склоняются на сторону более богатого в словообразовательном от-

ношении наименования. В говоре Причудья жизнеспособность и частота употребляемости имени, несомненно, определяется прежде всего этими словообразовательными ресурсами, и поэтому нелюбимыми, забракованными оказываются не только неблагозвучные наименования, но и очень многие красивые, но не поддающиеся русской грамматической переработке греческие имена, не образующие уменьшительных русских вариантов. Последние встречаются значительно реже и постепенно вообще выходят из употребления. Обычно в отношении таких наименований указывалось, что среди стариков они были, но теперь уже никого в деревне с подобным именем не осталось (напр. мужские имена Акила, Варнава, Паисий, Прокл, Полиект и др.; женские — Комита, Трифена, Ермиония, Енафа и др.).

Прежде чем говорить об особенностях в словообразовании сокращенных имен, необходимо остановиться на тех диалектных изменениях, которые характеризуют полные личные имена, поскольку эти особенности переносятся затем и в сокращенные формы, определяя тот или иной способ словообразования данного типа.

В полных именах диалектные изменения наблюдаются прежде всего в начале и в конце слова, причем они объясняются в большинстве случаев общими для всего русского языка закономерностями приспособления иноязычных слов к фонетическому и морфологическому строю русского языка.

Остановимся сначала на изменениях, происходящих в начальных слогах личных имен. В говоре Причудья в этом положении наблюдается свойственная почти всем русским диалектам утрата безударных звуков, а иногда и целых слогов, в результате чего имя заметно сокращается и становится более легким для обращения в обиходной, повседневной жизни. Утрачиваются чаще всего мало свойственные структуре русского слова начальные а и е — реже другие звуки и слоги, напр., Александр > Лександр, Аполинария > Полинария, Аскитрия > Скитрѐя, Анастасия — Настасья, Алексей > Лексей, Акиндин > Киндин, Аристарх > Ристарх ~ Листарх, Анатолий > Натолій, Еликомида > Ликонида, Епистимия > Пистимья, Евлампия > Лампѐя, Екатерина > Катерина, Елизавета > Лизавета, Олимпиада > Лимпиада, Гликерия > Лукерья, Вивея, > Ивैया, Ксенофонт > Сенофонт, Димитрий > Митрий, Иларион > Ларион, Галактион > Лактион и т. д. В русском литературном языке подобного изменения начала слова мы не наблюдаем, и потому эти варианты личных полных имен воспринимаются как искажения, хотя наиболее распространенные имена и проникали в русское просторечие и разговорную речь именно в такой диалектной форме (напр. Катерина, Лизавета, Настасья, Митрий, Лукерья и др.). Вместе с тем, литературные сокращенные ласкательно-уменьшительные и пренебрежительные имена отражают те же изменения, которые свойственны диалектным вариантам

полных имен, т. к. по своему происхождению они нередко диалектны. Так, например, в литературном языке имена Катя, Лиза, Митя, Груша, Настя и ряд других образуются не от полных лиг их диалектных вариантов (Катя < Катерина, Лиза < Лизавета литературных вариантов имени (Екатерина, Елизавета и т. д.), а и т. д.). Все это свидетельствует о том, что процесс изменения, разрушения первоначального фонетического состава личных имен протекает в говорах более интенсивно, чем в нормализованной литературной русской речи, в которой значительным звуковым изменениям подвергаются обычно лишь возникшие уже на базе словообразовательных средств русского языка уменьшительные формы имени. Попутно можно указать, что в диалектах, в частности также и в говоре причудцев, изменениям могут подвергаться все части слова, включая и самое основание имени, в результате чего последняя может отличаться от своего первоисточника. Так, например, книжному варианту имени Ирина противопоставлено северное народное *Орина*, откуда ведет начало сокращенное *Оря*; *Артемий*, по-видимому, когда-то звучал в говоре *Причудья*, как *Ортемий*, и потому от этого имени образуется сейчас сокращенное *Ортя*; *Гликерия*, *Акилина*, *Киприян* отражают народное произношение древней ижицы и потому звучат как *Лукерья*, *Акулина*, *Куприян*; церковный вариант имени *Пелагия* переходит в народное *Полагя*, откуда *Поля*, *Полечка*; от диалектного *Афонасий* образуется сокращенное *Афбня* и т. д.

Особенно существенные изменения происходят в личных именах при наличии в начальном слоге имени не свойственного русскому языку стечения гласных звуков, напр. *иоа*, *иа*, *иу*, *ео*-, и т. д. В начальном сочетании *иоа* — утрачиваются чаще всего два первых компонента, и поэтому имя начинается сразу с гласного *а*: *Иоанникий* > *Аникий*, *Иоаким* > *Аким*, *Иоасаф* > *Асаф*, *Иоасон* > *Асон* и др. В имени 'Иоанн' средний компонент заменяется вставочным *в*, что и приводит к образованию русского «*Иванна*». Начальные *иа*, *иу* стягиваются обычно в один слог и переходят в *я* и *ю* ~ *у*, напр. *Иаков* > *Яков*, *Иулиан* > *Ульян*, *Иустин* > *Устин*, *Иулия* > *Юлия*, *Иулиана* > *Ульяна* и т. д. В сочетании гласных *ео* . которое обычно наблюдается в именах, начинающихся с *ф*, чаще всего утрачивается второй гласный: *Феодор* > *Федор*, *Феоктиста* > *Фектиста*, *Феодосия*, *Федосья*, *Деонисий* > *Денисий*. Только в имени 'Феопент', которое звучит в говоре *Причудья* как *Попент*, мы наблюдаем утрату первого компонента, а также древний переход иноязычного по происхождению звука *ф* в *п*. В имени 'Леонтий' сохраняются оба гласные, которые разъединяются при помощи вставочного *в* (*Леонтий* > *Левонтий*), и поэтому от этого довольно распространенного в *Причудье* имени образуются уменьш.-ласкат. формы *Лёва*, *Лёвушка* и др. (все с вставочным «*в*») Любопытно при этом отметить, что по причине такого диа-

лектного своеобразия имени 'Леонтий' (Левонтий > Лёва) от имени Л е в в Причудье употребляют только сокращенное Л е в а (без перехода е > ё), причем местные жители очень строго разграничивают вариант с переходом е > ё и вариант имени без подобного перехода, не позволяя «неискушенным» в этом вопросе людям нарушать местные диалектные нормы словообразования («Лева Гойдин — Лев, а вот Лёва Лизунов — это Левонтий!»). Попутно можно отметить, что такое же вставочное 'в' наблюдается, но уже в конечном слогe и в группе гласных -ио-, в именах 'Родион' и 'Ларивон' которые переходят в диалектные Родивон и Ларивон (ср. неологизмы той же местности радива < < радио и какава < какао)

К диалектным изменениям начала слова относится и переход начального е в о, а затем при аканье в а в именах Ефрем, Емельян, Евсей, Евдокия и др., которые звучат как Афрем, Амельян, Авсей, Авдотья и т. д.

Таковы в общих чертах те диалектные особенности, которые характеризуют преимущественно начало личных имен в говоре Причудья. Эти изменения носят преимущественно фонетический характер, т. к. вызваны процессом приспособления иноязычного слова к звуковой системе и общим закономерностями фонетической структуры русского слова.

Несколько иной характер имеют изменения, происходящие в конечных слогах личных имен. Здесь мы наблюдаем довольно ясно выраженную тенденцию грамматической дифференциации имен по принципу принадлежности последнего лицу мужского или женского пола. Эта морфологическая дифференциация сопровождается утратой редко встречающихся и не свойственных тому или иному грамматическому роду окончаний путем замены последних типичными родовыми формантами. Так, например, имена мужчин на -ия переходят в говоре в разряд слов на -й (Анания > Ананий, Исаия > Исай и т. д.) Сложные по структуре мужские имена утрачивают конечные слоги и также включаются в общую массу слов мужского рода на -ий ~ -ей (Доментиан > Дементий, Анфиноген > Финогей, Пантелеймон > Пантелей и др.) В результате такого живого процесса выравнивания родовых окончаний в говоре жителей Причудья в настоящее время мы наблюдаем два основных грамматических типа мужских имен:

1) имена, оканчивающиеся на ий, ей (-ей при переходе ударения на конец слова);

2) имена на твердый согласный звук (нулевое окончание).

Преобладающими в количественном отношении являются мужские имена на ий, ей, причем в говоре Причудья довольно часто наблюдается переход ударения на окончание слова, в результате чего образуются диалектные варианты имени на ей: Зиновий > Зиновей, Савватий > Саватей, Патрикий > Патрикей, Феодосий > Федосей, Гордий > Гордей и т. д. (ср. литер. Сер-

гей и Алексей, в которых наблюдается аналогичный переход подударного ий > -эй: Сергий > Сергѣй, Алексий > Алексѣй). Как уже указывалось выше, мужские имена на твердый согласный звук в количественном отношении уступают именам, оканчивающимся на ий, ей, но в говоре Причудья наблюдается в настоящее время весьма живой и интенсивный процесс расширения сферы употребления форм с нулевым окончанием за счет утраты конечного форманта именами на -ий, -ей. В результате такого намечающегося перехода в речи жителей одной и той же местности можно услышать параллельные варианты с окончанием и без окончания: Назарий ~ Назар, Кондратий ~ Кондрат, Макарий ~ Макар, Сафроний ~ Сафрон, Игнатий ~ ~ Игнат, Антоний ~ Антон, Артемий ~ Артѣм, Пахомий ~ ~ Пахом, Потапий ~ Потап, Прокопий ~ Прокоп, Аполоний ~ ~ Аполон, Амбросий ~ Амброс и т. д. Частоту употребления того или другого варианта пока не удалось в полной мере установить, но приблизительные данные говорят за то, что более популярны и употребительны формы без окончания.

Наряду с этими двумя основными морфологическими типами мужских имен следует упомянуть и о небольшой группке мужских личных имен, оканчивающихся на -а (около десятка имен), в которую входят такие мало употребительные даже в говоре Причудья имена, как Арефа, Фома, Фока, Лука, Иона, Кузьма, Зосима, Мина и народные варианты имен Гавриил и Даниил 'Гаврила' и 'Данила'. Эта группа имен в говоре Причудья постепенно сходит на нет не только из-за слабой употребляемости, непопулярности мужских имен на а, но и по причине перехода этих имен в группу имен на -ий или на твердый согласный звук: Арефа > Арефий, Зосима > Зосим, Иона > Ион и т. д. (Ср. лит. Николай из первоначального Никола).

В женских именах мы имеем дело уже в первоначальных, исходных вариантах с типичными родовыми женскими окончаниями -а и -ия, причем церковнославянский по происхождению формант -ия в говоре Причудья в подавляющем большинстве случаев дает переход в -ья, а при ударении на конце слова в -ѣя. Как и в личных мужских именах на -ий, -ей, переход ударения на конец слова приводит к образованию диалектного варианта полного женского имени, к варианту на -ѣя: Евпраксия > > Евпраксея, Евлампия > Евлампѣя, Миропия > Миропѣя, Аскитрия > Аскитрѣя, Соломония > Соломея, Евдокия > Евдокея, но Мария > Марья, Агафия > Агафья, Пульхерия > Пульхерья, Анастасия > Настасья, Анисия > Анисья, София > > Софья, Гликерия > Лукерья, и т. д. (ср. лит. Пелагея при исходной форме этого имени на -ия: Пелагия).

Все изложенные выше наблюдения над личными именами в говоре Причудья свидетельствуют о том, что в своей начальной полной форме эти слова претерпели значительные фонетические и морфологические изменения, характерные для большинства

русских диалектов, и потому наиболее распространенные, типичные диалектные особенности нашли отражение также и в общенародной, литературной русской речи. Еще больше точек соприкосновения между литературным языком и говорами обнаруживается при анализе языкового материала, связанного со значением и формами сокращенных личных имен, поскольку в литературном языке, последние образуются в основном от тех видов полных имен, которые получили обращение в народе. Единые для литературного языка и русских говоров модели и способы образования сокращенных личных имен замечательны своим богатством и исключительным своеобразием; этому вопросу должно быть посвящено особое исследование.

В заключение следует отметить, что собранные по причудскому говору данные в полной мере подтверждают мысль, высказанную В. И. Чернышевым относительно особых путей развития словообразования и суффиксации личных мужских и женских сокращенных имен, в результате чего последние коренным образом отличаются от аналогичных имен нарицательных с теми же суффиксами эмоциональной оценки. Поэтому значение, смысловая нагрузка сокращенных личных имен могут быть правильно определены лишь путем тщательного изучения круга их практического применения, путем всестороннего изучения понимания, осмысления сокращенных имен той конкретной средой, в которой последние обращаются. Основываясь на этом положении, очень распространенные среди русского народа сокращения с суффиксом -к-, по данным причудского диалекта, по-видимому, нельзя причислять к грубым, уничижительным по своему значению образованиям, поскольку они этой смысловой нагрузкой фактически не имеют (ср. диалектное значение слова «девка» с тем же суффиксом -к- в говоре Причудья оно обозначает «деревенская девушка» или «дочь» — «В отца было два мальчика и три девки»). Общенародные сокращенные имена Катька, Сашка, Петька, Ванька и др., как и менее употребительные, а потому нейтральные для лит. языка Пистимка, Устинка, Вавилка, Амелька, Акимка и др., воспринимаются, по крайней мере, в Причудье не как оскорбительные и обидные клички, а как варианты дружеского, «простого» наименования («Так называем промеж себя, по-простому»). Поэтому вызывает известное возражение то место в письме Белинского к Гоголю, где знаменитый критик, возмущаясь с полной справедливостью тем, что Россия его времени «представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми», вместе с тем болеет душой также и о том, что русские люди сами себя называют не именами, а кличками. Фактические диалектные данные свидетельствуют о том, что в эти образования с суффиксом -к-, по-видимому, не вкладывается такого оскорбительного для человеческого достоинства содержания. В говоре Причудья значение уничижительности, раздраже-

ния, недоброжелательности выражается — по предварительным наблюдениям — совсем иными словообразовательными средствами, чаще всего при помощи суффиксов -их/а, -ех/а, -ух/а, -ах/а (Васиха < Василиса, Фотеха < Фотенья, Домаха < Домна, Настуха < Настасья и т. д.). Существует, несомненно, и целый ряд иных способов и средств выражения неодобрительного отношения к носителю того или иного имени. Так, например, от имени 'Федосья' в одной из деревень была образована очень необычная сокращенная форма Фега, причем это сокращение здесь же получило и соответствующую смысловую характеристику — «так говорят во зле!» К подобным характеристикам при собирании языкового материала следует внимательно прислушаться, т. к. они заслуживают самого серьезного внимания с точки зрения изучения особенностей грамматической структуры и значения личных имен в русском языке.

Приведенные наблюдения относительно значения суффикса -к- в личных мужских и женских именах Причудья, само собою разумеется, не колеблют тех установок, которые существуют по этому вопросу в современном русском литературном языке. Вместе с тем, и в литературном обращении этот формант не всегда выражает уничижительное значение, в результате чего от одного и того же имени образуются параллельные варианты с суффиксом -к-, имеющие различную с точки зрения субъективной оценки смысловую нагрузку, напр.: Татьяна — Танька и Татьянка; Полина — Полька и Полинка; Елена — Ленка и Алёнка, Мария — Манька и Марийка и т. д. Первый вариант имеет диалектное происхождение, в то время как второй характерен для литературной речи и в диалектном обращении почти никогда не встречается. За простым, деревенским по происхождению образованием, по-видимому и закрепилось в литературном языке значение фамильярного, грубого, уничижительного сокращенного личного имени. Все это свидетельствует об исключительном своеобразии и особых путях развития суффиксации личной оценки в мужских и женских именах в русском литературном языке и народных говорах.

## ГРАММАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Д. Н. КУДРЯВСКОГО.

С. В. Смирнов

### I

Грамматические взгляды Д. Н. Кудрявского складывались в тот период, когда в русском языкознании существовало три основных направления: логико-грамматическое, психологическое и формальное. Это традиционное деление русской грамматической науки, несмотря на некоторый схематизм, вполне приемлемо, так как оно отражает основные направления в развитии грамматической мысли и дает методологический подход при изучении взглядов того или иного языковеда. Поэтому прежде чем перейти к характеристике грамматических взглядов Кудрявского, рассмотрим сущность этих направлений.

Виднейшим представителем логико-грамматического направления в русском языкознании был Ф. И. Буслаев. Правда, в предисловии к «Опыту исторической грамматики русского языка» он отрицательно отнесся к попытке Беккера построить учение о языке на новых началах. Деятельность Беккера Буслаев относит к тому переходному периоду, когда происходила борьба между лингвистикой и филологией. И Беккер в своей работе «Организм языка» решил построить целую философскую систему с учетом тех нововведений, которые были внесены в языкознание В. Гумбольдтом, Ф. Боппом и Я. Гриммом. Но он, отправляясь от правильной исходной точки, из-за недостатка фактического материала увлекся отвлеченными соображениями и, не сумев определить границ между логикой и грамматикой, пошел по пути прежних философских грамматик, стремившихся доказать, что законы логики удобно применяются и к грамматическим фактам. «Ограничившись общими понятиями о выражении мысли в формах языках, Беккер все внимание обратил на синтаксис, коснувшись этимологии слегка, только для полноты системы. Вследствие того, его синтаксис, не будучи основан на этимологическом разборе форм, оказался не наукою о языке, а отвлеченным рас-

суждением о применении законов логики к готовому материалу языка».<sup>1</sup>

Сам Буслаев, испытавший значительное влияние со стороны сравнительно-исторического языкознания (Ф Бопп, Я. Гримм, В. Гумбольдт),<sup>2</sup> правильно отмечая основные недостатки Беккера и защищая права языка на самостоятельное изучение, фактически не вышел полностью из-под влияния логической грамматики. Поэтому для его лингвистических работ было характерно смешение грамматических понятий с значениями, которые в языке формально не выражены. Это приводило к отождествлению логических и грамматических категорий (суждения и предложения, понятия и слова, субъекта и подлежащего, предиката и сказуемого), к рассмотрению обособленных причастных и деепричастных оборотов как сокращенных придаточных предложений и определению частей речи и второстепенных членов предложения преимущественно со смысловой стороны.

Основоположителем формального направления в русском языкознании был Ф. Ф. Фортунатов. В центре его грамматической системы лежит понятие отдельного слова, которое он определяет, как «всякий звук речи, имеющий в языке значение отдельно от других звуков, являющихся словами».<sup>3</sup> Такое определение, указывающее на две стороны слова: сочетание звуков и значение, должно было бы привести Фортунатова к анализу соотношения между ними и отсюда к раскрытию грамматической стороны слова. Но он рассматривает семантическую структуру слова только с точки зрения разграничения полисемии и омонимии. В связи с этим акад. Виноградов пишет, что «при такой неопределенности объема и содержания понятия слова формальный анализ слов мог привести лишь к абстрактной классификации звуковых «форм» в языке, оторванных от живой природы слов и от их социального распределения по грамматическим категориям».<sup>4</sup>

Форму слова Фортунатов определял, как «способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих фор-

<sup>1</sup> Ф. И. Буслаев, Опыт исторической грамматики русского языка, ч. I, М., 1858, стр. XVII.

<sup>2</sup> Ср. его высказывание: «Вместе с капитальным исследованием Вильгельма Гумбольдта о сродстве и различии индогерманских языков, я изучал тогда сравнительную грамматику Боппа и умел уже довольно бойко читать санскритскую грамоту... Но особенно увлекся я сочинениями Якова Гримма и с пылкой восторженностью молодых сил читал и зачитывался его историческою грамматикою немецких наречий, его историческою мифологиєю, его немецкими юридическими древностями. Этот великий немецкий ученый был мне вполне по душе. Для своих неясных, смутных помыслов, для искашения ошущью и для загадочных ожиданий я нашел в его произведениях настоящее откровение» (Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, стр. 281).

<sup>3</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Избранные труды, т. I, М., 1956, стр. 132.

<sup>4</sup> В. В. Виноградов, Современный русский язык, вып. I, М., 1938, стр. 41.

мальную и основную принадлежности».<sup>5</sup> Такое понимание формы слова приводило к отрыву формы от содержания, так как они рассматривались не в диалектическом единстве, а параллельно, независимо друг от друга. При этом основное внимание он обращал на чисто морфологический состав слова, связывая форму с наличием или отсутствием аффикса. Тем самым ряд других способов выражения грамматической формы (например, порядок слов, ударение, интонация и другие) выпадает из сферы грамматического анализа, поскольку форма понимается исходя из структуры отдельного слова, а не из системы всех грамматических средств языка. Эти исходные положения привели Фортунатова к полному морфологизму в классификации полных слов.

Направление, основоположником которого был А. А. Потебня, обыкновенно называют психологическим или психолого-грамматическим. Но этот термин мы считаем условным, так как его нельзя признать удачным по ряду причин. Он прежде всего не определяет сущность данного направления, так как психологизм был характерен и для Московской и Казанской школ, хотя в методологии лингвистических исследований между ними были принципиальные расхождения. Сохранение данного термина делает границы психологического направления очень условными, неопределенными и не способствует выяснению сущности вопроса. При этом психологический фактор в научном наследии Потебни не занимает значительного места, так как он не переносил центр внимания с объективных языковых процессов на интеллектуальные акты говорящего, а рассматривал язык как имеющее свои объективные законы произведение народа. Потебня прибегал к психологизму главным образом только при решении общетеоретических вопросов языкознания.

Грамматическое учение Потебни возникло как протест, как реакция на логическую грамматику. Поэтому он так подробно останавливается на критике логического направления и выяснении отношений между логикой и грамматикой. Его основные положения сводятся к следующим моментам:

а) Слово не тождественно с понятием, так как отличается от него не только наличием звуковой формы, но и всем содержанием, а в ходе развития мышления предшествует понятию.

б) Грамматическое предложение не тождественно и не параллельно с логическим суждением, поскольку подлежащее и сказуемое в логике и грамматике имеют различные значения, логическое подлежащее может быть грамматическим сказуемым и наоборот. Кроме того, логика знает только два члена суждения. Поэтому из логического суждения не могут быть выведены и объяснены второстепенные члены предложения.

в) Поскольку грамматических категорий несравненно больше, чем логических, то часто допускаются две ошибки: или в

---

<sup>5</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Избранные труды, т. I, М., 1956, стр. 136

логику вносятся такие категории, которые ей совсем не нужны, или в грамматике отождествляются такие явления, которые совершенно различны по своему характеру. Это происходит от того, что логика не признает индивидуальные различия языков, так как ее категории носят общенародный характер.

г) Логика — наука гипотетическая, по выражению Потебни. Она рассматривает не процесс мышления, а его результат. Языкознание же принадлежит к числу исторических наук.

Исходя из этих положений, Потебня упорно боролся против логицизма в языкознании, против логического объяснения языковых явлений, так как видел в нем только ошибочный прием: «для облегчения задачи исследования судить по одной вещи о другой, совершенно отличной».<sup>6</sup> Поэтому он постоянно отстаивал права языка на самостоятельное изучение, постоянно стремился объяснять языковые явления из них самих. Но формальное направление тоже ставило перед собой эту же цель. Отсюда встает вопрос: в чем состоит различие между взглядами Потебни и Фортунатова? Это различие заключается в подходе к языковым фактам. Если Фортунатов отрывал форму от содержания, рассматривая их параллельно, сводил понятие языковой формы к сумме морфологических форм (корень и аффиксы) и синтаксических, которые понимал как конструкции из морфологически оформленных слов (отсюда деление слов на форменные и бесформенные), то Потебня всегда выступал против механического расчленения слова на части, постоянно подчеркивал принцип однородности грамматической формы с вещественным содержанием. Грамматическая форма, утверждал он, есть элемент значения слова, однородный с его вещественным значением. «Мысль в формальном языке никогда не разрывает связи с грамматическими формами: удаляясь от одной, она непременно в то же время создает другую».<sup>7</sup> Звук, являющийся грамматическим средством, может теряться, но это не значит, что тем самым перестает распознаваться грамматическая категория. Поэтому, подчеркивал он, «нет формы, присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке».<sup>8</sup> С этой точки зрения, в русском языке нет бесформенных слов, так как значение каждого слова подводится под ту или иную грамматическую категорию. В этом и состоит сущность единства вещественного и грамматического, семантического и формального в понимании Потебни.

Следовательно, в русском языкознании XIX века противостояли друг другу три направления. С одной стороны, логико-грамматическому направлению противостояли формальное и психологическое, с другой, формальное — психологическому. Эти

<sup>6</sup> А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, изд. 2, Харьков, 1888, т. 1—2, стр. 73.

<sup>7</sup> Там же, стр. 41.

<sup>8</sup> Там же, стр. 36.

три направления продолжали существовать и в начале XX века. Но к этому времени в них произошли значительные изменения. Противопоставление направлений стало настолько подчеркнутым, что единственно научным признавался лишь формально-грамматический анализ языковых явлений, а логическое направление ограничивалось рамками школьной грамматики. Этим и объясняется большой разрыв между школьной и научной грамматикой и борьба между ними, что составляет характерную черту истории русского языкознания конца XIX — нач. XX века. Формальное направление в последующем развитии, в свою очередь, стало ограничиваться узко-морфологическим анализом грамматических категорий и поставило тем самым себя в тупик, что предопределило стремление таких видных языковедов, как А. А. Шахматов и А. М. Пешковский, синтезировать в своем учении взгляды Фортунатова и Потебни, но уже на более высоком уровне, с учетом достижений русской и западноевропейской науки.

Проф. Д. Н. Кудрявский в истории русского языкознания выступает как последователь идей Потебни. В своих работах он неоднократно подчеркивал значение этого крупнейшего лингвиста для развития науки о языке. В рецензии на «Синтаксис русского языка» Овсянико-Куликовского Кудрявский писал: «Работы этого ученого (т. е. Потебни, С. С.) несомненно составляют краеугольный камень в здании научного синтаксиса русского языка (да и не одного русского языка)»<sup>9</sup> В работе «Психология и языкознание» он так оценивает значение Потебни: «... считаю своим долгом сказать, что ставлю Потебню, как лингвиста, гораздо выше Вундта, и не только не считаю взгляды Потебни отсталыми, а напротив думаю, что знакомство с его взглядами западных ученых и *теперь* [курсив автора. С. С.] могло бы их освободить от многих ошибочных воззрений».<sup>10</sup> Сам Кудрявский испытал значительное влияние взглядов Потебни, которое особенно сказалось в учении о слове, грамматической форме, частях речи, предложении и его членах.

Свои взгляды на грамматику Кудрявский первоначально изложил в статьях, опубликованных в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона,<sup>11</sup> затем в рецензии на «Синтаксис русского языка» Д. Н. Овсянико-Куликовского («Известия ОРЯС», 1902, т. VII, кн. 4) и статье «Школьная и научная грамматика» (в книге С. А. Новиковой «Руководство к книге «Рус-

<sup>9</sup> Д. Н. Кудрявский, Д. Н. Овсянико-Куликовский. «Синтаксис русского языка», рецензия. (Известия ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 4, стр. 403).

<sup>10</sup> Д. Н. Кудрявский, Психология и языкознание, Юрьев, 1905, стр. 72.

<sup>11</sup> См., например, такие статьи, как «Обстоятельство», «Определение», «Подлежащее», «Предложение», «Прилагательное», «Синтаксис», «Сказуемое», «Сочетание предложений», «Существительное имя», «Части речи и части предложения».

ский язык», СПб, 1910) Свое окончательное завершение грамматическая система Кудрявского получила в книге «Введение в языкознание» (Юрьев, 1912), куда вошли и почти все его высказывания из предыдущих работ. В целом его грамматические взгляды за этот период не претерпели никаких существенных изменений.

## II.

В истории языкознания одним из наиболее трудных вопросов было выяснить предмет и задачи грамматики, определить границы морфологии и синтаксиса. Акад. Виноградов указывал на две причины этого: во-первых, слабая изученность грамматического строя и, во-вторых, отсутствие прочной теоретической базы, отсутствие точных определений и глубокого описания основных грамматических понятий и прежде всего понятий слова и предложения.<sup>12</sup>

В русском языкознании вопрос о предмете грамматики и о соотношении морфологии и синтаксиса наиболее остро был впервые поставлен Буслаевым. В своей «Исторической грамматике русского языка», определив грамматику, как науку о языке, он делит ее на морфологию (этимологию) и синтаксис. В основе этого деления лежит понимание им соотношения слова и предложения. Его исходный принцип: поскольку язык является средством выражения мысли, а мысль может быть выражена только в предложении, то ее первоначальной формой выражения является целое предложение. Поэтому предметом морфологии Буслаев считает отдельное слово, а синтаксиса — слова в их взаимном сочетании. Иначе говоря, в состав морфологии он включает только учение о грамматических формах отдельных слов, а в состав синтаксиса — не только учение о предложении и словосочетании, но и учение о значении и употреблении частей речи.

По другому пути пошел Потебня. Рассматривая слово как единство звука, представления и значения, он считал, что вся область изучения языка делится на фонетику, изучающую внешнюю форму слова, т. е. звуковой состав, и учение о значении. Если в первом случае знаменательность предполагается, но на ней не останавливаются, то во втором основное внимание сосредоточивается на значении слов. Это значение, в той мере, в какой оно составляет предмет языкознания, Потебня называет внутренней формой, в отличие от внешней, звуковой. Во внутренней форме он, в свою очередь, различает представление содержания и представление формы, в которой заключено это содержание. В языкознании этому соответствует учение о вещественном значении слова и учение о грамматических формах,

<sup>12</sup> В. В. Виноградов, Русский язык, М.-Л., 1947, стр. 3.

которые рассматриваются с этимологической и синтаксической точек зрения. «Будет ли перед нами вещественное или формальное значение слова, мы равно а) или определяем его, что возможно только из контекста, из сочетания его с другими — точка синтаксическая; б) или изыскиваем путь, которым язык дошел до этого значения — точка этимологическая. Таким образом этимология и синтаксис относятся друг к другу, как история и описание современного состояния; последнее объясняется первым. То, что по отношению к данному слову есть этимология, то по отношению к предшествующему — синтаксис».<sup>13</sup>

Следовательно, Потебня разграничивает этимологию и синтаксис с точки зрения подхода к языковым явлениям. И в синхроническом плане он не видел различия между ними, т. е. этимология у него как бы сливалась с синтаксисом.

Кудрявский в понимании предмета морфологии и синтаксиса опирается на взгляды Потебни. Он отвергает распространенное в европейском языкознании определение синтаксиса, как части грамматики, которая рассматривает законы сочетания отдельных слов в целые предложения. Кудрявский вслед за Потебней считает, что единственным объектом научной грамматики является живая речь. Поэтому нельзя говорить о сочетании отдельных слов в предложения, так как отдельных слов, помимо предложения, не существует. Следовательно, задача синтаксиса заключается в изучении живой речи. Но при таком понимании синтаксис поглотил бы всю морфологию. Поэтому дальше Кудрявский уже отходит от взглядов Потебни и стремится найти границы между морфологией и синтаксисом в специфике слова и предложения, а не в историческом и статическом изучении языка, как Потебня. Анализ слова, по его мнению, входит в задачу трех разделов: морфологии (учение о формах слов, склонении и спряжений), словообразования и фонетики. Синтаксис же он определяет, как учение о предложении и его частях. Иначе говоря, в его содержание входит а) определение предложения как единицы речи, б) разбор различных видов предложений, в) установление членов предложения, г) рассмотрение порядка слов в предложении и его изменения в связи со смысловыми оттенками, д) ударение в предложении, е) изучение типов связи членов предложения между собой, ж) функции отдельных грамматических категорий (род, число, падеж, залог, наклонение, время, вид и т. д.) и з) изучение способов соединения предложений между собой.

Но Кудрявский прекрасно понимал тесную взаимосвязь этих двух разделов грамматики и считал, что четкую границу между ними провести нельзя, так как морфология рассматривает различные формы грамматических категорий, которые соз-

---

<sup>13</sup> А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, изд. 2, Харьков, 1888, т. 1—2, стр. 38.

дались в связной речи, в предложении. Поэтому при разборе вопросов фонетики и морфологии постоянно приходится обращаться к синтаксису. У него даже проскальзывает мысль, что синтаксический анализ должен предшествовать морфологическому. Эта мысль уже раньше высказывалась Овсяннико-Куликовским, Вундтом и др. Но только Шахматов в 1919-20 гг. попытался осуществить это на практике, начав изложение курса современного русского литературного языка с синтаксиса.

В целом, Кудрявский при определении объема и границ морфологии и синтаксиса, хотя и опирался на теорию Потебни, но ближе всего подошел к Буслаеву. Акад. Виноградов, разбирая аналогичную точку зрения В. А. Богородицкого, писал: «Против такого деления грамматики есть серьезные возражения, так как границы между морфологией и синтаксисом очень неустойчивы и неопределенны. Часть грамматических явлений, относимых к морфологии, легко находит себе место в синтаксисе и лексикологии. Синтаксис не может обойтись без учения о слове как составной части предложения. Другая часть морфологии, исследующая и излагающая методы образования слов, может войти в лексикологию, т. е. в учение о словаре, о закономерностях изменений лексической системы языка».<sup>14</sup> Но мысль о примате синтаксиса над морфологией, высказанная впервые Буслаевым, получила свое дальнейшее развитие в трудах таких видных ученых, как Шахматов и Пешковский.

### III

До Потебни классификация слов по частям речи строилась главным образом на семантическом принципе. Их морфологические признаки, как правило, в определение не включались. Поэтому преобладающее место занимали такие определения, как: существительное есть название предмета, прилагательное — название признака, глагол — название действия или состояния. Попытка Буслаева преодолеть односторонность таких определений<sup>15</sup> почти не дала результата в силу противоречивости его синтаксической системы. Учение о главных членах предложения строилось на логической основе, приводящей к смешению субъекта и предиката суждения с подлежащим и сказуемым предложения. В основу выделения второстепенных членов было положено значение слов в составе предложения. Стремление Бус-

<sup>14</sup> В. В. Виноградов, *Русский язык*, М.-Л., 1947, стр. 4.

<sup>15</sup> Ср., например, его определение существительного: «Существительное не только выражает предмет, сам по себе, но и ставит его в известное отношение к глаголу, означая падежом или подлежащее, или дополнение, или обстоятельство, или определение» (*Опыт исторической грамматики русского языка*, М., 1858, ч. II, стр. 84). В таком определении, наряду с семантической стороной слова, указываются и его синтаксические функции.

лаева привести в соответствие учение о второстепенных членах с типами связи слов в предложении, т. е. поставить это учение на грамматическую основу, не получило дальнейшего развития в его трудах.

Грамматическая система Потебни возникла как реакция на логико-грамматические построения Буслаева. Она отличается от предыдущей лингвистической традиции не только более глубоким пониманием и освещением слова и грамматической формы, но и методологически — стремлением осветить языковые факты прежде всего исходя из них самих.

Потебня, исходя из понимания языка как непрерывного словесного творчества, основной формой существования и развития языка считал живую речь. Поэтому и основной единицей языка для него было предложение. Слово же может функционировать только в составе речи, вне ее оно представляет собой «искусственный препарат». В речи слово может соответствовать только одному акту мысли и имеет не более одного значения. Малейшее изменение в формальном или вещественном значении слова делает его другим словом. Затем такое понимание слова он дополняет учением о грамматической форме. Потебня считал, что форму нельзя смешивать с наличием или отсутствием аффиксов, как это делали представители формального направления, так как она есть прежде всего значение, проявляющееся в составе речи. Например, слово «сапог» вне связи с другими словами не обладает грамматической формой, так как если отдельное слово есть «искусственный препарат», то и его форма мертва, не функционирует. Следовательно, под словом «форма» Потебня прежде всего понимал грамматическое значение, выраженное морфологически или синтаксически в составе смыслового целого. Но такое понимание осложнено субъективно-идеалистическим положением о том, что форма, как и слово, всегда конкретна и однородна. Она не может заключать в себе несколько значений. Если каждое новое употребление слова равнозначно созданию нового слова, то и каждое новое употребление формы есть создание новой формы. Поэтому, говорил он, творительный падеж в русском языке есть абстракция; в действительности это не одна грамматическая категория, а несколько разных, так как всякое новое употребление творительного падежа есть новый падеж.

На этом фундаменте Потебня строит свою систему частей речи, рассматривая их в диахроническом и синхроническом плане. Слово, по его мнению, первоначально было только указанием на чувственный образ, разложение и видоизменение которого привело к образованию частей речи. Сначала в процессе этого создавались слова, в которых функции имен и глаголов еще не дифференцировались. Потебня называет их «первообразными причастиями». Дальнейшее развитие происходило следующим образом. Причастие выделило из себя прежде всего имя как

грамматическую категорию субстанции, которое, в свою очередь, расчленилось впоследствии на существительные и прилагательные. Поэтому Потебня дает несколько определений существительного. Первоначальное существительное как признак, данный в чем-то, определенном для мысли и без помощи другого слова, постепенно становится названием признака, мыслимого самостоятельно, независимо от какого-либо комплекса признаков. И общее определение существительного Потебня дает, как «название грамматической субстанции, или вещи».<sup>16</sup> (Разрядка автора. С. С.) Прилагательное определяется, как «признак, данный в чем-то, что без помощи другого слова остается со стороны содержания неопределенным».<sup>17</sup> (Разрядка автора. С. С.) Под эти понятия подводятся местоимения и числительные как особые группы. Но параллельно с выделением имени происходил другой процесс — становление глагола, отличительные черты которого Потебня видел в том, что «глагол изображает признак во время его возникновения от действующего лица».<sup>18</sup> (Разрядка автора. С. С.) И наречие он определяет, как «признак (стало быть, знаменательную часть речи), связуемый с другим признаком, данным или возникающим, и лишь чрез его посредство относимый к предмету (субъекту, объекту), а сам по себе не имеющий с ним никакой связи».<sup>19</sup> (Разрядка автора. С. С.)

Следовательно, Потебня выделял четыре основных части речи: существительное, прилагательное, глагол и наречие. В историческом плане он допускал еще две промежуточных: причастие и инфинитив. В эти части речи входят лексические слова, которым Потебня противопоставлял формальные категории слов — союзы, предлоги, частицы и вспомогательные глаголы, приравнивая их к морфемам.

Перейдя к анализу членов предложения, Потебня пришел к выводу о их соотносительности с частями речи. Этому способствовало уже само понимание слова и грамматической формы. Если они проявляются только в составе предложения, то то же самое можно сказать и о частях речи, что с необходимостью приводит к тому, что они параллельны членам предложения. Прийти к этому выводу способствовал также неудачный термин «части речи» и стремление дать единый принцип классификации, основанный на грамматическом значении слов, так как, по мнению Потебни, семантическая точка зрения в духе Буслаева не ставит четких границ между различными типами слов.

<sup>16</sup> А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, изд. 2, Харьков, 1888, т. 1—2, стр. 92.

<sup>17</sup> Там же, стр. 87.

<sup>18</sup> Там же, стр. 84.

<sup>19</sup> Там же, стр. 119.

Кудрявский, продолжая синтаксическое учение Потебни, основной единицей языка считал предложение. С этой точки зрения он подверг резкой критике Овсяннико-Куликовского, который под влиянием Миклошича признавал и отдельное слово. При этом Овсяннико-Куликовский считал, что слово обладает грамматическими формами независимо от речи, и рассматривал процесс речи-мысли как переход грамматических форм слова в формы грамматико-синтаксические. С точки зрения Потебни, к которой присоединяется и Кудрявский, такого различия проводить нельзя, так как можно говорить о вырванных из речи словах, но нельзя забывать, что их формы обязаны своим происхождением той речи, откуда они взяты. Поэтому для Кудрявского, как и Потебни, отдельное слово есть «искусственный препарат». Эти положения предопределили и синтаксическое понимание грамматической формы. Но, в отличие от Потебни, Кудрявский избежал субъективно-идеалистического взгляда на слово и грамматическую форму, как на «индивидуально-неповторимый акт духовного творчества»<sup>20</sup>

Исходя из этого, Кудрявский определял части речи, как «более общие грамматические категории, выходящие за пределы одного предложения и составляющие материал, из которого слагается предложение».<sup>21</sup> Поскольку предложение является основной формой существования языка, то части речи также создаются в предложении, но получают самостоятельное значение и могут выполнять в предложении различные функции. Например, существительное может быть подлежащим, дополнением, сказуемым, прилагательное — определением и сказуемым и т. д. К частям речи Кудрявский относил существительное, прилагательное, глагол, наречие и союз.

Рассматривая части речи, он прежде всего подвергает критике их определение в школьной грамматике, продолжавшей традицию логико-грамматического направления. Школьная грамматика определяла существительное, как название предмета, прилагательное — название качества, глагол — действия или состояния. Такие определения, по мнению Кудрявского, неточны, не отражают существа дела. Они не дают возможности отличить одну часть речи от другой, так как предмет, качество и действие могут быть выражены, например, именем существительным (ср. камень, белизна, ходьба). Представление качества содержится и в «белый», и «белизна», и «белеется». Поэтому Кудрявский считает, что основное различие между частями речи состоит не в том, что они обозначают, а в том, как обозначают. «Разница сводится к тому, что существительное называет что бы то ни было независимо от всякого отношения к чему

<sup>20</sup> В. В. Виноградов, Современный русский язык, вып. I, М., 1938, стр. 11.

<sup>21</sup> Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, Юрьев, 1912, стр. 101.

бы то ни было другому (камень, дерево, белизна, движение); прилагательное тоже называет что бы то ни было, но с указанием на то, что это представление должно мыслиться в чем-либо другом (каменный, деревянный, белый, подвижной); наконец, глагол изображает, описывает в различных моментах существование того же самого представления (каменеет, деревенеет, белеет, двигает).<sup>22</sup> При рассмотрении наречия Кудрявский просто ссылается на приведенное выше определение Потебни.

Следовательно, при определении частей речи Кудрявский, как и Потебня, исходил из лексико-грамматического значения слов, не касаясь их номинативно-семасиологической характеристики. Только Потебня, рассматривая части речи в историческом плане, включал в их число еще причастия и инфинитив. Кудрявский лишь в последние годы склонен был признать инфинитив самостоятельной частью речи и членом предложения,<sup>23</sup> но в целом считал этот вопрос еще недостаточно выясненным.

После обзора частей речи Кудрявский переходит к членам предложения. Школьные определения членов предложения, идущие от логико-грамматического направления, он считал неприемлемыми. Например, совершенно неудовлетворительны в школьной грамматике определения подлежащего, как предмета, о котором говорится в предложении, и сказуемого, как того, что говорится о подлежащем. Это особенно ясно показывают безличные предложения. «Топором рубят» — говорится о тополе, но это не подлежащее. В предложении «В коридоре сквозит» «сквозит» — сказуемое, но оно ничего не говорит о подлежащем, так как его в данном предложении нет. Эти предложения, говорит Кудрявский, ясно показывают основную ошибку логических определений, которая состоит в том, что определение дается по содержанию, а не по форме. По его мнению, «подлежащее необходимо должно быть именительным падежом существительного имени».<sup>24</sup> (Разрядка автора. С. С.) Против такого определения, говорит он, могут быть два возражения: а) в роли подлежащего могут выступать и другие части речи, б) именительный падеж является и падежом сказуемого. Кудрявский считает, что в первом случае, когда подлежащее выражено прилагательным, мы имеем дело с переходом его в существительное или с употреблением прилагательного в смысле существительного. Далее, правильность определения подлежащего, как именительного падежа, доказывает тот факт, что любое слово, выступающее в роли подлежащего, осознается нами как именительный падеж. Например, в предложении «Ахи да охи делу не помогут» форму именительного падежа

<sup>22</sup> Там же, стр. 102.

<sup>23</sup> См. ниже, стр. 298.

<sup>24</sup> Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, Юрьев, 1912, стр. 109.

приняли даже междометия. Именительный падеж сказуемого нужно рассматривать как падеж зависимый, несамостоятельный, возникший путем согласования с подлежащим. И кроме того, в русском языке падежом именного сказуемого может выступать и творительный, который никогда не бывает падежом подлежащего. Это говорит о том, что именительный падеж характерен для подлежащего, а не для сказуемого.

Сказуемым глагольного предложения Кудрявский считает глагол в личной форме. «Так как глагол характеризуется именно личными формами, то можно сказать, что в индоевропейских языках глагол есть грамматическая форма сказуемого».<sup>25</sup>

Не согласен Кудрявский и с определением школьной грамматикой второстепенных членов предложения. Например, согласно школьной грамматике, определение есть такой член предложения, который отвечает на вопросы какой? чей? который? В основе такого определения лежит содержание, а не грамматическая форма, что отрывает члены предложения от грамматики и ставит пропасть между синтаксисом и морфологией. В большинстве случаев форма вопроса и ответа не соответствуют друг другу. Например, на вопрос «чей?» можно ответить родительным падежом, т. е. на вопрос, поставленный в форме прилагательного, можно ответить формой существительного. На вопрос «какая шуба?» можно ответить «листья», «с барашковым воротником», «черного цвета», «на вате» и т. д. В данном случае под определением понимаются различные формы и различные сочетания слов, но объясняются, как выражения одинакового состава. Выход из этого Кудрявский видит только в формальной точке зрения: определение может быть выражено только прилагательным, а всякое иное выражение должно объясняться иначе.

Для определения дополнения школьная грамматика выдвигала уже другой критерий. Она считала его основным признаком то, что дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей и относится к глаголу. По мнению Кудрявского, ошибка такого подхода заключается в том, что признаки дополнения ищутся не в нем самом, а в тех словах, с которыми оно связано. Далее, от глагола к имени имеются постепенные переходы. Например, причастие относится к системе глагола, поэтому возможно дополнение и к причастию; а если отглагольные существительные не относятся к системе глагола, то, следовательно, при них не может быть и дополнения. Но в языке мы постоянно встречаем при них ту же конструкцию, что и при глаголе (служу людям — служение людям, поклоняюсь идолам — поклонение идолам). Если второй случай, говорит Кудрявский, не признать дополнением, то разрушается естественная связь двух родственных конструкций. Вместо этого он предлагает следующее определение:

<sup>25</sup> Там же, стр. III.

«Дополнение есть всякий косвенный падеж существительного имени с предлогом или без предлога (разрядка автора. С. С.), к чему бы он ни относился».<sup>26</sup> Естественно, что при таком подходе многие конструкции, которые школьная грамматика рассматривает как обстоятельства, включаются в дополнения, например, «живу за рекой», «иду в город» и т. д.

Школьная грамматика различает пять видов обстоятельств: места, времени, образа действия, причины и цели. В основу деления положено содержание, которое, по мнению Кудрявского, приводит к смешению форм и стиранию границ между дополнением и обстоятельством. Для доказательства он приводит такие выражения: «попал в канаву», «попал в капкан», «попал в беду». В первом случае, согласно школьной грамматике, мы имеем обстоятельство, во втором — обстоятельство или дополнение, в третьем — дополнение. Разница же между этими выражениями заключается только в семантике слов «беда», «капкан» и «канавка», так как в грамматическом отношении они однородны. «Понятно, что такой грамматический разбор, — пишет Кудрявский, — не выясняет вовсе грамматической стороны дела. Для того, чтобы уловить грамматическую форму с ее значением, мы должны поступить как раз наоборот: не обращать внимание на значение самого слова, а выделить по возможности чистое значение грамматической формы».<sup>27</sup> Поэтому все вышеприведенные примеры он рассматривает как дополнения. А чтобы определить сущность обстоятельства, он стремится найти в нем такие формальные признаки, которые отличают его от других членов предложения. «Таким отличительным признаком обстоятельства является грамматическая категория наречия: обстоятельство, следовательно, должно всегда иметь форму наречия».<sup>28</sup> (Разрядка автора. С. С.).

Следовательно, Кудрявский насчитывает четыре основных части речи: существительное, глагол, прилагательное и наречие. Каждой из них соответствует какой-либо член предложения. Только некоторые элементы предложения не функционируют как самостоятельные слова, так как имеют лишь грамматическое значение (союзы). Поэтому, говорит он, их нужно рассматривать только как члены предложения. Но придерживаясь того принципа, что каждому члену предложения должна соответствовать какая-либо часть речи, Кудрявский включает союзы и в состав частей речи, тем более, что форма и значение их одинаковы и в морфологии, и в синтаксисе. В итоге он дает схему частей речи и членов предложения и их отношений друг к другу.

<sup>26</sup> Там же, стр. 116.

<sup>27</sup> Там же, стр. 118.

<sup>28</sup> Там же, стр. 119.

В отличие от традиционной системы частей речи, здесь не хватает числительных и местоимений. По мнению Кудрявского, они выделяются в особые категории на основании их значения. Но границы между местоимениями, числительными, прилагательными и существительными довольно неопределенны, так как основная особенность значения местоимений (указательность) и числительных (обозначение числа) в определенной степени свойственна и другим частям речи. По форме же, которая и определяет их роль в предложении, они в основном совпадают или с прилагательными, или с существительными.

В целом Кудрявский, борясь с логической и психологической трактовкой языковых явлений, поставил важный вопрос об изучении грамматических категорий на основе их грамматической формы и грамматического значения. Но его система частей речи и членов предложения, продолжавшая традиции Потемни, не лишена и внутренних противоречий. Во-первых, параллелизм частей речи и членов предложения проведен явно непоследовательно, так как составное сказуемое устанавливается уже на основе смыслового целого, и каждая часть не подводится под особые грамматические категории. Во-вторых, вряд ли можно построить грамматическую систему на чисто грамматической основе, так как границы между грамматикой и лексикологией весьма неустойчивы. Эта неустойчивость создается прежде всего тем, что грамматические формы могут образовываться не только средствами грамматики, но и словаря, или, как говорит акад. Виноградов, «лексический факт может сливаться с фактом грамматическим».<sup>29</sup> И, в-третьих, все многообразие языковых фактов не укладывается в те классификационные схемы, которые были предложены Кудрявским. Но его система отражала определенный период в развитии русской грамматической мысли, продолжавшийся вплоть до 30-х годов XX столетия, тот период, характерной чертой которого было стремление объяснить грамматические явления из них самих. Это стремление было сформулировано Кудрявским в следующей форме: «Чтобы объяснить какое бы то ни было явление, мы должны его исследовать, должны в нем самом искать указаний на причины, его вызывающие и обуславливающие».<sup>30</sup>

#### IV

Изучение предложения в русском языкознании началось почти с появления первых грамматических трудов. Акад. Виноградов<sup>31</sup> уже отмечал, что в самых ранних русских граммати-

<sup>29</sup> В. В. Виноградов, *Русский язык*, М.-Л., 1947, стр. 6.

<sup>30</sup> Д. Н. Кудрявский, *Введение в языкознание*, Юрьев, 1912, стр. 26.

<sup>31</sup> В. В. Виноградов, *Вопросы синтаксиса русского языка в трудах М. В. Ломоносова по грамматике и риторике*, *Материалы и исследования по истории русского литературного языка*, изд. АН СССР, 1951, т. II, стр. 204.

ках, исследующих синтаксис, имеются указания на предложение, как основную единицу связной речи. Но последовательно развитого учения о предложении, теории предложения нельзя найти у русских грамматистов до середины XVIII века. В таком виде теория предложения дошла до Ломоносова.

От Ломоносова до создания синтаксической системы Потебни учение о предложении в русском языкознании строилось на логической основе. Поэтому типичным было определение предложения, как суждения, выраженного словами. Потебня, стремясь дать грамматическое определение предложения (ср. его высказывание: «. во всяком предложении должно различать форму и форму, т. е. в предложении кроме формы нет ничего, так что, отнявши форму, мы уничтожаем предложение флективных языков»<sup>32</sup>), находил в нем два существенных признака. Во-первых, предикативность, выражающаяся в глагольности, так как основной формой выражения сказуемого является глагол. Отсюда вытекает его утверждение, что предложение без глагола невозможно. Вторым существенным признаком предложения Потебня считал то, что в него входят части речи. Если их нет, то нет и предложения. А так как в языке нет ни одной неизменяемой категории, то вместе с их изменением изменяется и то целое, в котором они возникают и развиваются, — предложение. Поэтому Потебня считал, что невозможно дать общего определения предложения, пригодного для всех языков и всех периодов развития языка, что необходимо на значительном протяжении времени давать ряд определений.

Кудрявский в учении о предложении следовал за Потебней. Он отрицал логические определения предложения, так как они универсальны, идентичны определению человеческого языка вообще и не отражают грамматической природы данного языкового явления. Психологическое направление, говорит Кудрявский, заменило логические определения психологическими. Но их положительная сторона заключается лишь в том, что они указывают на психологическую основу предложения. Основная ошибка в обоих случаях состоит в том, что все подобные определения «почти совершенно забывают о том, что предложение есть форма выражения нашей мысли. Ясно, что и определение предложения должно быть формальным. В данном случае и психологическое направление впало в такую же ошибку, как и старое логическое. Будем ли мы видеть в предложении логическое или психологическое содержание, все равно нам не удастся определить форму, характеризуя содержание. Ошибка произошла оттого, что хотели определить предложение вообще, предложение всякого человеческого языка. Различные языки имеют различные по форме предложения. Желая определить

<sup>32</sup> А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, изд. 2, Харьков, 1888, т. 1—2, стр. 65.

предложение вообще, исследователи естественно должны были устранить из этого определения формальные различия, а тогда оставалось только одно содержание, причем формальная сторона должна была быть сведена к одному только «словесному выражению».<sup>33</sup> (Разрядка везде автора. С. С.). Кудрявский считает формальную сторону самой существенной и отсюда приходит к выводу, что нельзя определить предложение, не описывая его частей. Это приводит к тому, что он присоединяется к выводам Потебни и отказывается давать общее определение предложения. Но, в отличие от Потебни, Кудрявский находит в предложении только один существенный признак — то, что в него входят части речи. Он возражал против господствовавшего в языкознании учения о глагольности как основе предложения. «Мне кажется, что такие предложения без глагольного сказуемого, — писал он, — имеют одинаковое право на существование, как и предложения безличные. Они особенно уместны в описаниях, где достаточно простых имен существительных и прилагательных и не чувствуется надобности в глагольной энергии. Этим определяется их сравнительно узкая сфера употребления. Но не признавать их предложениями, мне кажется, мы не имеем никакого права».<sup>34</sup> В этом отношении Кудрявский был прямым предшественником Шахматова, полностью отказавшегося от глагольности как основного признака предложения.<sup>35</sup>

Основное противоречие во взглядах Потебни и Кудрявского на предложение было вскрыто уже Шахматовым. Указывая на то, что Кудрявский в работе «Психология и языкознание» пришел к заключению о невозможности общего определения предложения, Шахматов писал: «Я не могу согласиться с этим заключением. Если всеобщие определения могут найти, например, такие члены предложения, как подлежащее, сказуемое, то странно было бы, почему такое определение было бы невозможно для самого предложения».<sup>36</sup> В этом отношении Шахматов был совершенно прав.

Из сложных предложений мы остановимся главным образом на сложноподчиненных, так как сложносочиненные в трудах Кудрявского почти не затрагиваются.

В учении о сложноподчиненном предложении до конца XIX века господствовала логико-семантическая точка зрения. Но к началу XX века традиционная система сложноподчинен-

---

<sup>33</sup> Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, Юрьев, 1912, стр. 99.

<sup>34</sup> Там же, стр. 113—114.

<sup>35</sup> Ср. его высказывание: «Учение, утверждающее, что естественным и единственным способом выражения сказуемого является глагол, представляется мне ошибочным и по самому своему существу и по противоречию с данными истории языка». А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, изд. 2, Л., 1941, стр. 179.

<sup>36</sup> А. А. Шахматов. Сборник статей и материалов, М.-Л., 1947, стр. 319—320.

ных предложений, основанная на анализе придаточных, перестает удовлетворять исследователей. Языковеды, не отказываясь от анализа придаточных в отрыве от синтаксического целого, стремятся найти прежде всего грамматические особенности сложноподчиненных предложений. Одним из первых эту попытку сделал Овсяннико-Куликовский, который, стремясь дать более точное определение сложного предложения, подчеркнул синтаксическую слитность его составных частей. Кроме того, он выделил такие особенности сложноподчиненных предложений, как отсутствие разделительной паузы между его составными частями и различную степень подчиненности. Но в целом Овсяннико-Куликовский, исходя из учения Поттебни, при анализе сложноподчиненных предложений в значительной мере опирается и на Буслаева. Поэтому его концепция носит противоречивый характер.

Линию поисков грамматического подхода к сложноподчиненным предложениям продолжил Кудрявский. По его мнению, «нигде логическая точка зрения не оказалась более вредною, чем в области синтаксиса сложного предложения (разрядка автора. С. С.). Здесь царит классификация предложений по их значению вместе с полным извращением исторической перспективы».<sup>37</sup> Он это ярко показывает на примере теории слитных предложений (Греч, Буслаев) Под слитными понимались предложения, имеющие несколько подлежащих при одном сказуемом или несколько сказуемых при одном подлежащем. Такие предложения, согласно школьной грамматике начала XX века, возникли путем слияния нескольких простых. Например, предложение «Лебеди, гуси и утки плавали по пруду» будто бы возникло из следующих предложений: «Лебеди плавали по пруду», «Гуси плавали по пруду», «Утки плавали по пруду». По мнению Кудрявского, «это предполагаемое слияние предложений ничем не может быть доказано, оно очень мало вероятно, а главное вовсе не объясняет ничего в строе этих предложений и скорее напоминает невинное логическое упражнение, нежели грамматический разбор. По крайней мере мы с одинаковым успехом можем доказать, что предложение «я съел два бутерброда с икрой и три пирожка с капустой» тоже состоит из двух предложений: «я съел два бутерброда с икрой» и «я съел три пирожка с капустой». Можно даже увлечься этим занятием и, сообразив, что сразу два бутерброда нельзя было есть, разделить и их на два предложения по одному на каждое и то же проделать с тремя пирожками с капустою. Тогда мы получим слитное предложение из пяти простых».<sup>38</sup> Поэтому Кудрявский приходит к выводу, что теория слитных предложений не нужна, так как она не имеет ни исторических, ни грамматических оснований.

<sup>37</sup> Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, Юрьев, 1912, стр. 122.

<sup>38</sup> Там же, стр. 123.

В связи с этим находится и критика Кудрявским теории сокращенных придаточных предложений, под которыми обычно понималось сокращение определительных и обстоятельственных предложений в причастные и деепричастные обороты. В данном случае, по мнению Кудрявского, допускается ряд ошибок. Поскольку для дополнительных придаточных предложений не оказалось формы сокращения, то стали говорить об их сокращении в простые дополнения. Но рассматривая дополнение как сокращенное придаточное предложение, эта теория показала свою слабость, так как у дополнения нет никаких признаков придаточного предложения. Кроме того, теория сокращенных придаточных предложений противоречит данным истории языка, так как формы причастий, из которых потом развились и деепричастия, возникли гораздо раньше, чем относительные местоимения. Поэтому исторически процесс шел скорее наоборот: что сначала выражалось при помощи причастий, с появлением относительных местоимений стало выражаться и придаточными предложениями. Следовательно, «мы имеем в языке две формы выражения приблизительно одних и тех же отношений: одну — более подробную, другую — более короткую; но ни о сокращении, ни о распрощении здесь не может быть речи, так как обе формы развиваются самостоятельно и из различных источников».<sup>39</sup> Это Кудрявский доказывает еще и тем соображением, что причастия и деепричастия далеко не всегда могут быть заменены придаточными предложениями. Например, «Играя словами, я могу доказать что угодно» нельзя заменить «Когда (если) я играю словами, я могу доказать что угодно». Или, в предложении «Срубленное дерево лежало поперек дороги» «срубленное» далеко не всегда можно заменить «которое было срублено».

Анализируя классификацию придаточных предложений, Кудрявский считает их деление на придаточные подлежащие, сказуемые, определительные, дополнительные и обстоятельственные неудовлетворительным, так как оно основано на значении, на том, что каждый член предложения может быть выражен целым придаточным предложением. Он пишет: «Возьмем для примера крыловскую фразу: «Что волки жадны, всякий знает». Так как главное предложение требует, как говорят, дополнения на вопрос «что всякий знает?», то предложение «что волки жадны» признается дополнительным. Но, если мы изменим главное предложение и возьмем фразу: «что волки жадны, всем известно», то предложение «что волки жадны» превратится в придаточное подлежащего, так как уже будет отвечать на вопрос именительного падежа «что всем известно?» Совершенно ясно, что таким образом предложение «что волки жадны» можно просклонять по всем падежам, причем оно будет обозначать различ-

<sup>39</sup> Там же, стр. 127.

ные косвенные дополнения: «я не согласен с тем, что волки жадны» и т. д. Можно превратить это предложение и в придаточное сказуемое: «мысль Крылова — та, что волки жадны». Таким образом оказывается, что одно и то же предложение может быть чем угодно, смотря по тому, рядом с чем оно стоит. Это значит определять елку как дерево, около которого лежат еловые шишки; понятно, что в таком случае елкой можно назвать и березу, под которой валяются еловые шишки. Ясно, что такая классификация ничего не говорит о самих придаточных предложениях и не принимает во внимание ни одного их признака». <sup>40</sup>

Но борясь с гипостазированием придаточных предложений, Кудрявский пришел к признанию необходимости встать на формальную точку зрения и основное внимание при их изучении сосредоточить на союзах и относительных местоимениях, которые соединяют придаточное предложение с главным. По этому пути пошел Пешковский, заменивший классификацию придаточных предложений классификацией союзов и союзных слов.

Грамматическая система Кудрявского отражает один из периодов в развитии русской грамматической мысли. Она не разрешила всех спорных вопросов русской грамматики, но полностью отрицать ее значение нельзя. Стройная систематизация материала, тонкий анализ грамматических явлений, умение подметить самые незначительные противоречия в трудах своих предшественников и современников — все это сохраняет актуальность трудов Кудрявского и в наши дни.

---

<sup>40</sup> Там же, стр. 124.

## О НЕКОТОРЫХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Канд. филол. наук К. И. Бахман.

Вопрос о русско-эстонском языковом контакте освещен в отечественной литературе явно недостаточно. В этой области исследования, как метко отмечает финноугровед П. Аристэ,<sup>1</sup> мы имеем еще много «целинных земель».

На материал русских заимствований в эстонском языке проливают свет главным образом лишь исследования славяно-финских культурных и языковых отношений благодаря тому, что эстонский язык относится к группе прибалтийско-финских языков.

Из таких трудов на русском языке самым значительным является исследование М. Веске «Славяно-финские культурные отношения по данному языку» (Казань, 1890). В этом труде рассматриваются в основном древнейшие славянские заимствования в финно-угорских языках, и поэтому большое количество более поздних заимствований остается вне поля зрения.

Кроме труда М. Веске, в отечественной литературе имеется лишь несколько статей, которые как по объему, так и в теоретическом отношении уступают труду М. Веске. К таковым относятся, например, статья П. Будкова «О финских словах в русском языке и о словах, имеющих одинаковое значение»<sup>2</sup> и статья С. Куторги «Заметки о финском элементе С.-Петербургской губернии».<sup>3</sup>

Несколько страниц уделяет вопросу о русско-финских лексических отношениях и Я. Грот в статье «Слова областного словаря, сходные с финскими»,<sup>4</sup> а также А. Шахматов «К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях».<sup>5</sup>

Некоторые сведения о русских заимствованиях в эстонском языке можно найти в грамматиках эстонского языка А. Тор-Хелле<sup>6</sup> и В. Гупеля,<sup>7</sup> а также в издававшемся Розенплентером бюллетене «Beiträge zur genauern

<sup>1</sup> Looming Nr. 6, Tallinn 1952, lhk. 704.

<sup>2</sup> Труды Императорской Российской Академии, часть IV. СПб., 1841, стр. 131.

<sup>3</sup> Вестник Императорского русского географического общества, часть VIII, СПб., 1853—1854, стр. 2 и сл.

<sup>4</sup> Я. Грот, Филологические разыскания, т. I, СПб., 1885, стр. 584.

<sup>5</sup> Известия Императорской Академии наук, серия VI, т. V, СПб., 1911.

<sup>6</sup> A. Thor Helle, Kurzgefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache, Reval 1732.

<sup>7</sup> Ehstnische Sprachlehre für die beyden Hauptdialekte, den revalschen und dörptschen, nebst einem vollständigen ehstnischen Wörterbuche. Herausgegeben von August Wilhelm Hupel. Zweite durchgängig verbesserte und vermehrte Auflage. Mitau 1818.

Kenntniss der ehstnischen Sprache», который выходил с 1813 г. по 1832 г. в Пярну.<sup>8</sup>

В качестве специальных монографий, посвященных вопросам славяно-финских языковых отношений, кроме труда М. Веске, следует отметить работы финских ученых Й. Миккола<sup>9</sup> и Я. Калима.<sup>10</sup>

Из эстонских языковедов этой проблеме посвятил ряд статей профессор П. Аристе.<sup>11</sup> Написаны также две кандидатских диссертации.<sup>12</sup>

Ограничиваясь приведенной литературой, следует отметить, что в названных исследованиях лексические заимствования рассматриваются в основном не с их типологической стороны, которая, на наш взгляд, представляет также большой интерес. Поэтому в предлагаемой статье мы уделяем главное внимание именно типологическим особенностям русских заимствований в эстонском языке.

Заимствование слов из другого языка является особым видом развития и обогащения лексики заимствующего языка. Процесс заимствования происходит в разных языках и на разных этапах развития с различной интенсивностью, и это зависит от многих обстоятельств, затрагивающих как развитие самого языка, так и исторические судьбы носителей этого языка. Так, в конце XIX и начале XX вв. с ростом эстонского национального самосознания появляется повышенный интерес к родному языку, и это проявляется в более строгой требовательности к чистоте словарного состава, в стремлении к освобождению его от занесенных извне элементов. Притом эти пуристические тенденции осложняются иногда в силу обострения политических взаимоотношений.<sup>13</sup>

По мере совершенствования своих национальных языковых средств, многие из русских заимствований, вошедших в эстонский язык в начальный период его становления, были позже заменены своими словами, более удобными для произношения и более понятными по своей внутренней форме. Поэтому целый ряд заимствований, встречающихся в литературных источниках XIX века, к началу XX века выпал из словарного состава и теперь сохраняется только в диалектах. Вернее, эти слова, хотя и употреблялись в некоторых литературных источниках, достоянием нормативного литературного языка все же не стали. К таким относится, например, слово *plotnik*, которое употреблялось главным образом для названия русских плотников, прибывших из России или же из русских деревень Причудья на заработки к эстонцам. Однако в литературном языке укоренилось слово *puusepp* (из эстонского *puu* 'дерево' и *sepp* 'кузнец' 'мастер'), аналогичное словам *kingsepp* 'сапожник', *rätsep* 'портной' и др. Заимствованное *ogorodnik* 'огородник' было вытеснено эстонским *aednik*, *osmin* и *tsetvert* были заменены словами *kaheksan-*

<sup>8</sup> См. статью А. Кньюфера "Über die Bildung und Ableitung der Wörtern in der ehstnischen Sprache" и статью Б. фон Бремсена в № 3 названного бюллетеня за 1814 г.

<sup>9</sup> J. Mikko la, Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch, Helsinki 1938; J. Mikko la, Slavische Lehnwörter in den westfinnischen Sprachen, Helsingfors 1894.

<sup>10</sup> J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, Helsinki 1919; J. Kalima, Slaavilaisperäinen sanastomme. Tutkimus itämerensuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasanoista, Helsinki 1952.

<sup>11</sup> P. Ariste, Eesti ja vene rahva sõbralikud suhted keeleteaduse valgu ses, Rahva Hääl Nr. 252, Tallinn 1951; P. Ariste, Slaavlaste ja läänemerelaste vanimaist keelevelisist kokkupuuteist, Looming Nr. 6, Tallinn 1952, стр. 704; P. Ariste, Vene laensõnadest vanemas eesti kirjakeeles, Keel ja kirjandus Nr. 1, 1958, стр. 25.

<sup>12</sup> M. Must, Vene-eesti suhete kajastamine Iõuna-eesti murrete sõnavaras. Tallinn, 1954 (диссертация); К. Бахман, Исследование русских лексических заимствований в эстонском языке. (По материалам публицистики и лексикографии второй половины XIX и начала XX вв.), Л. 1955 (диссертация).

<sup>13</sup> E. Ahven, Eesti kirjakeele arenemine aastail 1900—1917, Tallinn 1958, lk. 122.

*dik* и *neljandik* аналогично другим дробным числам, как, например,  $\frac{1}{3}$  — *kolmandik*,  $\frac{1}{5}$  — *viendik* и т. п. Здесь, очевидно, значительное влияние оказал и переход на метрическую систему мер. Жертвой пуристических тенденций стало и устойчиво укрепившееся в литературном языке слово *uulits* 'улица', вокруг которого велась долгая полемика между сторонниками и противниками этого заимствования.<sup>14</sup> В современном эстонском литературном языке это слово уже воспринимается как просторечный синоним к слову *tänav*, которое в прошлом было менее употребительным, чем слово *uulits* 'улица'.

Весь процесс словарного заимствования происходит двумя способами: 1. внесением иноязычных слов в словарный состав родного языка с более или менее точным копированием их фонетической оболочки; 2. путем калькирования иноязычных слов своими языковыми средствами. Первый способ не требует знания обоих языков. При этом внутренняя форма таких заимствований обычно остается для носителей заимствующего языка непрозрачной. Так, например, слово *tessatin* 'десятина' не осмысливается как десятая доля более крупной меры. Поэтому в форме *tiin*, образовавшейся из *tessatin* в результате опущения первых слогов, корень слова на эстонской почве почти утрачен, а суффикс стал корнем. Произошло своеобразное переразложение. Аналогичными «ампутированными» словами являются и ныне устарелые (диалектные) *vinskad* из *kalavinskad* 'головинские сапоги' *noi* из *tsetvertnoi* 'бутылка водки в четверть ведра', *veerik* из *tsetverik* 'четверик' *orna* из русского 'проворный' с опущением первого слога, *soru* из 'сороковка' ( $\frac{1}{40}$  ведра) и др. О том, что внутренняя форма некалькированных заимствований остается непрозрачной, свидетельствует и слово *tots* 'дочь', которое не означает, как в русском, преимущественно родственных отношений, а применяется в юмористической фамильярной речи по отношению к любой девочке. Следовательно, непрозрачность внутренней формы является характерной чертой некалькированных заимствований.

Более сложным способом заимствования (и на наш взгляд его высшей ступенью) является калькирование, т. е. конструирование новых слов и выражений по моделям другого языка. В этом случае заимствуется из другого языка только структура слов без их звуковой оболочки, иными словами, — используется архитектура, но не строительный материал. Прибегать к такому способу заимствования могут только лица, знающие как заимствующий, так и язык, служащий источником заимствования. Заимствованные, или, вернее, калькированные таким образом слова практически трудно отличить от собственных, и это осложняет их исследование. Обычно к такому способу заимствования прибегают переводчики, поэтому в эстонском языкознании кальки называются «переводными заимствованиями» — *tõlkelaened* (*tõlge* — перевод, *laen* — заимствование).

В отличие от обычных заимствований, калькирование подвергаются не только отдельные слова, как, например, *sarvlehed* 'роголистники', *viisaastak* 'пятилетка', *seinaleht* 'стенгазета' но и целые фразеологические обороты, как, например, *parem õlg ettel* 'правое плечо вперед!' *kriitiline olukord* 'критическое положение' дореволюционные *teie hülgus* 'ваше сиятельство' *teie kõrgeausus* 'ваше высокоблагородие' и др.

Заимствования первого типа, т. е. некалькированные, в свою очередь, делятся на две разновидности; 1) слова, обозначающие новые, до того времени неизвестные эстонскому народу предметы и понятия. Эти слова заимствовались вместе с освоенными у русского народа реалиями, как, например, *balalaika* 'балалайка', *samovar* 'самовар' *mutnik* 'мутник', *sakol* 'закол' и др.; 2) слова, употребляемые для синонимического разнообразия и для большей экспрессивности, а иногда как подражания более авторитетному языку. Типичным примером таких заимствований является слово *sosku* 'соска', которое представляет собою фамильярно-юмористический синоним эстонского слова *lutt* в том же значении. Сравн. в детской книге Р. Парве и А. Салдре,

<sup>14</sup> См. статью Л. Кеттунена "Rahuline surm uulitsale" *Eesti kirjandus* Nr. 2, 1922, стр. 62.

«... Väike karupoisike saskust piima joob»<sup>15</sup> 'малый хлопчик — медвежонок пьет молоко из соски' Или, например, слово *ragulka* 'рогулька' (т. е. рогатка для метания). В фамильярно-юмористической речи это слово употребляется в качестве синонима к более нормативному слову *kada*. В качестве примера приведем здесь строфу из стихотворения П. Хааваокса «Tulin külalaste hulka»<sup>16</sup> («Я пришел к деревенским ребятам»). Сравни.

«Tulin külalaste hulka  
sõrajalaväest  
taskus tuliuus *ragulka*,  
nooled, vibu käes».

Приблизительный перевод:<sup>17</sup> «Пришел (деобилизовался?) в среду деревенских ребят из копытной пехоты, новехонькая рогулька в кармане, стрелы, лук в руках». Заимствование *ragulka* в данном отрывке гармонирует с шутливым тоном вымысла, более того — употребление таких слов является одним из средств придачи тексту юмористического оттенка.

К словам такого типа можно отнести, например, такие заимствования, как *koiku* 'койка', *lesima* 'лежать', *prostoi* 'простой' *tolk* 'толк', *verukas* 'верёвка' которые являются синонимами собственно-эстонских слов *voodi*, *lamama*, *lihtne*, *taip*, *nõõr*, отличаюсь от последних определенными стилистическими качествами.

Словарное заимствование, как справедливо отмечает Л. П. Якубинский,<sup>18</sup> далеко не всегда является результатом обмена предметами и понятиями. От таких лексических заимствований, которые являются результатом международного обмена предметами и понятиями, следует отличать другой тип заимствований, при котором происходит замена своего слова чужим или возникает наряду со своим словом иноязычный синоним.

Такие заимствования могут быть обусловлены всевозможными причинами: мотивами экспрессивного подбора, стремлением к эстетической выразительности, побуждениями эвфемистического и какофемистического характера, явлениями табу и т. д.

В составе русских лексических заимствований в эстонском языке наряду с такими, которые обозначают новые, ранее неизвестные эстонскому народу предметы и понятия (*samovar*, *balalaika*), мы имеем целый ряд слов, употребляемых для синонимического разнообразия (*tobra*, *ladna*, *lesima*, *matšalka*, *prostoi* и др), заимствование которых обусловлено различными по своей природе побуждениями. Поэтому синонимические заимствования в теоретическом отношении гораздо сложнее так называемых «культурных» заимствований, которые заимствуются от другого народа вместе с новыми предметами и понятиями. При анализе таких заимствований следует выяснить, что именно вызвало заимствование-замену или пополнение синонимического ряда.

Некоторые из таких причин выступают довольно рельефно, другие же носят более скрытый характер. Так, например, употребление эвфемизмов обусловлено стремлением смягчить грубые слова и выражения более приличными в стилистическом отношении соответствиями. Для эвфемистической замены грубых слов часто используются слова иностранного происхождения, внутренняя форма которых не так прозрачна, как в собственных словах (сравни латинские слова в языке медиков и научных работников, француз-

<sup>15</sup> R. Parve, A. Saldre, *Tulge meile külla*, Tallinn 1954, стр. 25.

<sup>16</sup> «Edasi» Nr. 123 от 23—VI—1957; стр. 3.

<sup>17</sup> Отрывок не поддается дословному переводу, так как 1) содержит идиому *tuliuus* (*tuli* — огонь, *uus* — новый, т. е. огненноновый: с иголки, совсем новехонький); 2) автор употребляет в шутливом тоне неологизм *sõrajalavägi*, что представляет собою композит 'копытная пехота' т. е. стадо.

<sup>18</sup> Л. П. Якубинский, *Язык и литература*, т. 1, вып. 1—2. Изд. Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском Гос. Университете, 1926, стр. 2—3.

ские слова и выражения в аристократических кругах России в XVIII—XIX вв. и т. д.)

Часто употребляемые эвфемизмы иностранного происхождения могут войти в общенародный язык и вытеснить на второй план грубые слова родного языка (сравн. русск. чахотка — туберкулез).

Такие случаи замены собственных слов имеем и в составе русских заимствований в эстонском языке. Так, например, в силу эвфемистических побуждений закрепилось в эстонском литературном языке слово *matšalka* в смысле банной мочалки. Это слово нашло в эстонском словарном составе благоприятную почву потому, что слова, имеющиеся в эстонском языке для выражения данного значения, имеют грубый оттенок. Сравн. «*puustik* тряпка мочалка» (ЭРС, 303); «*puust* р. *puusti* соломенное помело, пук сена... *puustik* р.-*tiku* стиралка, тряпка, соломенное помело» (Залем, 236). Конечно, называть тряпкой мочалку, которой люди моются, неудобно, и поэтому чаще употребляется слово *matšalka*. В эстонско-русском словаре 1955 года находим: «*matšalka* (*pesunpuust*) мочалка» (ЭРС, 322). Данный в скобках синоним *pesunpuust* не изменяет былой семантики этого слова: в нем добавлено лишь определение *pesu* 'мытье', т. е. тряпка названа мытьевой тряпкой. Стилистические качества от этого почти не изменились. Аналогичным примером эвфемистического заимствования является замена (или вытеснение на второй план) названия гриба *tatikas* (буквально: 'сопляк') заимствованным из русского *puravik* 'боровик'. Сравн. «*tatikas* g. *tatika* l) енд brauner Löcherpilz, Kuhpiltz, «Borawik» (*Boletus bovinus* L).. Kröte, Vana t. (Schimpfw.), *Tatine* g. *tatise*, *tatitse* Schleimig, rotzig. *tatitama* pilzig werden, rotzig werden.» (W, 1123). О том, что это неприличное название боровика в XIX веке имело широкое распространение, свидетельствуют и кулинарные книги. Напр., «*reepened tattiseened* (*borawikid*) *kuuma wee sees*»<sup>19</sup> (мелкие «сопляки» (боровики) в горячей воде). В соперничестве с грубословным *tatikas* заимствование *puravik* вышло победителем. В современном эстонском языке гриб боровик имеет название *puravik*. Сравн. «боровик — *puravik*» (ЭЭС, 101).

Ограничиваясь приведенными примерами, подчеркнем, что эвфемистические побуждения могут способствовать укоренению заимствований в словарном составе заимствующего языка.

По своему характеру и стилистическим качествам диаметрально противоположными эвфемистическим являются грубословные или какофемистические заимствования.

Если такие слова как *matšalka* 'мочалка' и *puravik* 'боровик' употреблялись во избежание грубости в речи, то такие как *pasatski* 'босяк',<sup>20</sup> *pluta* 'блудница', *polvan* 'болван', *vorlantsik* 'ворланщик', *vurle* 'фурлей', *turak* 'дурак' и др. употребляются, наоборот, для большей язвительности и пренебрежительности. Эстонский классик Э. Вильде в романе «*Raudsed käed*», подчеркивая грубость и жаргонную речь разъяренной кабатчицы, мастерски насыщает диалог грубословными выражениями. В гневной речи этой особы находим целую серию ругательных слов, как, напр., *pasatski* 'босяк', 'посадский', *karmantsik* 'карманщик', *masuurik* 'мазурик' и др. Например, «*Või sina arvad, et mina ei kõlba sellele pasatskile, karmantsikule, masuurikule?* 'Ах так! Ты думаешь, что я не гожусь этому босяку (посадскому), карманщику, мазурику' Или: «*Loe, mis see pasatski mulle julgeb kirjutada!*<sup>21</sup> 'Читай, о чем этот босяк (посадский) осмеливается мне писать'.

<sup>19</sup> L. P a n k, *Kasuline kõõgi — ja majapidamise, raamat*, Tartu 1864, стр. 62.

<sup>20</sup> Образцом эстонского «*pasatski*», очевидно, следует считать русское слово «посадский», хотя и прилагательное «босяцкий» могло дать на эстонской почве почти такое же соответствие, но в субстантивированном виде это слово в русском не употребляется. Очевидно, здесь мы имеем дело с контаминацией обоих слов.

<sup>21</sup> E. V i l d e, *Raudsed käed*, Tartu 1898, стр. 142 и сл.

Такая просторечная лексика при умелом ее использовании придает художественному изображению реальной действительности яркость и экспрессивность. Разумеется, подобной лексикой нельзя злоупотреблять.

Особую группу составляют эмоционально насыщенные речения, которые в большинстве случаев являются просторечными, грубыми и употребляются в редких случаях только в экспрессивной речи персонажей лёгкого жанра, например: *passol!* и *Passol von!* 'пошел!' и 'пошел вон!' *pastoi!* 'постой!', *tavail* (побудительное междометие 'давай!'), *vat tebe rass!* 'вот тебе раз!' *säru andma* 'жару дать', т. е. делать что-нибудь очень интенсивно: бить, наказывать, резко прибавить ходу и т. п. Сравн. «Säru g. säru in säru andma prügeln» (W, 1019); *paaru andma* 'пару дать', в переносном значении — бить. Сравн. «Paar g. paaru davon paaru andma heissen Dampf geben, d. h. prügeln» (W, 778), а также у Даля: «парить ...сечь розгами» (Д, 39). Из приведенных примеров выражение *säru andma* уже не ощущается как инородное, а скорее как иднома.

Такие речения, как *säru andma*, *paaru andma* и др., являются гибридными фразеологическими срращениями, семантическое содержание которых равно глаголу. Однако некоторые из них не имеют соответствующего эквивалента в виде глагола-синонима. Сравн. «Vene-kulakut andma einen Faustschlag auf russische Weise geben» (W, 405).

Вообще русские заимствования, которые бытуют в словарном составе эстонского языка наряду с собственными словами, являясь одним из звеньев синонимической цепи, большей частью имеют оттенок просторечия. Так, например, в синонимическом ряду *taip*, *aru*, *tolk* последнее из русского *толк* имеет оттенок просторечия и фамильярности. То же самое в синонимах *suhupiste*, *sakuska* — последнее из русского *закуска* имеет специфический оттенок. В устной речи, параллельно с формой *sakuska*, употребляется и *sakusement*, которое является производным от *sakuska* с иностранным суффиксом *-ment*: переплетение просторечного стиля с академическим придает слову еще большую комичность. По сравнению с *näitsik*, *tütar*, *tütarlaps*, *plika* (из шведского *licka*), заимствованное из русского *тоис* 'дочь' (в значении девочки вообще) имеет оттенок фамильярной нежности, как и заимствованное из шведского *plika*, которое всё же более нейтральное. Из таких слов можно отметить еще *palutska* 'ролучка' *prosta* 'простой' *lesima* 'лежать' *ladna* 'ладно', 'ладный', *trevoga* 'тревога' и др.

Состав так называемых культурных заимствований следует тоже рассматривать в двух качественно различных группах, а именно: 1. Заимствования, переплавленные или полностью ассимилированные в эстонской языковой среде. Это слова, которые в стилистическом отношении нисколько не отличаются от собственных эстонских слов. Они прочно закрепились в нормативном литературном языке и воспринимаются как слова родного языка. Например *aken* 'окно' *sahk* 'соха', *niit* 'нить', *nädal* 'неделя', *pirukas* 'пирог', *rubla* 'рубль', *vits* 'вица', *polk* 'полк', *rogusk* 'рогожа' *tõkat* 'деготь' *kuurits* 'курица' (снасть), *raamat* 'книга' (из *грамота*) и многие другие, среди которых имеются и ныне устаревшие, как, например, *puud* 'пуд', *verst* 'верста', *iin* 'десятина' и др., как древнейшие, так и более поздние. 2. Заимствования, в которых в какой-либо мере еще сохранились признаки иноязычного происхождения, воспринимаемые как чужие слова. При этом некоторые из них усвоены из устной речи, а другие через книжные источники. Влияние устной речи отражается в таких словах, как *suhkar* 'сахар' *mahorka* 'махорка', *präunik* 'пряник' *botik* 'ботик' *kasatšok* 'казачок' (танец), *katelok* 'котелок' и др., а книжное — в словах *duuma* 'дума', *rasnotšinets* 'разночинец', *setš* 'сечь' *udell* 'удел' *ukaas* 'указ', *limaan* 'лиман' и т. п.

В процессе отражения фактов действительности, проникая в сущность предметов и явлений, стараясь более ярко и точно передать языковыми средствами предметы мысли, люди совершенствуют и обогащают язык, и, в первую очередь, словарный состав языка.

Но не всегда появление или распознавание нового понятия сопровождается появлением нового слова. Благодаря сложным процессам семанти-

ческих сдвигов количественные изменения словаря происходят одновременно с качественными изменениями отдельных слов, вследствие чего одни и те же названия в разные эпохи могут обозначать разные предметы и разные понятия: «... человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, переливаются одно в другое, без этого они не отражают живой жизни. Анализ понятий, изучение их требует всегда изучения движения понятий, их связи, их взаимопереходов»<sup>22</sup>

В языковой среде заимствующего языка заимствованные слова могут дать не только ряд новых от них производных слов, но и сами они зачастую приобретают совершенно новое значение. В этом смысле любопытно семантическое преобразование заимствованного из русского языка слова *päts* 'печь'. Первоначально оно употреблялось тавтологически в сочетании *päts-ahi* (*ahi* по-эстонски — печь), обозначая русскую печь. Затем по аналогии выражения *päts-ahi* стали говорить и *päts-leib* (*leib* по-эстонски — хлеб) в значении *печеного* или *печеного хлеба*.<sup>23</sup> В дальнейшем из сочетания *päts-leib* 'печеной хлеб' выпал компонент *leib* 'хлеб', в результате чего слово *päts* стало обозначать хлеб, выпеченный в русской печи (каравай, буханка). Поэтому в современном эстонском языке возможно выражение *võta päts ahjust välja* 'вынь каравай из печи' что при первоначальном значении слова *päts* означало бы *вынь из печи печь* (!). Таким образом из заимствованного слова *päts* 'печь' в процессе семантических сдвигов развилось совершенно новое слово *päts*: 'каравай'. Такой семантический сдвиг можно назвать метонимическим, так как название печи перенеслось по смежности на продукт, изготавливаемый в ней.

Аналогичные семантические сдвиги произошли и в слове *nuhk* 'сыщик' из 'нюх': *nuhk* 'нюх — обоняние' → *nuhk* 'сыщик'. Сравни. 1. «*nuhk* g. *nuhu Schnaufen, Schnupfen*» (W, 690). 2. «*nuhk, nuhi* сыщик *vap. шпик köpek. põlg. филёр*» (ЭРС, 368).

Приведенные примеры показывают, что вследствие семантических сдвигов из заимствованных слов на почве заимствующего языка могут возникать совершенно новые по значению слова, какие-то особые неологизмы — потомки прежних заимствований: *päts* 'каравай', *nuhk* 'сыщик' и др. На этих примерах мы видим, как «одна и та же внешняя оболочка слова обрастает побегими новых значений и смыслов»<sup>24</sup> и, с другой стороны, как показывают многие примеры, один и тот же смысл «обрастает побегими» новой фонетической оболочки: *tesatin* → *tiin* 'десятина'; *krutsik, krutski, krutsku* 'крючок', 'хитрость'. Сравни. «*krutski* pl. *krutskid, Ränke; krutsi-mees, Schelm, Schalk, Ränkemacher, krutstük* g. *krutstüki, Streich, Possen*» (W, 395). В произведениях Э. Вильде большей частью имеем форму *krutsku*. Напр. «*See on ju tuttav naisterahva krutsku, tähendas Huber*».<sup>25</sup> Это же известная женская хитрость — сказал Хубер'.

Среди рассматриваемых нами лексических заимствований особую разновидность представляют собою слившиеся из нескольких слов в одно целое лексические конгломераты, которые несправедливо было бы называть композитами или сложными словами, так как они не подчиняются обычным правилам словосложения. Вообще словосложение следовало бы рассматривать в двух различных по своей природе аспектах, а именно: 1. Умышленное, целенаправленное соединение нескольких основ или корней в один композит, руководствуясь определенными для данного языка правилами и моделями словосложения, и 2. Непроизвольное, спонтанное слияние нескольких синтак-

<sup>22</sup> В. И. Ленин, Философские тетради, изд. ЦК ВКП (б), 1934, стр. 262.

<sup>23</sup> Это заметил уже в 1814 г. Б. фон Бремсен. В статье «*Sammlung von Wörtern, welche aus der russischen Sprache in die ehstnische gekommen sind*» он отмечает: «*ein Backofen russ. Peetsch, päts, od. pets leib — ein ganzes Brot, gleichsam Product des russischen Ofens*». (См. *Beiträge...* 1814 г. № 3, стр. 139.).

<sup>24</sup> В. В. Виноградов, Русский язык, М.-Л., 1947, стр. 14.

<sup>25</sup> E. Vilde, *Kuidas Ania mehed Tallinnas käisid*, Tartu 1903, стр. 276.

сячески связанных слов в единый лексический конгломерат, как, например *не лъзя > нельзя, спаси бог > спасибо*; то же самое бывает и с иноязычными словами на почве заимствующего языка. Сравн. в русском *куролесить* из греч. *κυριε ελεεισον* 'господи помилуй' *исполать* из *и-с лолла этт* на многие лета' и др. Такие же случаи имеем в эстонском: *aituma (aitäh)* 'спасибо' из *aita jamaal* 'помоги бог' *jaluts* 'изножье' из *jalgoim ots* 'ножной конец', *üks-kordüks* 'таблица умножения' из *üks kord üks* 'один раз один' и т. п.

Если способу умышленного словосложения уделяется во всех современных пособиях должное внимание, то явление спонтанного словослияния зачастую остается вне поля зрения, между тем как этот своеобразный процесс возникновения слов заслуживает не менее тщательного изучения, т. к. в нем обнаруживаются объективные факторы исторических преобразований не только в лексическом составе, но и в грамматическом строе языка. Так, например, в русском языке этим процессом вызвано слияние местоимения *себя* (са) с глаголами, преобразование предлогов в префиксы, возникновение флексий прилагательных и др. В эстонском языке результатом конгломерации является, например, флексия комитатива — *ga*, которая возникла путём постепенной редукции конгломерирующегося компонента \**kansak* 'совместно': \**kansak > kaas > ka > ga*.<sup>26</sup> В пермских диалектах слово *ни*, которое первоначально означало «сын», «мальчик», «детёныш», теперь уже выступает не как самостоятельное слово, а как морфема, т. е. уменьшительный суффикс, употребляемый не только в таких словах, как *кан'пйан* 'котёнок', *пун'пйан* 'щенок' и т. д., но и в словах, не обозначающих детёнышей: *пан'пйан* 'ложечка', *кёл'пйан* 'верёвочка' *йёл'пйан* 'молочко' и др. По утверждению В. И. Лыткина, в настоящее время «этот уменьшительный суффикс, развившийся из слова с семантикой «детёныш» в коми-зырянских диалектах, является одним из самых продуктивных суффиксов».<sup>27</sup>

Спонтанно возникшие лексические конгломераты Ф. де Соссюр называет «агглютинациями», утверждая, что «агглютинация состоит в том, что два или несколько элементов (подразумеваются слова. К. Б.), первоначально различаемые, но часто встречающиеся внутри фразы в одной синтагме, спаиваются в абсолютное или с трудом анализируемое единство».<sup>28</sup>

Термин, употребляемый Ф. де Соссюром, нам кажется неудачным, так как под агглютинацией обычно подразумевается соединение морфем, а не самостоятельных слов. Ведь в таких словах как *неужели, сегодня, нельзя, вышеуказанный, сногсиибательный* и т. п. мы имеем дело не только с морфемами, обладающими постоянным морфологическим значением, но и с целыми словами, имеющими лексическое значение. В немецком языке к таким лексическим конгломератам применяется термин «*Zusammenrückungen*». Так, например, в грамматике немецкого языка под редакцией академика Л. В. Щерба сказано: «Такие сложные слова, которые, будучи рассмотрены со стороны своих частей, представляют собой целое предложение или группу слов, построенную совершенно так, как строится подобная часть предложения, называются стяжениями — *Zusammenrückungen* (ср. русское перекатиполе)».<sup>29</sup>

В данном случае употребляется русский термин «стяжение», который является также неудачным, т. к. под стяжением мы обычно понимаем известное фонетическое явление, а не слияние слов.

Учитывая неудобство терминов «агглютинация» и «стяжение», мы предлагаем здесь новые термины: *конгломерация* как процесс и *конгломерат* — результат этого процесса.

<sup>26</sup> См. P. Ariste, «J. W. Boecleri eestikeelsed laulud 1678. aastast», Keel ja kirjandus Nr. 4—5, 1958, lk. 273.

<sup>27</sup> В. И. Лыткин, К вопросу о деэтимологизации слов в пермских языках, Институт языкознания, доклады и сообщения VII, М. 1955, стр. 18, 19.

<sup>28</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М. 1933, стр. 163.

<sup>29</sup> Н. Гадд и Л. Б. Бравае, Грамматика немецкого языка под редакцией академика Л. В. Щерба, М. 1947, стр. 28.

При разборе подобных лексических конгломератов в составе заимствований нужно учесть и то, что одни из них сложились уже в русском языке и были заимствованы эстонским языком, так сказать, в готовом виде. Таковыми являются *nemogusnaikas* из русского 'немогузнайка' ср. у Даля: «Немогузнайка кто на все отвечает: не могу знать; бестолковый, беззаботный, несправный или уклончивый человек. Суворов немогузнаек называл также нитбешнитзагерами, от *nicht bestimmt sagen*, разумея австрийцев». (Д, II 1369). Другие сложились на эстонской почве из русского лексического материала. К таким можно отнести «существительное» (?) *Vastahku-soldat* 'отставной солдат' из русского 'в отставку' Слово это в XIX веке бытовало в общенародном эстонском языке и зафиксировано почти всеми словарями, хотя и в различных вариантах (*Vastahkusoldat*, *atstavi-soldat*, *astahku-soldat* и др.) Сравни. у Видемана: «*Wastahku-soldat g. soldati verabschiedeter Soldat*». (W, 1317). К таким лексическим конгломератам принадлежит и *poslamasla-õli* из русского 'постное масло' + эстонское *õli* 'масло'. Сравни. «*poslamasla-eli g. eli Leinõl*» (W, 848). Сравни. также диалектные *ottebena* 'вот тебе на', *otteberas* 'вот тебе раз'.<sup>30</sup>

Хотя большей частью такие лексические конгломераты возникают стихийно, без преднамеренности, все же в отдельных случаях наблюдается и умышленное их составление, как, например, русское *moidодыр* (из *мой до дыр*), *Фонвизин* из *фон Визин* (*von Wiesen*) и образованное на эстонской почве из русских заимствований *tui* 'дуй' и *vanka* 'Ванька' слово *tuivanka* 'дуйванька' Сравни. у Видемана: «*tuivanka g. tuivanka Dummkopf*» (W, 1215).

Справедливым следует признать высказывание Ф. де Соссюра о том, что лексические конгломераты во многих случаях составляют «с трудом анализируемое единство».<sup>31</sup> Так, например, фонетический состав такого слова как *poslamasla-õli* (из русского — постное масло) нелегко объяснить с точки зрения звуковых соответствий. А внутренняя форма его говорящими обычно не осознается, иначе не добавлялось бы слова *õli* 'масло', в результате чего в буквальном смысле получается: постного масла масло (*posla+masla+õli*). Происхождение *posla* из русского *постное* можно объяснить влиянием аналогии второй части этого конгломерата, т. е. *masla*: для плавности речи первый компонент рифмуется со вторым компонентом.

К своеобразным обоюдно-дублирующим русско-эстонским гибридам относятся слова *poss-nina* 'курносый', что в двуязычном смысле не что иное, как *нос/нос*, то есть к заимствованному *poss* 'нос' добавляется эстонское *nina* 'нос'. Сравни. ещё *robi-uba* из русского *боб* и эстонского *uba* 'боб'; *päis-ahi* из русского *печь* и эстонского *ahi* 'печь'; *tenga-raha* 'денежка' из русского *деньга* и эстонского *raha* 'деньги'.

Забвение внутренней формы наблюдается не только в заимствованных словах, но и в словах собственного происхождения. Так, например, в эстонском языке есть слово *piibuvask* 'металлический ободок на трубке' буквально: 'трубчатая медь', так как первоначально они изготовлялись из меди, но со временем стали их изготовлять и из других металлов и к слову *piibuvask* добавляли соответствующее определение: *hõbedane piibuvask* 'серебряный ободок', буквально: 'серебряная трубчатая медь'; *kuld piibuvask* 'золотой ободок трубки' буквально: 'золотая трубчатая медь и др.<sup>32</sup>

По этому поводу Г Шухард отмечает следующее: «... нередко наблюдается, что то или иное старое слово сохраняется как название какой-нибудь вещи, а изменение этой вещи обозначается уже путём добавления к нему другого слова, как правило, противоречащего основному, например, *Silber-*

<sup>30</sup> В некоторых источниках эти выражения приводятся в раздельном написании, но в устной речи они произносятся как одно слово, т. е. как междометие удивления. Сравни.

«*Vot tebe ras! Jälle raha rinnas*» (J. Kunder, Kroonu onu, Tallinn 1954, стр. 15).

<sup>31</sup> См. вышеприведенную цитату.

<sup>32</sup> Этот пример мы приводим по устному сообщению проф. П. Арнстр.

gulden (серебряный гульден; буквально: серебряный золотой) или Wachszündhölzchen (восковая свичка; буквально: восковая трутовая щепочка).<sup>33</sup>

Займствованные словосложения на почве заимствующего языка могут подвергаться настолько сильным фонетическим изменениям, что сравнение их с первоисточником оказывается на первый взгляд сомнительным. Так, например, немецкое слово *Universalbalsam* дало на эстонской почве *unipartsal* (W, 1255), а из *Kulturbalsam* образовалось эстонское *Kulterpalts*, которое в народе употреблялось и в переносном смысле: *kulterpaltsi andma* 'наказывать, бить'. Сравни. «*kulterpaltsi andma = rüügel*» (W, 407). Такими же искаженными заимствованиями являются диалектное кренгольмское *perekonnamasin* 'перегонная машина' и *tegelinski* 'деляга' — комбинация из эстонского *tegelema* 'заниматься' и русского суффикса и окончания -инский. Это слово употребляется в устной речи как пренебрежительное нарицательное название персонально неизвестных официальных лиц, не внушающих доверия по своим деловым качествам.

Рассматривая элементы русской лексики в составе словосложений, можно отметить в основном три разновидности:

1. Когда все составные части композита являются заимствованными из русского языка (одновременно и в разные времена): *poluvernik* 'полуверец' (русские лютеране в Йыхвиском районе), устарелое *konikvardi-polk* 'конно-гвардейский полк' и др.
2. Когда первая часть русская, а вторая эстонская, например: *uulitsapühkija* 'дворник' (буквально: метельщик улицы); *sissisõda* 'партизанская война до революции 1917 г.' (букв.: война шишей); *vislapuu* или *visnariu* 'вишневое дерево' и др.
3. Вторая половина композита русская: *hunditubinad* 'палочник', 'бадья' (буквально: волчьи дубины); *kesknädal* 'среда' (середина недели); *rahaaos* 'денежный нос'<sup>34</sup> или же 'ноша'. Встречаются и другие комбинации, как например: *otavoliõhin* 'порыв своеволия' где только средний элемент — *voli* восходит к русскому языку, а остальное все эстонское.

Нечто похожее на композиты составляют сочетания характеризующих слов *ladna* 'ладный' *vorra* 'проворный' *tobra* 'добрый' *hütra* 'хитрый', *prostoi* и *prosta* 'простой' и др. с характеризующим словом, например: *inimene* 'человек', *asi* 'вещь', *mees* 'мужчина (или субъект вообще) и т. д.

Эти словечки оценочного характера составляют в сочетании с определяемым словом своеобразные фразеологические сращения и при склонении не изменяются. Сравни: *nom. tobra mees, gen. tobra mehe, part. tobra meest* и т. д. Но: *nom. tuttav mees* 'знакомый человек', *gen. tuttava mehe, part. tuttavat meest* и т. д.

Займствованные слова видового значения могут стать на почве заимствующего языка родовыми понятиями. Так, например, название гриба *рыжик* стало на эстонской почве родовым понятием семейства *Lactarii*, куда входят десятки разновидностей *рыжиковых*.

Например: *haavariisikas* (буквально: осиновый рыжик); *hallriisikas* (буквально: серый рыжик); *kadahariisikas* (буквально: можжевельниковый рыжик); *kuldriisikas* (буквально: золотой рыжик); *kollariisikas* (буквально: желто-рыжик); *kaseriisikas* (буквально: березовый рыжик); *lepariisikas*

<sup>33</sup> Г Ш у х а р д, Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, стр. 208.

<sup>34</sup> «... нос в старину означал приношение, подарок (носить), с которым ходили в приказ к подъячим с просьбами. Если дело было безнадежно или «нос» был мал и подъячий его не брал, то проситель действительно оставался с «носом», и это говорило о том, что он потерпел неудачу». (Л. И. Тимофеев. Теория литературы, М., 1949, стр. 188). Несколько иначе у Н. М. Шанского: «Слово нос означало калым (от глагола нести, ср. ноша), который приносился женихом родителям невесты. Когда жениху отказывали, он оставался с «носом». (Н. М. Шанский, Лексика и фразеология современного русского языка, М., 1957, стр. 124).

(буквально: ольховый рыжик); *männariisikas* (буквально: сосновый рыжик); *pirariisikas* (буквально: перечный рыжик); *punariisikas* (буквально: красный рыжик); *pruunriisikas* (буквально: рыжий или бурый рыжик); *tuliriisikas* (буквально: огненный рыжик); *tõmmuriisikas* (буквально: темнобурый рыжик); *villariisikas* (буквально: волокнистый рыжик); *viltriisikas* (буквально: войлочный рыжик), и др.

Аналогично обстоит дело и со словом *puravik* 'боровик', которое стало родовым понятием многих разновидностей боровиков, с добавлением определяющих слов, как, например, *kasepuravik* 'березовик', *kivipuravik* 'белый гриб' (буквально: каменный боровик), *võipuravik* 'масленок' и др.

Среди русских заимствований советского периода встречается много сложносокращенных слов, причем составные элементы их становятся на эстонской почве понятными только при калькировании (сравн. *сельсовет* — *külanõukogu*, *комсомолец* — *komnoor*, *пятилетка* — *viisaastak*). Внутренняя форма некалькированных заимствований остается непрозрачной для незнающих русского языка. К таким относятся: *kolhoos* 'колхоз', *komsomol* 'комсомол', *esseeer* 'эсэр' (социалист-революционер), *nepp* 'нэп' *dott* 'дот' и др. При раскрытии этих аббревиатур фонетические отрезки русских слов, естественно, не совпадают с эстонскими. Так, например, русскому *коллективное хозяйство* (колхоз) в эстонском соответствует *kollektiivne majapidamine*, где элемент *kol-* как часть интернационального слова совпадает с русским, но предполагаемое *maj-* (из *majapidamine*) не совпадает. Совпадение бывает в тех случаях, когда составными частями аббревиатуры являются интернациональные слова, напр. *partorg* (т. е. партийный организатор) имеет и эстонское соответствие *partorg* (*parteiorganisaator*) или *poliitbüroo* 'политбюро', *Kompartei* 'Компартия' *agitpunkt* 'агитпункт' и др.

При передаче на эстонском языке русских аббревиатур, составленных из начальных букв компонентов, наблюдаются колебания. Так, например, *КПСС* передается начальными буквами калькированных компонентов, т. е. *NLKP* соответственно эстонскому *Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei*, но встречается и целый ряд аббревиатур, где взяты начальные буквы русских слов, например, *CDSA* 'ЦДСА' (Центральный Дом Советской Армии), *ZIM* 'ЗИМ', *STZ* 'СТЗ' и др. *ГАЗ* нормативно передается и по-эстонски *GAZ*, но название автомашины *ГАЗ* приобрело в устной речи форму *kass* 'кошка' (явление ложной этимологии).

В рамках данного обзора мы останавливались лишь на более рельефных типологических особенностях русских заимствований в эстонском языке и отнюдь не претендуем на полный и всесторонний их анализ.

Однако и из приведенных фактов можно заключить, что изучение заимствований не должно ограничиваться их регистрацией и хронологическим обзором. Их нужно анализировать и с качественной стороны, в широком аспекте причинных связей.

#### Список сокращений

1. W — Wiedemann, F. I. Eestnisch-deutsches Wörterbuch, Dorpat 1923.
2. Beiträge. — Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache, Pernaу (1813—1832).
3. Залем — Залем, М. Эстонско-русский словарь, Ревель, 1890.
4. ЭРС — Тамм, Й. Эстонско-русский словарь, Таллин, 1955.
5. РЭС — Арумаа, П. Русско-эстонский словарь, Тарту, 1940.
6. Д — Даль, В. Толковый словарь, изд. 2, 1880—1882 гг.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

### НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО.

С. Г. Исаков

Литературное наследие А. А. Бестужева-Марлинского до сих пор ещё не до конца выявлено. Некоторые произведения, чаще всего анонимные, затерялись на страницах журналов и альманахов 1810—1830-ых гг., многие пропали в годы тюрьмы и ссылки. Поиски неизвестных сочинений А. А. Бестужева идут, пожалуй, медленнее, чем изучение основного корпуса его творчества. Действительно, если за последние годы появились интересные исследования о жизни и творчестве писателя-декабриста, принадлежащие перу М. К. Азадовского, Н. И. Мордовченко, В. Г. Базанова, Н. Л. Степанова, С. А. Овсянниковой, А. П. Шарупича, Н. Маслина и др., то круг введённых за это время в научный оборот новых, прежде неизвестных работ А. А. Бестужева крайне ограничен. А между тем, поиски сочинений А. А. Бестужева на страницах журналов и альманахов, в научных архивах отнюдь нельзя считать заранее безуспешными. Так, например, в рукописном отделе Института русской литературы в Ленинграде в «Сборнике писем Бестужевых. 1805—1867». (ф. 604, Архив братьев Бестужевых, № 4 (5573), л. 53) хранится до сих пор не привлекавший внимания исследователей отрывок «Ливония». Этот отрывок представляет собой лишь часть довольно большой анонимной статьи «Ливония», опубликованной в «Невском альманахе на 1829 год» (стр. 344—364).

Рукопись, хранящаяся в архиве Бестужевых, представляет собой писарскую копию без следов авторской правки. Тем не менее у нас есть достаточно оснований для атрибуции этого сочинения А. А. Бестужеву-Марлинскому.

В «Сборнике писем Бестужевых. 1805—1867». отрывок статьи хранится среди бумаг А. А. Бестужева. Однако главным аргументом является само содержание отрывка, которое не только заставляет предполагать авторство А. А. Бестужева, но и исключает другие возможные кандидатуры. В отрывке автор пишет: «Случай в разные времена доставил мне наместное познание Остзейских провинций; в немногих книгах, о них писанных, я начитал, каков был прежний их быт, свое наблюдение и разговоры с людьми знающими собрали в итог мои сведения о Ливонии <...> Край этот был первым поприщем для моего любопытства, для моего нравственного и физического созерцания, ещё неутомимого по юности, ещё неутомленного повторением <...> Уму нравилась сторона, под которой он впервые попытал силу свою <...> Можно сказать, это была первая любовь моих умственных способностей . любовь, невольная и часто неудачная в выборе; но тогда счастливая собой и потом сладостная в воспоминании. Вот почему, увлекаясь первыми впечатлениями, я написал столько повестей рыцарских».<sup>1</sup> Так, без сомнения, мог писать только А. А. Бестужев-Марлинский. Именно он трижды (1820, 1821 и 1824 гг.) волею случая побывал в Прибалтике. Ливония, действительно, дала Бестужеву материал для его

<sup>1</sup> Невский альманах на 1829 год, изданный Е. Аладыным, V. Спб, 1828, стр. 344—345, настоящее издание, стр. 282.

ранных сочинений — одним из первых появившихся в печати его произведений был переводный отрывок «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян» (Сын Отечества, 1818 № 38), а литературную славу ему принесли «Поездка в Ревель» и «ливонские» повести, рассказывающие о жизни остзейских рыцарей. Эти произведения показывают, что Бестужев внимательно изучил по книгам историю Прибалтики, а «Поездка в Ревель» даёт материал и о «разговорах с людьми знающими». Наконец, «сладостные воспоминания» о Ливонии Бестужев, действительно, сохранил до конца жизни,<sup>2</sup> и В. Г. Белинский имел основание писать, что Русь Марлинского «жестoko отзывается его заветною, его любимою Ливониею».<sup>3</sup> Отметим, кстати, что выражение: автор «стольких повестей рыцарских», может быть отнесено только к А. А. Бестужеву-Марлинскому; Николай Бестужев известен лишь как автор одной рыцарской повести «Гуго фон Бракт», а о «пьесах» Михаила Бестужева в подражание Байрону, где «были и замки, и ливонские рыцари, и новгородцы»,<sup>4</sup> мы ничего не знаем.

Авторство А. А. Бестужева подтверждает и тот факт, что многие размышления автора «Ливонии» совпадают с мыслями и рассуждениями редактора в «Поездке в Ревель» и в «ливонских» повестях. Взгляд на историю Прибалтики автора «Ливонии» и автора «Поездки в Ревель» и «ливонских» повестей в общем одинаков. Интересно, что в «Ливонии» внимание читателя нередко акцентируется на тех же самых фактах, что и в выше-названных произведениях А. А. Бестужева. Так, при описании постоянных войн, кровавых междоусобиц, которыми изобилвала история Прибалтики, Бестужев и там и здесь останавливается на столкновениях рыцарей с епископами<sup>4</sup> и на действиях Hofleute<sup>5</sup> — разбойничьих шаек местных феодалов, грабивших и своих, и чужих. Иногда Бестужев повторяет в «Ливонии» и такие ранее встречавшиеся в его произведениях из истории Прибалтики факты, о которых в кратком очерке прошлого этой области можно было бы и не упоминать: так, напр., и в «Замке Венден» и в «Ливонии» он останавливается на попытках римских пап выступить против беззастенчивого грабежа туземцев рыцарями.<sup>6</sup> Перечисление подобных совпа-

<sup>2</sup> Ср. письмо к Ф. В. Булганину от 15 марта 1832 г., Русская Старина, 1901, февраль, стр. 401.

<sup>3</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, М., изд. АН СССР, 1953, стр. 85.

<sup>4</sup> Воспоминания Бестужевых, М.-Л., изд. АН СССР, 1951, стр. 284.

<sup>4</sup> Ср. Невский альманах на 1829 г., стр. 347—348, наст. изд., стр. 283, и Второе полное собрание сочинений А. Марлинского (в дальнейшем при цитировании сокращено — Второе п. с. с.), т. I, ч. 3, стр. 116, 137 («Замок Нейгаузен»), т. II, ч. VI, стр. 51 («Поездка в Ревель»).

<sup>5</sup> Ср. Невский альманах на 1829 г., стр. 348—349, наст. изд., стр. 283, и Второе п. с. с., т. II, ч. VI, стр. 76 («Поездка в Ревель»). О действиях Hofleute рассказывается и в повести Бестужева «Геден».

<sup>6</sup> Ср. Невский альманах на 1829 г., стр. 353, наст. изд., стр. 284 («Буллы Ватикана, как театральные перуны, гремели, никого не пугая, и не поражая. Должно, однакоже, отдать справедливость папам, столь часто клеветанным, что они под проклятиями запрещали делать рабами новообращённых христиан в Ливонии, как и в Америке, и всё напрасно. Свои выгоды ближе к сердцу рыцарей, чем увещания папы»), и Второе п. с. с., т. II, ч. IV, стр. 63—64 («Рыцари, воюя Лифляндию, покоряя дикарей, изобрели всё, что повторили после того Испанцы в Новом Свете на муку безоружного человечества. Смерть грозила упорным, унижительное рабство служило наградой покорности. Напрасно папы гремели проклятиями на хищников священных прав человечества, вотще напоминали крестоносцам их обет братской любви к побеждённым, принявшим крещение, и кротости с обрацаемыми в христианство: кровь невинных лилась под мечем воинов и под бичами владельцев. Вооружаясь за священную правду, рыцари действовали по видам алчного своекорыстия или зверской прихоти»).

дений можно было бы значительно увеличить (на некоторых из них мы остановимся ниже), и их наличие вряд ли можно объяснить лишь общностью источников. Здесь сказывается общая тенденция в обрисовке прошлого Прибалтики. Свой взгляд на то, как нужно изображать историю Ливонии, Бестужев в красочно-художественной форме выразил в эпитафии к повести «Ревельский турнир»: «Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стёкла их замков, сквозь туман старины и поэзии. — Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по-правде».<sup>7</sup> Это высказывание Бестужева имеет прямую параллель в «Ливонии»: «Правда, характер и образ жизни ливонских рыцарей имели в себе очень мало заманчивости, сквозь радугу коей привыкли мы видеть прочее рыцарство».<sup>8</sup> В «Ливонии» Бестужев описывает типичные черты характера ливонского рыцаря: и то, что здесь излагается в теоретической форме, практически использовано при обрисовке образов рыцарей в его «ливонских» повестях.

Но общность размышлений автора можно обнаружить не только при сравнении «ливонских» повестей и «Поездки в Ревель» с «Ливонией», но и при сравнении последней с произведениями А. А. Бестужева, написанными после 14 декабря 1925 г. и, в частности, с поэмой «Андрей, князь Переяславский». В «Ливонии» мы встречаемся с размышлениями автора о памятниках прошлого, о роли для человека воспоминаний. И интересно, что ход размышлений автора, внутренняя логика его рассуждений, даже образы, привлекаемые для иллюстрации авторских положений, здесь совпадают с мыслями Романа о смерти и вечности в I главе поэмы «Андрей Переяславский». И там и здесь вначале — картина прошлого, когда в здании, ныне представляющем собой развалину, кипела жизнь. Затем размышление, как бы разговор с самим собой о том, почему человека всегда волнуют мысли об увядании, забытьи, смерти. Вслед за этим человек осознаёт своё место в потоке времени, в этой вечной связи прошлого с будущим, и, наконец, ощущение «бессмертия жизни, умирающей в поколениях, но вечно возраждающейся в родах, иногда унижающейся в части и беспрестанно усовершенствующейся в целом <...> Так зерно, случайным ветром занесённое в трещину стены, даёт отпрыски, всходит кустарником — и через несколько лет осеняет пышною зеленью развалину».<sup>9</sup> Последнее ср. с мыслями Романа в «Андрее Переяславском»:

На свете нет уничтоженья:  
Везде истления звено  
Рукой святого Провиденья  
С перерождением сцеплено!  
В цвету, конечно, тлен таятся,  
Но в тленных зернах спеет плод,  
И небо росу им лиёт;  
И жизнь, и смерть потоком вод  
На лоно вечности катится.  
Упали стены — грозный след  
Людей и времени побед;  
Промчалось гибельное пламя  
По сводам тихого жилья...  
Но веет обновленья знамя  
Над нами веткой былия,  
И, корнем плиту разрывая,  
Взбегает яшень молодая <sup>10</sup>

<sup>7</sup> Второе п. с. с., т. II, ч. IV, стр. 73.

<sup>8</sup> Невский альманах на 1829 г., стр. 363, наст. изд., стр. 286.

<sup>9</sup> Невский альманах на 1829 г., стр. 361—362, наст. изд., стр. 285.

<sup>10</sup> А. А. Бестужев - Марлинский, Собрание стихотворений, большая серия «Библиотеки поэта», <Л.>, «Сов. писатель», 1948, стр. 67—68.

Хотя в творчестве А. А. Бестужева тема смерти, вопрос о месте человека в потоке жизни впервые встали ещё в «Поездке в Ревель», но, как это уже давно отметили исследователи,<sup>11</sup> интерес к этой теме, связанный с крахом былых надежд, с невозможностью действовать, бороться в новых условиях, особенно усилился в последекабрьский период. Тема вечности и смерти развивается в стихотворениях «Осень», «Череп», «Шебутуй», «Часы», в поздних повестях. Это же помогает нам определить время создания статьи.

Когда же могла быть написана А. А. Бестужевым-Марлинским статья «Ливония»? Ответить на этот вопрос нелегко. Никаких указаний на статью в переписке А. А. Бестужева нам найти не удалось. Материалы архива Бестужевых, хранящегося в Институте русской литературы АН СССР в Ленинграде, также не дают точных данных для датировки статьи: в «Сборнике писем Бестужевых. 1805—1867» отрывок из статьи расположен между черновыми заметками и рисунками А. А. Бестужева, очевидно, периода пребывания в Москве в 1823 г. (перечисление и зарисовки всевозможных музейных экспонатов — бокалов, щитов, шлемов, скипетра, шапки Мономаха и т. д.) и его дневниковыми записями кавказской поры. Если даже допустить, что материалы в «Сборнике» расположены М. И. Семевским в хронологическом порядке (хотя у нас не может быть в этом уверенности), то и в таком случае вероятный период создания статьи достаточно велик.

Дата цензурного разрешения на выпуск «Невского альманаха на 1829 год» — 27 декабря 1828 г. — даёт нам возможность определить одну границу возможного времени написания «Ливонии». Причём, сам факт опубликования статьи А. А. Бестужева в «Невском альманахе» не является случайностью. В «Невском альманахе на 1827 год» Е. Аладьин без разрешения автора и анонимно опубликовал повесть Бестужева «Замок Эйзен», которая должна была войти в подготовленный в 1825 г. к печати альманах «Звёздочка»: Е. Аладьин получил повесть от Ореста Сомова, у которого сохранились корректурные листы «Звёздочки».<sup>12</sup> Если опубликование в 1828 г. без авторского разрешения и в искажённом виде поэмы «Андрей Переяславский» искренне возмутило Бестужева, то, судя по письмам, факт напечатания в «Невском альманахе» повести «Замок Эйзен» такого рода отрицательной реакции у писателя не вызвал. Наоборот, видимо, у Бестужева появляется надежда на возможность использования альманаха для печатания своих произведений. 25 февраля 1829 г. он посылает из Якутска сестре стихотворения «Череп» и «Гост» для передачи кому-либо из «г-д сбирателей альманахов».<sup>13</sup> В ответном письме от 31 мая 1829 г. Е. А. Бестужева сообщала брату, что эти стихотворения взял для своего альманаха Аладьин, он же готов охотно купить у Бестужева его прозу.<sup>14</sup> Обращение Е. А. Бестужевой к Аладьину, очевидно, также не было случайностью, а основывалось на том, что в «Невском альманахе» были уже опубликованы «Замок Эйзен» и «Ливония». Но, однако, и история взаимоотношений А. А. Бестужева с издателем «Невского альманаха» Е. Аладьиным ещё не проясняет вопроса о датировке статьи.

Единственным источником для датировки «Ливонии», таким образом, остаётся сам текст статьи. Текст статьи даёт известное основание предполагать, что «Ливония» написана А. А. Бестужевым, очевидно, после 14 декабря 1825 г. На всём произведении лежит лёгкий налёт грусти и воспоминаний о прошлом, типичных для творчества писателя после 1825 г. Время посещения Ливонии и написания рыцарских повестей кажется Бестужеву

<sup>11</sup> См. вступ. статью Н. И. Мордовченко к «Собр. стихотв.» А. А. Бестужева-Марлинского в большой серии «Библиотеки поэта», стр. XXVI—XXXI.

<sup>12</sup> См. об этом Н. Д. <Убровин>, «Полярная Звезда» и «Невский Альманах», Русская Старина, 1901, ноябрь, стр. 265—269.

<sup>13</sup> См. Г. В. Прохоров, А. А. Бестужев-Марлинский в Якутске, Памяти декабристов, II, Л., изд. АН СССР, 1926, стр. 220.

<sup>14</sup> Там же, стр. 225. Стихотворения «Череп» и «Гост» были опубликованы в «Невском альманахе на 1830 год».

далёким-далёким прошлым, овеянным дымкой воспоминаний о «юности». Между тем, реально прошло не более 3—4 лет со времени последнего пребывания в Прибалтике и создания «ливонских» повестей. Но такое отношение к прошлому вполне оправдано тем, что между временем «наместного познания Остзейских провинций» и временем написания статьи лежит страшная пропасть 14 декабря 1825 г., суда, тюрьмы, ссылки. Выше мы уже указывали, что в статье встречаются характерные для последекабрьского творчества писателя мотивы вечности и смерти.

Наконец, нельзя не обратить внимания ещё на одну черту. Бестужев имел обыкновение не только в исторических экскурсах в «Поездке в Ревель», но и в своих повестях указывать точные даты событий, делать ссылки на источники, в общем, придавать повествованию документированный вид. Мы вправе были бы ожидать от исторической статьи, каковой является «Ливония»,<sup>15</sup> также точной датировки событий и указания источников. Ничего этого нет: во всей статье нет ни одной даты, ни одного упоминания о трудах историков и летописцев. Это можно объяснить лишь тем, что статья писалась в тюрьме или в ссылке, где Бестужев был лишён возможности пользоваться историческими сочинениями и хрониками, где он был вынужден писать своё произведение лишь по памяти, на основе знаний по истории Прибалтики, усвоенных ещё в период работы над «Поездкой в Ревель» и «ливонскими» повестями.

Круг познаний Бестужева в области истории Прибалтики был достаточно широк: лишь из упоминаний в его произведениях нам известен ряд авторов, чьи труды он изучал. По трудам И. Г. Арндта он был знаком с материалами «Ливонской хроники» Генриха Латыша; читал он и «Liefländische Historia» Хр. Кельха и «Liefländische Jahrbücher» Ф. К. Гадебуша — основные источники историков конца XVIII — начала XIX в.<sup>16</sup> «Поездка в Ревель» и «ливонские» повести свидетельствуют о знании Бестужевым передовой для своего времени «Хроники Ливонии» Балтазара Русова.<sup>17</sup> Кроме того, он был знаком с трудом Ф. Г. де-Брэ «*Essay critique sur l'histoire de la Livonie, suivi d'un tableau de l'état actuel de cette province*» (I—III), с работами академика А. Х. Лерберга, немецкого историка Г. Лудена, имел возможность беседовать с ревельским историком Г. Рикерсом. Наконец, Бестужев был знаком с замечательным трудом Гарлиба Меркеля «Латыши, особенно в Лифляндии, в исходе философского столетия».<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Полубеллетристическая форма статьи нас не должна смущать. А. А. Бестужев усвоил представление историков романтической школы о том, что необходимо соединить фактическую историю с поэтической, что необходимо художественное совершенство исторических трудов. Не случайно в своих литературных обзорах в «Полярной звезде» Бестужев рассматривает историографию как «младшую ветвь словесности», а главным достоинством альманаха Корниловича и Сухорукова «Русская Старина» считает поэтический рассказ о нравах, обычаях и быте прошлого.

<sup>16</sup> См. Второе п. с. с., т. II, ч. VI, стр. 17, 35, 48.

<sup>17</sup> Там же, стр. 49.

<sup>18</sup> В. Г. Базанов первым обратил внимание на сохранившийся в архиве Бестужевых «Отрывок из бумаг Гр. .» под названием «Краткая история Латышей и всеобщее описание их», хотя и не определил источник отрывка и даже подверг сомнению, действительно ли это перевод с немецкого, на что есть указание в тексте рукописи (см. В. Базанов, *Очерки декабристской литературы*, М., Гослитиздат, 1953, стр. 294—296). А. Любарский в своей книге «Слово дружбы» (Таллин, Эстгосиздат, 1956, стр. 212—216, 456) верно указал, что отрывок представляет собой перевод из книги Меркеля «Латыши», но несколько необоснованно, на наш взгляд, отнёс перевод к 40-ым гг. и связал его не с Александром Бестужевым, а с его братом Михаилом, поскольку рукопись хранится в «Сборнике исторических бумаг XVIII и XIX вв., сообщённых М. А. Бестужевым в 1866 г.» Дело в том, что хотя этот сборник и был сообщён М. И. Семевскому М. А. Бестужевым, он представляет

Знакомство со всеми этими источниками, безусловно, могло помочь Бестужеву в работе над статьей «Ливония» в тяжёлых условиях тюрьмы или ссылки.

Таким образом, если признать наше предположение соответствующим действительности, то статья «Ливония» могла быть написана или в период пребывания А. А. Бестужева в форту «Слава» (август 1826 г. — октябрь 1827 г.) или в начале пребывания писателя в якутской ссылке (первые месяцы 1828 г.). О том, как статья попала в руки Е. Аладына, мы не располагаем достоверными сведениями. Пример «Замка Эйзен» и «Андрея Переяславского» показывает, какими сложными, до сих пор еще не до конца проясненными путями проникали в печать произведения А. А. Бестужева-Марлинского в первые годы после декабрьского восстания. Вероятно, путь «Ливонии» в печать был не менее сложным.

Возможно, что сестра, Е. А. Бестужева, которая вела издательские дела брата во время его пребывания в ссылке, и была тем лицом, кто передал Аладыну и «Ливонию». В таком случае именно к ней относится издательское примечание к печатному тексту «Ливонии»: «Издатель считает долгом принести чувствительнейшую благодарность неизвестному корреспонденту за доставление сей прекрасной статьи».<sup>19</sup>

Впрочем, этим лицом мог быть и А. А. Ивановский, вероятный виновник издания «Андрея Переяславского»,<sup>20</sup> или кто-либо из знакомых писателя, в чьи руки случайно попала рукопись статьи. Умолчание же о «Ливонии» в переписке Бестужевых может быть объяснено нежеланием доставить новые неприятности Аладыну, который был вынужден давать показания III отделению из-за напечатания «Замка Эйзен». Нужно учесть, что статья «Ливония», была отдана Аладыну, видимо, ещё до того, как Бестужев получил разрешение печататься.

Чем же интересна для нас статья «Ливония»? Основное содержание статьи — доказательство положения, изложенного А. А. Бестужевым-Марлинским следующим образом: «Ливония заслуживает неоспоримое внимание историка и философа, романтика и живописца».<sup>21</sup> Для этого Бестужев даёт вначале краткий очерк истории Прибалтики. Как это характерно и для «Поездки в Ревель» и для «ливонских» повестей, отношение писателя к немецким рыцарям-завоевателям отрицательное. Рыцарей он называет «горстью бродяг, сильных лишь превосходством оружия», у которых «не было ничего святого». По существу, главное внимание в очерке уделено описанию отрицательных последствий захвата Прибалтики Орденом. «Самозванные бароны, фрейтеры» превратили побеждённых «в бесправных рабов». На землях Прибалтики идут непрерывные кровавые войны — «везде трупы, развалины, слёзы < . >», вопли от грабежа», везде воровство, разбой. Лишь Россия при Петре I кладёт конец «сему осколку феодализма».

Далее Бестужев сравнивает историю Прибалтики с историей средневековой Западной Европы. Он видит здесь много общего (не случайно, он

---

с собой остатки фамильного архива семьи Бестужевых, на который неоднократно ссылался и Марлинский. Расположение же материалов в сборнике в хронологическом порядке не даёт никаких оснований для датировки времени приобщения той или иной рукописи к сборнику. Любарский же, аргументируя свою точку зрения, произвольно смешивает первое со вторым. Его, очевидно, ввело в заблуждение то обстоятельство, что именно перевод из «Латышей» Меркеля несколько сдвинут из нормального ряда расположенных в хронологической последовательности материалов, но следовало бы обратить внимание, что это единственное отклонение от хронологического принципа расположения рукописей, а их всего 20. По нашему представлению, в данном вопросе более прав В. Г. Базанов, относящий «Краткую историю латышей» ко времени работы А. А. Бестужева над своими произведениями о Ливонии.

<sup>19</sup> Невский альманах на 1829 год, стр. 344, наст. изд., стр. 282.

<sup>20</sup> См. об этом Русская Старина, 1888, октябрь, стр. 153.

<sup>21</sup> Невский альманах на 1829 год, стр. 346, наст. изд., стр. 282.

рассматривает Прибалтику как «крайнее звено европейского феодализма»), но в то же время и существенные отличия.

Вслед за этим Бестужев кратко описывает те изменения, которые произошли в характере жителей края за многовековую историю Прибалтики, исходя из принципа «обстоятельства образуют и меняют характер народов».<sup>22</sup>

Затем автор переходит к более широким обобщениям относительно истории Прибалтики. Он проводит типично декабристскую точку зрения на историю, чеканно выраженную позже М. С. Луниным — «История < .> путеводит нас в высокой области политики».<sup>23</sup> Бестужев замечает, что история Прибалтики откроет для вдумчивого наблюдателя «иные средства к разрешению какой-нибудь политической задачи, или доводов для подкрепления другой».<sup>24</sup> Эта мысль повторяется Бестужевым и дальше, в выше уже разобранным рассуждении автора о памятниках прошлого, о роли воспоминаний для человека.<sup>25</sup>

Но, быть может, история маленького народа, населяющего небольшую территорию Прибалтики, не показательна и не интересна для людей? Бестужев даёт развёрнутый ответ на этот вопрос, в этом ответе прекрасно сказались глубокий гуманизм и интернационализм писателя-декабриста. Для него судьба каждого народа, большого или малого, как и каждого человека, знаменитого или безвестного, одинаково дорога, одинаково близка. «Не может быть иного мерила счастья и бедствия государств, кроме счастья и бедствия членов его составляющих»,<sup>26</sup> — провозглашает Бестужев, повторяя тем самым распространённое положение левого крыла французских просветителей XVIII в.,<sup>27</sup> усвоенное и лучшими представителями русской общественно-политической мысли конца XVIII — начала XIX вв. Рассуждения Бестужева о том, что «счастье или бедствие большей части членов определяет здоровое или болезненное состояние сего политического тела, называемого народом», что одинаково достойны внимания и уважения как сильные перевороты в великих нациях, так и «частные добродетели» у лопарей и что он одинаково жалеет «утонувшего в Чёрной речке, как и в Атлантическом океане»,<sup>28</sup> заставляют вспомнить разговор повествователя со своим приятелем Ч. в главах «Чудово» и «Спасская полесь» «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. В сущности, А. Н. Радищев и А. А. Бестужев доказывают здесь одно и то же: не может считаться нормальным и счастливым общество, где страдают люди, даже хотя бы один человек.

Однако нужно учесть, что у Бестужева этот интерес к личности противоречиво сочетается не только с просветительской философией XVIII в., но и с романтическим индивидуализмом, тоже, как известно, требовавшим внимания к личности, индивидууму, но выраставшим на иной философской основе.

<sup>22</sup> Невский альманах на 1829 год, стр. 354, наст. изд., стр. 284.

<sup>23</sup> М. С. Лунин, Сочинения и письма, Пгт, 1923, стр. 82.

<sup>24</sup> Невский альманах на 1829 год, стр. 355, наст. изд., стр. 284.

<sup>25</sup> См. Невский альманах на 1829 год, стр. 361—362, наст. изд., стр. 285.

<sup>26</sup> Там же, стр. 356, наст. изд., стр. 284.

<sup>27</sup> Ср. у Гельвеция: «Общественное счастье складывается из счастья всех частных лиц» — К. А. Гельвеций, О человеке, его умственных способностях и его воспитании, М., Соцэкгиз, 1938, стр. 301.

<sup>28</sup> Невский альманах на 1829 год, наст. изд., стр. 284.

Ср. у В. В. Попугаева:

Блажен тот, кто велик душой,

Кто чужд смешных предубеждений,

Не чтит людьми народ лишь свой,

Не враг других для веры мнений,

Зрит в кафе брата своего,

В лапонце — мира гражданина,

Одной земли, природы сына! («Поэты — радищевцы», Л.,

Советский писатель, 1935, стр. 281).

Впрочем, история Прибалтики интересна для читателя уже и тем, продолжает ход своих доказательств А. А. Бестужев, что она имела большое влияние на судьбы России — правители Ливонии, в особенности, орденские рыцари, постоянно воевали с русскими. С характерным для декабристов интересом к истории Пскова и Новгорода Бестужев, в первую очередь, отмечает отрицательные последствия войн с Орденом для псковской и новгородской свободы: этим вольным русским республикам приходилось призывать к себе на помощь наёмное войско или вступать в опасные союзы, чем ограничивалась их самостоятельность. Отметим, что в данном вопросе Бестужев оригинален: у других декабристов мы не встретим указаний на это обстоятельство, как одну из причин гибели новгородской и псковской вольности.

Влияние Ливонии на просвещение страны в современную писателю эпоху ничтожно, и Бестужев здесь выделяет только Тартуский университет да и то лишь в отношении изучения древних языков. Последнее, возможно, объясняется тем, что Бестужев был знаком с деятельностью профессора классической филологии К. С. Моргенштерна, связанного с многими деятелями русской культуры и находившегося в переписке с Вольным обществом любителей российской словесности.<sup>29</sup>

В конце статьи находится интересное размышление о том, что история Прибалтики важна не только с точки зрения «философической пользы», но и как источник для «романтических забав». «Соседство рыцарей меча с русскими и беспрестанные сношения одних с другими дадут писателю романов тысячу средств сделать рассказ свой занимательным, не обижая истории, не удаляясь от вероятия < . > Торговые и посольские связи, народная и личная месть, битвы, плен, наезды, похищения, словом, все пружины романизма у него под рукою, и тем вернее, что вымысел будет иметь здесь достоинство правды, ибо сущность заключает в себе всё, что может изобрести воображение».<sup>30</sup> Здесь особенно интересна последняя мысль. Для романтика Бестужева беспредельное воображение несравненно выше ограниченного опыта. Писательское воображение, совершенно независимое от окружающей среды, и является создателем подлинных произведений поэзии. «Поэзия, объемля всю природу, не подражает ей, но только её средствами облекает идеалы своего оригинального, творческого духа»,<sup>31</sup> — пишет Бестужев в статье «О романтизме», созданной примерно в этот же период. И в уже цитированном рассуждении Бестужев также остаётся романтиком: он восторгается историей Прибалтики потому, что она настолько ярка, красочна, фантастична, можно сказать даже нереальна, что и само воображение вряд ли может придумать что-нибудь более необычное и феерическое, к тому же любой, самый фантастический вымысел здесь можно облечь в одежду исторической правды. Эти мысли Бестужева со всей остротой ставят вопрос о том, что подход к «ливонским» повестям в современной научной литературе нуждается в коррективах. Исследователи обычно рассматривают «ливонские» повести лишь с точки зрения декабристской критики феодализма, то есть лишь с точки зрения политической, и приходят к выводу, что Бестужев верно отразил в своих произведениях социальные отношения прошлого, в частности, социальную суть остзейского рыцарства. При этом, несмотря на все оговорки авторов относительно романтизма Бестужева, получается, что в общем писатель здесь фактически выступает как реалист. Между тем, отношение Бестужева к средневековой Прибалтике сложнее и не исчерпывается только лишь критикой феодализма, также и к правдивому отражению отдельных сторон социальных отношений Ливонии мы должны подходить с известной осто-

<sup>29</sup> См. Рукописный отдел Института русской литературы, ф. 58, № 6, л. 98.

<sup>30</sup> Невский альманах на 1829 год, стр. 362—363, наст. изд., стр. 285—286.

<sup>31</sup> Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. I, Госполитиздат, 1951, стр. 483. Об эстетических взглядах А. А. Бестужева см. интересную статью А. П. Шарупича «К вопросу об эстетических взглядах Александра Бестужева», Ученые записки Белорусского гос. университета им. В. И. Ленина. Серия филологическая, вып. 39.

рожностью. Современный исследователь исторических взглядов декабристов С. С. Волк совершенно верно отмечает, что Бестужеву была свойственна сложная оценка феодальной эпохи, которая «своеобразно соединяла новейшие романтические представления о феодализме с суровым приговором, вынесенным ему Просвещением XVIII в. Нимало не склонный идеализировать феодальный строй, А. Бестужев воспринимал жизнь и быт средних веков через призму романтизма».<sup>32</sup> Далее исследователь приводит очень характерную для восприятия Бестужевым средних веков цитату из его статьи «О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем»: «Эпоха была самая драматическая, поэтическая: жизнь не текла, а кипела в этот век набожности и любви, век рыцарства и разбоев. Охотничьи рога гремели в лесу без устали. Вдали ропот аббатство вечернюю звоном колоколов. Турниры сманивали воедино красоту и отвагу. Странствующие рыцари ломали копья на всех перекрестках».<sup>33</sup> Такого рода восприятие средних веков нередко чувствуется и в «ливонских» повестях Бестужева. С другой стороны, правдивое отражение отдельных сторон общественной жизни средневекового прошлого Прибалтики вряд ли является следствием сознательного стремления автора воссоздать подлинную правду истории. Дело здесь в том, что навеянный реальной общественно-политической борьбой 1810—1820-ых гг. субъективный взгляд декабристов на историю Прибалтики, в котором отразилось отрицательное отношение к крепостничеству, как к порождению феодальной системы, наиболее полно развившейся в Ливонии, и к немецкому остзейскому дворянству, захватившему главенствующие посты в государстве, совпал в отдельных моментах с объективной исторической правдой.

Особую «оригинальность, самобытность, следовательно, занимательность» ливонской истории Бестужев видит в своеобразии характеров рыцарей Писатель не скрывает отрицательных сторон ливонских рыцарей: «ливонец был жесток с вассалами, несправедлив с соседями, жаден к добыче <. . .> груб с женщинами, роскошен без вкуса, весел без благородства и вовсе далёк от той любезности, от той чувствительности и самоотвержения в любви, которые навчитываем мы в повестях».<sup>34</sup> Но это был сильный характер, который не изменял самому себе: «я вижу в нём только необразованного человека, воспоенного предрассудками и руководимого страстями, который не признаёт иной власти, кроме силы, иного закона, кроме воли своей, — но не лицемера, каковы все прославленные паладины».<sup>35</sup> Образы рыцарей в «ливонских» повестях фактически выписаны Бестужевым именно по этому образцу, представляют собой как бы конкретные примеры, иллюстрирующие это теоретическое положение. Именно таковы образы рыцаря Бернгарда фон-Буртнека в «Ревельском турнире» и Бруно фон-Эйзена в «Замке Эйзен». Здесь, как мы видим, также противоречиво сочетаются подлинные черты ливонских рыцарей с романтическим представлением о «сильной личности».

Статья А. А. Бестужева «Ливония» даёт дополнительный материал для воссоздания социологических, исторических и эстетических взглядов писателя и представляет собой своеобразный комментарий к «ливонским» повестям и к «Поездке в Ревель».

Поскольку «Невский альманах» давно уже стал библиографической редкостью,<sup>36</sup> мы считаем возможным перепечатать в настоящем томе «Ученых записок ТГУ» статью А. А. Бестужева-Марлинского «Ливония». Текст статьи воспроизводится по изданию «Невский альманах на 1829 год, изданный Е. Аладиным», У. Спб, 1828 г., стр. 344—364.

<sup>32</sup> С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, М.—Л., изд. АН СССР, 1958, стр. 207.

<sup>33</sup> Второе п. с. с, т. IV, ч. XI, стр. 178—179.

<sup>34</sup> Невский альманах на 1829 г., стр. 362—363, наст. изд., стр. 286.

<sup>35</sup> Там же, стр. 363, наст. изд., стр. 286.

<sup>36</sup> Даже в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде нет полного комплекта альманаха за все годы.

## ЛИВОНΙΑ.\*

(Отрывок.)

Случай в разные времена доставил мне наместное познание Остзейских провинций; в немногих книгах, о них писанных, я начитал каков был прежний их быт; свое наблюдение и разговоры с людьми знающими собрали в итог мои сведения о Ливонии и образовали о ней мое мнение. Край этот был первым поприщем для моего любопытства, для моего нравственного и физического созерцания, ещё неутомимого по юности, ещё неутомлённого повторением. Для меня там всё было занимательно, потому что всё было ново. Природа Ливонии поражала меня, потому что я в первый почти раз видел там природу. Уму нравилась сторона, под которой он впервые попытал силу свою, внимание схватывало всё, что встречало, воображение украшало всё, к чему ни касалось. Можно сказать, это была первая любовь моих умственных способностей . . . любовь невольная и часто неудачная в выборе, но тогда счастливая собой и потом сладостная в воспоминании. Вот почему, увлекаясь первыми впечатлениями, я написал столько повестей рыцарских. Чувствую и сознаю, что я разрабатывал неблагоприятное поле; эти предметы никогда не будут близки к сердцу, как предания старины русской. Цветы чужеземные теряют свое благоухание, и красота не пленяет сквозь подзорную трубку. Но дело сделано, и мне остаётся только просить снисхождения, если не к сочинителю — по крайней мере к сочинению.

Впрочем, впечатления, полученные мною случайно, могли бы действовать и на другого и при иных обстоятельствах. Ливония заслуживает неоспоримое внимание историка и философа, романтика и живописца. Страна, соседняя и неведомая Европе до XII века, открывается германцами, выброшенными бурю на берега Двины. Рассказы о ней возбуждают страсть к обращению в христианство; надежда добычи и завоеваний подает руку такому предприятю, и с двух сторон немцы и датчане снаряжают в крестовый поход на неверную Чудь, высаживают войски свои и, наконец, все народы, населявшие поморье, покорены горстью бродяг, сильных лишь превосходством оружия и трусостию своих противников. Орден Меченосцев образуется и берет оседлость. Самозванные бароны, фрейтеры<sup>1</sup> т. е. члены, собратья, рыцари сего ордена делят завоеванную землю. Сперва берут с побежденных дань, потом обращают их в вассалов и, наконец, в бесправных рабов. Пожизненные поместья, даванные орденом в награду личной храбрости, за услуги и заслуги, мало- по-малу закладами, покупками и льготами, то давностию, то силой становятся наследственными. Между тем, отчужденный от Европы орден сей видит, что он может потонуть в океане враждебных племен и, потрясенный литовцами, спустя сорок лет после основания, подает руку Прусскому ордену, берет его правила — меняет своего Магистра на зависимого Гермейстера<sup>2</sup>. Скоро выгоды разделяют сей военно-духовный орден. Действуя во внешней политике как тело государственное, епископы тягнутся с рыцарями, как

---

\* Издатель считает долгом принести чувствительнейшую благодарность неизвестному корреспонденту за доставление сей прекрасной статьи.

удельные князья, то-есть, тогда только признавая чужое право или над собою власть, когда у самих нет силы нарушить первого или отразить вторую. Междоусобия не перестают, кровь льётся, набеги русских и впадения рыцарей в их границы пустошат оба края, ничтожат соседние племена. Мир, которому никто не верит, которого никто не держится, дает только досуг собраться с силами для новых стычек, с выдумками для гибельных хитростей. Редко славные, всегда вредные битвы следуют за битвами, крепости переходят из рук в руки, везде трупы, развалины, слезы от утешенья, <так!> вопли от грабежа. Только порою взор историка встречается в этом кровавом позорище вероломство, оправданное успехом, или разбой, освещенный геройскими подвигами. Но вот Россия крепнет, стряхнув долой татарское иго; орден слабеет в неге. Забытый Европою, покинутый Тевтонским братом своим, разбиваемый Русью, а всего более изможденный собственною дряхлостью, он колеблется, он выбирает место, куда упасть. Сей осколок феодализма ещё держится несколько лет, подобно мумии, и распадается в прах от приветной руки Сигизмунда III<sup>3</sup>. Тем кончается существование ордена, но не беды Ливонии. Обделенные в разделе нового герцогства, рыцари, беспоместные бароны, промотавшиеся дворяне собирают в шайки распущенную почти всеми бывшими членами ордена дворню (Hofleute), состоявшую из оруженосцев, платных воинов, стражей и так далее, — и с этою волиницею рыщут из конца в конец по всему Остзейскому полуострову, грабят своих и чужих, жгут, режут, полонят и неистовством своим осуществляют все рассказы о флибустиерах<sup>4</sup>. Между тем, Эстония поддается добровольно шведам, и наконец через сто лет вся Ливония падает с бою к стопам великого Петра.

Это общее. Это похоже на историю Германии и Франции в средних веках — однако же здесь сходство наружное: начала и следствия происшествий вовсе различны, иные не имеют даже примеров в летописях. Во первых, подобно норманнам в Англии, немцы покорили дикарей ливонских — но они не смешались с ними в подражание первым и до сих пор удержали за собой исключительное над ними господство. Потом, два купеческие вольные города — Рига и Ревель — возвысились на землях воинствующих рыцарей, — первый на немецком, другой на датском берегах моря, — и оба, вмещая в себе гарнизон правительствующего там народа, сохранили бесспорно приобретенные с собою права самобытности и своеуправства. Явление тем замечательнейшее, что в то же самое время немецкие, французские и итальянские города боролись на смерть с феодальными баронами и с князьями за свои льготы и права, то добывая их кровью, то выкупая золотом. — Скажут, это произошло от современности основания торговых городов с орденом: каждый видел неотрицаемость прав соседних, а стародавних притязаний для них не существовало. Но где же вооруженная сила спрашивалась права и уважала справедливость? едва ли не впервые без спора, хотя не без зависти, глядела она здесь на богатеющее купечество, над которым расправу ей бы очень хотелось прибрать к рукам; даже подвергалась его законам в городских границах. Чему же приписать такую умеренность в людях, которым не было ничего святого, если не закону необходимости, этой единственной узды на силу, которая всего хочет и все может? Рыцарям очень не по сердцу были вольные города, и они в запальчивости не раз это выказывали — но они чувствовали по опыту, что города приморские по своему положению и связям с Ганзою были воротами, сквозь которые текли к ним изделия и произведения Европы, равно необходимые для военного и домашнего быта. Следственно, рыцари находились в непосредственной зависимости от купцов, заменить коих собою казалось им презрительно; да если бы и вздумали они это, то для исполнения не стало бы у них ни времени, ни капиталов, ни доверия, ни умения.

Равнодушные рыцарей к вере, которой обязаны они были своим происхождением и благосостоянием, составляет также отличительную черту ордена. Пришедши в Ливонию обращать дикарей в христианство, они и сами в заботах военных забыли свое вероучение. Раздоры с епископами еще более охладили жар сей. Соседние распри за веру не могли иметь на них влияния,

ибо никому не послужило бы их участие. Соперничества вер, которое всегда поддерживает чистоту верующих, не существовало: потому что русские не имели с ними никакого прикосновения в обычаях. Наконец, Рим был далеко. Привыкнув долго ждать разрешений по необходимости, они вводили себя от них по привычке. Буллы Ватикана, как театральные перуны, гремели никого не пугая и не поражая. Должно, однако же, отдать справедливость папам, столь часто клеветанным, что они под проклятиями запрещали делать рабами новообращенных христиан в Ливонии, как и в Америке, и все напрасно. Свои выгоды были ближе к сердцу рыцарей, чем увещания папы.<sup>5</sup> Наконец, удивительнее всего, что лютерово вероисповедание, которое взволновало Европу, разделило народы и превратило царства, — неизвестно произошло и установилось в Ливонии, без частных и соборных прений, без потоков крови и чернил. Рыцари приняли лютеранство не потому, что были убеждены в изяществе новой религии, а потому только, что были равнодушны к старой. Даже страх перевеса власти епископов не имел тут никакого участия, ибо она в это время вовсе была унижена. Обстоятельства образуют и меняют характер народов — это осязаемое в обитателях Ливонии. Прежние рыцари были рачительны, беспорядочны, дерзки, но открыты в своей грубости и пристрастны к славе для славы. Нынешние потомки их расчётливы, обстоятельны, плавки, но отважны для выгоды. Терпение, неутомимость, настойчивость, точность суть добродетели, неизвестные их предкам; только страсть считается породами и титулами и кипение в делах личной чести наследовано от них во всей полноте. Что же касается до народа, т. е. латышей и эстонцев, шестивековое угнетение унизило их до невероятной степени. Получив, однако же, права людей, они в последние годы заметно подвинулись в нравственном образовании, но домашний их быт, рукоделья и промышленность ещё в совершенном младенчестве.

Таковы или почти таковы были состав и изменения сего крайнего звена европейского феодализма в течение слишком четырех веков его существования. Наблюдатель не найдет на этой сухой почве цветов столь же ярких, плодов столь же сочных, как на поле новой истории, но он увидит зато много такого, что откроет ему иные средства к разрешению какой-нибудь политической задачи или доводов для подкрепления другой. Притом, неужели мы осудим на забвение судьбу целого народа за то только, что он был не многочислен, что обитал не на тысячах верст? Неужели высокое самоотвержение, полезное геройство, великодушие и благотворительность получают достоинство от числа свидетелей? Ужели злодейство, подлость, чернота поступков оправдываются, когда совершены они в тайне? Ужели счастье частного человека соразмерно обширности его отечества? Может ли человек умирать дважды, или умирать вполовину? Следственно, судьба человека, где бы он ни жил, не может быть чужда человеку; знаменитость его может только увеличить сие участие, но его ничтожность не извиняет равнодушия. Число должно иметь вес только в отношении к государству и человечеству, не к человеку в особенности. И вот почему, мне кажется, должно представлять поколения и народы в виде человека, ибо у нас не может быть иного мерила счастья и бедствия государств, кроме счастья и бедствия членов его составляющих. И, наконец, восходя далее, счастье или бедствие большей части членов определяет здоровье или болезненное состояние сего политического тела, называемого народом. Но возвращаясь к предмету, я хочу сказать, что в политическом отношении великие нации и сильные перевороты, имевшие влияние на судьбу мира, заслуживают большего внимания, нежели народцы и мятежи как бури в стакане; но когда дело дойдет до частных добродетелей, я не откажу им в уважении, хотя бы они проявились между лопарями, и одинаково пожалею утонувшего в Черной речке<sup>6</sup>, как и в Атлантическом океане. Впрочем, если бытие ордена и не имело постоянного влияния на дела Европы, зато как тяжко лежал он в военных и торговых весах России! По Неве, по Великой, по Луге, по Волхову вливались божии дворяне<sup>7</sup> в области Пскова и Новгорода, или с железными эскадронами своими наезжали от Нарвы, от Нейгаузена<sup>8</sup> в широкораспахнутые границы России, пускали меч и огонь на

охоту — и выходили вон не всегда с добычей себе — всегда с вредом для русских. Те не оставались в долгу, но это питало одних воронов. Военная месть только увековечивает вражду, но не воскрешает погибших, не награждает разоренных. Она всегда падает на невинного и богатит не того, кто потерял. Новгород и Псков, имея столь беспокойного соседа, должныствовали призывать наемное войско, которое употребляло во зло свою силу; — или входить в союзы, то с князьями русскими, то с Литвою, за что всякий раз поступать прямо или последственно частью своей свободой или какими угодьями. И как много чужой крови пролило в Ливонии бесславно, как много своей бесполезно! Сколько высоких поступков озарило имена воинов, в делах пятнающих честь народа, сколько имен достойных очернено клеветой или съедено забвением!

В военной истории нашей Ливония займет важное место, ибо в течение XV, XVI и XVII веков она была почти единственным поприщем военных действий русских войск. Она видела первые попытки и обычные победы армии по-европейски устроенной.

Всем известно, какую роль играл Новгород в Ганзейском союзе и какие связи поэтому имел с Ревелем, с Ригой, с Нарвою. Когда же монгольскими ордами запал путь восточной торговли с Россиею, она еще более, чем когда-либо впала в зависимость ордена, равно для сбыту произведений своей земли, как и для ввоза заморских изделий. Между тем, рыцари под малейшим предлогом нарушали договоры, расхищали в своих городах наши складки, полонили купцов. Частые грабежи на суше и на море грозили в мирное время доставке товаров, даже иностранными купцами, даже на чужеземных кораблях. Такая неуверенность возвышала цены и подрывала доверие. Одним словом, Эстония и Ливония во времена рыцарского и шведского владычества были для северной Руси столь же нужны и столь же страшны, как Крым для южной.

В отношении к просвещению можно только сказать, что орден из зависти не пропускал к нам ученых, лекарей и мастеровых, которые или сами стремились поискать счастья в земле новой, или были приглашаемы князьями и царями. Теперешнее влияние Ливонии на просвещение России не важно, хотя Дерптский университет есть бесспорно лучший в Империи, особенно в изучении древних языков. Русских студентов там очень немного, а круг ученых действий туземцев не выходит за границы провинций, исключая малого числа военных и докторов, в нашем войске служащих.

Но оставя рассуждения политические, оставя долг русского знать коротко все, что принадлежит теперь к его отечеству, — каких струн сердца не трогают, каких мечтаний не возбуждают во всяком эти разрушенные замки и крепости, теперь забытые — но когда-то полные жизни, богатства и силы! В душе человеческой есть чувство, невольное ее привязывающее к памятникам минувшего, к развалинам древности, к сим путевказателям на распутии веков. Не есть ли это грустное чувство долг сожаления к братьям — человекам, которые были и которых уже нет? Взирая на эти гробницы поколений, кажется, чувствуешь себя звеном цепи существ, которая тонет в минувшем и теряется в будущем. Не это ли чувство бессмертия жизни, умирающей в поколениях, но вечно возрождающейся в родах, иногда унижающейся в части и беспрестанно усовершенствующейся в целом? Конечно, не все и не всегда могут дать отчет в ощущениях и в мыслях, вселяемых подобным созерцанием, но тем не менее оно и не заметное поучительно. От воспоминания рождаются, развиваются, крепнут новые мысли, лучшие чувства, чистейшие нравы. Так зерно, случайным ветром занесенное в трещину стены, дает отпрыски, всходит кустарником — и через несколько лет осеняет пышною зеленью развалину. Так обновляется вечная, никогда не истощимая природа. Семена жизни кроются в лоне разрушения — и мысль человека, поглощаясь минувшим, выплывает оттоле подобно водолазу с жемчугом и кораллами.

Не одна философическая польза, но и романтическая забава, или лучше сказать одна в другой, могут быть извлечены из этой почвы. Соседство ры-

царей меча с русскими и беспрестанные сношения одних с другими дадут писателю романов тысячу средств сделать рассказ свой занимательным, не обижая истории, не удаляясь от вероятия. Он даже может досказать то, что умолчала история, угадать, что она могла сказать, и заманчиво передать то, что она говорила. Поле это не трогано и неистошимо. Перед ним два неприязненные народа, разделенные верою, обычаями, выгодами, но смешанные нуждами, похожие друг на друга только необузданными страстями. Торговые и посольские связи, народная и личная месть, битвы, плен, наезды, похищения, словом, все пружины романизма у него под рукою, и тем вернее, что вымысел будет иметь здесь достоинство правды, ибо сущность заключает в себе всё, что может изобрести воображение. Правда, характер и образ жизни ливонских рыцарей имели в себе очень мало заманчивости, сквозь радугу коей привыкли мы видеть прочее рыцарство; но в этом-то самом я и вижу оригинальность, самобытность, следовательно, занимательность новых характеров, новых картин для романа. Ливонец был жесток с вассалами, несправедлив с соседями, жаден к добыче — иногда к славе, коротко сказать, во внешней жизни подобен рыцарям Европы. Но он не изменял этому характеру и в домашнем быту: груб с женщинами, роскошен без вкуса, весел без благородства и вовсе далек от той любезности, от той чувствительности и самоотвержения в любви, которые начитываем мы в повестях и которые, может быть, и на самом деле встречались, потому что восторженные чувства могут быть также точно модою, как покрой и мнения. По крайней мере, я вижу в нем только необразованного человека воспоенного предрасудками и руководимого страстями, который не признает иной власти, кроме силы, иного закона, кроме воли своей, — но не лицемера, каковы все прославленные паладины<sup>9</sup>

#### Примечания

<sup>1</sup> Фрейтеры — рыцари, члены ордена; от официального наименования «*Fratres militiae Christi*» (лат.) — «братья воинства Христова».

<sup>2</sup> Имеются в виду события 1237 г., когда Орден меченосцев, разгромленный литовцами, слился с Тевтонским (Прусским) орденом, за которым сохранилась верховная власть. В Ливонии был образован своего рода филиал Тевтонского ордена — Ливонский орден во главе с магистром. Магистров Ливонского ордена впоследствии стали называть гермейстерами.

<sup>3</sup> А. А. Бестужев останавливается здесь на событиях второй половины XVI в., когда, разгромленный в Ливонской войне, Орден распался. Сигизмунд III (1566—1632) — король польский (1587—1632) и шведский (1592—1604), при котором Ливония стала ареной ожесточённой борьбы между Польшей и Швецией. Фактически орден прекратил свое существование ещё в 1561 г. при короле Сигизмунде II Августе (1520—1572).

<sup>4</sup> Флибустиеры — морские разбойники, пираты, прославившиеся в XVII в. грабежом испанских судов и даже захватом ряда испанских колоний в Америке. В XIX в. слово «флибустиеры» стало употребляться для обозначения кровожадных, жестоких разбойников вообще.

<sup>5</sup> Беспрерывные раздоры епископов с орденом, доходившие до открытых военных столкновений, вызвали ряд взаимных жалоб, адресованных римскому папе. В этих жалобах противники обвиняли друг друга в зверском угнетении, жестокости по отношению к коренным жителям края. Папа, которого, конечно, мало волновала тяжёлая судьба латышей и эстонцев, был, однако, обеспокоен непрочностью католической власти в Прибалтике и поэтому иногда пробовал увещевать остзейских феодалов, призывал их к умеренности в угнетении народа. Уже в 1232 г. папа Григорий IX попытался запретить рыцарям насильственно расхищать имущество «туземцев». В 1237 г. он же, узнав, что рыцари и епископы обращали туземцев в рабство, предлагал завоевателям облегчить для новообращённых бремя неволи, не отвергая по

существованию самого института рабства. Его призывы не имели никакого влияния на положение латышей и эстонцев.

<sup>6</sup> Чёрная речка — речка в Петербурге, впадающая в Большую Невку.

<sup>7</sup> Божии дворяне — орденские рыцари.

<sup>8</sup> Нейгаузен — крепость на юге Эстонии, построенная немецкими рыцарями в 1242 г. в качестве орденского аванпоста против Руси. Ныне — Вастселийна.

<sup>9</sup> Паладин — храбрый, доблестный рыцарь в Западной Европе; от прозвища героических подвижников Карла Великого.

## НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РЕЦЕНЗИЯ Д. Н. КУДРЯВСКОГО.

С. В. Смирнов

В Архиве АН СССР хранится неопубликованная рецензия Д. Н. Кудрявского на книги А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» и «Школьная и научная грамматика». Эта рецензия написана в 1915 году по поручению Академии наук в связи с тем, что Пешковский представил свои работы на соискание Ломоносовской премии.

Данная работа Кудрявского представляет большой интерес для истории русского языкознания,<sup>1</sup> так как отражает один из переломных периодов в его развитии. Дело в том, что с конца XIX века в научной грамматике безраздельно начинают господствовать формальное и психолого-грамматическое направления, в то время как логическое ограничивается только рамками школьной грамматики. Поэтому в течение многих лет русская грамматическая мысль упорно искала пути сближения школьной и научной грамматики. Выход «Русского синтаксиса в научном освещении» завершил эти поиски и утвердил почти на два десятилетия преподавание формальной грамматики в средней школе.

Труд Пешковского получил большой отклик в научных кругах. Первым на него откликнулся проф. Е. Ф. Будде.<sup>2</sup> В своей рецензии он, признавая некоторые заслуги Пешковского, в целом отнесся отрицательно к его книге. В большинстве случаев голословно, в довольно грубом тоне Будде отрицал научную ценность книги Пешковского, стремился противопоставить ему имена Потехни, Фортунатова и Поржезинского.

Совершенно противоположную позицию занял Кудрявский. Он, высоко оценивая работу Пешковского, считал, что она «написана с несомненным знанием дела, все вопросы с большим вниманием продуманы самостоятельно, и автор никогда не скрывает тех противоречий, на которые ему приходится наталкиваться в развитии своих положений. Я нахожу, что этим автор оказал большую услугу в деле выяснения многих темных вопросов нашего синтаксиса, который еще ждет разработки почти во всех своих частях. Книга автора не представляет исследования в собственном смысле слова, но она дает очень много оригинального, самостоятельного. А в области интонации и ритма мы обязаны автору новыми и довольно тонкими наблюдениями. Если прибавить к этому мастерское и даже увлекательное изложение, то в книге автора мы несомненно должны видеть труд, который должен оставить глубокий след в научной литературе. Не надо забывать также и того, что написанный очень популярно, труд этот может оказать большую услугу в деле распространения более здравых взглядов среди преподавателей низшей

<sup>1</sup> Еще в 1938 году С. И. Бернштейн выражал сожаление, что эта работа осталась ненапечатанной. См. его статью «Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского» в книге: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 6, М., 1938, стр. 17.

<sup>2</sup> Е. Будде, А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, рецензия. ЖМНП, 1914, № 12.

и средней школы».<sup>3</sup> Поэтому можно сказать, что Кудрявский первый в русском языкознании сумел правильно и объективно оценить труд Пешковского, составивший одну из вех в развитии отечественной науки о языке.

Эта высокая оценка объясняется отчасти и тем, что Кудрявский рассматривает Пешковского как последователя Потебни, несмотря на то, что сам Пешковский указывал два источника своей грамматической системы: университетские курсы Фортунатова и Поржезинского и «Из записок по русской грамматике» Потебни. Отчасти вывод Кудрявского справедлив, так как Пешковский сам впоследствии признавал,<sup>4</sup> что опирался на Потебню при рассмотрении значения частей речи и в учении о членах предложения, а от Фортунатова взял главным образом понятие формы слова, деление слов на форменные и бесформенные и классификацию бесформенных слов. Но Кудрявский не заметил полярной противоположности грамматических систем Фортунатова и Потебни. Бернштейн в свое время высказал правильную мысль,<sup>5</sup> что объединение Пешковским этих двух противоположных учений было возможно потому, что они воспринимались тогда только как различные оттенки оппозиции логическому направлению. Поэтому некоторое сходство между ними было гораздо заметнее, чем различия. Этим объясняется тот факт, что Кудрявский соглашается с преобладающим большинством выводов Пешковского. Более того, под влиянием Пешковского он склонен был признать инфинитив самостоятельной частью речи и членом предложения.

Возражения Кудрявского были направлены главным образом против психологической трактовки грамматических явлений, деления наречий на грамматические и неграмматические, деления форм на синтаксические и несинтаксические.

Пешковский, рассматривая синтаксические явления, как отражения психических процессов, происходящих в говорящем в момент речи, стоял на психологической точке зрения. Но в последующем изложении он, различая «психологическую подпочву фразы» и ее «грамматическую поверхность», считает их разнородными величинами. Чтобы примирить эти противоположные выводы, он относит полное соответствие психического и языкового содержания грамматических понятий к гипотетическому периоду языка. В настоящее же время, по его мнению, члены предложения почти не сохранили своего первоначального психологического содержания. Но в конце он все-таки приходит к выводу, что грамматические категории подлежащего и сказуемого никогда не смогут быть оторваны от психологических и логических, которые, отражая их сущность, связывают грамматику с логикой и психологией.

По мнению Кудрявского, эти положения отражают состояние в то время научной разработки синтаксиса, так как новое, психологическое, направление поставило на место логики психологию. В чем же Кудрявский видит основную ошибку этого направления? Пешковский, по его мнению, довольно четко различает «психологическую подпочву» от «грамматической поверхности», но исходит из предвзятой мысли о соответствии той и другой в гипотетический период языка. Такое психологическое толкование, повторяя ошибки логического направления, дает очень мало для изучения грамматических явлений, так как «психология только тогда оказывает серьезную услугу языкознанию, когда в психологии ищут объяснения грамматических явлений, а не перестраивают грамматику на основании общих психологических воззрений».<sup>6</sup> Иное решение вопроса приводит к смешению психологии и языкознания, психологических и грамматических категорий. Для доказательства этого Кудрявский обращается к разбору определений подлежащего и сказуемого.

Недостатки психологических определений подлежащего и сказуемого он видит в том, что они не дают прочных критериев для их разграничения и не

<sup>3</sup> Архив АН СССР, ф. 9, оп. 3, № 37, л. 57

<sup>4</sup> См. А. М. Пешковский, Сборник статей. Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика, Л.-М., 1925, стр. 77—108.

<sup>5</sup> С. И. Бернштейн, Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского, стр. 13—14.

<sup>6</sup> Архив АН СССР, ф. 9, оп. 3, N 37, л. 29.

способствует уяснению грамматической сущности этих явлений. Психологическое определение сказуемого приводит вдобавок еще и к установлению дву-членности всякого предложения, что прямо противоречит языковым фактам. И совершенно беспомощной он считает эту точку зрения в объяснении второстепенных членов, так как психологический анализ предложения их не различает.

Исходя из этого, Кудрявский основную задачу научного синтаксиса видит в изучении грамматической стороны синтаксических явлений, объяснению которых должна служить «психологическая подпочва». Лучшим примером такого подхода он считает синтаксические исследования Потеевни.

Определяя форму слова, как «способность его распадаться по звукам и по значению на основу и формальную часть»<sup>7</sup>, Пешковский с необходимостью пришел к выводу, что не все слова имеют форму. На этой основе строится им и деление наречий на грамматические и неграмматические. К первым он относит наречия на -о, ко вторым все остальные. С точки зрения Кудрявского, неграмматические наречия совершенно бесформенными считать нельзя, так как они также могут распадаться на указанные две части (ср. стоймя и плашмя; иногда, всегда, тогда, когда; наудалую, напропалую). Поэтому такое деление он считает весьма произвольным. Отсюда следует, что для него неприемлемо и деление обстоятельств на наречия, слова, не имеющие формы, но по значению своему совпадающие с наречиями, и слова, не имеющие формы и обозначающие различные обстоятельства, при которых происходит действие, так как «различая некоторые формы образования наречий, это деление однако не приносит никакой пользы для систематического обзора образования наречий; а привнесение другого принципа деления — значения, вносит путаницу в установленное Потеевней ясное положение, что наречие есть специальная форма обстоятельства. Таким образом это деление совершенно излишне».<sup>8</sup>

К Фортунатову восходит и деление Пешковским форм на синтаксические и несинтаксические, т. е. зависимые от других слов в речи и независимые. К синтаксическим он относит формы падежа у существительных, формы падежа, числа и рода у прилагательных, лица, числа, рода, времени, наклонения у глаголов. Примерами несинтаксических форм называет формы числа, рода, уменьшительности и увеличительности у существительных, залога и вида у глаголов и т. д. Кудрявский возражает против такого деления по ряду причин. Во-первых, оно внутренне противоречиво. Рассматривая категорию рода у существительных и прилагательных, Кудрявский пишет: «Выходит так, как будто один конец той же нити, связывающей два члена предложения, оказывается синтаксическим, а другой конец не имеет уже ничего синтаксического и как раз в том месте, где категория рода оказывается доминирующей: так как именно род существительного обуславливает род прилагательного, а не наоборот».<sup>9</sup> Во-вторых, включение форм времени и наклонения в число синтаксических форм основано уже на другом принципе, на том, что они образуют глагольность. И, в-третьих, несинтаксические категории могут играть важную синтаксическую роль. Например, множественное число иногда принимает оттенок местного значения (ср. «в голове» и «в головах»). Отсюда Кудрявский делает вывод, что вряд ли возможно разграничение форм на синтаксические и несинтаксические. Но он считает, что было бы небесполезно в каждой форме отличать синтаксический элемент от других ее значений.

В 1923 году Пешковский приступил к переработке своей синтаксической системы.<sup>10</sup> Основой для нее послужило опубликование синтаксической системы Шахматова, которая впервые была изложена в статье Бернштейна «Основ-

<sup>7</sup> А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. I, М., 1914, стр. 6.

<sup>8</sup> Архив АН СССР, ф. 9, оп. 3, N. 37, л. 40.

<sup>9</sup> Там же, л. 45.

<sup>10</sup> Третье, переработанное издание вышло в 1928 году.

ные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шахматова».<sup>11</sup> Но известную роль сыграла и рецензия Кудрявского.

Анализ грамматических систем А. М. Пешковского см. в следующих работах: В. В. Виноградов, Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия (Вопросы синтаксиса современного русского языка, М., 1950), С. И. Бернштейн, Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского (в книге: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении изд. 6, М., 1938), А. И. Белов, Грамматическая система проф. А. М. Пешковского, Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института, т. 2, вып. 1, 1956 и его кандидатская диссертация под тем же названием, МГУ. 1951.

Наибольшее значение в этом отношении имела критика психологического толкования языковых явлений. В третьем издании Пешковский уже отказывается от психологического толкования предложения и его главных членов, даже подвергает критике понятия психологического подлежащего и сказуемого.<sup>12</sup> Теперь он определяет предложение и его члены, основываясь на языковых наблюдениях. В этом повороте Пешковского от Фортунатова к Потембине значительную роль сыграл Кудрявский. Об этом свидетельствует, в первых, признание самого Пешковского, что психологическое толкование грамматических явлений вызвало «возражения критики, во многом справедливые»,<sup>13</sup> а возражал против этого как раз Кудрявский. Во-вторых, синтаксическая система Шахматова не могла способствовать отказу от психологизма, так как она была истолкована Бернштейном как система психологическая. (Ср. «Синтаксис Шахматова есть синтаксис психологический [разрядка автора С. С.]. Объект изучения определяется в нем по психологическому признаку. Вся система базируется на классификации лингвистических дисциплин, построенной по признаку отношения изучаемых явлений к сознанию».)<sup>14</sup>

Критика Кудрявским деления наречий на грамматические и неграмматические и форм — на синтаксические и несинтаксические оказала на Пешковского меньшее влияние, так как во всех последующих изданиях оно было лишь частично изменено и уточнено. Например, уже во втором издании Пешковский указывает между грамматическими и неграмматическими наречиями ряд переходных групп, обладающих в определенной степени своей специальной формой наречия, а в дальнейшем даже признает, что «вообще огромное большинство так называемых «неграмматических наречий», в сущности, в той или иной степени форменно, а совершенно (разрядка автора С. С.) бесформенных наберется, может быть, только десяток-другой».<sup>15</sup> Деление же форм на синтаксические и несинтаксические во всех изданиях осталось без существенных изменений. «Разница обнаруживается только в том, что, в соответствии с общей переработкой своего построения, Пешковский перенес это различие с «форм слова» на «формальные категории слов»; кроме того, перечень «синтаксических категорий» прилагательного он дополняет категорией «краткости прилагательного».<sup>16</sup>

Далее, признавая в целом новые термины, созданные Пешковским, весьма удачными, Кудрявский высказался против термина «отрицательный» (отрицательные формальные части, отрицательные категории, отрицательная связка и т. д.) В третьем и последующих изданиях Пешковский всюду уже употребляет рекомендованный Кудрявским термин «нулевой».

Следовательно, данная работа Кудрявского имеет для истории русского языкознания значение в том отношении, что она отражает один из переломных периодов в его развитии, является первой наиболее правильной и объ-

<sup>11</sup> Известия ОРЯС, т. XXV, 1922 г.

<sup>12</sup> См. А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 6, стр. 230—232.

<sup>13</sup> Там же, стр. 5.

<sup>14</sup> С. И. Бернштейн, Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шахматова, стр. 228.

ективной оценкой книги Пешковского. Кроме того, она оказала и известное влияние на его грамматическую систему.

Рукопись данной работы хранится в Архиве Академии Наук СССР, ф. 9, оп. 3, № 37, л. л. 18—57. Все подчеркивания в тексте сделаны самим Д. Н. Кудрявским. Ниже приводится текст этой рецензии.

**Отзыв о сочинениях А. М. Пешковского: «Русский синтаксис в научном освещении.** Популярный очерк. Пособие для самообразования и школы». Москва, 1914 (VI + 440 стр.) Ц. 1 р. 75 коп. и «Школьная и научная грамматика. Опыт применения научно-грамматических принципов к школьной практике». Москва, 1914, (61 стр.) Ц. 30 коп. «Приложение к предыдущему сочинению», составленный профессором Д. Н. Кудрявским.

Книга г. Пешковского, имеющая в виду ознакомление нашей читающей публики с научно постановкою изучения русского синтаксиса, главным образом в интересах средней школы, не осталась незамеченною. В декабрьской книжке Ж. М. Нар. Пр. за 1914 год (стр. 342—355) появилась рецензия на нее проф. Будде, который признает, что «книга написана с замечательной любовью к делу и с искренним желанием автора *самому себе научно уяснить* (курсив автора) весь синтаксический строй современного русского языка» (стр. 345; ср. еще 352). Автор отмечает, «в книге г. Пешковского много хорошего, истинно-научного: так, хорошо изложена у автора сущность грамматики (стр. 42), вещественное и формальное значение слов (и в, деление грамматики и классификация значений слов и форм (48—51), деепричастие (72, хотя это не самостоятельно), деление языков (77—78), неправильности обыденной речи (83), сокращенные придаточные предложения (88), дательный самостоятельный (90), значение творительного падежа (93 и 175, критика школьной грамматики (168) и кое-что еще, напр., основа и форма слова. Словом все то, что хорошо разработано наукою, удалось изложить просто и ясно и г-ну Пешковскому...» (стр. 351 сл.). Несмотря, однако, на эти похвалы, рецензию проф. Будде приходится признать в общем отрицательною. Проф. Будде «в интересах распространения действительно *научных* (курсив автора) воззрений на явления языка» (стр. 349) высказывает сомнение в научности взглядов г. Пешковского и берет под свою защиту имена «корифеев русской лингвистической науки», от которых старается отделить имя г. Пешковского, так как он якобы, «чтобы сообщить своей книге большую ценность», «в предисловии указывает читателям, что «научным фундаментом книги послужили прежде всего университетские курсы проф. Ф. Ф. Фортунатова и В. К. Поржезинского, учителей автора» (стр. 347). Проф. Будде хочет сказать, «что за добрую половину книги г. Пешковский должен брать ответственность на себя и на свои «школьные записки», не стараясь разделить эту ответственность с корифеями русской лингвистической науки» (349). Не входя в подробности возникшей на этой почве полемики (г. Пешковский напечатал в ЖМНП свой «Ответ на рецензию Е. Ф. Будде»),<sup>1</sup> я хотел только указать на то, что даже отрицательная критика не могла не признать за книгою г. Пешковского весьма серьезных достоинств. С моей точки зрения книга г. Пешковского особенно ценна именно в том отношении, которое отметил и проф. Будде: «замечательная любовь к делу» и «искреннее желание автора самому себе научно уяснить весь синтаксический строй современного русского языка» дают очень живую картину современного состояния научного изучения русского синтаксиса со всеми положительными и отрицательными его сторонами. В этом отношении книга г. Пешковского является как бы зеркалом, в котором довольно хорошо отражаются достоинства и недостатки изучения русского синтаксиса и таким образом намечаются (и это особенно важно) задачи дальнейшего исследования.

Научная разработка русского синтаксиса едва только началась и подви-

<sup>15</sup> А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 6, стр. 46.

<sup>16</sup> С. И. Бернштейн, Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского, стр. 17.

гается вперед очень медленно. Иногда даже кажется, что она совсем остановилась. Дело представляется так, как будто в настоящее время мы все еще стараемся усвоить то, что было сделано Потебнею; но и эти старания как будто не всегда увенчиваются успехом: иногда «развитие взглядов Потебни» приводит и к отрицательным результатам, возвращая исследователей к старым, отжившим уже свой век научным воззрениям. Влияние Потебни громадно, и совершенно понятно, что всякий занимающийся русским синтаксисом должен начать с Потебни. Г. Пешковский точно также, несомненно, примыкает к Потебне; он хорошо его изучил и старается держаться его точек зрения. Но так как Потебня писал не обо всех вопросах синтаксиса, то, конечно, приходится его взгляды проводить самостоятельно и в тех областях, которых Потебня не касался. И здесь-то и проявляется с особою яркостью разногласие во взглядах последователей Потебни, разногласие, усиливаемое еще и тем, что у самого Потебни можно часто найти различные взгляды на один и тот же вопрос, так что исследователям удается при защите разных точек зрения одинаково ссылаться на авторитет Потебни. Как это ни странно, но со времени Потебни мы, кажется, нимало не подвинулись вперед. Причину тому нужно видеть, во-первых, в том, что синтаксическими исследованиями у нас занимаются очень мало; а во-вторых, в том, что синтаксические вопросы по большей части являются у нас связанными с преподаванием синтаксиса в средних учебных заведениях, а, следовательно, с тою несомненно устаревшею, но все еще обязательною программой, которая там выполняется. Поэтому, совершенно естественно, русским синтаксисом у нас интересуются по преимуществу преподаватели средних учебных заведений, которым на практике приходится разрешать трудные синтаксические проблемы. Поэтому несправедлив упрек проф. Будде, что автору «не следовало к брататься» за то, «чего он сам не понял, или чего еще не дала и наука» (стр. 352). Преподаватель среднего учебного заведения поставлен в такое положение, что он должен объяснить все, и мы должны быть благодарны г. Пешковскому, что он во всем старался остаться на почве науки, не поддаваясь традиционным объяснениям школьной грамматики.

Предшествующие замечания имели в виду установить ту точку зрения, с которой мы должны оценивать работу г. Пешковского. Мы не можем требовать от него невозможного, того, чтобы он все правильно научно объяснил, даже в том случае, когда такого объяснения «еще не дала и наука». Достаточно, если мы найдем у него научную попытку объяснить явления русского синтаксиса. А это мы несомненно у него находим. В тех же случаях, когда наука дает автору твердую точку опоры, мы находим у него прямо мастерское, ясное и увлекательное изложение даже самых, казалось бы, скучных тем.

Автору приходилось разбираться в еще неисследованных областях русского синтаксиса, приходилось даже во многих случаях устанавливать терминологию, и если мы не всегда можем согласиться с ним, то во всяком случае ему мы должны быть благодарны за постановку этих вопросов и за посланный ответ на них. Во многих случаях автор основывается на своих собственных наблюдениях, которые, если и не разрешают вопроса, то во всяком случае приближают нас к его решению. Сюда относятся в особенности самостоятельные наблюдения автора над интонацией и ритмом речи, — область почти вовсе еще не затронутая наукою.

Мы не станем передавать содержания книги г. Пешковского, так как такое изложение свелось бы к перечислению заголовков отделов, входящих в состав всякого «синтаксиса», а остановимся на некоторых вопросах, имеющих наиболее важное значение в изучении синтаксических явлений, и прежде всего обратимся в главе XXXVII «Члены предложения и члены мысли» (стр. 373—385). Глава эта рассматривает основной вопрос синтаксиса об отпадении — говорим словами автора — «психологической подпочвы фразы» к «ее грамматической поверхности» (377).

Отражая совершенно правильно современное состояние науки, автор стоит во всем своем изложении на психологической точке зрения и толкует синтаксические явления, как отражения психических процессов, происходя-

ших в говорящем в момент речи. Но в рассматриваемой главе автор приходит к тому заключению, что «психологическая подпочва фразы и ее грамматическая поверхность — величины совершенно разнородные» (377). Автор не скрывает трудности, которая вытекает из этого, и продолжает: «Читателю, вероятно, начинает казаться, что почва, на которой он до сих пор стоял, уходит из-под его ног. Как? Истолковать основные синтаксические категории на почве их психологического значения, а затем заявить, что к 9/10-м случаев такое истолкование не подходит? Не значит ли это, что основные примеры подобраны искусственно, что все здание построено на песке, вся книга на фикции? И какой же внутренний смысл имеют тогда все эти «подлежащие», «сказуемые», «дополнения и т. д.? Не есть ли это, в таком случае, пустые «формы», мертвые звуковые факты, механически нам свойственные, но с нашим мышлением ничего общего не имеющие? Постараемся рассеять все эти вполне законные недоумения, хотя и предупреждаем, что здесь мы подходим к труднейшему из общих вопросов синтаксиса». (377 сл.) Это затруднение автор разрешает в том смысле, что «готовые формы сочетаний русского языка», те «определенные шаблоны», по которым мы говорим, «мы можем всегда наложить» «на любое психическое содержание».<sup>2</sup> В тот период языка, когда эти шаблоны еще только создавались, они «должны были употребляться в своем истинном, первоначальном смысле, оформливать именно то психическое содержание, ради которого они были созданы. Именно этот-то гипотетический период языка и имеют всегда в виду, когда говорят о психологическом и логическом значении подлежащего и сказуемого или о различении главных и второстепенных членов. Несомненно, что в том языке и в ту эпоху, когда создавался глагол, он выражал психологическое сказуемое и соотношение его с психологическим подлежащим...»<sup>3</sup> «Раскрывая психологическое значение какого бы то ни было синтаксического шаблона, мы, очевидно, должны восходить ко временам, когда он не был еще шаблоном, потому что, как шаблон, он ничего не может значить».<sup>4</sup> В настоящее время эти шаблоны «сохранили свое исконное значение, но перешли, как все привычное, из области сознательного в область подсознательного».<sup>5</sup> «Работа грамматиста» и состоит в раскрытии содержания этих шаблонов «путем перевода их из подсознательной области в центр сознания».<sup>6</sup> Разбирая далее соотношения между членами предложения и членами мысли, автор показывает, что в наших синтаксических шаблонах члены предложения очень редко сохраняют свое первоначальное психологическое значение. Так «подлежащее всегда бывает психологическим сказуемым в начале повествования»,<sup>7</sup> «сказуемое сравнительно редко бывает само по себе психологическим сказуемым»,<sup>8</sup> «приглагольное дополнение... чаще всех других членов бывает психологическим сказуемым»,<sup>9</sup> «определение крайне редко бывает психологическим сказуемым»,<sup>10</sup> «обособленные члены» и «однородные члены почти всегда бывают психологическим сказуемым...»<sup>11</sup> Таким образом автор приходит к необходимости «среди психологических фактов, лежащих в основе синтаксической стороны речи различать факты обще-психологические, относящиеся к до-языковой мысли и факты грамматико-психологические (или психо-грамматические), создающие языковую мысль, или предложение».<sup>12</sup> В конце концов автор приходит к следующему заключению: «Как ни условны, как ни расплывчаты раскритикованные Потемной обычные «логические» определения подлежащего и сказуемого (подлежащего, как того, «о чем говорится в предложении», а сказуемого, как того, «что говорится о подлежащем»), они все-таки выражают, по правде говоря, самую суть дела, в том смысле, что перебрасывают необходимый мост между грамматикой с одной стороны и психологией и логикой с другой. С этих определений (только переведенных в область психологии) никогда не сдвинется синтаксис, поскольку грамматические подлежащее и сказуемое никогда не смогут быть совсем оторваны от психологических и логических. Беда только в том, что все подобные определения годны для эпохи образования этих форм в языке, а не для той эпохи, когда их учит ребенок в школе» (384 сл.)

Уже одно возвращение автора к «раскритикованным Потемной обычным «логическим» определениям подлежащего и сказуемого» показывает, что где-

то в рассуждениях его есть ошибка, непоследовательность. И в этом отношении повинен не только автор, но и все вообще современное состояние научной разработки синтаксиса. В своей борьбе против логического направления, новое направление языкознания в сущности подставило на место логики психологию, но не выяснило самого главного, а именно сущности грамматической стороны речи. Действительно, психологическое направление старается объяснить, напр., грамматическое подлежащее и грамматическое сказуемое соответствующими психологическими категориями, лежащими в основе этих грамматических явлений; но несоответствие между «психологической подпочвой» и «грамматической поверхностью», как показывает автор, слишком режет глаза. Если возможно еще установить, хотя бы в гипотетическом языковом периоде, некоторое соответствие между подлежащим и сказуемым с одной стороны и психологической их подпочвой с другой; то до сих пор не найдено никаких психологических аналогов для второстепенных членов: нет психологических дополнений, психологических определений, психологических обстоятельств. И это несоответствие ярко выступает и в изложении нашего автора: рассматривая соотношение между членами предложения и членами мысли, он в сущности касается только одного вопроса, когда бывает психологическим сказуемым тот или другой член предложения. Все разнообразие членов предложения противопоставляется только одному психологическому сказуемому: во всем этом отделе не упомянуто даже о психологическом подлежащем. И это не случайно, так как психологический анализ мысли, как и логический, не пошел дальше деления на две части, при чем психологическим сказуемым является всякое новое сообщение, и, следовательно, самое главное содержание всякой речи является психологическим сказуемым. Присутствие особого ударения автор считает признаком того, что член предложения является психологическим сказуемым.

Это противоречие автор старается объяснить тем, что первоначальная гармония между психологическим и грамматическим строем речи существовала только в доисторический период языка, и создавшийся на этой почве шаблон перешел в позднейшие стадии языка. Но это объяснение однако не выводит нас из лабиринта противоречий. Не раз в своей книге автор повторяет, что значение форм должно определяться не первоначальным их значением, а тем, какое они имеют в настоящее время; а здесь оказывается, что вся система синтаксиса покоится на гипотетическом доисторическом состоянии языка, которого мы непосредственно нигде не наблюдаем. Одно из двух: или этот гипотетический период языка выясняет значение всего синтаксического строя, а также и отдельных форм; или он не объясняет ни того, ни другого. И так как автор сам очень ярко изображает несоответствие между первоначальным и современным состоянием языка, то нам приходится признать неудовлетворительным предположение такого первоначального строя, так как отрицать современное состояние языка мы, очевидно, не можем.

В чем же заключается ошибка этой психологической точки зрения на грамматические явления? Мне представляется дело в таком виде. Автор в своем изложении довольно отчетливо различает «психологическую подпочву» от «грамматической поверхности» языковых явлений. Но он исходит из предвзятой мысли о соответствии той и другой. Он признает совершенно откровенно, что этого соответствия нет, но в угоду теории постулирует его существование для недоступного нашему наблюдению гипотетического периода языка. В таком обнаженном виде теория эта ясно выказывает и свои слабые стороны. Ясно, что нашему изучению подлежит непосредственно «грамматическая поверхность», что же касается «психологической подпочвы», то ее мы должны восстанавливать путем исторического изучения грамматических явлений, а не путем прыжка в гипотетический период языка, которого мы нигде не наблюдаем. Понятно при этих условиях, что такое психологическое толкование синтаксических явлений дает нам очень мало и едва ли правильно толкует их. В сущности мы повторяем при этом ошибку логического толкования и только логику заменяем психологией, которая без достаточного основания пользуется в настоящее время большим кредитом. Я вовсе не хочу этими словами отрицать значение психологической точки зрения в языкозна-

нии; но думаю, что психология только тогда оказывает серьезную услугу языкознанию, когда в психологии ищут объяснения грамматических явлений, а не перестраивают грамматику на основании общих психологических воззрений. При такой точке зрения психология сначала отождествляется с грамматикой, а потом несоответствия между ними так или иначе истолковываются. Таким образом мы видим постоянно, что граница между психологией и грамматикой колеблется, и психологические и грамматические категории смешиваются и часто без достаточной критики меняются местами. Для доказательства нашей мысли обратимся к разбору наиболее твердо установленных категорий подлежащего и сказуемого.

Психологическим подлежащим обыкновенно считается то представление, к которому присоединяется другое представление, называемое сказуемым. Из этого соединения и складывается предложение. У нас для отличия психологического подлежащего нет другого критерия кроме хронологической последовательности: первое представление — подлежащее, второе — сказуемое. Между тем в применении к грамматическому предложению мы не всегда держимся этого принципа: здесь психологическое сказуемое мы отличаем от подлежащего особым, более сильным ударением, и порядок этих частей предложения может быть изменен. Каким же образом мы отличаем подлежащее от сказуемого в таких случаях? Само собою разумеется, что такое отличие возможно только при внесении другой какой-либо точки зрения, кроме психологической. И действительно, в таких случаях мы руководимся либо логическими, либо грамматическими соображениями. При этом положении дела, казалось бы, необходимо установить строгую границу между психологическим и грамматическим подлежащим; но, к сожалению, эта граница не проводится, и в затруднительных случаях мы прибегаем к помощи различных точек зрения для разрешения затруднения. Если грамматическое подлежащее может быть выражено только именительным падежом существительного имени, то оно не может выражаться ничем иным, и, напр., неопределенное наклонение никогда не может ни быть подлежащим, ни заступать его место. Между тем мы постоянно говорим в грамматике о различных способах выражения подлежащего: ясно, что мы в таких случаях говорим не о грамматическом подлежащем, а о психологическом и рассматриваем те грамматические формы, которые можем встретить в речи на месте этой психологической категории. То же самое касается и психологического сказуемого с его грамматическим выражением. Грамматическое сказуемое, наравне с грамматическим подлежащим, оказывается неотделенным от его психологической основы, и здесь дело обстоит еще хуже, так как к грамматической путанице присоединяются еще и философские умозрения. Обыкновенно, говоря о сказуемом, указывают на его особенное положение в речи, на то, что оно составляет «душу» предложения, что без него предложение невозможно и т. д. Само собою разумеется, что, определяя психологическое сказуемое как то, что высказывается по отношению к подлежащему, мы, конечно, не можем допустить существования предложения без сказуемого, так как не может быть предложения, ничего не высказывающего. Но, если мы признаем, что грамматическое сказуемое есть личный глагол в предложении, то нет ничего невозможного в том, чтобы в предложении не было личного глагола, и таких предложений очень много.

Смешением понятий психологического и грамматического сказуемого объясняется также признание в языке таких предложений, в которых одно только слово означает сказуемое, а подлежащее находится в самой обстановке речи. Таким подлежащим может быть даже представление услышанного шума, звонка и т. п., а сказуемое сказанное слово, объясняющее это явление. Таким образом, естественно, мы приходим к установлению двучленности всякого предложения, несмотря на то, что в речи мы встречаемся в таком случае с одночленным предложением. И здесь совершенно ясно, что мы смешиваем психологическую подпочву с грамматической поверхностью речи: одна часть такого предложения лежит в психологической области, а другая на грамматической поверхности.

Таким же смещением психологического и грамматического элементов объясняется появление в наших грамматиках особого метафизического представления «предикативности», или «сказуемости». Такая предикативность представляется, как некая таинственная сила, разлитая в предложении, способная сгущаться в одной части связной речи и разрежаться в другой. Она по преимуществу заключается в сказуемом, но может в большей или меньшей степени присутствовать во всяком члене предложения. Если откинуть несколько туманную, можно сказать мистическую оболочку этого представления, то явление предикативности сведется к тому же смещению психологической подпочвы с грамматической поверхностью: все предложение может во всех своих частях содержать равно важные сообщения и, стало быть, все целиком может быть психологическим сказуемым. Но это явление несколько не объясняет грамматического строя такого предложения, напротив, оно даже сглаживает различие грамматических членов предложения, всех их приближая к психологическому сказуемому.

Если уже в области грамматических подлежащего и сказуемого столько неясности и спутанности вносит смещение психологической подпочвы с грамматической поверхностью, то уже совершенно беспомощною оказывается психологическая точка зрения в толковании второстепенных членов предложения: определения, дополнения и обстоятельства. Психологический анализ предложения еще не дошел до различения психологических дополнений, определений и едва ли он когда-либо поставит себе такую задачу. Эти категории являются по преимуществу грамматическими, и потому их характер ни в ком не вызывает сомнения. Но для убежденного сторонника психологической подпочвы должно казаться странным, почему в этой области второстепенных членов предложения мы не чувствуем даже надобности в психологических толкованиях.

К области смещения психологической подпочвы с грамматической поверхностью относятся такие типичные для этого направления выражения, как «языковое мышление», «языковая мысль» и т. п. Я никогда не мог понять, что они обозначают и, мне кажется, что в них яснее всего отражается смещение психологии с грамматикой, или вернее, неотчетливое отделение одной области от другой.

Наконец, в сущности весь так называемый синтаксический разбор предложения сводится к отысканию психологической подпочвы данного предложения. К этому же сводится и пресловутая система вопросов, которая наиболее удобна для смещения грамматики с логикой, и все дебаты о том, напр., что такое неопределенное наклонение и т. д. Одним словом, в настоящее время прогресс синтаксиса, на мой взгляд, может выразиться только в отчетливом отделении психологической подпочвы от грамматической поверхности.

В чем же с этой точки зрения должны заключаться задачи научного синтаксиса? Из предыдущего ясно, что именно в изучении грамматической поверхности и заключается самое важное в исследовании синтаксического строя предложения. Такой вывод необходим уже потому, что иначе мы превращаем синтаксис в психологическую дисциплину, или во всяком случае интересуемся не формой выражения, а содержанием предложения. «Грамматическая поверхность» и есть единственный объект синтаксиса. Это не значит, что «психологическая подпочва» совсем должна быть изгнана, наоборот, в ней мы должны искать объяснения всех явлений, так как «всякий грамматический факт есть тем самым факт внутренний психологический», как правильно утверждает автор на стр. 384. Я бы только, в согласии с точкою зрения автора, выразился несколько иначе, — что всякий грамматический факт имеет свою «психологическую подпочву»; иначе, отождествление грамматической и психологической стороны явления ведет к такому же смещению. Синтаксис и должен изучать одну лишь грамматическую сторону синтаксических явлений, а «психологическая подпочва» должна служить лишь объяснением их.

Мысль мою я хочу пояснить на примере, так как иначе может показаться, что в моем требовании отделять одну сторону от другой при признании постоянного взаимодействия между ними ничего серьезного не заклю-

чается. Я возьму для примера вопрос о неопределенном наклонении. В своем «Ответе на рецензию Е. Ф. Будде» автор говорит, что «самое явление (роль и значение инфинитива в предложении)» он считает «вполне выясненным Потебней» (стр. 409). Между тем самая полемика с проф. Будде и необыкновенное разнообразие мнений на этот счет несомненно говорят о том, что в вопросе о неопределенном наклонении в русском языке еще очень далеко до полного выяснения дела. Мимоходом можно указать на то, что и сам Потебня не считал своего исследования исчерпывающим: на стр. 327 («Из зап<исок> по русск<ой> гр<амматике>») <sup>1)</sup> он говорит: «Возможно полное перечисление также глаголов в разных периодах языка было бы, конечно, полезно» (речь идет о глаголах с «неопределенным субъективным»). Из этих слов Потебни видно, что он сам этого не мог сделать и следовательно до исчерпывающей полноты здесь далеко. Кроме того следует обратить внимание на то, какое место в исследованиях Потебни занимает обширная глава о неопределенном наклонении: она составляет часть II тома, озаглавленного «Составные члены предложения и их замены в русском языке». И неопределенное наклонение и творительный падеж нашли место в исследованиях Потебни потому, что они являются частями составного сказуемого, и самый порядок изложения главы об инфинитиве показывает, что Потебня исходил из анализа составного сказуемого. Он начинает именно с тех случаев, где инфинитив представляет, как он говорит, «второстепенное сказуемое». Не этим ли объясняется и то, что он склонен видеть в инфинитиве вообще «второстепенное сказуемое», нечто вроде части составного сказуемого? Если другие видят в инфинитиве то существительное, могущее быть и подлежащим и дополнением, то «атрибутом», а иногда «обстоятельством», то всем этим точкам зрения нельзя, пожалуй, отказать в некоторой доле правды, но в общем инфинитив все еще остается загадкой. И если мы сравним между собою эти воззрения, то увидим, что все они создались на почве смешения «грамматической поверхности» с «психологической подпочвой»: мы можем в иных случаях приравнять инфинитив и к подлежащему, и к дополнению, и к сказуемому, и к «атрибуту», и к обстоятельству. Но; следует ли из этого, что инфинитив есть все это вместе? На мой взгляд, совершенно наоборот: именно такое разнообразие возможных приравнений и показывает, что инфинитив не представляет ни одной из этих частей предложения, а является совершенно особою частью предложения, значение которой и надлежит определить. Мне могут возразить, что неопределенное наклонение можно считать лишь частью речи, но не частью предложения. Это возражение показало бы только, как глубоко сидят в нас традиционные предрассудки. Несомненно, что и наше деление форм на части речи и части предложения точно также проникнуто смешением грамматики с психологией. Всякая форма, как и неопределенное наклонение, возникает в предложении, и, стало быть, она есть прежде всего часть предложения. Будучи частью предложения, она, конечно, не может не быть и частью речи; но это уже дело нашей более широкой классификации форм, и с моей точки зрения не всегда даже нужно такое двоякое распределение форм: ведь называем же мы союз частью речи, между тем как весь его смысл заключается именно в его роли, как части предложения. С этой точки зрения не следует смущаться установлением новой части предложения, инфинитива. Мне могут возразить, что это не ответ на вопрос, а его устранение, так как вопрос именно и заключается в том, какую часть предложения является инфинитив. Но мы видели, что по мнению исследователей он может быть всем, начиная с подлежащего и кончая обстоятельством и даже «атрибутом». Стало быть в сущности инфинитив не является ни одною из этих частей предложения и представляет либо особою часть предложения, либо совсем к частям предложения не принадлежит, как не принадлежит к ним по современной теории ни союз, ни предлог. Когда мы задаемся вопросом, какая часть предложения — инфинитив, мы в сущности требуем, чтобы эта роль инфинитива была определена по вопросам, и тогда мы неизбежно приходим к тому, что инфинитив может быть всякою частью предложения. Для меня же вопрос об инфинитиве сводится к установлению прежде всего определенной грамматической категории, имеющей

свою особую форму, и далее к выяснению роли инфинитива в предложении, но не в смысле растягивания его на прокрустовом ложе традиционных частей предложения, а в смысле выяснения его употребления, его семасиологии. Современная точка зрения, на мой взгляд, не только не двигает дела вперед, но даже парализует его движение и заставляет исследователей спорить о совершенно неразрешимом вопросе, вместо обстоятельного исследования действительного употребления инфинитива, исследования, которое с таким мастерством начал Потебня. В наших спорах об инфинитиве обычно разбирается несколько излюбленных предложений и оборотов, «разбирается» в указанном выше смысле, и часто при этом проходит незамеченной самая существенная сторона явления. Так, напр., Крыловская фраза «Охотники таскаться по пирам из первых с ложками явились к берегам» (часто являющаяся при этом в искаженном виде вследствие перехода из рук в руки от одного исследователя к другому) дает пример особого инфинитива («охотники таска т а с я по пирам»), который «разбирается и вкривь и вкось; и между тем нигде не отмечается того, что довольно ясно выражается в этом примере: инфинитив здесь несомненно обусловлен тем, что слово «охотник» заключает в себе значение «охоты, хотения, желания» и несомненно употреблен здесь по аналогии с инфинитивом при глаголах «хотеть, желать». Это особенно ясно видно из того, что неопределенное наклонение заставляет нас понимать слово «охотник» именно в значении «человека охочего до чего-нибудь», а отнюдь не в каком-либо ином смысле: с другими значениями слова «охотник» инфинитив соединяться не может.

Затруднения в разборе вопроса об инфинитиве, несомненно, обуславливаются еще и тем, что инфинитив относится, вместе с деепричастием и наречием, к разряду тех форм, которые возникли из обособившейся и застывшей формы падежа. Автор совершенно правильно поэтому заключает в одну группу: наречия, деепричастия и инфинитив (ср. таблицу на стр. 35). В этом как будто лежит разгадка того знаменательного факта, что и относительно деепричастий и наречий существуют подобные же затруднения. И деепричастия иногда признаются сокращенными придаточными предложениями, а иногда простыми обстоятельствами-наречиями. Из этих трех разрядов слов только одно наречие удостоилось признания, и причисляясь само к частям речи, играет в предложении роль обстоятельства. Однако и тут существует много неясности, которая тоже основывается на смешении частей речи с частями предложения. Соотношение между обстоятельством и наречием проще всего понимать в том смысле, что наречие есть специальная форма обстоятельства, и, стало быть, обратно, обстоятельством мы можем называть только такую часть предложения, которая имеет форму наречия. В данном случае я повторяю только, то, что устанавливает Потебня (см. «Из зап<исок> по рус<ской> грам<матике> 1<sup>1</sup>, 151): он говорит, что «обстоятельству присвоена особая форма, наречие». Между тем эта ясная и исторически совершенно правильная мысль до сих пор не нашла практического применения, о чем нельзя не сожалеть. Я остановлюсь поэтому несколько подробнее на тех страницах разбираемой книги, где автор говорит об обстоятельстве (стр. 178—183). Эта глава после заголовка «Обстоятельство» начинается прямо перечислением: «Сюда принадлежат: 1) наречия. 2) Слова, не имеющие формы, но по значению своему совершенно совпадающие с наречиями, т. е. обозначающие признаки признаков; 3) Слова, не имеющие формы и обозначающие различные обстоятельства, при которых происходит действие: время, место, поводы и т. д. » Из примеров, приведенных для иллюстрации этих положений, видно, что к первому разряду относятся такие слова, как «тихо, смело, прямо, громко, грозно, свободно», ко второму такие слова, как «напрямик, вслух, шажком, вскачь...» и к третьему такие слова, как «зачем, здесь, домой, пока, некогда». Далее (179) указывается, что для различения слов первого разряда от других двух по предложению некоторых ученых» автор склонен их называть «грамматическими наречиями», а слова второго и третьего разряда — «неграмматическими наречиями». Еще далее (181) автор разъясняет, что «неграмматические наречия произошли так же, как и грамматические, из косвенных падежей

имен существительных (или прилагательных, употреблявшихся в смысле существительных) с предлогом и без них». «Таким образом, разница в этом отношении» между этими двумя разрядами наречий «лишь в том, что все грамматические наречия произошли из одного и того же падежа, чем и объясняется их однообразие и самая их форма (окончание -о), а неграмматические — из разных падежей с разными предлогами, чем и объясняется их разнообразие, т. е. бесформенность». Это деление, следовательно, имеет в виду формальную сторону: все наречия грамматические должны оканчиваться на -о, иначе они не имеют формы, которую автор понимает, как «способность слова распадаться на две части» — основную, или вещественную и формальную (ср. стр. 3). Но уже самое поверхностное рассмотрение неграмматических наречий показывает, что и они не лишены способности распадаться на указанные две части: есть много наречий, которые не только распадаются легко на эти две части, но даже могут служить образцом для образования новых наречий по аналогии. Напр. «стоймя, плашмя» совершенно ясно, даже в сознании говорящих, распадаются на основную часть и суффикс -мя. Наречия, имеющие форму творительного падежа, тоже совершенно ясно составляют довольно большую группу. «Иногда, всегда, тогда, когда» тоже ассоциируются довольно ясно. Даже такое одиноко стоящее наречие как «домой» (ср. стр. 4), и то имеет себе пару в слове «долой». Даже такие наречия, как «наудалую, напропалую» и те не стоят совершенно одиноко. Я уже не говорю о наречиях других языков, где мы также находим значительную пестроту образований. Одним словом, как бы мы ни понимали «форму», очевидно, что совершенно бесформенными мы не можем считать и «неграмматические» наречия. Таким образом разница между этими двумя разрядами едва уловима, и является весьма произвольным признание «формы» только за наречиями на -о. Еще менее оснований\* для выделения в особые рубрики двух групп «неграмматических» наречий. В первую из этих групп входят слова, имеющие значение наречия, «т. е. обозначающие признаки признаков», во вторую — «обстоятельства в тесном смысле слова». Чем отличаются последние от первых двух групп, точнее не выясняется; но ясно, что две последние группы различаются по значению, а первая — «грамматические» наречия — устанавливается по форме. Мне кажется, что это различие в значительной степени представляет уступку традиции школьной грамматики и есть в сущности компромисс, пытающийся, как всегда, согласить несогласимое. Различая некоторые формы образования наречий, это деление однако не приносит никакой пользы для систематического обзора образований наречий; а привнесение еще другого принципа деления, — значения, вносит путаницу в установленное Потембейное положение, что наречие есть специальная форма обстоятельства. Таким образом это деление совершенно излишне.

Четвертою формою обстоятельства, по изложению автора, являются «деепричастия, как слова, выражающие своим формальным значением тоже признаки признаков».<sup>13</sup> Это вполне справедливо в том смысле, что и деепричастие, как застывший падеж, можно рассматривать, как наречие, к которому оно нередко приближается и по мнению автора. Некоторые замечания, в связи с вопросом об обстоятельствах, следует сделать по поводу выражения «признаки признаков». Это восходящее к Потембе толкование значения наречия на мой взгляд приложимо ко всем обстоятельствам, и тем более подтверждает ненужность рассмотренного выше деления обстоятельств. Если и деепричастие обозначает признак признака, то непонятно, почему «обстоятельства в тесном смысле слова» автор выделяет в особую группу. Приводимые автором категории таких обстоятельств, «время, место, поводы», прекрасно подходят под общее определение наречия, как признака признака: обозначения времени, места, повода являются такими же признаками признаков, как и настоящие «грамматические» категории. Напр. в предложении «Некогда и я там жил» слово «некогда», относясь к слову «жил», несомненно, является обозначением признака, приписываемого слову «жил»; этому нисколько не препятствует то, что слово «некогда» означает неопределенный промежуток времени, обозначенный указательно местоименным наречием. Если может ощущаться неловкость в названии этого «обстоятельства» признаком, то раз-

ве только с логической, а отнюдь не с грамматической точки зрения, так как в грамматике мы имеем дело только с такими «признаками», поставленными в различное отношение друг к другу. Что и время может быть таким признаком, яснее всего показывает, напр., греческий язык, в котором «обстоятельство времени» может быть выражено даже прилагательным: τριτατος αφιουτο «пришли на третий день». Ζευς χθες εβη κατα βασι «Зевс... вчера ушел на пир». В русском языке в таких случаях невозможно употребление прилагательного, которое для греческого языкового чутья, очевидно, может обозначать «обстоятельство времени», как признак даже лица.

Наш разбор имел в виду показать, что все обстоятельства, включая туда и дееспричастия, могут быть сведены к одной категории наречий. Невольно напрашивается и аналогия инфинитива. Действительно, не подлежит сомнению, что инфинитивы возникли из косвенных падежей отглагольного существительного имени и, следовательно, с формальной точки зрения вполне совпадают с наречиями. Это, конечно, не лишает их своеобразности, характеризующей их именно, как инфинитивы; но мне думается, что только эта исторически правильная точка зрения может помочь нам правильно истолковать все разнообразие функций инфинитива.

Я, конечно, не могу входить в подробности этого вопроса, так как, вопреки мнению автора, считаю его еще неизученным в достаточной степени, и на последнее обстоятельство хочу обратить особое внимание. Нужны постоянные и систематические исследования в области таких вопросов; нужно богатое собрание материала для того, чтобы в области темных вопросов грамматики прийти к какому-либо положительному результату. И в этом отношении мы плохо соблюдаем заветы того же самого Потеевни, учениками которого себя считаем. Многих из нас тяготит та груда материала, с которой оперировал Потеевни. Некоторые даже принципиально признают излишним такое накопление материала и думают, что возможно обойтись с типичными образцами. Но в том-то и беда, что этих типичных образцов невозможно установить без груды материала: иначе наши образцы оказываются выбранными произвольно, и уже самым выбором своим мы предпрещаем наш вывод. Еще хуже бывает тогда, когда мы оперируем над примерами, нами самими придуманными. И надо признаться, что до сих пор такой обычай еще не вывелся из наших школьных грамматик. Автор в этом отношении грешит очень сравнительно мало: книга полна иллюстрациями, взятыми из наших лучших писателей. Но встречаются и придуманные примеры. Так автор для иллюстрации страдательной конструкции приводит довольно часто (стр. 91; 119 прим.; 161; 191; 325) один и тот же пример: «дом строится плотником», — пример, который сразу бросается в глаза своей придуманностью. Не лучше и другие примеры того же оборота; «у нас в доме говорится по-французски» или «речь говорится мною» (313). Автор и сам признает некоторые из таких оборотов тяжельми; но дело в том, что эта тяжесть может свидетельствовать об их несвойственности русскому языку. Множество таких фраз появилось у нас под влиянием неумелых ученических переводов с латинского языка, вроде «знамена носятся перед полками, ими и нашими облажаются мечи». Можно бы, конечно, и не обращать внимания на такие тяжелые обороты, но с этим связан очень важный вопрос нашей грамматики. Страдательные обороты такого рода, несомненно, встречаются и у образцовых писателей, но все-таки до сих пор никто, насколько я знаю, не ставил себе вопроса о степени распространенности этих оборотов. Во многих грамматиках можно найти целое спряжение по всем формам страдательного залога, но в живом языке и в литературе страдательный оборот существует только в очень ограниченных размерах, главным образом в виде причастий прошедшего времени страдательного залога, как «он убит», «собака привязана», «казано — сделано» и т. п. И здесь естественно возникает вопрос о границах распространения этого оборота. Не даром, думается мне, говоря о страдательном залоге, мы выдумываем примеры: их очень трудно найти в литературе. Я сам не производил систематических наблюдений, но все же один пример отметил из Кольцова (по Академическому изданию № 8, стих 19): «они (волы) никем не стерегутся». Я не стану уже останавливаться на науч-

ной важности таких наблюдений, так как и заговорил я об этом вопросе лишь в связи с тем, как работал над синтаксисом покойный Потебня, чтобы показать, что и нам необходимо следовать его примеру и, не жалея сил, собирать материал. Ни вопрос об инфинитиве, ни вопрос о страдательном залоге без этого не могут быть решены сколько-нибудь удовлетворительно, как бы ни были энергичны споры об этих вопросах с чисто теоретической точки зрения.

К разряду интересующих нас более общих вопросов относится также и вопрос о делении форм на синтаксические и несинтаксические (стр. 29—32). С этим делением мы встречаемся впервые у нашего автора, и я должен признать, что на первых порах это разделение показалось мне очень удачным. Цель его — выделить те грамматические категории, которые играют существенную роль в самом строе предложения, в противоположность другим грамматическим категориям, не имеющим этой функции. Действительно, при изучении синтаксиса такое деление имеет очень важное значение и мы действительно наблюдаем, что одни грамматические категории играют существенную роль в деле соединения отдельных частей предложения между собою, а другие этой роли не играют. Так напр., падеж обыкновенно бывает связан с каким-нибудь словом предложения, между тем как число выражает обыкновенно только вещественное значение слова. Автор и старается провести границу между теми и другими категориями. Но с научной точки зрения едва ли возможно строго выдерживать это деление. Если мы приглядимся к тем синтаксическим формам, которые устанавливает автор, то увидим, что, напр., формы числа и рода, являются синтаксическими в прилагательных и глаголах, но не имеют того же значения в существительных. И это понятно, так как прилагательное и личный глагол согласуются с существительным, между тем как существительное обыкновенно не способно к такому согласованию. Однако все же кажется несколько странным, что род, напр., является синтаксической формой для прилагательного в смысле связи его с существительным, а в самом существительном та же самая категория оказывается несинтаксической. Ведь если мы рассмотрим любой пример сочетания прилагательного с существительным, хотя бы «теплый вечер», «холодная вода», «тяжелое время», то мы увидим, что форма рода прилагательного обусловлена родом существительного, и если в наших примерах род прилагательного связывает его с существительным, то эта связь направляется к той же грамматической категории существительного. Выходит так, как будто один конец той же нити, связывающей два члена предложения, оказывается синтаксическим, а другой конец не имеет уже ничего синтаксического и как раз в том месте, где категория рода оказывается доминирующей: так как именно род существительного обуславливает род прилагательного, а не наоборот.

Далее, говоря о формах времени и наклонения (стр. 31), автор указывает, что и они «вообще говоря, тоже не зависят от окружающих форм»; тем не менее «формы времени и наклонения глагола считаются синтаксическими по причинам, которые можно будет выяснить лишь впоследствии». Это явление мы находим на стр. 127: там говорится, что «в глаголе время и наклонение должны быть признаны все-таки главными синтаксическими формами, потому что они создают глагольность и тем самым создают главнейший член предложения — сказуемое. В этом и заключается их синтаксическое значение». Ясно, что здесь уже меняется принцип деления, и вместо деления с точки зрения синтаксической связи является уже нечто другое. Это обстоятельство, конечно, не может способствовать уяснению дела.

Наконец, даже самые «несинтаксические» категории нередко играют очень важную «синтаксическую» роль даже в самом тесном смысле слова. Если, напр., как указал Потебня в своем исследовании «Значения множественного числа в русском языке»,<sup>14</sup> множественное число иногда принимает оттенок местного значения, то этим самым устанавливается синтаксическая связь между множ. числом и тем падежом местного значения, в котором данное слово употреблено; напр. наше «в головах» по сравнению с ед. ч. «в голове». Можно было бы возразить против этого примера, что в данных выражениях мы имеем нечто, не стоящее в синтаксической связи с

другими частями предложения; но в таком случае пришлось бы и падежи разбить на синтаксические и несинтаксические, что еще больше спутало бы различение синтаксических и несинтаксических форм. Что касается нашего автора, то он, по-видимому, не склонен до такой степени суживать значение термина «синтаксис»: по крайней мере на стр. 169 к «подробному синтаксису» отнесены также и значения падежей; с этим и я вполне согласен.

Оценивая значение синтаксических форм, автор приходит к тому выводу, что «без синтаксических форм невозможно было бы никакое понимание» (32). В такой оценке нельзя не видеть некоторого преувеличения. Сам же автор довольно подробно излагает (стр. 78—81) систему китайского языка, который обходится без форм вообще, стало быть, и без форм синтаксических. Мысль автора справедлива лишь в приложении к нашим индоевропейским языкам, и ошибка заключается только в том, что она высказана в слишком общем виде, относительно всякого языка.

Таким образом из предыдущего рассмотрения мы можем, кажется, сделать тот вывод, что отличать синтаксические формы от несинтаксических едва ли возможно. Однако мне кажется, что полезно было бы в каждой форме отличать «синтаксический» элемент от другого ее значения, причем в историческом развитии мы наблюдаем и здесь передвижение этого синтаксического элемента. Автор совершенно справедливо указывает, напр., что время в глаголе в сущности есть форма несинтаксическая, однако во многих языках развивается такая система времен, которая носит на себе явно синтаксический отпечаток (*consecutio temporum*), причем некоторые времена (напр. *plusquamperfectum*, *futurum II* — в латинском) имеют почти исключительно относительное значение. С другой стороны едва ли возможно указать хоть одну форму, которая бы не имела и своего самостоятельного значения, а была бы исключительно синтаксическою. Это еще более убеждает нас в том, что выделение в форме ее синтаксического элемента является очень желательным и даже необходимым.

Этим мы и заканчиваем наши замечания относительно более общих вопросов и перейдем теперь к некоторым подробностям, оговариваясь, что эти замечания по необходимости будут и возражениями, так как перечислять все то многое, с чем мы согласны, свелось бы к плохому повторению того, что прекрасно изложено автором: все это можно только рекомендовать прочесть именно в авторском изложении, а не в чужом пересказе.

Автор сам указывает на то, что ему приходилось отчасти и выработать терминологию, придумывать новые названия для новых отмечаемых им явлений или изменять неудовлетворительные старые термины. Тут, конечно, многое зависит от личного усмотрения, и такое новаторство, вообще желательное и даже необходимое, может привести к хорошим результатам только тогда, когда новый термин будет принят. Совершенно понятно также, что силу традиции не всегда легко сломить. В этой области, отдавая должное осторожности автора, я хочу отметить только один на мой взгляд неудачный термин. Во многих местах своей книги автор говорит о таких категориях, которые характеризуются отсутствием того или другого признака. Такие категории он называет «отрицательными». Так он говорит об «отрицательных» формальных частях (стр. 6; 9; 11), об «отрицательных» категориях, падеже, наклонении (стр. 126; 236), «отрицательной» связке (238) и т. д. Отмечаемое автором явление, действительно очень распространено. Но термин «отрицательный» едва ли можно считать удачным. Прежде всего самая аналогия с математическими отрицательными величинами не вполне точна: отсутствие чего-либо в математике обозначается нулем, и в языкознании мы находим в употреблении обозначение нулем таких категорий. Мы говорим, напр., о «нулевой» ступени вокализма, характеризуемой полным отсутствием гласного элемента; мы говорим о «нулевом» окончании, о «нулевом» суффиксе и т. д. Во всех этих случаях мне кажется более удобным и в области синтаксических явлений говорить о «нулевом» падеже, «нулевом» наклонении, «нулевой» связке и т. д. Термин «отрицательный» неудобен еще и тем, что в грамматике уже есть «отрицание», значение которого совсем иное, и сам наш автор

говорит об «отрицательных» предложениях (296 и слл.) в обычном смысле, вовсе не думая о «нулевых» предложениях.

Разъясняя значение форм времени (стр. 121—123), автор на мой взгляд напрасно игнорирует то, что дает нам история этих форм. В настоящее время можно считать вполне установленным, что категория времени в индоевропейских языках развилась лишь постепенно из различных видов, которые обозначались многочисленными суффиксами т. наз. настоящего времени (ср. мое «Введение в языкознание»<sup>2</sup>, стр. 103—107). Если принять это во внимание, то едва ли можно говорить о «настоящем времени, но расширенном до крайних пределов» в таких общих суждениях, как «науки юношей питают» и т. п. Наоборот в них мы должны видеть остаток того периода, когда форма настоящего времени вовсе не имела временного значения. Вообще, если и возможно определять значение формы по современному ее употреблению, то правильно истолковать его возможно только исторически. Без исторического толкования мы не можем обойтись уже потому, что и современность хранит следы различных исторических эпох; стало быть, историческая точка зрения нужна и для простой классификации современных форм.

Далее я отмечаю прямо в порядке страннц различные мелкие промахи, исправление которых было бы желательно:

Стр. 14: «Мы произносим «идеешь». и только на письме сохранилась здесь мягкость»; следовало сказать «сохранился знак мягкости».

Стр. 35: Я сомневаюсь в правильности ударения примеров «это здание виднó» и «это дитя добрó». И здесь, по-видимому, примеры придуманные.

Стр. 39: Едва ли удачно объяснение слова «ленится» — «это значит поступает нехорошо, дурно ведет себя, вообще делает что-то нехорошее, недозволенное (хотя в данном случае это «делание» сводится, в сущности, к ничего не деланию)». Я понимаю затруднение автора в данном месте, необходимость охарактеризовать глагол, как поступок; но все же лучше было бы как-нибудь иначе формулировать значение глагола (м. б. «заниматься ленью»?).

Стр. 39: Следовало поставить ударение на слове «целю́», так как есть и глагол «целю́»; то же нужно сказать о слове «звонóк» на стр. 40, так как имеется в виду не «звонóк».

Стр. 44: Неосторожно без оговорки говорить о «праязыках, которые нам удалось восстановить, сравнивая древнейшие языки между собою». Восстановление праязыка в науке имеет лишь условный характер, и потому опираться на эти восстановления, как на данные праязыка, методологически ошибочно.

Стр. 45: «Окончание именительного-винительного падежа среднего рода во всех древних языках совпадает с окончанием винительного падежа слов мужского и женского рода». Это неточно: такое совпадение мы находим только в основах на \*-о-, причем еще не установлено, что эти основы были и женского рода, хотя некоторые это и предполагают.

Стр. 53 (и 69): «в прилагательных изображаются признаки, заложенные в природе предмета». Такое определение мне кажется слишком метафизическим, или по крайней мере вносящим логическую точку зрения. Можно ли сказать, что в выражении «каменный дом» прилагательное «каменный» обозначает признак, заложенный в природе «дома»? Ведь дом может быть и деревянный. «Каменный» есть признак, заложенный только в природе «каменного дома»; но это уже похоже на игру слов. То же можно сказать и о выражении «вчерашний день». А как применить такое определение прилагательного к греческим прилагательным вроде τριτάτος, χθίζος, обозначающим «обстоятельство времени» (ср. выше стр. 23).

Стр. 63: «Глагольность может в причастии исчезнуть, а прилагательность — никогда». Едва ли в такой категорической форме справедливо: русское прошедшее время на -ль представляет хороший пример исчезновения «прилагательности» в причастии. Можно, конечно, находить «прилагательность» в этой форме в сохранении категорий числа и рода; но в том смысле, в каком автор здесь говорит о «прилагательности», в формах прошедшего времени на -ль она совершенно отсутствует.

Стр. 64. примеч.\*: «Русский народный язык не имеет совсем прича-

стей». Это неточно в такой категорической форме: причастия страдательного залога несомненно есть и пользуются довольно широким употреблением; напр.: «чадо любимое», «стрела каленая», «чарочки налитые непитые», «злачен перстень», «становился на место указанно», «дуб, обложенный человеческим косяем до верха». Я уже не говорю об употреблении таких причастий в качестве именного сказуемого. Заимствованными из церковно-славянского языка нужно считать только причастия наст. вр. действит залога на -щий.

Стр. 66—67: В изложении происхождения деепричастия есть тоже некоторые неточности: формы «идучи», «едучи» и т. д. едва ли правильно возводить к именит. множеств. числа. Трудно сомневаться в том, что в стихе, напр. «пльвши лебедь встрепенулася» деепричастие «пльвши» восходит к именит. падежу ед. ч. женск. рода. Наше деепричастие, как я надеюсь показать в подготовляемом мною исследовании, восходит ко многим падежам и в некоторых оборотах отражает даже старый дательный самостоятельный.

Стр. 71 прим.\*): греческого слова μόρφος не существует, есть только μορφή «форма»; μόρφος является только в сложных прилагательных, как с-μορφος «безобразный», εὐ-μορφος «благообразный» и т. п.

Стр. 86: Объяснение родительного падежа в таких оборотах, как «да позримв снисяго Дону» едва ли правильно. Во всех приведенных примерах мы имеем дело с глаголами сложными с предлогом по, и родит. падеж, несомненно, объясняется влиянием предлога, который придает глаголу оттенок некоторой меры действия, как и в наших глаголах: «по-сидеть», «по-говорить» «по-думать», «по-глядеть», «по-читать», «по-плясать», «по-есть», «по-пить» и т. д. Родительный падеж при таких глаголах имеет значение раздельительное: «поест хлеба» значит «поест некоторое количество хлеба». Поэтому нельзя думать, чтобы раньше «можно было сказать «смотреть синего Дона», как думает автор. Простые глаголы, без предлога по-, могли иметь при себе и винит. падеж, так что говорить об «общем процессе вытеснения приглагольного родительного винительным» едва ли возможно. Кроме того не могу не отметить некоторого насилия над русским языком, когда автор говорит, будто «теперь можно только сказать: «посмотреть синий Дон». Я бы никогда так не сказал, а сказал бы только: «посмотреть на синий Дон».] Стр. 113. «Придаточные предложение типа: «а если не будет, кто за него мстятый...» приходится признавать полными предложениями, потому что никакого опущения здесь никогда не было, а придаточное и скоия играло роль сказуемого». Думаю, что за причастием никогда нельзя признать роли сказуемого, даже в таком придаточном предложении: пока в нем было причастие, не существовало придаточного предложения, и автор совершенно произвольно ставит запятую перед «кто»; нужно было бы писать без запятой «аще не будет никого мстятяго» и перевести на современный русский язык «если не будет никого мстятяго». Придаточное предложение возникает лишь тогда, когда к местоимению «кто» присоединяется личный глагол, и тогда только мы имеем право поставить запятую перед «кто»: «если не будет, кто бы мстил». В этом случае происходит как бы новая переоценка частей предложения, и причастие, бывшее лишь частью составного сказуемого, превращается в самостоятельное сказуемое, но, конечно, в личной форме. Тогда и «кто» становится подлежащим к этому новому сказуемому, хотя по смыслу оно остается подлежащим и к «не будет».

Стр. 120 (и 142): «Сам по себе именительный падеж не имеет никакого синтаксического значения. Это, в сущности, беспадежная форма». Я не вижу достаточного основания для такого утверждения. Употребление именительного падежа в простых перечислениях еще ничего не доказывает. Гораздо важнее существование особой формы именительного падежа, которая имеет специальное назначение обозначать грамматическое подлежащее. Отрицать это синтаксическое значение именит. падежа невозможно. Между тем перечисления, заглавия и т. п. случаи употребления именит. п., конечно, уже сами по себе имеют очень слабое отношение к синтаксису. В этом отношении тот недостаток, что слова берутся «отдельно (как они, напр., даются в словарях)», т. е. вырываются из синтаксической связи и тогда только указывается, что они не имеют никакого синтаксического значения.

Наконец, «слова в словарях» — не слова в собственном смысле, так как не имеют определенного значения, а условно объединяют под одним сочетанием звуков все разнообразие возможных значений данного звукового комплекса. Слово в грамматическом смысле представляет моментальное соединение определенного комплекса звуков с определенным же значением, соответствующим потребности данного момента. С этой точки зрения даже повторение слов, вроде «Боже, Боже!», представляет два отдельных слова, и мы всегда можем найти разницу в них, хотя бы в интонации. В связи с этим замечанием стоит и самое начало изложения, где автор берет «слово «стекло» и замечает, что «никому не придет в голову сравнивать слово «стекло» с прошедшим временем глагола «стекать» (следовало сказать «стечь»). Отчего же нет? Если «слово «стекло» вырвано, напр., из фразы «Сколько воды стекло с мокрого зонтика» и т. п. Если мы, когда нам говорят просто «стекло», не можем представить всего разнообразия возможных значений, соединяемых с данным комплексом звуков, то это говорит только об ограниченности наших способностей и о привычке понимать в речи слово только в одном смысле. В разговорах часто случается однако, что произнесенное в одном смысле слово понимается в другом, и слушатель обыкновенно тогда переспрашивает говорящего. И именительный падеж, как и всякую другую форму нельзя вырывать из речи при определении ее значения.

Стр. 129: Автор думает, что в предложении «Скажи он прямо, я бы согласился» «предположение» выражено, «как приказание»; имеется в виду повелительное наклонение «скажи». Не говоря уже о том, что психологически трудно понять такую замену «предположения» «приказанием», исторически толкование это неправильно. Если принять во внимание, что русское повелительное наклонение восходит к желательному, а желательное искони имело также значение возможности и употреблялось в условных предложениях в этом смысле и в главном и придаточном предложении, то в таком употреблении русского «повелительного наклонения» нужно видеть остаток старины. И форма «скажи» есть настоящее третье лицо такого старого оптатива. Мы не замечаем этих остатков старины и потому неправильно их толкуем. Что такое употребление «повелительного» наклонения у нас не исчезло, доказывает употребление его в настоящих придаточных предложениях, как напр., в Крыловском «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Здесь «повелительное» наклонение «садитесь» есть несомненный оптатив, не заключающий в себе и тени приказа.

Стр. 133. «Еще чаще отсутствует подлежащее при повелительном наклонении, и здесь это уже составляет правило. Мы не говорим: «ты уйди», «ты отстань! ..» Это далеко не точно: мы часто говорим: «уйди ты!», «отстань ты!», «ах, пойдите вы!» и т. д. с неударяемым личным местоимением, которое на мой взгляд можно рассматривать лишь как подлежащее. Если даже считать его звательным падежом, то роль его останется та же: звательный падеж мы можем рассматривать, как падеж подлежащего второго лица.

Стр. 139. На употребление прилагательного в качестве подлежащего приведен между прочим пример из Гоголя: «Вишь какой батько!» подумал про себя. Остап: все старый, собака, знает, а еще притворяется». Здесь, по моему мнению, произвольно поставлена запятая между «старый» и «собака». В малорусском «собака» всегда мужского рода, и здесь Гоголь, по-видимому, невольно употребил малорусский оборот, по-русски следовало бы сказать «старая собака». Это объяснение мне кажется проще и естественнее; но пример в таком случае не на месте.

Что касается приложения «Школьная и научная грамматика», то оно указывает на противоречия между школьной и научной грамматикой, представляет иллюстрацию приложения системы автора к так называемому «разбору» и толкует систему знаков препинания. Так как здесь только систематизируются некоторые вопросы, которые уже разобраны в самой книге, то я не буду специально останавливаться на разборе этого приложения.

Подводя итоги всему сказанному, я повторяю, что книга г. Пешковского написана с несомненным знанием дела, все вопросы с большим вниманием продуманы самостоятельно, и автор никогда не скрывает тех противоречий,

на которые ему приходится наталкиваться в развитии своих положений. Я нахожу, что автор этим оказал большую услугу в деле выяснения многих темных вопросов нашего синтаксиса, который еще ждет разработки почти во всех своих частях. Книга автора не представляет исследования в собственном смысле слова, но она дает очень много оригинального, самостоятельного. А в области интонации и ритма мы обязаны автору новыми и довольно тонкими наблюдениями. Если прибавить к этому мастерское и даже увлекательное изложение, то в книге автора мы несомненно должны видеть труд, который должен оставить глубокий след в научной литературе. Не надо забывать также и того, что, написанный очень популярно, труд этот может оказать большую услугу в деле распространения более здравых взглядов среди преподавателей низшей и средней школы.

В предыдущем я немало полемицировал с автором, но в громадном большинстве случаев не автор был повинен в своих промахах: он отражал лишь современное состояние изучения русского синтаксиса.

Поэтому я признаю труд г. Пешковского вполне заслуживающим большой Ломоносовской премии.

Юрьев 12 августа 1915 г.

Ч. Кудрявский.

#### Примечания:

<sup>1</sup> А. М. Пешковский, Ответ на рецензию г. Ф. Будде, ЖМНП, 1915, № 4.

<sup>2</sup> А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1914, стр. 380.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же, стр. 381.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же, стр. 382.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же, стр. 383.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же, стр. 384.

<sup>13</sup> Там же, стр. 180.

<sup>14</sup> А. А. Потехина, Значения множественного числа в русском языке, Филологические записки, 1887, вып. II, V. VI; 1888, вып. I, II.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Т. Адамс. Из истории эстонской рифмы	5
Ю. М. Лотман. М. А. Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель	19
Я. С. Билинкис. К вопросу о художественном новаторстве А. С. Грибоедова в «Горе от ума»	93
Б. Ф. Егоров. В. Р. Зотов — критик и публицист 1850-х гг.	107
П. С. Рейфман. К истории кружка Тищинского, Лебедева, Манасеина	144
З. Г. Минц. А. И. Тодорский как писатель	172
В. Й. Эрнитс. О некоторых индо-уральских суффиксах, преимущественно в русском и эстонском языках	212
Т. Ф. Мурникова. Личные имена в говоре Причудья	229
С. В. Смирнов. Грамматическая система Д. Н. Кудрявского	238
К. И. Бахман. О некоторых типологических особенностях русских лексических заимствований в эстонском языке	258

### Публикации и сообщения

С. Г. Исаков. Неизвестная статья А. А. Бестужева-Марлинского	269
С. В. Смирнов. Неопубликованная рецензия Д. Н. Кудрявского	284

Тартуский государственный университет

Тарту, ул. Юликооли 18

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ II

Редактор Б. Егоров

Корректор А. Правдин

Сдано в набор 3 IV 1959 г. Подписано к печати 11 IX 1959 г. Бумага 60×92, 1/16.  
Печ. л. 19. Тираж 1000 экз. МВ-07460. Заказ № 1240. «Т.К.»

Типография им. Ханса Хейдеманна, г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. ЭССР  
Цена 11 руб. 40 коп.